
*Мы на земле,
где вы живете...*



ЗЕМЛЯКИ

*Нижегородский альманах
Выпуск тридцать первый*

«КНИГИ»
Нижний Новгород
2021

УДК 821.161.1(082)
ББК 84 (2 Рос-Рус)6 я43

353

Главный редактор *О.А. Рябов*

Шеф-редактор *А.И. Иудин*

Составители *А.И. Иудин, О.А. Рябов*

Общественная редколлегия:

*Н.А. Бенедиктов, И.С. Горюнова, Е.Н. Крюкова, З. Прилепин,
В.И. Седов, А.М. Цирульников, Г.В. Щеглов, Е.Р. Эрастов*

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя: 603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги» Тел. (831) 412-16-04

E-mail: zemlyaki-nn@yandex.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

353 Земляки. Нижегородский альманах. Выпуск тридцать первый. Составители: А.И. Иудин, О.А. Рябов. – Нижний Новгород: издательство «Книги», 2021. – 480 с.

Очередной выпуск альманаха составлен из произведений писателей и поэтов – как наших земляков, так и проживающих в других городах России и за ее пределами.

В поэзии и прозе нашли отражение проблемы современного российского общества, непростые житейские ситуации, остросюжетные хитросплетения на фоне нижегородских реалий, фольклорные мотивы. Отдельными рубриками представлены материалы по истории и краеведению, работы авторов иронического жанра, а также произведения для семейного чтения.

Альманах зарегистрирован в Управлении Роскомнадзора по Нижегородской области.

Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 52-0246

ISBN 978-5-94706-248-9

© Иудин А. И., Рябов О. А. Составление, 2020

© Издательство «Книги», 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Нижегородский почерк

Олег РЯБОВ	
МОЩЕВИК СЕРАФИМА САРОВСКОГО	6
ВАННА АРХИМЕДА	16
Жанна ПЕСТОВА	
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ	22
Иван КАТКОВ	
АЛЬТЕР ЭГО	32
Владимир КИТАЙЧЕВ	
НА ВЕТРУ	58
Антон ЛУКИН	
СИНДРОМ СТАРОЙ ВЕДЬМЫ	112
Инна ЧАСЕВИЧ	
МЕЧТЫ...	121
Пётр РОДИН	
ДЕДКА ПАШКА	124
Виктор КУЗНЕЦОВ	
«СДАЛА!»	136

Лирический портрет

Владимир АЛЕЙНИКОВ	
ВИДНО, СТОИЛО К СВЕТУ НА ОЩУПЬ ИДТИ...	143
Евгений ЭРАСТОВ	
НО ГДЕ ЖЕ ТЫ, ОСОБЫЙ РУССКИЙ ПУТЬ?	149
Александр ЛОМТЕВ	
СТРАНСТВИЯ	155

Из свежей прозы

Николай ЖЕЛЕЗНЯК	
НЕВЕСТА НА СЕВЕРЕ	161
Никита КОНТУКОВ	
КРОВЬ МОЯ, ЗА ВАС ИЗЛИВАЕМАЯ	172
Мария БЕРДИНСКИХ	
ТЕТЯ ЖЕНЯ	186
Павел ЧХАРТИШВИЛИ	
ОТ МАМЫ МАЛО ПОЛЬЗЫ	191
Андрей КУДРЯШОВ	
ВОДЯНИЦА	199
Маргарита СМОРОДИНСКАЯ	
ЕЛОВЫЕ ВЕТКИ	220
Олег ПОГАСИЙ	
GALACTICOS	233

Лирический портрет

Татьяна БАТУРИНА	
РУССКАЯ ДОРОГА	237
Андрей ДМИТРИЕВ	
ВЫРОС ЦВЕТOK – ТАМ, ГДЕ НЕЛЬЗЯ...	241
Галина ТАЛАНОВА	
ЧТО ИЗВЛЕКЛА ИЗ ШЕЛЕСТА ДОЖДЕЙ?	246

Из будущих книг

Сергей ЧЕ	
КРАСНАЯ БАШНЯ (роман, фрагменты)	249

Вехи памяти

Галина МУХИНА	
В. Г. КОРОЛЕНКО: «СЧИТАЮ СЕБЯ СОЦИАЛИСТОМ...»	
К 100-летию со дня смерти писателя	290

Далекое – близкое

Николай БЕНЕДИКТОВ	
РУССКИЕ В ПАРАГВАЕ	302
Людмила ТОБОЛЬСКАЯ	
НА ПОКЛОНЕНИЕ СВОЕЙ СВЯТОЙ	312
Владимир ПАХОМОВ	
КРЕСТ НА ВЫСОКОМ БЕРЕГУ	318
Софья РОНГОНЕН	
«Я ПО ОБЫКНОВЕНИЮ	
ПРОГУЛИВАЛСЯ ПО ПОКРОВКЕ...»	
Нижний Новгород на карте 1812 года	339
Пётр РОДИН	
ТИХАНСКИЙ ПРУД	345

Стихи по кругу

Надежда КНЯЗЕВА	351
Татьяна КОПТЕЛОВА	352
Юрий ПРОНИН	354
Пётр РОДИН	355
София МАКСИМЫЧЕВА	356
Ольга КОСОВА	357
Елена СОМОВА	357
Дарья ФОМИНА	358

Русский смех

Ирина СОЛЯНАЯ	
ПОЕХАЛИ!	359
Александр ПОНОМАРЕВ	
ШВЕЙЦАРЬ	365
Яков ШАФРАН	
ЗАЯЧЬИ БОИ	372
Валерий РУМЯНЦЕВ	
БАСНИ	374
Владимир ЛЕБЕДЕВ	
СТРОЧКИ НА БОСУ НОГУ	378
Эдуард КУЗНЕЦОВ	
«Я ПОХВАЛИТЬ БЫ РАД...».	380

Семейное чтение

Рауза ХУЗАХМЕТОВА	
Из цикла «МЕЧТЫ В КОРОБКЕ»	397
Елена АРСЕНЬЕВА	
СЛОВО СТУЖИ И ЛЬДА	408
Яков ЗВЯГИН	
СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ	436
Наталья ГУСЕВА	
РАССКАЗЫ О МАШЕ	443

Прощальное слово

ПУШКИНСКОЕ ДЕСЯТИКНИЖИЕ	
ЕВГЕНИЯ ГАЛКИНА. <i>Михаил Садовский</i>	465
ОЛЕГ МАКОША: ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УМЕЛ ПИСАТЬ. <i>Владимир Безденежных</i> . . .	470
Олег МАКОША <i>Стихи</i>	471
«НО ЕСТЬ ЕЩЕ ТО, ЧТО НЕ ПРОДАЕТСЯ...»	
О Владимире Терехове. <i>Владимир Лебедев</i>	474
«НАС ШИЛИ МЕРКАМИ ДРУГИХ ЛЕКАЛ...»	
О Минне Ямпольской. <i>Марина Кулакова</i>	477

Нижегородский почерк

Олег РЯБОВ

МОЩЕВИК СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Когда Ефиму Ильичу Дыннику сказали, что пора ему приватизировать, то есть выкупить на аукционе, свой магазин «Спортивные товары», в котором он директорствовал без малого десять лет, он напугался. Вообще Ефим Ильич как нормальный и правильный еврей очень часто пугался, притом всего: бандитов, милиции, телефонных звонков, всяческих проверок и даже жены. И вот – возвращается он как-то, припозднившись, с работы и около модного ночного клуба «Рокко», который тогда располагался на улице Минина, слышит, как его окликнули: «Дыня». Ефим Ильич даже немножко внутренне вздрогнул: давно уже его при его-то социальном статусе так панибратски никто не окликал. А тут...

Обернулся Ефим Ильич и видит, что окликнул его абсолютно незабываемый господин, хотя и сталкивались-то они всего пару-тройку раз на теннисном корте: это был новый областной губернатор Боря Немцов. Пришлось Ефиму Ильичу задержаться: нельзя же отвечать губернатору: «Некогда мне!» Вот Немцов-то и подсказал в тот раз, а точнее почти приказал, Дыннику выкупить срочно этот магазин «Спорттовары», пригрозив ему, что зайдет к нему в магазин в гости, чтобы прикупить у него пару коробок

теннисных мячей. Звал ещё молодой губернатор Ефима Ильича в клуб с молодыми и красивыми девчонками потусить, но тут Дынник сумел отстоять свою независимость – правда, ноги дрожали у него ещё с полчаса.

Так он стал собственником довольно солидного магазина в центре города. Поддерживать отношения с губернатором он продолжил, и достаточно продуктивно: многие закупки областное правительство делало теперь через его предприятие. А Немцов то прикажет Дыннику оказать материальную помощь какому-нибудь детскому дому, то какую-нибудь глупость подскажет: посоветовал ему зачем-то креститься!

– Как креститься? Лёнька с Эдиком синагогу открывают, деньги собирают, у меня просили, – замахал руками Ефим Ильич.

– А ты дай Лёньке денег, а сам крестись. Нам выкресты сейчас очень нужны, – советовал молодой губернатор.

– Так а где креститься-то мне, я же ничего не знаю? И потом, они там, в церкви-то, тоже денег будут просить.

– А ты и им тоже дай! А крестись в Ярмарочном соборе – мы его сейчас восстанавливаем. Там служит отец Владимир, от меня обратишься к нему. Когда покрестишься, позвони мне – тебе мои девочки удостоверение выпишут, – отвечал губернатор вполне серьёзно.

– Какое ещё удостоверение?

– А я тебя назначу советником по межконфессиональным связям. Мне такой помощник сейчас очень понадобится. У тебя татары знакомые есть?

– Ну, есть.

– Ну вот!

Так Ефим Ильич Дынник ещё и крестился.

А в общем-то доволен он был жизнью своей. Даже то, что кроме церкви и синагоги он платил ещё и бандитам, то есть «крыше» своей, ежемесячно пятьсот долларов, не смущало его: считал, что они на него работают. Серега Нестор и Барсик, члены бригады этой бандитской, были свои ребята, канавинские, когда-то он с ними бывало что и пиво пил. А вот бригадир их, Балда с Автозавода, к Дыннику редко заявлялся: говорил, что страшно ему за Ефима

Ильича, боялся Балда, что обделается тот прямо в кабинете своем со страху.

В советские времена любил Ефим Ильич захаживать на книжный черный рынок, который случался по воскресеньям в Пушкинском скверике, и среди посетителей этого сборища можно было встретить в те времена изрядное количество значительных городских деятелей: и директора различные тут бывали, и артисты, и учителя с врачами, и партийные работники разного ранга. Покупали, продавали, менялись новинками книжными. Дынника в этом сообществе звали просто Скупщик. Ефим Ильич не продавал – он покупал, причем не книжки, а старинные безделушки из серебра: статуэтки, вазочки, подстаканники, солонки, портсигары и другую мелочь. Приносили сюда сякое своё барахло и старушки нуждающиеся, и мужики, страдающие с похмелья, и ворованная дребедень часто сбывалась именно тут.

Ничего не мог поделаться с собой Ефим Ильич – нравилось ему серебро. Конечно, он разбирался и в пробах, и в мастерах, а любопытным он мог рассказать, что не каждая вещь с клеймом «Фаберже» бешеных денег стоит: солдаты, служившие до революции в Царском Селе, пользовались вилками и ложками, сработанными в мастерской Фаберже, и эти изделия никакой особой редкостью не являются – тысячи их. Вот так!

Однако времена поменялись, а точнее – перевернулись. И после одного из приватизационных аукционов Дынник стал практически единоличным собственником своего приличного торгового предприятия и помещения почти в тысячу квадратных метров в центре города. Теперь сидел он у себя в своём кабинете, в том же самом, что и в советские времена, но уже в своём! А погремуха его народная, Скупщик, не позабылась, и несут ему теперь вещицы серебряные, и не только, прямо на работу, в кабинет его.

Друзья его многочисленные различного ранга заходят к нему запросто: посидеть, выпить рюмку коньяку или чашку кофе и поболтать. Общительный человек Ефим Ильич Дынник, а потому и знает много разного про всякое – каждый день что-нибудь новенькое в городе происходит.

Так вот, в тот день, про который мне хотелось рассказать, сидел-посиживал у него в кабинете старинный друг его детства Коля Синий, фамилия у него такая – Синий. Он тоже неплохо поднялся в последние годы: стал хозяином гостиницы в центре города. Когда-то давным-давно Фима Дынник и Коля Синий пели вместе у Лёвы Сивухина, в городской хоровой капелле мальчиков, с тех пор и дружба у них.

– Дыня, ты помнишь, как мы с тобой в Оперном театре пели? – спрашивал Синий.

– Когда? – отвечал Дынник.

– Как когда? А в «Кармен» мы пели с тобой. Хор мальчиков помнишь? «Вместо смены караула бодро мы идём всегда. Так трубите же веселее...» Что – помнишь?

– Конечно, помню. Я думал, что ты про что-то другое.

– Зачем мне про другое?

– Ну как «зачем»? Я же вчера крестился. Я думал, ты про это!

– Как крестился? У тебя что – с головой не всё в порядке?

– Да нет – с головой у меня всё в порядке. Немцов мне приказал, а крестил меня отец Владимир в Ярмарочном соборе, мы когда-то вместе с ним карате занимались. Он настоятель Ярмарочного собора теперь и занимается его восстановлением. А когда-то он был чемпионом России и черный пояс имел.

– Давай, Дыня, доставай коньяк-то в таком разе, надо отметить событие.

Так сидели-посиживали старые товарищи, друзья детства, в уютном кабинете, когда в дверь тихонько кто-то постучал, и она приоткрылась. Осторожный человек сделал шаг и остановился в дверях, вероятно, раздумывая, с чего начать. Одет он был несколько несуразно, не по-летнему: несмотря на тёплую погоду, на нём были черная шляпа, темно-синий плотно застёгнутый на все пуговицы костюм, темно-зелёная рубашка и черный галстук.

– А кто здесь Дыня? – спросил, почти заикаясь, посетитель. – Мне сказали, чтобы я нашел Дынню, а как его зовут, я позабыл.

– Заходи, заходи, – махнул призывно хозяин кабинета, – меня зовут Ефим Ильич, а фамилия моя Дынник. А кто тебя прислал?

– Я сам из Арзамаса, а зовут меня Иван. Только я не один.

– А с кем же ты?

– Не «с кем», а с чем. Тут у меня коробка.

– Так затаскивай её сюда.

Иван в кабинет из прихожей с заметным усилием занес довольно объёмный, завёрнутый в байковое одеяло предмет. И Коля Синий, и Дынник как-то сразу догадались, что это икона.

– Вот посмотрите, велели вам показать, – Иван стал торопливо распаковывать свою ношу, разрезая своим перочинным ножиком верёвочки-путы.

Тем временем Коля Синий успел себе налить ещё рюмку и выпить её.

Освободившись от упавшей на пол тряпки и обрезков верёвки, стоял, прислоненный к стене, горящий золотом образ Серафима Саровского увеличенного храмового размера.

– Оплечный! Первый раз такого вижу, – произнес Синий.

– Это не оплечный, это – поясной, – заметил ему Дынник. – Их же всего несколько, разрешенных разновидностей образа Серафима Саровского, он же только в двадцатом веке святым-то стал. Так что любым иконам с образом Серафима Саровского ста лет быть просто не может.

– Я всё про Серафима Саровского знаю. Я тебе сейчас такое про него расскажу, чего ты уже никогда ни в одной книжке не прочитаешь, – чуть задумчиво и нерешительно сказал Синий, – вспомнилось почему-то сейчас.

На какой-то миг все трое вообще замолчали. Святой с образа по-доброму, совсем без укоризны смотрел на них, глаза его были живыми.

– И чего ты хочешь, Иван? – первым пришел в себя Дынник.

– Денег, – ответил Иван.

– А сколько?

– А сколько дашь! Мне у нас в Арзамасе сказали, что ты не обидишь.

– Так, а икона-то твоя или ворованная?

– Не-а – она у тёти Маши в чулане в углу всю жизнь стоит.

– Только у меня рублей нет – хочешь, я тебе триста долларов дам?

– Хочу, конечно. Я их сейчас же сразу и обменяю в обменнике.

Иван суетливо засунул полученные деньги во внутренний карман пиджака и смешно, спиной вперед, чуть не кланяясь, вышел из кабинета, плотно и осторожно закрыв дверь.

Коля Синий снова налил в рюмки, выпили – и сидели покупатели молча несколько минут, любясь образом.

– Так я тебе хотел рассказать о том, как были найдены мощи Серафима Саровского, – вдруг заговорил, будто очнувшись, Синий.

– В смысле?

– А в том смысле, что обнаружил их мой хороший знакомый из Сарова Валентин, и мне всю эту историю он сам и рассказал.

– Что мне твоя история? Я помню, когда у нас тут был крестный ход, связанный с перенесением мощей из Москвы в Арзамас, а потом и в Саров.

– Да при чем тут крестный ход? Чудак ты человек! Я хочу рассказать тебе историю, которую больше никто тебе не расскажет, потому что будет придумана какая-нибудь другая история про обретение этих мощей. Так вот, мой друг Валентин работал в администрации закрытого города Сарова, и приказало ему городское руководство создать городской краеведческий музей. А в тот момент в Питере, или Ленинграде он тогда ещё был, расформировывали Музей религии и атеизма, который находился в Казанском соборе на Невском: возвращали то помещение церкви. Посодействовали власти и моему Валентину: договорились с Питером и направили его туда в командировку, чтобы подобрал какие-нибудь экспонаты для своего краеведческого музея из неликвида музейного, ненужного. Набрал он там каких-то книжек церковных старообрядческих да подсвечников, которые в запасниках валялись, а ещё обнаружил он на чердаке старый короб. Открыл он

его, а там что-то в тряпочки завернуто и две рукавички сверху лежат, на которых написано «Отче Серафим», а на другой «Моли Бога о нас». Бросился Валентин к руководству, а те сразу же сообразили, что не всё тут так просто, и сразу звонить в КГБ и митрополиту. А потом уже все канонические истории будут придуманы. Вот так! А ты сам-то не заметил, какой это необычный образ, который ты купил? – спросил с расстановкой Синий.

– В смысле?

– А в том смысле, что видишь – вот тут сбоку аккуратненько залитый воском пазух? Там под воском мощи батюшки Серафима. Эта икона с мощами Святого Серафима Саровского. Это же большая редкость икона-мошевик. Тем более что со временем эти мощи из образов таких редких всё равно какие-нибудь идиоты выковыривают, а тут всё на месте. Чудо – икона-мошевик! Знаешь, она, эта иконка твоя, тысяч пять баксов, а то, может, и десять стоит.

– Ничего она не стоит, Коля!

– Что это?

– А то это! Мы с тобой её сейчас отвезём в храм, где я вчера крестился. В Ярмарочный собор, к отцу Владимиру. Должен же я какой-то вклад в храм сделать, а то там бедненько как-то. Поможешь мне?

– Ты что, Дыня – дурак, что ли? Это же бабки!

– Не дурак – хватит у меня на мой век бабок. Так поможешь мне?

– Ну, поедем – куда же я денусь.

Сели Коля Синий и Дынник в машину и поехали в храм. Повезло – отец Владимир был на месте. Он довольно сурово, даже как-то устало встретил гостей и дар их принял очень сдержанно, хотя и поблагодарил мужчин, пообещав внести их имена в служебный синодик храма в числе первых, чтобы поминать их теперь во всех службах.

Всё самое интересное случилось на следующий день. Ближе к полудню в кабинет к Ефиму Ильичу зашли два милиционера в форме и представились: капитан Корзинщиков и младший лейтенант Карась, отутюженные, выбритые, только глаза мутные – то ли с похмелья, то ли невыспавшиеся. Как положено, предъявили удостоверения.

И спрашивает капитан с совершенно блатной какой-то интонацией:

- Где икона, Дынник?
- Какая икона? – заикаясь, Ефим Ильич переспросил.
- Дурачком не прикидывайся! Икону вчера покупал?
- Покупал.
- Где она?
- В храм подарил, в Ярмарочный собор.
- Ты дурак? Или нас за дураков считаешь? В какой собор?

– В такой! Эта икона храмовая и должна висеть в храме на радость прихожанам.

– Знаешь что, Дынник, – эту икону позавчера украли у Моковой Марии Николаевны у нас в Арзамасе, она заявление написала, и вчера мы вора уже задержали. Он признался, что продал икону тебе. Мы к тебе сейчас из Арзамаса припоролы, и ты с нами поедешь в наручниках сейчас в Арзамас. Где икона?

– В храме. Сейчас пойдем, и вы сами убедитесь. А уж там решайте: забирать её из храма или там оставить!

Младший лейтенант шмыгал носом и грыз заусеницу на своем ногте. Но и капитан, было заметно, шумел и покрикивал от неуверенности, видимо, предупредили его, что Ефим Ильич непростая штучка. Заметил это опытный Дынник и даже немножко успокоился. Правда, пожалел, что нет у него пока ещё удостоверения помощника губернатора или советника – не получил ещё.

Засобирился Дынник, натянул на седую уже свою голову беретик, зачем-то взял портфель и скомандовал теперь уже сам:

– Пошли.

Ехали на милицейской машине, той самой, на которой сыщики из Арзамаса приехали. Опять повезло: отец Владимир был на месте, в храме. Справа от амвона, на невысоком подиуме, убранном красной тканью, стояла икона «Образ Святого Серафима Саровского», и даже лампадка перед образом была зажжена.

– Батюшка, отец Владимир, благослови, – пролепетал Ефим Ильич, встав как истукан и не зная, как себя вести.

– Благословляю, – проворчал батюшка и перекрестил Дынника.

– А вы что – даже шапки свои не снимаете? Ведь не в синагогу пришли, – это батюшка уже на сыщиков так прореагировал, – в православный храм всё же зашли, надо честь соблюдать. А мы с вами, Ефим Ильич, пойдёмте, пошепчемся.

Отец Владимир уважительно взял под руку Дынника и отошел в сторону.

– Что им надо от вас?

– Да ничего, батюшка. Пришли на образ чудесный посмотреть.

Милиционеры, спохватившись, стянули с голов фуражки свои.

– Ну что, давайте выйдем на воздух да решим, что будем делать, – обратился к сыщикам наш неофит.

– Пойдем, – ответил капитан.

Все трое вышли на церковное крыльцо.

– Ты, Дынник, посиди немножко в нашей машине, а мы с младшим лейтенантом должны посоветоваться. Посиди пять минут. Всё равно ты с нами потом поедешь в Арзамас: ты же купил украденную икону, а это уже скупка краденого. У нас же уголовное дело заведено и вор пойман. Посиди пока.

Молча ехали сыщики с подозреваемым Дынником к нему на работу, чтобы уже у него в кабинете составить и подписать соответствующие бумаги. В кабинете они без напоминаний сняли свои фуражки и положили их на подоконник. Младший лейтенант, стоя в углу, продолжил откусывать заусеницу со своего несчастного большого ногтя, а капитан уселся за стол и открыл свою папку. Он то вынимал оттуда какие-то бумаги, то вновь их засовывал назад. Потом у него что-то, видимо, переключалось в голове, и он выпрямлялся, и глаза его начинали гореть, но через миг он вновь удрученно лез в папку.

– Послушай, капитан, – обратился к нему Дынник, – а не стоит ли нам с тобой позвонить прямо сейчас в Арзамас к этой Титовой Марии Ивановне и рассказать, как всё устроилось. Я тебе точно говорю, капитан, что она просто

обрадуется, когда узнает, что её икона стоит в храме, да ещё в каком – в Ярмарочном соборе. Она же считает, что икона пропала – а вот и нет: она жива и здорова и уже радуется людей.

– Во-первых, она не Титова, а Мокеева, причем Мария Николаевна. Во-вторых, она в городской администрации у нас большой начальник, и нам уши надерут, если мы не вернем икону. А в-третьих, икона эта из храма Смоленской Божьей Матери, что в селе Проездном, и Мария Николаевна мечтала, что храм этот скоро отреставрируют и икона вернётся на своё место. Она в том храме ещё до войны висела, а потом её спасали много лет.

– Капитан, держи телефонный аппарат – звони Марии Николаевне, а я с ней сам поговорю. Я её уговорю оставить икону в Ярмарочном соборе. Ну не забирать же её оттуда, она уже там прижилась, ты же видел сам, подтвердишь ей. Звони. Если ты заберёшь эту икону из храма, батюшка Серафим нас потом как-нибудь да накажет – давай, не будем рисковать.

Вот и всё! Мария Николаевна очень обрадовалась, когда узнала, что образ Святого Серафима Саровского пришелся к месту в Ярмарочном соборе, в который она, по её же словам, с детства была влюблена. Пообещала она милицейским чинам забрать у них заявление, наказать Ваньку по-семейному, по-родственному, Дынника просто благодарила. А для постоянных прихожан храма, особенно для старушек, этот образ вообще стал любимым.

ВАННА АРХИМЕДА

За дровяными сараями, под огромными кустами акаций, стояли два мусорных ящика, покрашенные белой известью, и раз в неделю извозчик на телеге с большим деревянным коробом навещал их. Он откидывал переднюю стенку, державшуюся на крючках, и вилами перебрасывал наш домашний бытовой мусор в свой короб. Лошадь была у него красивая светло-рыжая, почти каурая, ей не нравился запах полыни, которая обильно росла вокруг мусорки, она высоко задирала голову, отворачивалась и изредка фыркала.

Этот участок за сараями мы называли «задний двор», и использовался он для не самых уважаемых потребностей: мальчишки бегали сюда, чтобы справить малую нужду, пацаны постарше тут втихаря покуривали, а взрослые мужчины здесь могли уединиться с бутылочкой «фруктовки». Стаканы для такого мероприятия всегда хранились в одном из ящиков давно отжившего свой век, перекошенного дубового письменного стола, стоявшего тут же, за которым встаячка и проводилась дегустация этого вкусного и полезного напитка с последующим обсуждением мировых мимолетных событий.

Рядом с этим убитым и терпеливым письменным столом лежала, как бы парой к нему, большая чугунная эмалированная ванна. Белая эмаль её была уже сильно поколота, из четырёх её ног в виде драконьих лап, обхвативших чугунные шары, осталась одна, но, и перекосившись, ванна продолжала оставаться внушающим уважение объектом: размер её был значительно больше современных. Дожде-

вая вода в ванне не скапливалась – она просто вытекала через слив, а листья и мусор кто-то, наверное, выбрасывал из неё, потому что в памяти моей она всегда была если и не белоснежной, то чистой. Но мы, мальчишки, не любили эту ванну.

Мы её звали ванной Архимеда. Поговаривали, что в этой ванне умер профессор Широков с нашего двора, а потому, наверное, её и выкинули: никто не хотел мыться в посудине, в которой самым натуральным образом умер до того вполне живой человек. Профессора не утопили, и он не утонул в этой ванне, а просто умер в ней от старости – мылся и умер. А профессора во дворе все звали Архимедом, потому что в какой-то нашей областной газете написали, что он великий-превеликий изобретатель. Сына его я вообще не помню, а внук его Николай был намного старше нас, и мы с ним почти не общались. В тот год, который я вспоминаю, мне было лет девять или десять, а внук профессора уже учился в институте.

Легко вспоминать прошлое, когда оно само собой вспоминается, а когда насилуешь себя, пытаешься что-то вспомнить, то часто потом уже и сам не знаешь: то ли ты вспомнил что-то действительное, что было на самом деле, а может, и не вспомнил, а просто нафантазировал. И вся эта картинка прошлого становится карикатурой, и сам ты уже не веришь, что всё, что ты вспомнил, случилось.

В том году три или четыре дня подряд у нас на заднем дворе было настоящее пацанское столпотворение. И не объявлял никто нигде ничего, а ребят собралось там, за сараями, просто много: и наши, и с соседней улицы, и совсем незнакомые. Я случайно туда заглянул уже под вечер, торчало там человек пятнадцать: кто-то с кем-то вполголо-са разговаривал, а кто просто семечки лузгал, и все чего-то ждали. Май месяц, тепло, солнышко ещё не село, но уже привалилось, майские жуки пулями носятся, шумят.

И вот: только я заглянул туда, за сарай, как откуда-то сверху, прямо с вершинок берёз, которые вдоль сараев стояли, спикировал, а точнее спланировал, прямо в ванну Архимеда мужчина небольшого роста, уже в годах. Весь он серый какой-то был: и рубашка безрукавка серая, и брюки

полотняные мятые, и полуботинки тоже светлые, а сам седой. Встал он в этой ванне, потянулся, руки разведя в стороны, будто только что проснулся, и говорит:

– Это хорошо, что вы пришли. Завтра ещё всех своих друзей приводите. А чтобы не напрасно у вас сегодняшней день прошел, учу вас и предупреждаю: кто пролежит в этой ванне молча час, тому по жизни большой фарт будет. На завтрашний вечер у меня для вас сказка любопытная припасена.

Тут стал накрапывать крупными каплями дождик, а потом ливень майский, как стеной, с неба свалился. Все побежали по домам, а мужичок этот в сером, или колдун он какой-то, подпрыгнул мягко, по-кошачьи и прямо сквозь струи к вершинкам берёз и улетел. Только его и видели. Точнее – я всё это видел.

На другой день мы с мамой к кому-то в гости ходили, и на вечернем волшебном мероприятии я не был. Во дворе мальчишки мне потом рассказали, как этот колдун в сером, а его уже так «колдуном» все стали звать, снова с берёз прямо в ванну спикировал. Это когда уже сумерки на дворе были. Никакую сказку он ребятам рассказывать не стал, а только спросил:

– Кто из вас лежал в ванной?

Трое наших мальчишек в ванной уже полежали, но не по часу, а меньше и поочередно. Потому они промолчали. А мой хороший друг и одноклассник Филипп Огнев из соседнего двора, где пожарная каланча была, я его вообще-то звал Филькой, подошел к этому колдуну в сером и признался:

– Я пролежал в этой ванной Архимеда больше часа этой ночью молча, и никто меня не видел.

– Я знаю, – ответил колдун, – приходи завтра.

Это всё мне сам Филька и рассказал на другой день.

– Филька, ты чего задумал? – спросил я у него. Я же видел по его мимике и жестикуляции, что у него что-то хитрое на уме.

– Ничего! Вечером увидишь.

– Чего увижу?

– Я хочу улететь с этим серым колдуном.

– Куда?
– Куда угодно.
– А родители?
– А родителям наплевать! Они в стельку пьяные третий день лежат, и когда в себя они придут – никто не знает. А если придут, то радости мне от того больше не будет, а, может, только меньше ещё.

Я знал его родителей: и папу, и маму, знал и то, что они иногда выпивают, но никогда они не дрались и не ругались. Такое отчаянье в интонациях Филькиных я услышал впервые и отговаривать его от каких-то решительных шагов я не мог после его слов, в которых была не только обида, но и какая-то особая недетская злоба.

Если бы мне кто-то рассказал про такое, то я, наверное, и не поверил бы. Но ведь я же сам видал в тот вечер это чудо. Филька подошел к этому серому колдуну, и о чем-то они долго-долго шептались.

В мае ночи бывают очень светлые, но в тот раз сумерки темные-темные сразу спустились. Все ребята разошлись уже по домам, а я всё сидел на мусорном ящике и Фильку ждал. Колдун с Филькой сначала на краю ванны сидели, а потом ходить стали, прогуливаясь по-взрослому, и о чем-то разговаривали при том. И вдруг мужик этот прилетевший, который «колдун», Фильку под мышки обнял, и вместе они легко, плавно и бесшумно прямо-таки сиганули вверх и пропали. И тихо так стало.

Интересно, что когда я на другой день пошел в Филькин двор, чтобы узнать, что с ним произошло, то мне там местные женщины сказали, что и Филька, и его родители давно уже переехали куда-то, а куда никто не знает. Так он пропал из моей жизни, но, как потом оказалось, не навсегда.

Не знаю, почему мне вся эта история снова сегодня припомнилась – может, что-нибудь интересное случится на днях. Только вот лежал я лет десять назад в довольно хорошей больнице, профилактически лежал, без проблем, для общего обследования, врачи велели. Лежал я в отдельной персональной ВИП-палате с холодильником, с телевизором; но одно неудобство во всем процессе моего

обследования было: главврач больницы как раз в то время решился на свою персональную и ответственную борьбу с курением. И вот вся курящая часть его очень даже немаленького коллектива: и врачи, и медсёстры, и поварахи, и больные – ходили теперь в подвал, и там, среди бочек из-под краски, курили. И это вместо того, чтобы во дворе около скамеечек урны поставить.

Так вот, палата у меня была в общем и в целом виповская, а курить приходилось ходить в подвал другого корпуса через несколько лестниц и переходов. В последний день моего пребывания в этой клинике, уже в ожидании эпикриза, который заполнял мой лечащий врач, я пошел покурить в этот пресловутый подвал. Там-то я и столкнулся с солидным и даже грузным мужчиной моих лет, с которым поделился я своей вышеизложенной теорией. Судя по одежде, он пришел кого-то навестить – одет он был представительно, а не по больничному. Он выслушал тогда меня молча, расставаясь, пожал зачем-то руку и как-то странно и криво ухмыльнулся.

Полчаса спустя, собрав свои вещи в пакет: ложку, кружку, домашние тапочки, книжку, которую так и не дочитал в свободное больничное время, я попрощался с медицинскими сестрами, которые меня замечательно обслуживали все две недели. Нянечка в моей палате простыни чистые уже застелила, воду в кувшин свежую залила, полы мокрой тряпкой протерла, и специальная лампа ультрафиолетовая для общей дезинфекции была включена, а я в знак особой доверительности был ненадолго допущен в ординаторскую, где пил чай в ожидании своей окончательной истории болезни, на которой кто-то где-то должен был поставить какую-то печать.

Как раз в этот момент мой лечащий врач, заведующая отделением, привела в мою бывшую уже палату нового пациента: это был тот самый солидный, даже скорее грузный господин, с которым я только что курил в другом корпусе в подвале. Я сидел в двух шагах от них, когда моя доктор к нему обратилась:

– Филипп Иванович, товарищ генерал, проходите, располагайтесь – это ваша палата.

Но господин генерал, остановившись, с нескрываемым интересом и с легкой ухмылкой смотрел на меня. Он даже задержался около ординаторской.

– Узнал? – спросил он.

– Нет, – ответил я и покачал головой. Хотя в памяти моей уже что-то шевельнулось.

– Ванну Архимеда помнишь? – спросил снова генерал.

– Нет, – ответил я и снова покачал головой.

Я действительно в тот момент не мог вспомнить какую-то ванну и не мог вообще понять, о чем идет речь.

– Ну, ничего, вот окончательно выздоровеешь, дома на диванчике полежишь и всё вспомнишь.

На том мы и расстались.

А потом, конечно, я всё вспомнил: и «задний двор» за сараями, и ванну Архимеда, и серого колдуна, и Фильку, который улетел. И любопытно было бы поболтать с моим Филькой из детства, этим генералом Филиппом Ивановичем, да только где же его теперь найти!

Жанна ПЕСТОВА

Кстово

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Таша смотрела в окно, раздумывая: пойти прогуляться в парк или заняться домашними делами? На что потратить дополнительный выходной?

Дотянулась до телефона, включила любимый «шум моря». Закрыла глаза, представляя себя на пляже. Волны накатывают на берег, кричат чайки, солнечные блики слепят глаза... Как жаль, что минувшее лето прошло без моря, без пляжа. Отпуск пролетел незаметно и неинтересно.

В телефоне плюмкнуло сообщение. «Уважаемые коллеги, ознакомьтесь с приказом... В связи с неблагоприятной ситуацией... Переводятся на дистанционный режим работы...» Глаза пробежали по строчкам, но она уже знала содержание, уже можно не читать. «Де-жа-вю» – произнесла обреченно, по слогам, словно в три рывка пытаюсь скинуть, сдвинуть глыбу, придавившую своей тяжестью, не дающую дышать, мешающую жить.

Враз расхотелось строить планы даже на день. Опять начинаются мутные дни домашнего ареста, так она называла самоизоляцию. Едва пережила весну, отнявшую так много сил, и не только сил, перевернувшую ее всю. И что с того, что это во всем мире, что многим хуже, чем ей, что это «для ее же блага». Какое ей дело до других. И разве другие, те, которые во всем мире, этого хотели?

* * *

Тогда тоже была пятница. Отгул. И впереди еще два выходных. Мини-отпуск. И большие планы. С Антоном они собирались отметить год своих отношений. Решили никуда не ходить, устроить романтический вечер, плавно переходящий в романтическую ночь и не менее романтические выходные. Устраивать красивые вечера, небольшие праздники – одно из любимых занятий Таши. Продумывалось все: и интерьер, и музыка, и меню, и освещение. Всю неделю Таша была занята мыслями о предстоящем событии, потому и известие о введении ограничений стало для нее полной неожиданностью.

«Берегите себя, оставайтесь дома», – так заканчивалось послание от директора с приказом «работать в закрытом режиме».

Скоро эта фраза приобретет навязчивый и угрожающий оттенок. Угрожающая забота, забота, от которой хочется избавиться.

Таша прочитала приказ, приняла к сведению, что с понедельника библиотека работает в режиме «без читателей». Ее это не сильно озаботило, отдел комплектования с читателями не работает, значит, для нее ничего не меняется. «И зачем столько суеты?» – подумала она и занялась домашними делами.

И только отправившись по магазинам, заметила, что что-то изменилось в городе. Люди стали какие-то озабоченные, раздраженные. Скупают стандартный кризисный набор продуктов: гречку, соль, тушенку. Таша пришла за мясом, сыром и зеленью. Эти продукты у толпы интереса не вызывали, и Таше никто не мешал спокойно выбирать, благо выбор был неплохой. Только в кассы выстроилась очередь. Длинная, раздраженная. Ташу она утомила, но уйти без покупок она не могла. Всеми силами старалась не слушать разговоры и уж тем более не вступать в них. Не хватало еще какому-то то вирусу и массовому психозу испортить ее праздник.

И все же праздник был испорчен. Все пошло не так, как хотелось. Антон, как ни старался, не смог справиться

с тревожными мыслями. Они держали его в напряжении. Таша уже пожалела, что запретила ему говорить о пандемии, об ограничениях и прочих свежих новостях. Ей так хотелось, чтобы главной новостью вечера стала их дата, их отношения, перспективы развития этих самых отношений. Но, увы, мужчины устроены иначе. Разговор не складывался, каждый думал о своем.

– Прости, что испортил тебе вечер. Все не так должно было быть, – Антон извинялся спокойным, ровным голосом, как извинялся бы за упавшую со стола вилку, без раскаяния и сожаления.

– Да, не так. Совсем не так, – Таша не стала делать вид, что не расстроена, спохватившись, добавила: – Но разве это может повлиять на наши отношения?

Она подошла к сидящему Антону сзади, положила руки на плечи, пытаясь расслабить легким массажем. Пришлось потрудиться, прежде чем напряжение начало спадать. Камень, давящий на плечи, начал растворяться, рассыпаться под руками. Антон благодарно поцеловал ее ладони. Теплый душ завершил начатое Ташей. Ароматические свечи наполнили их ночь легким ароматом сандала.

Выходные прошли без телевизора и интернета. Ездили в лес, смотрели любимые старые фильмы, дурачились. В воскресенье вечером, когда пришло время настраиваться на рабочую неделю, Антон снова стал тревожно-озабоченным. Таша никогда не расспрашивала его о работе. Довольствовалась тем, что рассказывал сам, понимая, что работа в городской администрации может иметь свои секреты, тем более в отделе, отвечающем за гражданскую оборону.

Утром Антон высадил Ташу около библиотеки, уехал и позвонил только вечером. Усталым голосом спросил, как дела, сослался на занятость и пожелал спокойной ночи. Впрочем, Таша была к этому готова. Библиотеку лихорадило весь день. То нельзя пускать посетителей, то можно, то нужно обязательно предупреждать, что с завтрашнего дня библиотека будет закрыта. Их отдела это не касалось, но общая нервозность, помноженная на слухи, сплетни, версии очень действовала на нервы. Пришел приказ провести дезинфекцию помещения своими силами. Но

средств для этого нет. Отложили на завтра. На следующий день в библиотеке запахло хлоркой и спиртом. Очередной приказ обязал ходить в масках и перчатках. Никто не мог понять, зачем перчатки, но надели. Начали курсировать слухи, что всех отправят в административный отпуск. В такой нервозности прошла неделя.

В выходные Антон сам предложил не говорить о коронавирусе, не обсуждать последние новости: устал от них на работе. Таша с радостью согласилась. Решили сходить в парк, но парки уже закрывали. Так неожиданно и странно. Погуляли по холодному пустеющему городу, без удовольствия, словно по необходимости. В дороге молчали. Говорить ни о чем не хотелось. Это был первый звонок грядущей затяжной неопределенности. Почти физически Таша ощущала, что мир меняется, меняется вся жизнь. Непонятно почему и неизвестно как: не война ведь и не революция. И что делать, как жить – тоже непонятно. Оттого и темы для разговоров иссякли. Тема только одна, надоевшая, тоже непонятная, – коронавирус и все, что с ним связано: количество заболевших, распространение и ограничения. Но обсуждать это – зачем? От них с Антоном ничего не зависело, и потому, считала Таша, разговоры бессмысленны. Антон соглашался или просто не спорил, Таша даже не задумывалась. Для нее главным было, чтобы эта тема в их личных разговорах не возникала. Она решила изолировать себя от них. Так и прошли два дня. Вечером Антон засобиравшись домой.

– Сегодня не смогу остаться. Завтра еду в командировку, – буднично сказал он, поднимаясь из-за стола после ужина.

– И ты мне вот так, походя, об этом говоришь? – Таша старалась сдерживать себя, она не хотела заканчивать вечер скандалом, тем более скандалом на пустом месте, но нервы начинали сдавать.

– Не понял. Что тебя возмущает?

– Почему ты мне только сейчас об этом говоришь? Ты что, только что узнал про свою командировку? Или придумал ее? – Таша заводилась все больше. Казалось, что все напряжение и раздражение, что она давила в себе последнюю неделю, вырвалось наружу, его потоком затопило и саму Ташу.

Однако Антон остался невозмутим и спокоен. Обычно ей очень нравилась эта его способность – сохранять спокойствие в любых ситуациях, но не сегодня.

– Ты... Ты... Как ты можешь? Я для тебя ничего не значу? Со мной можно не считаться? – От возмущения у Таши перехватило дыхание, пропал голос. Она как рыба только открывала рот, не произнося ни звука.

Антон обнял, прижал к себе крепко-крепко, не давая пошевелиться. Она пыталась вырваться, но не могла. Вскоре устала и обмякла. Невольно начала дышать с Антоном в одном ритме. Только тогда он отпустил ее.

– Командировка по области. Выезжаем рано утром, – как ни в чем не бывало продолжил он разговор. – Нужно лечь спать пораньше, чтобы завтра не клевать носом. Да и тебе нужно отдохнуть. Впереди сложная неделя.

Антон улыбнулся и коснулся кончиком своего носа ее носа.

Ушел, тихо закрыв за собой дверь. Таше стало стыдно за истерику. Она то хваталась за телефон, чтобы позвонить и извиниться, объяснить, то бросала телефон, убеждая себя, что лучше отложить разговор до завтра. Ее мучения прервал телефонный звонок.

– Слышала новости? – огорошила с ходу вопросом коллега. – Включай телевизор.

Очередной указ президента внес еще большую сумятицу, вызвал новые волнения: режим нерабочих дней с сохранением зарплаты. И вовсе непонятно, что такое. Никто не работает, но все получают зарплату. Дожили до мифического коммунизма? Но какой-то он совсем нерадостный. Потому как выяснилось, что и тратить особенно негде. Закрылись кафе, кинотеатры, даже библиотеки. И магазины, кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости. «Впереди сложная неделя», – сказал Антон на прощание. Он знал? Знал, но не сказал?

Вирус, эпидемия, пандемия – казались несерьезными, далекими. Это где-то в Китае, это не у нас, у нас же никто пока не болеет. Нет среди знакомых заболевших. Даже странно: при гриппе все болеют, но ходят на работу. Сейчас никто не болеет, но все должны сидеть дома.

Позвонил Антон, сказал, что в ближайшую неделю будет очень занят, приехать не сможет, часто звонить тоже, просил беречь себя и не выходить из дома без крайней необходимости.

– Но погулять на свежем воздухе же можно? Это полезней для здоровья, чем сидеть дома.

– Не в этот раз. Это не грипп. Лучше сидеть дома, поверь мне, – устало добавил Антон.

Сидеть целый день дома оказалось скучно. Телевизор раздражал, новости в интернете тоже. Таша с удивлением отмечала, что пропали желания и стремления. Даже читать не хотелось. Промаявшись, в беспцельных хождениях, сидениях и лежаниях, потерявшись во времени, Таша решила все-таки составить план на следующий день и заставлять себя его выполнять. Четко, по минутам, расписала домашнюю работу, отдых, чтение, физразминки, прием пищи.

Позвонила мама, потом сестра. Разговоры как под копирку: как дела, как здоровье, береги себя. Оказалось, что Таша упустила особый режим наиболее строгих ограничений для хронических больных. Ее астма, давно уже о себе не напоминавшая, вдруг стала причиной таких ограничений и для нее. По улицам курсировали автомобили с громкоговорителями: «Берегите себя. Оставайтесь дома». Как же хотелось поскорее проснуться и понять, что вся эта истерия – сон, мутный, тяжелый, давящий. Но это не сон, увы, совсем не сон.

Нерабочие дни продлили до конца месяца. Антон звонил все реже. Да и когда звонил, разговоры становились дежурными, неинтересными. Разве что подтверждали, что помнит, любит, заботится, но очень занят. И у нее новостей для него не было. Какие могут быть новости у человека, безвылазно сидящего дома. Новостей не было даже в новостных программах по ТВ, вместо них – пережевывание и на разные лады трактуемая тема ограничений и статистика заболевших.

Объявили, что для выхода из дома нужны веские основания, нужно оформлять пропуск. Таше эту новость принесла подруга. Они так смеялись, обсуждая ее: как это

взрослые люди должны спрашивать разрешения у неведомого дяди сходить в магазин, в поликлинику, навестить родственников. Хотя родственников, особенно пожилых, навещать не рекомендовано без крайней необходимости.

Мама объявила тоном, не терпящим пререкательств, что Ташу они пока не ждут и не пустят, даже если она придет без разрешения. Таша обиделась поначалу, она же не заразная и не виновата ни в чем. За что ее отлучили от родительского дома? Но мама была непреклонна: для твоего же блага.

Она осталась совсем одна. В своем режиме самоизоляции. Новое слово, рожденное пандемией. Таша не принимала его, пыталась с ним спорить. Больше ей спорить было не с кем. Из-за астмы даже кота завести не могла.

Хорошо, что вскоре объявили, что работать они будут, но дистанционно, из дома. Непонятно, но уже хоть какое-то занятие, действительно нужное и важное.

Жизнь перешла в режим онлайн. Общение с коллегами и начальством в общем чате, в личных сообщениях. Прислали сканы карточек и дали доступ с домашнего компьютера к электронному каталогу. Обозначили норму вливаний в каталог на каждый день. Первому заданию Таша радовалась как желанному подарку. Наконец-то работать!

От сидения за компьютером ужасно болела спина. За компьютером проходил весь день. Завтракала, глядя в монитор, переписываясь с друзьями. Потом работа. Обед, если вспомнит про него, тоже за монитором. Вечером смотрела фильмы. Любые, неважно какие, главное, что фильмы по интернету не прерывались рекламой, как по телевизору, и между ними не было новостных передач, не вспыхивали внезапно истериками ток-шоу. Продукты приносил курьер. Сама она выходила из дома только вынести мусор.

К концу месяца, когда позвонил Антон, Таша поняла, что не может разговаривать, разучилась. Разучилась произносить длинные предложения вслух, разучилась поддерживать разговор без смайликов и картинок. Открытие так поразило, что она быстро свернула разговор, пообещав перезвонить позднее. Потом долго сидела с телефоном в руке, удерживая себя от искушения написать Антону в мессенджер, как уже привыкла, все объяснить. И толь-

ко часа через два, собравшись с силами, набравшись решительности, позвонила ему. Все объяснила, заранее для себя вслух проговорив весь текст. Он понял, не посмеялся, как она боялась. Проговорили час. Договорились созваниваться каждый вечер, но вскоре разговоры прекратились. Антон снова уехал в командировку. Как обычно, не объясняя куда и зачем.

– Я какое-то время буду занят. Ты пиши мне. Пиши каждый день. Даже если я не буду отвечать. Я все равно буду читать, – сказал на прощание.

Писать в одну сторону скучно и не о чем. И она стала молча ждать возвращения.

* * *

...Таша открыла кухонный шкафчик, проверила наличие круп. Все есть, пополнять пока не надо. Антон всегда смеялся над её запасами. Запасов больших не было, но любила, чтобы дома было несколько видов круп, чтобы не нужно было вечером срочно бежать в магазин. Хотя в период карантина, когда поход в магазин стал едва ли не единственным поводом выйти в люди, запасливость ее скорее мешала. Продукты в магазине не кончились. Что делали люди с закупленными впрок, неведомо.

Забиться в норку. Желание, которое сопутствует вот уже больше полугода. Навязчивое, вязкое желание, словно вата обволакивает, прячет от всех остальных желаний, притупляет эмоции. Изолирует. И норка выстраивается сама, виртуальная, воображаемая, но зато очень уютная.

Не дай вам бог жить в эпоху перемен. Так себе проклятье по нынешним временам. В эпоху неопределенности – это сильнее. «Не круто ли завернула – в эпоху?» – с усмешкой попыталась осадить подруга. Она пришла в гости на чай только в июле, только, когда отпустили на относительную свободу – стало можно ходить на работу.

– Нет, не круто, – для себя Таша определила интуитивно, ей этого вполне достаточно, но для других всегда нужно находить весомые аргументы, выстраивать доказательства.

– Не круто, – повторила она, собираясь с мыслями. – Никто не знает, сколько это продлится. Как в войну, поначалу думали, что несколько месяцев, и мы победим. Верили, что война ненадолго. А растянулось на годы... Вот как мы и сейчас. Сколько продлится эта пандемия – неизвестно. А поначалу казалось: месяц, два... И враг у нас общий, для всех стран, и убивает беспощадно. Незримо и тихо проникает он в наши дома. В кого попадет его снаряд? Неизвестность выматывает, лишает желаний. А снаряды падают все ближе, уже и знакомых, и родных зацепило. Я вот только сейчас осознала, почувствовала, что в войну труднее всех было тем, кто в концлагере. Мало того что условия существования ужасны, но к ним добавлялись еще неопределенность и неизвестность. Они ведь не знали вообще ничего о том, что происходит на фронте, как продвигается наша армия. Что давало им силы жить?

– Другим, что ли, легче было? Тогда была война. Всем тяжело. Ты думаешь, те, кто жировали и за кусок хлеба ценности скупали, не боялись, спокойно спали? Нет, подруга, ты не сравнивай. У каждого свои трудности.

Помолчали. Таша не находила слов для, возражений. Понимала, что подруга неправа, но слова не подбирались. Разучилась.

– Хватит, хандришь! – прервала паузу подруга. – Давай лучше выпьем за Победу. Я, честно, говоря, думала, что нас выпустят к 9 Мая, отменят карантин. Такой праздник, столько подготовки. Да и парад прошел без нас.

– Как в ноябре сорок первого. Парад был, а радости не было.

Подруга разила вино по бокалам. Красное, тягучее, с привкусом чернослива.

Переглянулись, поняв, что думают об одном и том же, рассмеялись.

– Хватит хандрить! – повторила подруга. – Много чего мы видели и пережили. И это переживём. Все имеет свой конец. И пандемия тоже.

Летом казалось, что еще чуть-чуть потерпеть, и все закончится. Не только разрешили ходить на работу, но и поехать на море, даже в Турцию. И были отчаянные, ко-

торые ехали, оправдываясь: как же мы без моря. Таша не понимала. Не могла понять, как это: то нельзя совсем ничего, то можно поехать, но только в определенные места. А в своем городе – много куда нельзя, а если и можно – по предварительной записи, в маске.

Первые дни Таша боялась людей. На работу ходила пешком. Автобусы казались рассадником вирусов. Никто никакой дистанции в них не соблюдает – это невозможно. Приходилось вставать на два часа раньше. Ходила пешком, в маске и перчатках. Пусть смеются и говорят, что у нее коронавирус в мозгах, что на улице можно и без маски. Она не может быть такой безответственной. Только когда пошли дожди и риск простудиться стал очевиднее, чем подхватить вирус, решила сесть в автобус. Первые дни надевала поверх одежды дождевик для защиты, потом постепенно привыкла. Вернулась к обычной жизни, почти обычной.

Пару раз приезжал Антон. Но... Их любовная лодка разбилась о ковид. За три месяца стали чужими, далекими. Оба это поняли, и поняли, что ничего не вернуть.

«Мир не будет прежним» – почти рефреном звучало в новостях после радужных прогнозов. «Ничего никогда не бывает прежним», – добавляла Таша. Надо научиться жить в изменившихся условиях. В условиях ограничений. Это надолго. Расслабляться нельзя. Это всего лишь послабления. Нельзя же жить в постоянном напряжении. Сейчас немного ослабят, дадут вздохнуть, потом опять затянут поводок. «Ты пессимистка!» – говорила сестра. «Нельзя же так мрачно смотреть на мир! – вторила ей подруга. – Уже есть вакцина. Скоро все кончится. Испанка мучила два года. Но это когда было – сто лет назад. Сейчас технологии».

И так хотелось верить. Но.

«Оставайтесь дома. Берегите себя. Ознакомьтесь с приказом». И снова – на дистант.

А впереди – Новый год. И уже набирает силу новый массовый психоз с верой, что как только сменится год, сразу все будет хорошо. Со сменой дат поменяется жизнь?

Как же хочется верить!

Иван КАТКОВ

Дзержинск

АЛЬТЕР ЭГО

(Отрывок из повести)

1

– Лёх, начинаем, как договорились. Ок? – открыл банку пива Серега, наш барабанщик. – И давай сегодня без подстав.

Он был в красных шортах и майке с группой Korn. Светлые волосы пострижены под модный ирокез, в растянутых мочках зияли черные тоннели.

Я нервно подёргал неподатливую молнию на чехле с гитарой. Руки мелко дрожали. Я всегда волновался перед выступлением.

Барабанщик сделал большой глоток и откинулся на драную спинку дивана.

– Дай-ка, хлебну, – покашлял Егор, бас-гитарист. Длинноволосый, с рыжей бородкой и пирсингом в брови.

В тесную гримёрку, обклеенную плохо пропечатанными чёрно-белыми афишами, шумно ввалились музыканты из эмокор-группы «Босиком по битому стеклу». «Босяки», как шутливо мы их называли. Все с длинными косыми челками и в узких, как лосины, джинсах.

На гитаре у них играла Соня. Смазливая и хрупкая, с цветной татуировкой в виде бабочки на шее. Егор подскочил к ней и сел рядом. Попытался приобнять, но гитарист-

ка молча сбросила его руку. Затем хмыкнула, поднялась и пересела на другой диван.

«Босяки» были хедлайнерами, мы на разогреве.

Ребята болтали и курили. Соня отрешённо молчала и смотрела в пол, изредка прикладываясь к жестяной баночке с «Ягуаром».

В зале за стеной нарастал шум. Слышался девичий визг и громкий хохот. Кто-то надрывно рычал «гроулингом». Диджей, он же клубный звукорежиссер, поставил какой-то зубодробительный металкор.

Неожиданно дверь гримёрной открылась. Возникла покрасневшая физиономия Семена, организатора.

– Парни, – тяжело дышал он, облизывая пересохшие губы, – через пять минут на выход, ясно?

Семен относился к своим обязанностям чересчур ответственно. Словно он был импресарио самой «Металлики».

– С вещами? – глупо захихикал Серега, отобрав у Егора жестянку «Клинского».

– Баран! – рявкнул Семен и захлопнул дверь.

Я достал из рюкзака бутылку водки, литровую коробку томатного сока и гармошку пластиковых стаканчиков. Все это выложил на изрисованный маркером столик.

– Ну ты тихушник, – вскочил Егор, потирая ладони, – у самого водястый в бэге, и молчит.

– Угу, – ответил я, – нажрёшься – опять лажать будешь.

– Чё ты лепишь?! Когда такое было?

– Лучше спроси, когда такого не было, – примирительно улыбнулся я и, придерживая стаканчики, разлил водку.

– Чуваки, будете? – предложил Серега «Босякам» и приподнял бутылку.

– Не, неохота, – поморщился вокалист, старательно укладывая набор челку. Его ногти были покрыты чёрным лаком.

– Как хотите, нам больше достанется, – Егор подмигнул Соне.

Она вздохнула и отвернулась.

Мы дружно опрокинули по стаканчику. Запили соком из коробки.

– Ну, двинули, – сказал я.

Взяли инструменты и примочки. Серега прихватил запасной комплект барабанных палочек.

– Ни пуха! – крикнули вслед «Босяки».

– К черту! – символически поплевал я и, развернувшись, показал козу.

Ступили на низкую, не выше лестничной ступеньки, сцену. Часть кирпичной стены была выкрашена в бордовый цвет. Другую половину стены скрывала растянутая маскировочная сеть камуфляжной расцветки. Под потолком крепилась громоздкая оцинкованная вентиляционная труба. Рядом с ней подмигивал круглый, похожий на автомобильную фару стробоскоп.

Народу в клубе «Джангл» было под завязку. Впрочем, как в любой вечер пятницы. Большая часть публики – эмокиды. Но мелькали лица и постарше – наши друзья из «Бродвейской» тусовки. Многие из них были настолько пьяны, что едва держались на ногах.

– Привет всем! Для тех, кто не в курсе, мы «Альтер эго», – объявил в микрофон я, дождавшись, когда музыка стихла.

Нам заплодировали, но вяло.

– Лёха, мочи! – кто-то пьяно выкрикнул из толпы.

Я кивнул барабанщику. Серёга вдарил по рабочему, пошумел тарелками и смолк.

Do you have the time to listen to me whine?
About nothing and everything all at once,

– начал я, утопив педаль примочки.

Повернув голову во время проигрыша, я увидел озлобленное лицо барабанщика – вместо собственной песни я шпарил Green Day. Серёга беззвучно матерился и показывал мне средний палец. Но ему ничего не оставалось, как вступить в середине куплета драйвовой сбивкой.

Народ заверещал. В центре зала образовался слэм. Девчонки в коротких майках и облегающих джинсах забирались на сцену и ныряли в толпу, их тут же подхватывали десятки рук. Движ начался.

Я был в кураже. В кровь ударил адреналин. Я левитировал, как индийский йог, был ницшеановским сверхчеловеком, я оторвался от земли и взмыл в небо.

Когда закончили песню, Серёга выбрался из-за установки. Подскочил к стойке с микрофоном, потеснил меня и голосом конференсье произнес:

– Ребята, а сейчас, впервые и только для вас, мы исполним нашу собственную композицию.

И нырнул обратно за барабаны.

– На хрен! На хрен! Давай «ГрОба»! – заорал Артур Паровоз, размахивая откупоренной бутылкой пива.

Раскачиваясь из стороны в сторону, Егор заиграл свою бас-партию.

Немного затянув со вступлением, я ударил по струнам. Серёга держал ритм и даже успевал крутить палочки меж пальцев.

Надувные слова –
Борозды на запястьях,
Колдовские глаза
Не приносят счастья.

Всякий день как игла,
Ну а ночь – распятие,
В этом мире была
Ты моим проклятьем...

– запел я, не попадая в ноты.

Зал был мёртвый. Не считая, конечно, двух пьяных волосачей в балахонах «Ария» и Manowar непонятно как сюда затесавшихся. Обняв друг друга за плечи, они исполняли матросский танец и трясли немытыми хакерами. Им было все равно, под какую музыку отплясывать. Недоиграв второй куплет, я махнул Серёге – завязывай.

Затем, под одобрительные выкрики, мы исполнили пару песен Blink-182. И завершили выступление уже порядком нам надоевшим, но еще многими любимым «Джанком». Jane air – это был беспрюигрышный вариант.

После концерта отправились на «Бродвей» – просторную площадку у здания Центра занятости. Она находилась на главной улице Циолковского.

Угощали «Босяки». За выступление с ними расплатились двумя ящиками пива. Ну а мы, как обычно, играли за спасибо. Уже второй год наработывали аудиторию.

Малолетки тусовались чуть поодаль. Оккупировав лавочки, они передавали друг другу пластиковые бутылки с ядовитым вишневым «Блейзером». Несколько парней в скейтерских кроссовках играли в сокс. Девчонки слушали на телефоне «Оригами» и наперебой подпевали звонкими нестройными голосами.

Стоял тёплый июньский вечер. В окнах соседних домов загорались огни.

– Лёх, еще одна такая подстава, и ищи другого барабанщика, – Серёга ловко выхватил из ящика пиво, скovyрнул крышку зажигалкой, – мне такие качели на фиг не упали.

– Ну да, конечно, все же были в восторге от нашей песни, – усмехнулся я, глотнув из бутылки, – зря мы вообще её сыграли, только опозорились.

– Да срать на всех, это панк! Вот тебе самому не надоело еще эти кавера запиливать?! Тогда чем мы лучше каких-нибудь лабухов кабацких?

– Рюмку водки не исполняем, – буркнул я.

– Угу, *пока* не исполняем, – уточнил он.

Мимо прошли два гопника с полторашками пива. Покоились на нашу толпу, но подойти не решились.

– Не, я вообще не догоняю, – наступал Серёга, – на хрена нам тогда вообще твои песни разучивать, репать... Бабки, кстати, немалые отваливать за репточку... Пора уже свое лицо иметь, а не за чужими ссыкливо прятаться. Да и опыта у нас уже – вагон.

Я промолчал. Что я мог ему возразить, он был прав.

Я выбил из пачки сигарету, чиркнул зажигалкой, закурил.

– Подумай об этом, – Серёга отошел в сторону.

Он приблизился к девушке с красными дредами и обнял за талию, но та, хихикая, отбежала. Серый развел руками.

Пьяно покачиваясь, изобразил реверанс. Ребята из компании рассмеялись.

– Ладно, народ, счастливо, я домой, – поднялся и гулко выбросил в урну пустую бутылку.

– Да ты чё! – отозвался Егор. – Давай еще погуляем, время же детское.

– Не, харэ, завтра на работу с утра.

– Работейшен – полный деградейшн, – выкрикнул кто-то.

Я навесил на плечо чехол с гитарой, прихватил рюкзак и пошел домой. По дороге с визгом пронеслась стая байкеров.

3

– Опять пиво лакали, – фыркнула мама.

На ней была растянутая серая футболка и широкие спортивные штаны. В крашенных рыжих волосах – бигуди. Лицо худое, с крохотными, точно штрихи, морщинками на лбу.

– Ну выпили по бутылке, чё такого-то, – устало оправдывался я, стаскивая кроссовки.

– Вонь на всю квартиру, как в пивбаре.

– Отстань, а. И так тошно.

– Тошно ему...

Мама ушла в зал и оттуда выкрикнула:

– Еда на плите, и обувь свою в коридоре не разбрасывай!

Ужинать не стал. Принял душ и прошёл в комнату. Переоделся, включил компьютер. Пока он загружался, я откинулся на спинку кресла. Заложив руки за голову, бестолково пялился в стену, на которой висел календарь с группой Foo Fighters.

Открыл браузер, вошел во «ВКонтакте».

На стене висела новая запись от пользователя *Tatyana Ylvanova* – небрежно нарисованные голубые сердечки и чуть ниже надпись:

Привет.:)))

В друзьях её у меня не было.

Я заглянул на страницу незнакомки. Посмотрел фото. Красивая. Длинные каштановые волосы, карие глаза, игривая улыбка. На одной из фоток она показывала язык с пирсингом. Девушка была в чёрной майке с белым логотипом телеканала А – One, в узких джинсах и красных кедах.

Привет, – ответил я, – а мы знакомы?

Скинь номер аськи, – моментально написала она. И сразу же постучалась в друзья. Я добавил, кинул «аську».

– Алексей, – крикнула из комнаты мама, – не забывай, в воскресенье – к бабушке на юбилей!

– Слышу!

– Слышит он... И железяки свои папуасские чтоб повытаскивал! Нечего людей пугать.

Раздалось уведомление ICQ:

Т@nya: Привет! Нет, не знакомы, но я видела сегодня твоё выступление. Мне безумно понравилось, хотела подойти, познакомиться, но...

Я: но?

Т@nya: не знаю, не решилась:)))

Честно говоря, все это было странно и очень смахивало на разводку. Девушки со мной знакомились нечасто (тем более такие красотки, как она), Дон Жуан был из меня никудышный. Два года назад меня бросила подруга, с тех пор отношения у меня как-то не клеились...

На экране монитора появилось новое сообщение.

Т@nya: и на бродвее я тебя не застала. Мы с подружкой подошли, а мне сказали, что ты уже ушел:((((

Я: а что за подружка?

Т@nya: это вопрос?:)

Я: да не, просто интересно:)

Т@nya: Ксюха

Я: ник-то есть у нее?

Т@nya: Кошка. Знаком с такой?

Я: Знаком

Т@nya: ну как, я прошла проверку?:)

Я отправил смайлик и написал:

Слушай, давай завтра встретимся часиков в девять вечера, если тебе, конечно, удобно. Познакомимся:)))

Т@пуа: здорово! :)) а где?

Я: да хотя бы на том же броде

Т@пуа: хорошо, тогда до завтра:)

Она вышла из «аськи». Я снова открыл ее фотоальбом. Идеальная. Сочетание утонченной женственности и хулиганства.

Свернул браузер. Чтобы хоть как-то отвлечься, кликнул по иконке с игрой Need for Speed на рабочем столе и надел наушники.

4

Семь двадцать утра. В ожидании маршрутки курил на остановке. Было прохладно и пасмурно. Я поёжился, жалея о том, что не прихватил с собой ветровку. Рядом стояла пожилая женщина в очках, длинном коричневом платье и вязаной жилетке.

– Сынок, «пятерка» не проезжала, не видал? – спросила она, с интересом рассматривая мой пирсинг.

Я пожал плечами.

– А это тебе не мешает? – улыбаясь, коснулась указательным пальцем своей губы.

Я промолчал, выбросил окуроч в переполненную урну, отвернулся.

По той стороне тротуара неспешно двигался парень в синем спортивном костюме. Он выгуливал белого откормленного лабрадора. Пёс важно ступал, лениво покачивая тяжёлой головой.

Показалась двадцать четвёртая маршрутка. Я опустил-ся на заднее сиденье у окна. Рюкзак, в котором побрякивал пластиковый контейнер с обедом, положил рядом. Полупустой автобус слегка подбрасывало на свежих, наспех положенных асфальтовых заплатках. Пересекли оживлённый, несмотря на субботнее утро, перекрёсток и свернули на улицу Самохвалова.

Вышел через пару остановок, у баптистской, красного кирпича церкви, обнесённой высоким металлическим ограждением. Поправил рюкзак и двинулся в сторону хлебо-завода. Стал накрапывать дождик.

У проходной курили мои коллеги, грузчики-наборщики. Паша, ему было чуть за сорок, – испитое серое лицо, бритая голова, я дал ему прозвище Гоблин. Саня Хромой – тощий, сморщенный, как соленый огурец, с венчиком седых, вечно растрепанных волос. И Вадик, мой ровесник, двадцать один год, невысокий, плотно сбитый, похожий на цыгана.

Хмуро пожали руки.

– По ходу, водяра вчера палёная была, – сплюнул Гоблин и потёр влажную от дождя лысину, – ща банку «Охоты» врезал, всё обратно вышло.

Хромой понимающе тряс головой и покусывал фильтр тлеющей сигареты.

Из здания выходили «ночники» – грузчики ночной смены.

– С работы – с чистой совестью! – выкрикнул усатый мужик в потёртой джинсовой куртке и поднял вверх кулак.

Гоблин натянуто улыбнулся.

– Не, я тут вообще решил с синькой тормознуться, – сказал Вадик, покручивая связку ключей на цепочке.

– Чё так?

– Озверин, ёптэть.

– Чего? – не понял Гоблин.

– Да на днях тут коммерса одного в парке ушатал. Мля, если бы пацаны вовремя не оттащили, наглухо бы уработал.

– За что хоть? – спросил Хромой.

– А я помню? – усмехнулся Вадик.

Он докурил и выстрелил окурком в сторону:

– А еще чё стрёмно-то, на мне условка незакрытая висит...

– Да уж, – сказал Гоблин и снисходительно глянул на меня, – ну а у тебя-то как дела, рокер?

В раздевалке переоделись в серую робу с вышитым на груди треугольным логотипом хлебозавода. Сунув в карман пачку сигарет и зажигалку, я оставил вещи на ободранной деревянной лавке. Бригадир обещал выделить мне шкафчик еще месяц назад.

Едва не вступив в пластиковую тарелку с крысиным ядом, вышел из раздевалки.

Покачивая рыхлыми бёдрами, мимо продефилировали фасовщицы в белых с жёлтыми пятнами халатах и с полиэтиленовыми шапочками на головах. Увидев меня, они громко рассмеялись.

Грузчики сидели на деревянных паллетах в закутке, в конце длинного коридора. Идти на склад они не торопились. Я приблизился к ним, присел рядом.

– Сегодня кто кладовщик? – спросил Вадик, щёлкая суставами пальцев.

– Светка, – разглядывал свои стоптанные кроссовки Хромой.

– С фига ли?! – возмутился Гоблин, – Иринкина же смена.

– На больничном она.

– Засада, – промычал Вадик. – Эта овца опять весь мозг нам вынесет.

На складе была суматоха. С грохотом толкали высокие, под два метра, хлебные тележки с деревянными лотками. Подъезжали машины. До отказа набитые лотки загружали в фургоны. Матерились нервные водители, размахивая накладными. Несколько «ночников» щёлкали аппликаторами-пистолетами, спешно приклеивая этикетки со штрих-кодами на упаковки с хлебной продукцией.

– Резче давайте! Вы тут до вечера ковыряться намерены? – негодовала Света.

Кладовщице было около тридцати. Худощавая, мужиковатая, с острым носом и коротко стриженными мелированными волосами. Она жирно подводила глаза и носила в ушах несколько золотых колечек. Я подозревал, что Светка – лесбиянка.

– А вы чё стоите, тормоза, мозги сношаете! – рявкнула на нас. – Работы нет?! Вон на столе гора бумаг!

Пронырливый Вадик успел схватить накладную с наименьшим количеством позиций. Гоблин тоже умыкнул «малую» накладную. А мне и Хромому достались талмуды

на два с половиной листа. Хромой обречённо вздохнул и поскреб затылок.

Хитрость была в том, что нам было выгодно работать с небольшими накладными, ведь с ними мы разделялись гораздо быстрее. От количества собранных за смену машин зависела наша зарплата. А один подобный талмуд, который посчастливилось вытянуть мне и Хромому, мог занять больше двух часов.

Поставив автографы на бумагах, мы отправились собирать заказы. Едва не наехав на меня телегой, мимо прошла помощница кладовщика Алена, маленького роста, рыжая, с глуповатым выражением лица. Она слушала плеер и на ходу пританцовывала.

Прикусив накладную зубами, я колесил из одного бокса в другой, выполняя изнурительный хлебобулочный квест.

На третьем заказе у меня стало рябить в глазах. Несколько раз я, перепутав позиции, загрузил лоток не с теми буханками. Ноги гудели, вдобавок я чуть не проехался колесом тяжелой телеги себе по ноге.

Хотел улизнуть в курилку, но услышал раздражённый голос лесбиянки:

– Куда собрался? Сначала заказ добей!

Пришлось вернуться.

Заехав в бокс с выпечкой, я обнаружил Вадика.

– Ух, блин, это ты, – испуганно обернулся он и продолжил рассовывать по карманам булочки, слоёные пирожки и прочие лакомства.

Наконец я собрал заказ. Получилось четыре полных телеги. Составил их в ряд, прижал лотком накладную и откатил к выходу.

Отправился в курилку. Кладовщица, сверяясь с накладной, стала придирчиво осматривать результаты моих трудов.

В пустующей с голубыми кафельными стенами курилке я встретил Гоблина.

Он сидел на корточках и жевал ватрушку.

– На жор пробило, – объяснил он, – похмелье припустило, организм калорию требует.

Доел, утёр губы кулаком, смял полиэтиленовую упаковку и спрятал в карман брюк – скрыл улики.

– Ну чё, сколько собрал? – закурил он.

– Две машины по две телеги. А ты?

– Пять, – небрежно ответил Гоблин.

Вошёл технолог. Лет тридцати, высокий, худощавый, с лёгкой щетиной и длинными костлявыми пальцами. Не обращая на нас внимания, он курил и громко разговаривал по телефону:

– ...А ты пообедала, зая? Вот и умничка. А что кушала?

Сделав пару смачных затяжек, технолог швырнул окурок мимо урны и вышел, продолжая трепаться по мобильному.

– Увольняться надо отсюда к чертям собачьим. Надоело всё, – вполголоса проговорил Гоблин, подперев ладонью подбородок, меж пальцев дымилась сигарета. – Ни зарплаты нормальной, и за переработку по бороде пускают. Поссать без разрешения не сходишь...

Он ныл и порывался уволиться едва ли не каждую смену. Однако работал на хлебозаводе уже почти десять лет.

– Кузнецов! – окликнула Света, когда я вернулся на склад, – подойди-ка сюда!

Чуя неладное, приблизился.

– Это чё такое? – она потрясла накладной перед моим носом.

– А что не так?

– Да всё не так. Горчичных батонов, вон, у тебя три лотка вместо двух. А бородинского вообще нет! Ты чё, совсем офонарел?! У тебя где глаза?! По ходу, на жопе. Короче, штраф триста рублей.

– Сука, – прошипел я.

Развернулся и зашагал прочь.

– Чё там вякнул?! – услышал за спиной.

Вернулся с работы. До встречи с моей новой знакомой оставалось не так много времени.

Набрал ванну, вылил в воду колпачок с шампунем – сделал пену, как в детстве. Тёплая вода сняла усталость. Через полчаса вышел и подогрел в микроволновке вчерашние макароны с котлетой. Ближе к девяти стал собираться. Натянул джинсы, снял с плечиков белое поло.

– Опять хождения начались на ночь глядя, – бормотала мама, раскатывая скалкой тесто. – Куда намылился?

– Да погулять, мам.

– Мне опять всю ночь не спать?

– Спи, кто тебе не даёт-то? – я бросил в рюкзак толстовку, влез в новенькие кеды и вышел из квартиры.

На «Бродвее» тусовалось человек двадцать. «Пионерия» расселась на лавочках и играла на гитаре «Три полоски». Ребята постарше пили водку на выложенной брусчаткой площадке Центра занятости.

В толпе я заметил Егора.

– Лёха, давай к нам! – крикнул он.

Я поднялся по частным ступенькам, поздоровался со всеми за руку. Гитаристку «Босяков» Соню по-дружески чмокнул в щеку. Егор бросил ревнивый взгляд.

– А вот и наш дзержинский Джонни Роттен, – похлопал меня по плечу здоровяк Артур Паровоз.

– Харэ стебать, – отмахнулся я. – Наливайте, камрады, а то уйду.

– Уходи, а то налью, – басовито рассмеялся Артур.

Мне вручили полстакана водки и полуторалитровую бутылку «Буратино». Я выпил. Немного приглушил мандраж. Закурил, оглянулся вокруг. Тани не было. Опаздывала, как и полагалось девушке на первом свидании. Я выпил ещё грамм пятьдесят и решил пока на этом притормозить.

В стороне, рядом с киосками, стояло человек пять. Судя по виду – левые скинхеды-антифашисты. На некоторых были в мелкую клетку кепки-жиганки и штаны милитари со свисающими красными подтяжками. Скинсы пили пиво из бутылок и о чём-то громко спорили. Один из них, увидев меня, приветливо махнул рукой. Я присмотрелся: это был Лось, мой бывший одноклассник.

Я кивнул в ответ.

И вот появилась она. В короткой, слегка расклешённой юбке с черно-белыми шашечками, в майке с жёлтым логотипом Nirvana и с кожаной сумкой-почтальонкой. Распушенные блестящие волосы осыпали худенькие плечи. На лице ни намёка на косметику.

– Привет, – сказала Таня и протянула тыльную сторону ладони, то ли для поцелуя, то ли для рукопожатия. Запястье стягивал широкий кожаный браслет с металлическими заклёпками.

Я осмелился коснуться губами ее мягкой руки, указательный палец которой украшало кольцо с Веселым Рождером вместо камешка.

– Ого! Ну ничего себе, есть ещё юноши в русских селеньях, – улыбнулась она.

– Шумно здесь, давай отойдем, – сказал я, видя, как Серёга и сотоварищи уже двинулись в нашу сторону.

Своими пьяными выходками и бесконечным стебом они могли все испортить.

Когда мы проходили мимо компании Лося, скины пристально осмотрели мою спутницу.

– Вот это ножи, – присвистнул один.

Таня высокомерно ухмыльнулась.

Миновали арку «пьяного» дома – длинной S-образной девятиэтажки – и вышли на заброшенную детскую площадку, надежно окружённую густым кустарником.

Темнело. Таня достала из сумки пачку тонких сигарет с ментолом и манерно прикурила. Вкратце рассказала о себе.

Она училась на втором курсе нижегородского пединститута, на факультете психологии. Была поклонницей творчества Лёхи Никонова и его группы «Последние танки в Париже».

– Кстати, вот, – Таня протянула диск с чёрной обложкой, на которой выделялись стилизованные под китайские иероглифы буквы: «П.Т.В.П.», – это их новый альбом «Зеркало», – гордо сообщила она, – послушай, это просто бомба!

Я поблагодарил и убрал диск в рюкзак.

– А где ты учишься? – спросила она.

– Я не учусь, работаю. Ушел со второго курса Лобача.

– А на кого учился?

– На журналиста.

– Ух ты, как интересно! А почему бросил?

– Понял, что не хочу быть дипломированным лицемером. (Конечно, я врал. Набивал себе цену. Меня отчислили из-за прогулов, даже не допустив до сессии.)

– И где сейчас работаешь? – спросила Таня.

– А, – махнул рукой я, – наборщиком на хлебозаводе. Работа мечты.

– Ну ничего, – она затушила окурок о край лавочки. Догорающий пепел упал в песок. – Вот станешь рок-звездой и будешь со смехом об этом вспоминать.

– Ага, если бы, – хмыкнул я.

Где-то вдали сработала автосигнализация, но через мгновение смолкла.

– А почему ты так говоришь? – возразила Таня. – Я думаю, у вашей группы все шансы. Во всяком случае, больше, чем у этих эмушников сопливых. Как их там? Босиком по битым мордам?

– По крайней мере, они качают. Сама же, наверное, видела на концерте.

– Кого качают? Малолеток? Да это же всё временно. Скоро волна пройдет, о них и не вспомнят. Таких групп сотни. А вы играете настоящее музло. Трушное. Хотя я и слышала пока только одну вашу песню.

– Спасибо. Complimentами мы не избалованы.

– Да ладно, говорю, что думаю... Вы главное – делайте *свою* музыку и больше репетируйте, тогда всё получится.

Повисла неловкая пауза. Таня зябко потёрла ладонью свое плечо и придвинулась ко мне.

– Замёрзла? – наконец спросил я.

– Есть немного, – мурлыкнула в ответ.

И вместо того, чтобы её обнять, я полез в рюкзак за толстовкой. Идиот.

– Спасибо, – разочарованно проговорила она, путаясь в рукавах моего «Найка».

Когда вернулись на «Бродвей», к нам подошли Серёга и Егор.

– Познакомишь? – барабанщик не сводил с Тани глаз.

– Да подожди ты, – перебил Егор, он был на эмоциях и хорошо под градусом. – Короче, на нас гопота наехала. У Скай хотели гитару отжать, за тоннели дёргали, обещали мочки к лавке гвоздями прибить. Девочек мацали. Ну мы, короче, подходим, чё за беспредел. А один из них Вита-мину сразу в табло заряжает, отморозок. Начался кипиш. За нас антифашисты впряглись, хотя мы и сами, конечно бы, справились, но не суть. Короче, гопарей ушатали капитально. Они с Бродвея уползали, у одного все шишки были просто в мясо. И афашники потом куда-то быстро сдернули под шумок. Вот такие дела...

– Да уж, вы времени зря не теряете, – усмехнулся я.

Скай в рваных на коленях джинсах и его девушка Кира – красивая блондинка с крашеной розовой прядью – сидели в обнимку на бордюре. Скай опустил голову, длинная челка свесилась, скрывая лицо. Кира нежно гладила его по волосам и что-то шептала на ухо.

– У кого есть сколько? Давайте на бухло скинемся, – Серёга стащил с головы кепку и широким жестом бросил в нее мятый полтинник, – так, начальный капитал положен. Кто следующий, дамы и господа?

– Я на нолях, чуваки, – виновато развел руками Егор.

Таня деловито вынула из сумки кошелек.

– Убери, – сказал я и вывалил из карманов все свои деньги.

– Да ты крут, – съязвил Серега, со звоном встряхнув кепку. – Ладно, пойду у эмошников постреляю.

Пивная бутылка с хлопком разбилась о стену Центра занятости, оставив серую кляксу. Толпа незнакомых парней появилась внезапно. Они вломились на «Бродвей» со стороны «пьяного» дома. В нарастающей панике невозможно было понять сколько их. Десять? Двадцать? Или больше?

Отчаянные вопли, надрывные крики, девичий визг, глухие удары и топот заполнили площадку.

Я схватил Таню за руку, вбежал по ступенькам и спрятал её за колонну.

– Сиди здесь тихо и не высовывайся! А как всё рас-
сосётся – рви домой!

– Поняла, – испуганно закивала она. Опустилась на
корточки и прикрыла колени сумкой.

– Вы чё, черти?! Попутали?! – кричал кто-то совсем близко.

Обломком кирпича разнесли тускло горящий фонарь на
длинной металлической ножке.

Я сбежал по лестнице. И тут же получил удар в висок.
В голове звякнуло, меня повело, и я рухнул в кусты, обо-
драв ветками руки и спину. Но быстро пришел в себя и под-
нялся. Конечно, можно было отсидеться, подождать, когда
закончится буча. Но я сразу отогнал эту подлую мысль.

Паровоз, выкрикивая что-то воинственное, неумело раз-
махивал огромными кулачищами. Два гопника кружили
рядом, не рискуя приблизиться. Они лишь лаяли матом и
харкали в его сторону с безопасной дистанции.

Гитару расколотили о бетонную стену. Трагически бреньк-
нув, барабан разлетелся в щепки. Несколько эмокидов уди-
рали к автобусной остановке. Худенького паренька в майке
Slipknot протащили за волосы по асфальту. Человек пятнад-
цать дрались у высоких парапетов, недалеко от шестнадца-
тиэтажного дома. В полутьме мелькала белая кепка Серёги.

– Вы что творите, нелюди?! – издали кричали две пожи-
лые женщины. – Милиция! Милиция!

Я прыгнул в толпу и, дёрнув одного за плечо, ударил в че-
люсть так, что выбил костяшку на мизинце. Парень оказался
крепким, устоял. Перед тем как вражий кулак угодил мне в
бровь, я успел рассмотреть противника. Скуластый, с гор-
батым носом, острым кадыком и выпученными глазами. Я
упал, кровь текла по щеке, пачкая белый ворот моего новень-
кого поло. Потом получил короткий, но сильный пинок в жи-
вот. Пронзила резкая боль, я стал задыхаться, тошнота подня-
лась к горлу. Неожиданно гопник рванул в сторону дворов...

Никогда не думал, что так обрадуюсь появлению ментов.

Меня и ещё троих неформалов зачихнули в «уазик».
Молодой, моего возраста пэпээсник, сидящий рядом с во-
дителем, повернулся и протянул мне платок:

– На, а то кровищей всю тачку заляешь.
Я приложил платок к разбитой брови.

В отделе нас тщательно обшмонали. Вытряхнули из моего рюкзака на стол всё, что было. Немытый контейнер из-под еды, который я забыл выложить дома, книга Лимонова «Священные монстры», ключи от квартиры... Танин диск упал на пол, треснула пластиковая коробка и отвалилась крышка.

Потом нас толкнули в пропахший мочой обезьянник и заперли решётчатую дверь.

У серой бетонной стены сидел Паровоз. У него кровоточила нижняя губа, майка с Егором Летовым была разорвана на боку.

– О, какие люди, – сказал он без энтузиазма и отодвинулся в сторону, – падай рядом.

Я опустил на корточки. Парни, прибывшие со мной, расселись по левое плечо от меня. Напротив, у бутристой серой стены, находилось ещё пять человек. Мужики, лет около сорока или старше, все с пропитыми опухшими лицами, неряшливо одетые. Один из них спал, опустив голову на колени.

– Пацаны, куревом не богаты? – спросил седой мужик в мятых брюках, драных носках и резиновых сланцах.

Паровоз отрицательно помотал головой и осторожно дотронулся до своей губы.

– Как думаешь, надолго мы здесь? – вполголоса спросил парень слева, коротко стриженный, с серьгами в ушах.

У него дрожали руки. Было ясно, чувака приняли впервые.

– А хрен его знает, – пожал плечами я.

– Да кому мы нужны, – успокоил Паровоз, – данные перепишут и выпнут на все четыре стороны. Мы же трезвые...

Но он ошибся.

Нас по одному стали дёргать к оперу. Он был невысокого роста, с залысинами, округлым брюшком и мясистыми ушами. Голубая рубашка, уютный пуловер в ромбик. Покачиваясь в кресле, опер, жутко картавя, задавал вопросы. Как называется наша «группировка»? Имеем ли мы отношение к нацболам? Под кем мы ходим? В чем наша идеология? Потом уточнил, не сатанисты ли мы. Поинтересовался,

из-за чего произошла драка и не видел ли я, кто разбил этот долбаный фонарь. Я отвечал сдержанно.

Сказал, что оказался у Центра занятости случайно и попал под замес тоже случайно. С нацболами и сатанистами не имею ничего общего. Кто разбил фонарь – не видел. К концу беседы мент, видимо, уже порядком утомленный, спросил, где я живу, учусь – работаю, но почему-то записывать эту информацию не стал...

Из отдела нас выпустили в начале седьмого утра.

После беспокойной ночи, проведённой в полудреме сидя на корточках, одеревенели ноги. К тому же раскалывалась голова и ныл мизинец на правой руке.

На улице было прохладно и безлюдно. Можно было заметить лишь редких пенсионеров, спешащих с пластиковыми бутылками и бидонами к машине с молоком.

– Эх, надо бы пивка, – потянулся Паровоз.

– Угостишь?

– Да без бэ. Вы с нами, узники совести? – спросил Паровоз скрючившихся от холода парней.

– Не-е, мы домой, отсыпаться.

И, нетвердо ступая, они побрели к остановке.

Телефон мой умер ещё вчера вечером. Я попросил мобильник у Паровоза и по памяти, благо номер был несложный, набрал бригадира.

– Слушаю, – не сразу ответил заспанный голос.

– Андрей Валерьевич, доброе утро, это Алексей.

– Какой еще Алексей?

– Кузнецов.

– А, ну и?

– Я заболел, сегодня выйти не смогу.

– Ё моё, ты заранее не мог предупредить? Где я щас тебе замену найду?

– Андрей Валерьевич, температура тридцать восемь...

Он сбросил.

– Пошли, бухнём, – сказал я Паровозу.

Вернулся домой слегка поддатый. Мы выпили в тошнотной ловке «Галатея» по две бутылки крепкого пива.

– Господи, боже мой, где ты шлялся? – прямо с порога стала причитать мама. – Ты посмотри, на кого ты похож. Где ты был? Тебя избили? Я всю ночь себе места не находила. Ты почему телефон отключил?

– Мам, все нормально, я у друзей ночевал.

– Так это тебе друзья, что ли, морду набили?

– Нет, мам, я на скейте решил прокатиться и упал.

– Детский сад, штаны на лямках... А почему на работу не пошел? Вот смотри, уволят, я тебе на моей шее сидеть не позволю!

– Я отпросился, ма. Успокойся.

– Ты посмотри на себя! Да ты же опять пьяный! Господи, когда все это кончится. Как ты в таком виде к бабушке на юбилей пойдешь?

– До вечера оклемаюсь.

Зашёл в ванную, глянул в зеркало. Над бровью насохла кровавая корка. Верхнее веко слегка опухло и покраснело, словно у меня был ячмень. Всё не так уж и страшно. Легко отделался. Думал, будет хуже. Открыл воду, осторожно умылся над раковиной, набрал ванну. Хотелось быстрее смыть с себя вонь обезьянника. Лёг, теплая вода обожгла свежие царапины на руках и спине. После, захлестнув полотенце как римскую тогу, я прошлепал в свою комнату. Воткнул в мобильник зарядку. Хотел позвонить Тане, но вдруг вспомнил, что даже не удосужился узнать её номер. Решил написать в «аську». Пока загружался компьютер, я прилёг на кровать и вырубился.

6

Проснувшись, потянулся к телефону. Было 15.55. Висел пропущенный вызов от Сереги. Общаться с ним пока не хотелось.

Нестерпимо пересохло во рту. Вошёл в кухню и выдул сразу полкувшина воды. Мамы дома не оказалось. Вернулся в комнату и сел за компьютер. Открыл непрочитанное сообщение от Тани:

Леш, привет. Как ты? У тебя всё в порядке????

В сети её не было. Я ответил:

Привет. Все хорошо. Ты как? Будет время, набери мне...

И сбросил свой номер.

В коридоре лязгнул замок, хлопнула входная дверь. Вернулась мама. Я вышел ее встретить. Она была в приподнятом настроении:

– О, проспался, гулёна. А ну, прими-ка у меня продукты.

Я оттащил два тяжёлых пакета на кухню.

– Умывайся, собирайся, приводи себя в порядок, часа через полтора выходим.

Чтобы скоротать время, я поставил диск «П.Т.В.П.» и заменил разбитый футляр. Альбом оказался мощным. Годный постпанк с кричащим, надрывным вокалом Лехи Никонова пробрал меня до мурашек. Тексты были жёсткие, остросоциальные. Ну а в предпоследнюю лирическую песню «Плач над любовью» я буквально влюбился. Жадно прослушал несколько раз подряд.

На компьютерном столе, угрожающе подползая к краю, завибрировал мобильный. Я убавил музыку и взял трубку. Звонил Серёга.

– Здорово, чуви! Ну ты как там, живой? Говорят, вас с Паровозом приняли вчера?

– Правду говорят. Ты-то как?

– Да чё мне будет. Так, пара синяков. Слушай, сегодня репа в девять, прийти-то сможешь?

– Куда я денусь с подводной лодки. Приду, конечно.

– Ага, ну всё тогда, давай, до вечера.

7

Обстановка в бабушкиной хрущёвке была спартанская. Деревянный, бордового цвета пол. С витиеватыми узорами зелёный ковер на стене. Диван-чебурашка. Древний, занимающий треть гостиной комод. На телевизоре – плотная стопка журналов «Телесемь».

За накрытым столом собрались родственники. Дядя Женья, крупный, с пышной шевелюрой и седой бородой.

Он был похож на геолога из советских фильмов. Его супруга тетя Катя, коротко стриженная, маленькая и ужасно крикливая, в прошлом – школьный учитель физики. Мой племянник Антон, толстый и угрюмый, домашний двенадцатилетний подросток, фанат компьютерных игр. Сколько я его помнил, он всегда молчал, а когда ему что-то не нравилось, раздувал щёки и шумно сопел. Странный парень. Я называл его «Иной». Рядом с бабушкой пристроилась ее родная сестра тётя Таня, интеллигентного вида, в очках с позолоченной цепочкой на дужках.

Бабушка в нарядном платье и с шейной косынкой принимала поздравления. Мама помогла принести горячее. «Геолог» разливал. Женщинам – сливовой наливки, мне и себе начислил беленькой. «Иной»пил морс.

– Не-не-не, никакой ему водки, – запротестовала мама, накрывая мою стопку ладонью.

– Так, ты давай это прекращай, – грозно-шутливо пробасил дядя. – Взрослый, понимаешь, мужик, а ты начинаешь...

Все подняли рюмки. Тётя Катя, пожелав бабуле здоровья и долгих лет, громко прокричала троекратное «ура!». Выпили. Я положил себе в тарелку две огромных отбивных с картошкой пюре и стал есть.

За столом сыпались шутки за двести. «Геолог» нечаянно плеснул наливкой на белую накрахмаленную скатерть. «Иной» лениво жевал и водил пальцем по столу, как умышленно отсталый.

Я глянул на экран мобильного. Было почти семь.

– Лёш, а ты где в глаз-то получил, а? – хихикнула тетя Катя.

«Так, началось», – подумал я.

– Чего молчишь? – вмешалась мама. – Давай-давай, расскажи, чем ты целыми днями у нас занимаешься.

Я разрезал мясо и отправил в рот, демонстративно громко чавкая.

– Институт бросил, работает чёрт знает кем и всё тусуется... пьянки эти бесконечные, дружки без царя в голове, – маму понесло, – музыку они, видите ли, играют. Вот получил бы диплом и занимался бы чем угодно в свое

удовольствие. Как ты не можешь понять, что высшее образование даёт человеку свободу выбора и расширяет его возможности. Знаешь, сколько дурачья с дипломами занимают высокие посты? Не счесть.

– Да что вы к парню прицепились? – заступился «геолог», накалывая на вилку скользкий маринованный гриб. – Он ещё найдёт себя в этой жизни. Да, Леха?

– Да никто к нему не цепляется, – тетя Катя приложила салфетку к губам. – Маринка права, за ум ему братья пора.

– А вот ты говоришь, институт бросил, – жевал «геолог», – а как же армия?

– Да какая ему армия – вздохнула мама, – сколиоз второй степени у нас.

– А, ну тут конечно, – закивал дядя. – Да и делать там, скажу честно, нечего. Бардак да беспредел.

Мама повернула голову ко мне:

– Вот посмотрел бы на тебя отец, ужаснулся. Думаешь, он бы гордился тобой, грузчиком необразованным? Надо было тебя в суворовское отдать, может, человек бы из тебя получился.

– Угу, со сколиозом-то, – расхохотался «геолог», – горбатый офицер.

Я вкрутил в рот сигарету и поднялся из-за стола.

Курил в подъезде, стряхивая пепел в жестяную банку на подоконнике.

По лестнице спускалась женщина в халате и с мусорным пакетом в руке. Испуганно взглянула на меня. Я развернулся другой стороной, чтобы не было видно синяка.

По-стариковски шаркая сланцами, вышел «Иной». Он закурил и, облокотившись на перила, выдул струйку дыма. Стоял и пристально смотрел на меня. Я насторожился. Бог знает, что у этих геймеров на уме. Сейчас вытащит нож, набросится на меня и перережет горло.

– Затрахался уже с этими старперами гнить, – неожиданно выдал он.

Я понимающе кивнул.

Затем, после недолгой паузы, племянник спросил:

– Слушай, а ты не знаешь, где можно бошек вырубить? У тебя есть выходы?

Я отрицательно помотал головой, всё ещё не веря своим ушам. «Иной» вполголоса матюгнулся, вдавил окурочку в банку, закинул в рот жвачку и зашел в квартиру.

Позвонила Таня. Я пригласил её на нашу репетицию. Она с радостью согласилась, ненавязчиво попросив за ней зайти. И назвала адрес.

Я затушил бычок в пепельнице и вернулся к столу.

– Фу, а накурился-то, – бабушка замахала руками перед своим лицом, словно отгоняла надоедливую муху.

Я выпил рюмку водку. Затем, невнятно поздравив бабушку с юбилеем, встал из-за стола. Провожать меня никто не спешил.

– Пока, раздолбай с Покровки, – засмеялась тетя Катя.

Родственники успели прилично окосеть. Бабуля протяжно запела «Виновата ли я», сестра подхватила, через секунду заголосили остальные. «Иной» так и сидел, раздувая красные щеки и шумно сопя.

Мне надо было успеть заскочить домой и взять гитару.

8

Я присел на лавочку у подъезда Таниного дома. Гитару усадил рядом. Тарахтя крыльями, с березы спилотировал июньский жук. Я вытянул из пачки сигарету, закурил. На веранде детского сада раздавались пьяные выкрики гопников. Мужик в шортах и майке-тельняшке выбивал на кривом турнике ковер. Проехал толстый мальчик на горном велосипеде. За ним, звонко твякая, припустила лохматая собачонка.

Таня выпорхнула из подъезда. На ней было лёгкое короткое платье, голубая джинсовая курточка и босоножки на платформе. Я выбросил окурочку и поднялся.

– Ой-ой-ой, – она слегка коснулась моей брови, – больно?

– Терпимо, бывало и хуже, – строил из себя брутала.

Таня смотрела на меня с восхищением:

– Герой!

И поцеловала в щёку. Мне льстило, что отношения наши развивались так стремительно. «Бродвейское

побоище», как стихийно окрестил драку я, этому очень способствовало.

Я взял ее за руку:

– Ну что, идём?

– Угу, – радостно кивнула она. – А где вы репетируете?

– Да тут недалеко, в «Спутнике».

– Ого! Даже не думала, что там есть репточка.

– Слушай, – сказал я, – как тебе тогда удалось с Бродвея вырваться? Никто не заметил?

– Нет, я еще немного посидела за колонной, потом выглянула и побежала домой. Но я видела, как ты в толпу бросился. Не побоялся, надо же!

– Да ладно, чего там.

– А мне было страшно. Налетели толпой и давай всех бить без разбора. Беспредельщики отмороженные. А часто вообще у вас такое случается?

– Ну, не то чтобы часто, – пожал плечами я.

– Ой, у меня же твоя толстовка дома осталась, – остановилась Таня, – подожди минутку, я сбегаяю.

– Может, лучше после репы отдашь? – хитро прищурился я.

Таня чуть заметно улыбнулась, прильнула ближе ко мне.

Небольшое техническое помещение в кинотеатре «Спутник» было оборудовано всем необходимым. В неплохом состоянии штатная барабанная установка. Два комбоусилителя на шестьдесят и сто ватт. Шестиканальный микшерный пульт. Два микрофона, стойки. Правда, на шумоизоляции арендодатели решили сэкономить. Нам с ребятами пришлось самим обклеивать стены пенопластом. И чтобы придать репетиционной точке более-менее сносный вид, я развесил купленные в рок-магазине «Дивизия» плакаты любимых групп: Misfits, Ramones, Rancid, Nirvana, Mudhoney, Sonic Youth, Joy Division, The Cure...

– Привет, боец, – вышел из-за ударных Серёга и протянул вспотевшую ладонь. – Ну ты как?

– Жить буду.

– Прекрасную даму прошу занять место в зрительном зале, – барабанщик указал Тане на диванчик, покрытый зелёным пледом.

Она присела, развернувшись боком, колени вместе.

– А где Егор-то завис? – я расчехлил гитару, подключил к усилителю.

– Я ему звонил, обещал минут через десять подъехать.

Репетиция прошла на ура. Мне не помешал даже большой мизинец. Ничто не может так вдохновить музыканта, как присутствие красивой девушки.

Для разминки сыграли пару вещей из «Нирваны». Потом стали разучивать мои песни. Получилось довольно круто. Забойно, но в то же время мелодично. Четкие рифы я без труда разбавлял отменными соло-партиями. Казалось, я превзошел сам себя.

– Надо срочно дэмку писать. Это огонь! – возбужденно заявил Серёга.

Тане наши наработки тоже пришлись по вкусу. Она покачивала головой в такт и притопывала ножкой. А в конце репетиции даже присвистнула и шумно зааплодировала:

– Шикарно, ребят! Вы молодцы!

– Ну всё, Танюш, ты попала, – усмехнулся Серега, – теперь тебе придётся посещать все наши репетиции и радовать нас своим присутствием.

– Ага, – кокетливо поправила волосы она, – в качестве группы поддержки, да?

– Не, ну а чё? С такими репами мы скоро выйдем на мировой уровень.

– Раскатил губищу, – я угрюмо убрал примочку в карман на гитарном чехле.

Серегины подкаты к Тане начинали меня раздражать. Но я старался подавлять в себе приступы ревности. Вот насчёт Егора переживать не стоило, он не замечал ни одной девушки вокруг, а был безответно влюблен в свою странную Соню из «Босяков».

Владимир КИТАИЧЕВ

Чкаловск, Нижегородская область

НА ВЕТРУ

1

Московский поезд стоит в Деснице недолго: ровно за это время приехавшие успевают покинуть вагоны, а пассажиры, следующие на Иваново-Вознесенск, занять места.

Небрежно застегнув изящное, мышиноного цвета пальто, поэт Александр Ляховский уверенно ступил на зимний перрон. И то же мгновение студёный ветер прямо из-под ног зачерпнул ледяной, колкой пыли и сердито швырнул её в лицо столичной персоне. Поэт едва успел отвернуться. Пришлось укутываться в шарф и поднимать воротник. Однако – хотя до грязно-красного приземистого вокзала казалось саженой двадцать – идти было трудно. «Уж не начать ли мне, как Герде, молиться?» – не разжимая губ, писатель усмехнулся в непышные усы.

Войдя в помещение вокзала, Ляховский привычно посетовал на то, что пол по обычаю нечист; да и как будто овчиной пахнет. Извлеки из жилетного кармана никелированные часы, поэт убедился: до поезда на Радимов ещё достаточно времени. А это означало, что ждать придётся в трактире: на той стороне вокзальной площади. Менее всего хотелось вновь оказаться на обдирающем декабрьском ветру. Но, в самом деле, не оставаться же здесь! Как славно было бы сейчас согреться рюмочкой шустовского коньяка, а после напиться обжигающего сладкого чая с лимоном. Увы, война! Проклятый сухой закон!

В трактире оказалось на удивление пусто: лишь двое извозчиков сидели за пузатым чайником, перед ними на подносе лежала связка баранок. Не особо выбирая место, поэт расположился справа от окна. Сразу же подбежал юркий, услужливый половой в белой, застиранной и оттого казавшейся нечистой одежде. Ляховский приказал шей с пирогами.

На стол, где сидели извозчики, свет падал так, что позволял присмотреться к обоим. Один, постарше – ражий детина – более походил на молотобойца, помладше, с козлиной бородой, – ни дать ни взять деревенский пономарь. «Молотобоец» держал перед собой блюдечко прямо и пил по-учёному: не фыркал, а деликатно отхлёбывал глоточками. Перед «пономарём» стоял стакан в подстаканнике, и он пил словно причащаясь – с ложечки. Нацепив очки, «пономарь» читал какую-то – видно, что несвежую – газету.

– Вот пишут, в Питере Григория Ефимовича убили.

«Молотобоец» продолжал невозмутимо откусивать чай.

– Такие дела, Семёныч, – «пономарь» вызывал товарища на беседу.

Тот, кого называли Семёнычем, изволил высказаться:

– Умер Максим – да и хрен с им. Вона сколько народу на войне поубивали. У меня соседка, Наташка, ты знаешь. Едва замуж успела выйти. Мужа чуть ли не из-под венца в солдаты забрали. Дитё уж после народилось. Надясь вызвали в присутствие, сообщили: погиб твой Илья. А Наташке-то всего двадцать третий годок! А ты: «Ефимыч»!

Отповедь не успокоила «пономаря», наоборот, он оживился:

– И для какой-такой нужды мы воюем? Как думаешь, Семёныч?

– Господам-то что: они всегда при барыше останутся. А народу? Его в России, что травы на покосе. Скосят – ещё наро́дится.

– У нас, Семёныч, при церкви черничка одна живёт. Она сказывала: немец-де мира просит; Григорий Ефимович царя уговаривает, а генералы с министрами не допускают.

– Да ну тебя к шуту: и с черничкой этой, и со всем помяником! – И уже вставая: – А ты чего, Андрюшка, расселся? Чай распиваешь. Бери кнут, пошли на площадь слезу поморозим.

Извозчики перекрестились на красный угол, кивнули в сторону трактирной стойки «благодарствуем», и Ляховский остался в зале один.

Отодвинув тарелку, поэт извлёк из кармана портсигар; но не закурил, а, повертев в руках изящную вещицу, положил её перед собой; серебряную крышку портсигара украшала монограмма – две переплетённых литеры «А» и «Л».

«Мне тридцать один год. Я родился и вырос в России. Блок исповедует: “Русь моя, жизнь моя...” Моя судьба тоже в России. Да, я три года кочевал по Европе. Как там у Достоевского: “Европа нам так же дорога, как Россия”? В Сорбонне я вольным слушателем бегал на лекции по средневековой литературе, изучал старофранцузский язык, могу без посторонней помощи оценить первобытную красоту *La Chanson de Roland**. Там же, в Париже, начал писать стихи. Я изумлён ледяным сиянием строки Малларме, увлечён изысканной вещностью Теофиля Готье, мне внятно вселенское отчаяние Жерара де Нерваля; а ведь есть ещё Реми де Гурмон. Но что всё это для миллионов простого русского народа? Назови я вон тем извозчикам имя Гюисманс, так они, пожалуй, переиначили бы его как-нибудь понеприличнее. С детства слышу: если я не добываю хлеб в поте лица, могу ли называться русским? Так что? Может, бросить писать стихи и пойти рубить избы?! Интересно будет послушать Юру Плахтина: он у нас философ».

В это мгновение хлопнула наружная дверь. Ляховский поднял голову на негромкий звук шагов... Раскрасневшись от ветра и мороза, ещё невидяще, в трактир входила – поэт не верил происходящему – его Даша!

2

Отзвучал третий удар колокола. Поезд вздрогнул всем телом и начал набирать ход. В купе – разделённые столиком – сидели двое.

Поэт во все глаза смотрел на ту, которую любил ещё юношей. Даша изменилась мало: несколько раздалась в

* «Песнь о Роланде» (фр.).

стане, в движениях обнаруживалась степенность; но две горькие складки уже залегли между бровей. На Даше было синее платье; чёрную шубку она скинула сразу, войдя в купе; сняв с головы тёмную, в тон платья шаль, затканную крупными красными цветами, встряхнула и набросила на плечи. Золото Дашиных волос было расчёсано на прямой пробор и убрано под затылком синей лентой, завязанной в бант. Даша выглядела спокойной, но держалась подчёркнуто отстранённо, сидела не поднимая глаз. О, эти очи! две васильковые бездны, когда-то погубившие будущего поэта! Позднее, заглядывая в женские глаза, Ляховский видел лишь те, в которых утонул навек, а все другие были чужими. Сейчас, не видя Дашиных глаз, Ляховский угадывал в них не радость, чего хотелось, а только где-то в таинственной глубине лежащую грусть.

Поэт первым прервал молчание:

– Дарья Михайловна, позвольте ли вы, как прежде, называть вас просто – Даша?

– Да.

– Вы согласились ехать со мной до Радимова. Я не смею надеяться. Даша, неужели вы не позабыли меня?

Локомотив бежал по рельсам ровно, вагон покачивался, и в тишине купе раздавался мерный стук колёс.

– Не угодно ли чаю, господа? – в дверях появился проводник.

– Как прикажете, Дарья Михайловна?

– Воля ваша, Александр Николаевич.

– Тогда так, – распорядился Ляховский, – два стакана сладкого с лимоном. Коньяку, конечно, у тебя нет?

– Как можно-с, война, – проводник изобразил на лице почтение и пошёл по вагону.

Поэт обернулся к Даше:

– Вы тогда так исчезли! Не скажу «неожиданно»: в неизвестность. Я искал вас, но ничего не добился. Ваша тётка – известная барыня! – разговаривала со мной как с мальчишкой, которого следует высечь.

– Тётя Варвара сейчас очень больна. В марте её разбил паралич. Она не встаёт и плохо говорит. Доктор сказал: «Нового удара ей не пережить». Я не могу сидеть с тётей

неотлучно: наняла хожалку; сама езжу из Ярославля раз в месяц, а то и в два.

– Отчего же я не видел вас раньше?

– Я не бывала в Радимове с девятьсот второго года.

Повисла пауза – и, хотя она была недолгой, каждый успел подумать о чём-то своём. Поэт вернулся к беседе раньше; тихим голосом Ляховский спросил:

– Так ты в Ярославль тогда уехала?

– Нет. У тёти Варвары в Рыбинске проживал родственник. Она меня к нему и отослала.

– Почему же все уверяли меня, что вас с тёткой только двое?

– Вы видели её. Она во всю жизнь никому не кланялась. Родня не исключение. Тот случай, пожалуй, был единственным.

Помолчав, поэт свернул на иную тропу:

– Что делаешь в Ярославле? Служишь?

– Нет. У меня швейная мастерская, при ней приют для девочек.

Проводник принёс чай, и, когда Ляховский с Дашей остались одни, разговор возобновила Даша; прямо и просто глядя на поэта, она переменяла тему:

– Что вы всё обо мне да обо мне. Как сами поживаете, Александр Николаевич?

Поэт продекламировал:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?*

В Дашином взоре появилось удивление:

– Это другой Александр! Не Ляховский!

Поэт оживился:

– Подумайте! А если так:

С волжского откоса
Со всего размаха...

* Начало стихотворения Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...».

– Перестаньте, Александр Николаевич! Я боюсь этого стихотворения. Всё кажется, что с вами что-то случится.

Поэт с благодарностью взглянул на Дашу:

– Прости. Я не знал, что ты знакома с моими стихами. Прочту другое. Не возражаешь? «Самсон».

Лев повержен, но Эврисфею* не увидеть его жёлтой шкуры.
Принесу я её в дар Далиле. Пусть руками в перстнях коснётся
Грубой гривы мощного зверя. Пусть оценит моё геройство.
А в награду мне даст лобзання терпких уст и объятий столько,
Что забуду о близкой смерти, чёрным псом лежащей у входа.

– Я вряд ли гожусь в Далилы, – высказала сомнение Даша. – И потом, не понимаю, при чём здесь Геракл?

– Это поэтический образ, – Ляховский взнуздal любимого конька. – Язычники отождествляли Самсона с Гераклом: античная культура сходится с Библией, Афины с Иерусалимом. В искусстве важно не только чувство, но и тема. Безусловно, моя главная тема – любовь к тебе. И это замечательно, что ты знаешь мои литературные опыты! Я писал «Песни одиночества», одержимый тоской и болью. И совершенно без надежды, что ты когда-нибудь их прочтёшь. Скажи, откуда тебе известны мои стихи?

Даша перевела взор на окно:

– Муж преподаёт в гимназии русскую словесность, – голос Дарьи Михайловны звучал безразлично. – Увлечён современной поэзией.

– Так Вы замужем?!

– Семь лет.

– И что же? Счастливы? – забыв об учтивости, поэт начал задира́ться.

Даша смотрела, как за окном мелькали вёрсты, мохнатые рождественские ели и глубокие снега.

– Его зовут Николай Кузьмич Луховцев, он младший сын моего благодетеля. Упокой, Господи, его душу. – Ляховский не понял, кого поминала Дарья Михайловна: свёкра или мужа.

– Простите. Я задал ненужный вопрос. Я только хотел узнать: наверное, ваш муж тоже сочиняет стихи?

* Эврисфей – царь в Аргониде, которому служил Геракл.

– Нет. Это было бы нелепо, – Дашин ответ прозвучал как предложение переменить разговор.

Однако поэт с фальшивым подъёмом начал:

У друга дом.

Жена и дети за столом,

А я один...

– Нет детей, – Дарья Михайловна взялась за стакан, видимо, собираясь отхлебнуть чаю, но то ли передумала, то ли увлеклась какой-то, ей одной ведомой мыслью, не стала пить. Её мягкая белая рука с долгими, совсем не изысканными пальцами, замерла на столике, вздрагивая вслед толчкам поезда.

– Семь лет – немалый срок! – Ляховский, казавшийся себе беспощадным, ожидал от Даши резкости.

Дарья Михайловна обернулась. В её взоре светились лёгкая насмешливость и нежность:

– Помните, Саша, вы пишете: «И бледный цветок, и душистую грушу...»?

– Конечно. «Д.Т.».

– Когда я читаю эти строки, мои пальцы всегда делают влажными: как тогда – в столовой.

Хмель ударил Ляховскому в голову, и сердце, сладко сжавшись, полетело вниз:

– Я вошёл неожиданно, пряча за спиной и цветок, и грушу.

– «Это тебе», – Даша перебила поэта, – и решительно протянул мне свои дары.

– Ты смутилась.

– Я совсем растерялась. И принялась грушу есть.

– Плод был сочный, и сок потёк у тебя по губам. Я отнял руку ото рта. Губы были влажны и манящи. Никогда не забуду их сладкий вкус... Дашенька! – глядя в глаза любимой, поэт взял её за руку; ощутив слабую отзывчивость пальцев, он быстро поднёс руку к губам и, покалывая усами, запечатлел долгим поцелуем. – Скажи, ты по-прежнему любишь меня?

Дарья Михайловна убрала руку на колени:

– А что потом?

– Что потом? – не понял Ляховский.

– Да, что потом, Александр Николаевич?

– Ты бы меня ещё «ваше сиятельство» назвала или «господин граф»!

– Разве это удивительно? Вы – поэт, вы – граф, а я – ваша горничная, хотя и начитанная. К тому же вы одиноки, а я замужем.

– Даша, что ты говоришь?! Сейчас сама госпожа.

Даша горько усмехнулась.

– Александр Николаевич, наше прошлое прекрасно, но его не вернуть. А будущее? Его нет.

– Ты не сказала про настоящее... – Ляховский зачастил: – Даша, я люблю тебя все эти годы. Знаешь, однажды в Париже, от безысходности, я вскрыл себе вены, – поэт завернул рукав.

– У каждого своя история, – по Дашиным глазам ничего нельзя было прочесть. – Я тоже... Сначала рвалась в Радимов. Потом хотела пойти в монастырь... Семь лет назад Николай Кузьмич сделал мне предложение. Отец не одобрял его выбора, но и мешать не стал. Николай как раз получил место учителя в гимназии, и мы переехали в Ярославль. Когда свёкра не стало, Николай со старшим братом разделили наследство. Я открыла швейную мастерскую и небольшой приют для девочек. Учим их ремеслу, устраиваем жизнь. Я благодарна Николаю Кузьмичу. Саша, – голос Дарьи Михайловны звучал решительно, – дайте слово, что, когда мы приедем в Радимов, вы отправитесь в Бойкие Ручьи и не будете искать встречи со мной.

– Даша, я не могу тебе этого обещать, – запротестовал Ляховский.

– Поймите. Я хочу остаться вашей музой... Но издалека!

– Даша, я только что обрёл тебя вновь, а ты требуешь от меня невозможной жертвы!

– Всякая жертва невозможна, иначе она не жертва. Но и жизнь без жертвы – не жизнь. Обещайте, что вы не будете искать меня.

– Даша, пожалей, – в глазах поэта плеснула боль. – Неужели ты не помнишь наш старый парк? И розовый закат? И отдалённые песни косцов на заре?

– А если я отвечу, что люблю своего мужа?

– Даша, это жестокие слова!

Поезд Петроград – Нижний Новгород пришёл в Радимов без опоздания: в шесть вечера. На вокзале Ляховского ожидал Фёдор, старый кучер Литвиных-Волжских в имении Бойкие Ручьи.

– Доброго здоровья, Лександр Николаич, – не в меру весело приветствовал Фёдор молодого барина. – Как доехали?

– Здравствуй, Фёдор. Спасибо, хорошо, – сухо ответил поэт и стал дожидаться, пока кучер расправит брошенный в сани тулуп.

– Эх, и прокатимся мы сейчас! – на козлах Фёдор ещё больше оживился.

– Что это ты, Фёдор, такой бойкий? – Ляховский, уже усевшийся в сани, накидывал на плечи тулуп. – Зелена вина выпил?

– Так ведь, Лександр Николаич, только согреться. Зима!

Радимовом ехали молча. «Сколько в нашей российской жизни лицемерия, – мрачно думал поэт, глядя на спину кучера. – Война! Сухой закон! Зайдёшь в “Прагу”: бутылок на столах нет – а все навеселе! Вон Фёдор наверняка на вокзале принял, не с собой же привёз».

Пока Орлик («Гожий мерин», – отзывался о нём Фёдор) вёз их Обьезжей улицей, справа в окнах редких лачуг попадались огни, не освещавшие проезжей части; слева было городское кладбище. Когда выехали на Владимирскую – окончание старинного тракта, упиравшегося в Волгу, где чуть пониже Базара летом стояла пристань, – ненадолго замелькали керосиновые фонари. За городом стало темно: ни луны, ни звёзд – небо закрывали облака. С востока натягивал холодный ветер.

Отъехав с полверсты от Владимирской заставы, Фёдор остановил Орлика, развязал колокольчики под дугой; бубенцы вольно и весело звякнули. Ляховскому почему-то вспомнились десницкие извозчики. Подавшись вперёд, поэт повысил голос:

– Фёдор, слышал, в Петербурге Распутина убили?

– Да мало ли в Питере распутников? – то ли не расслышал, то ли схитрил старый дока; Ляховский рассмеялся.

В Бойкие Ручьи успели к ужину. После обычных приветствий – целования руки мамá, троекратных лобызаний с Николаем Борисовичем, – перемежаемых малозначительными восклицаниями, Ляховский прошёл к себе. Умывшись и побрив обозначившуюся с утра щетину, поэт передел рубашку и тщательно вычистил свой костюм (у родителей уже не было дедушкиного правила, чтобы мужчины выходили к обеду и ужину только во фраках), прошёлся щёткой по волосам и в семь тридцать две спустился в столовую. В доме Литвиных-Волжских раз и навсегда был заведён порядок: за стол садились в одно и тоже время; но для путешественников допускалось опоздание – минут на пять.

Александра ждали. Папá переменил мягкую куртку, завазывавшуюся в талии поясом с кистями, на чёрный пиджак. На Софье Сергеевне было тёмно-серое платье. Мамá с годами не менялась: оставалась такой же подтянутой, деловой, изящно-благородной, под внешней грацией чувствовалась пантера. Николай Борисович выглядел усталым, щёки опали, обозначив скулы, на правом виске напряглась вена, серебряные нити седины были тусклы.

Заканчивался рождественский пост, и трапеза, как ей следовало, отличалась скудостью. На столе стояли солёные огурцы и белые грузди, в фарфоровом соуснике золотилось льняное масло, свежий ржаной хлеб в причудливой корзиночке подставлял едокам тёмную душистую корочку. Прислуга подала разварной картофель с запечённым речным окунем. Николай Борисович уговорил жену ради приезда младшего сына откупорить бутылку лёгкого вина, но это была единственная поблажка угнетаемому чреву.

Сделав небольшой глоток, граф поставил перед собой бокал и с неизменной любезностью обратился к сыну:

– Ну что, Александр, видел князя Львова?

Ляховский, положивший кусочек окуня в рот, прожевал, не торопясь:

– Увы, папá, имел такое несчастье.

– В чём же ты видишь несчастье, мой дорогой?

Поэт оставил трапезу:

– Представляете! Я докладываю князю: картофель пришлось закупить по ценам выше установленных. А он мне отвечает: «Когда дело идёт об армии, затраты роли не играют!».

Тут удивился не столько Николай Борисович, сколько графиня, не принимавшая участия в разговоре; отложив вилку и нож, она изумлённо подняла брови.

– Что плохого, – наставительно начал Николай Борисович, – если человек в тяжёлую военную пору стремится всё положить на алтарь победы своей Родины?

– Вы не понимаете, папá?! – Ляховский перебил отца. – Князь Львов ничего не делает просто так. Он знает, что я достаточно знаменитый поэт, – лицо графа Николая Борисовича стало снисходительным. – Значит, где-нибудь среди литераторов расскажу эту историю. И вот, Георгий Евгеньевич – снова любимец общественности! Я думаю, князь Львов мог бы на рекламе удвоить своё состояние.

– По-моему, Александр, ты чем-то раздражён, – холодно возразил Николай Борисович, – и оттого несправедлив к Георгию Евгеньевичу. Ищешь соринку в глазу брата.

– Папá, там не соринка. Целый лес! – Поэт сверкнул глазами: – Позвольте вас спросить, за чей счёт князь Львов такой щедрый?! За казённый! В отношении своих денег, я слышал, князь весьма прижимист. Получается, государь оплачивает политическую кампанию Георгия Евгеньевича... И так уже! Передам фразу, которую в Москве слышал собственными ушами (и не раз!): «Поскорее бы нам такого премьера!»

Николай Борисович хотел остаться беспристрастным, но это у него плохо получилось:

– Сейчас все так говорят! – граф начинал горячиться. – За неполный год сменилось три председателя Совета министров! В январе отправлен в отставку Горемыкин, в ноябре – Штюмер. Ныне премьером Трепов – но надолго ли!? Кандидатура Георгия Евгеньевича могла бы успокоить общество! И довести Россию до победы!

В ответ Ляховский презрительно бросил:

– Смею утверждать, папá, что в князе Львове нет ничего, кроме позёрства!

Николай Борисович покраснел от возмущения:

– Так ты, может, сожалеешь, что я рекомендовал тебя для работы во Всероссийском земском союзе!?

Сын пошёл на попятный:

– Нет, папá, я благодарен вам. Союз занимается благородным делом: организует санитарные поезда, заготавливает медикаменты, закупает провизию для армии... Но всё-таки! Георгию Евгеньевичу не следует становиться своего рода теневым премьером. Необходимо не оппонировать государю, а работать вместе с властью до победы над Германией.

– А ты уверен, – Николай Борисович подкинул сыну каверзный вопрос, – что государь понимает суть дела?

– Я не знаком с Николаем Александровичем, – поэт уклонился от прямого ответа. – Видел его несколько раз. Небольшого роста. Рыжий.

В разговор решительно вмешалась Софья Сергеевна:

– Что же ты, Саша, ничего не ешь? Рыба чрезвычайно удачно приготовлена, – графиня улыбнулась сыну. – А ты, Николя, – Софья Сергеевна обернулась к мужу (взгляд её был совсем рысий), – нас безумно утомил! Александр, – графиня вновь приветливо смотрела на сына, – ты ездил в Петербург? – (В доме никто не произносил странного имени «Петроград».) – Как там столица?

– Фунт хлеба, мамá, стоит шесть копеек (это с двух-то с половиной!), а коробка спичек – семь. В семь раз дороже против довоенной цены!

– Ужасно! – возмущение графини прозвучало по-светски.

– Ужасно не для нас с вами, – поэт, казалось, не замечал своей непочтительности. – Мы, мамá, голодать не будем. Другое дело – рабочие. Не думайте, что они забыли девятьсот пятый год. Простите мою резкость, – Ляховский вернулся к уже остывшей рыбе.

Софья Сергеевна, не обозначив своего неудовольствия, приняла извинения сына:

– Ты знаешь, Юра Плахтин прислал телеграмму. – Поэт вновь оторвался от ужина и вопросительно взглянул на мамá. – Его задержали дела в университете и гимназии. Он приедет завтра, в половине третьего пополудни.

В глазах Ляховского затеплилась дружеская нежность:

– Прошу вас, папá, – поэт обратился к отцу, – отправьте завтра Фёдора в Радимов: встретить приват-доцента с поезда.

– Конечно, мой дорогой, – охотно согласился Николай Борисович, – утром распоряжусь. – Граф промокнул губы салфеткой: – Послушай, Вострецов сейчас в городе.

– Александр?! – воскликнул Ляховский. – Не ожидал. Вот чудо! Юра приезжает, Вострецов здесь! Прелестно! – поэт взялся за бокал с крымским.

– Чем думаешь заняться сегодня? – графиня выказала интерес к планам сына. – Может, считаешь что-нибудь?

– Нет, мамá. Простите, – поэт пил белое вино, – я с раннего утра в дороге. Устал. К тому же, давно не писал ничего стоящего.

– Всё-таки псевдоним у тебя, сын, – заметил Николай Борисович, откидываясь на стуле, – какой-то дурацкий: «Ляховский»!

– Ничего недостойного, папá. Наш род от ляхов ведётся.

– Не от ляхов, а от литвинов, – уточнил граф.

– Ну, всё равно. Mercí, – поэт встал из-за стола. – Простите. Пойду, лягу.

Софья Сергеевна поднялась, подошла к сыну, обеими руками притянула его голову к себе:

– С Богом, Саша, добрых снов, – и, как в детстве, поцеловав в лоб, перекрестила.

Младший Литвин-Волжский взял со стола лампу и тёмными коридорами, лестницей, слабо поскрипывавшей под тяжестью его шагов, поднялся в свою комнату. Усевшись в кресло за письменным столом, Ляховский закурил; вообще-то в доме разрешалось курить только сигары, но поэт вставил в мундштук папиросу и поднёс её к открытой лампе. Красный огонёк появился в чёрном окне, то вспыхивая, то затухая. Ляховский, не отрываясь, смотрел на отражение мерцающей яркой точки в тёмном стекле.

«Всё деловые отношения. Политика. “Жомини да Жомини! А об водке – ни полслова!” Я поэт – “Люблю, когда, борясь с душою, краснеет девица моя”... Это папá хочет сделать из меня чёрт знает что! Не будет этого! Муза моя,

“любви, Адель, мою свирель”!* Муза... Даша! Какое чудо, что мы встретились вновь! И за эти годы Даша не перестала любить меня! – Поэт куснул кончик мундштука: – Она замужем! – Но тут же опомнился: – А я что, всё это время – оставался аскетом? Мне не в чем её упрекнуть. Как было бы славно жить здесь, в Бойких Ручьях, с Дашей! Ходить на охоту, писать стихи, на ночь целовать Дашу в губы, а утром ощущать в своих объятиях её тёплую сонную плоть... Но в каком качестве она бы жила здесь?! Мама бы не позволила! ...А вдруг, – поэт ужаснулся, – Даша и в самом деле любит этого – как его? – Николая!»

Ляховский встал, открыл форточку, прошёлся по комнате; пепел от папиросы сыпался поэту на грудь: «Не может быть! Ведь Даша так чувственно помнит наш первый поцелуй!»

Ляховский бросил мундштук с окурком в пепельницу, сел на диван. Справа, в изголовье, лежало постельное бельё, оставленное горничной: вот уже тринадцать лет младший Литвин-Волжский запрещал прислуге стелить себе на ночь и стелил сам.

«Я должен ещё раз увидеть Дашу. Хотя бы и в последний! Но она запретила мне встречаться с ней. А разве я давал какие-то обещания?»

4

В субботу был Рождественский сочельник, и Дарья Михайловна собиралась пойти к заутрене. Но, может быть, оттого, что устала с дороги, а может, потому, что тётушка до глубокой ночи была беспокойна, проснулась, когда на звоннице церкви Михаила Архангела уже ударили в колокол.

Даша не всполохнулась; отзвонили к службе, а она всё продолжала лежать. В тёплой комнате было темно и тихо. Лишь из дальнего угла дома порой слышалось, как Агафья возится у печи, часы в столовой обозначали время, да ветер с Волги тревожил окна в сад. Всё казалось таким

* Строки из стихотворений Д.В. Давыдова «Песня старого гусара», М.Ю. Лермонтова «Стансы» и А.С. Пушкина «Адели».

незыблемым. И, хотя этот дом был давно и не по доброй воле покинут, именно он представлялся сейчас началом мира, той точкой, где брэнное существование сходится с вечностью. Сколько раз Даша уверяла себя, что ненавидит это место на земле, а теперь понимала, что любит. Во мраке декабрьского утра и больная тётя, и заснувший сад, захваченный восточным ветром, и повороты колеса судеб виделись неслучайными и неизбежными.

Когда Варвара Петровна отослала племянницу в Рыбинск, к своему троюродному брату Кузьме Игнатьевичу Луховцеву, Даша, близкая к отчаянию, жестоко обиделась на тётушку. Но жизнь не остановилась, и горячее чувство постепенно сменилось равнодушием. Когда в марте уходящего года Дарья Михайловна впервые увидела тётю – всегда несгибаемую – беспомощной, мычащей, с глуповатым лицом, смотрящим из подушки, в ней проснулась жалость. Теперь Даша хорошо понимала, что такое родная кровь.

Даше не было ещё и четырёх лет, когда её мать, родная сестра Варвары Петровны, умерла в родах. Отец, как говорили, в ту зиму сильно пил, а по весне провалился под лёд и утонул. Маленькую девочку взяла к себе, уже в этот дом, тётя. Дом тогда был совсем новый. Своих родителей Дарья Михайловна не помнила, а яблони в саду – в нынешнем мае убиравшиеся в невестину фату, в августе склонявшие ветви до самой земли под тяжестью спелых плодов, а сейчас почивавших на снежной перине – отлично помнила: в рост немного выше себя, ребёнка пяти-шести лет. За садом на откосе была устроена скамейка. Даша любила сидеть на ней и смотреть за Волгу, на левый лесистый берег. Лес там был глухой и дремучий, страшный. Пойдёшь в него по грибы, по ягоды, заблудишься, углубишься в чащу и найдёшь на избушку на курьих ножках об одном окошке. Однако, когда в ноябре на Волге становился лёд, с той стороны в Радимов по первопутку являлась не Баба-яга, а мужики на крестьянских крепких лошадках, запряжённых в сани, везли товар. Тогда базар становился особенно хорош. В укутанных кадушках белыми пластами лежала солёная капуста, от хрустящих огурцов пахло

смородиновым листом, чесноком и хреном, красные бусины мороженой клюквы предвляли о празднике... Более всего Даше нравились мочёные яблоки: в них кислая сладость антоновки пропитывалась капустным рассолом – и увядшая зелень плода незамедлительно исчезала во рту. Тётя Варвара неизменно покупала солёные рыжики. В дни поста, по субботам вечером, она мелко рубила грибы с кольцами лука в деревянном корытце, поливала их золотым маслом и оставляла так до утра. В воскресенье, после ранней обедни, Варвара Петровна тонко раскатывала тесто и вместе с Дашей лепила пирожки. Из печи пироги выходили румяные, сочные, вкусный аромат наполнял дом. Теперь таких не отведают! Хотя тётушка и выучила Дашу стряпать (как и стирать, шить, да ещё много чему), руки у каждой хозяйки неповторимы. В жизни Варвара Петровна не терпела праздности – и здесь они с мужем, дядей Гришей Грачёвым, были очень похожи.

Если бы не Григорий Петрович, наверное, остаться бы Дарье в жизни босоножкой. Грамоту дядя Гриша не сильно разумел, но учёных людей уважал. Когда Даше исполнилось восемь, её отдали в женский класс приходской школы при Воскресенской церкви. Девочку, живую и любознательную, скоро заметила учительница, Елизавета Андреевна. Первыми книгами, прочитанными Дашей, после азбуки, стали сказки Пушкина, лермонтовское «Бороздино» и поэма «Мороз, Красный Нос», был, конечно, и детский катехизис в рассказах. Даша полюбила чтение, и Елизавета Андреевна разрешила ученице брать книги из своей домашней библиотеки. Хотела даже учить девочку французскому языку, но Григорий Петрович воспротивился: «Мы француза и без их языка бивали. Русскому мужу подобает русская жена, а не мамзель какая».

«Несчастливая Елизавета Андреевна! Умерла в сорок три! Порок сердца. Когда же от неё было последнее письмо? Помнится, мы с Николаем были уже женаты, она поздравляла нас с новым учебным годом, а Кузьма Игнатьевич был ещё жив. Свёкор как раз остановился у нас в Ярославле. Он тогда что-то говорил? Да, Столыпина хоронили в Киеве! А я, поганка, на похороны Елизаветы Андреевны

не поехала! Ну и что, поздно узнала?! Могилку-то могла навестить. Бедная моя учительница! Как она утешала меня, плачущую, как уверяла, что моя любовь к Саше немыслимое и неосуществимое дело».

Даша вдруг тихо-тихо, так, чтобы только ей одной было слышно, медленно, взвешивая каждое слово, произнесла:

– Дарья Михайловна Литвина-Волжская.

«Да, графиней мне не суждено стать. Кто я там? Предмет для стихотворчества? Но как Саша вчера обрадовался, случайно встретив меня в трактире! Как неподдельно засияли его глаза! Как нежно он поцеловал мне руку в поезде! По-настоящему! А этот шрам повыше левого запястья!», – Дашино сердце куда-то летело, мысли приходили в беспорядок. «Стой, стой! Надо вернуться к тому, о чём я думала... Елизавета Андреевна хотела меня учить французскому языку... Помню, я начинала служить в Бойких Ручьях. Саша, окончив гимназию, приехал в имение. Я тогда впервые его увидела. Софья Сергеевна представила меня: “Вот, Александр, наша новая горничная – Дарья Михайловна Телицына, Даша”. Саша странно посмотрел на меня и учтиво кивнул: “Очень рад”. После этого он словно бы не замечал меня: сухо здоровался и проходил мимо. А спустя несколько дней, в гостиной при матушке, спросил: “Даша, ты говоришь по-французски?” Я ответила отрицательно. Тогда он небрежно, с улыбкой, обернулся к Софье Сергеевне: “Мамá, вы позволите мне быть Дашиным учителем?” Графиня сказала, что это желание делает ему честь, ибо знание облагораживает. Подозревала ли она чем могут быть опасны спряжения глаголов?! ...Нет, это просто невыносимо! Опять я за старое: как пьяница, который хочет отстать от вина, и всё говорит про кабак».

Даша поднялась. Затешила свечу на столе. Малое пламя комнаты не осветило, однако, чтобы прибрать себя и одеться, света было вполне достаточно.

Выйдя в соседний покой, Даша убедилась, что сон тёти мирен.

В кухне Агафья промывала пшено:

– С сочельником, Дарья Михайловна. Ужоткой Рожество, что к празднику приготовить?

– Мне это безразлично. Даже если горшок щей поставишь на стол, поперёк слова не скажу.

– А тётушка как?

– Ей о встрече с Богом в самый раз подумать, а не о мясах и наливках. Впрочем, ты, Агаша, как тётя Варвара проснётся, поинтересуйся: может, хочет чего? Так ты уважь её – что болезную обижать.

– И то гоже. А вы куда, Дарья Михайловна, в такую темь собрались?

– В церковь.

– Так к заутрене отзвонили давно! Не слышали али проспали? В ваших летах сон ещё сладкой, не то, что у меня, мухомора.

Даша не ответила. Повязавшись шалью и застёгивая на ходу шубку, она вышла на улицу.

Грачёвский дом стоял на Михайло-Архангельской – улице, шедшей от Костромской заставы по волжскому откосу и упиравшейся в храм, давший имя и улице, и самой горе – Архангелова. Идти было недалеко. Однако ледяной ветер с реки сразу пронизал всё естество. От холода Даша убыстрила шаг.

В тёплой церкви молящихся было не так уж много. Хор пел «Яко да Царя всех подыдем», и Даша не стала проходить вперёд: до конца литургии простояла в притворе, у свечного ящика. Служил приходской священник Николай Соловьёв. Годами отец Николай был не сильно моложе тёти Варвары – под шестьдесят, – но волосы его почти не были седы. Правда, лоб и темя облысели, зато над ушами и на затылке растительность была обильна. Отец Николай шутил: «Полюбуйтесь, православные, как жизнь мне полголовы обрила: словно каторжнику!» Батюшка на людях никогда не унывал – хотя шестерых своих детей, не достигших возраста и двух лет, он схоронил, а жена его, теперь жестоко страдавшая болями в коленях, еле передвигалась по дому. Когда отцу Николаю сочувствовали, он кротко вздыхал: «Что Господа-то гневить! Бог дал – Бог взял».

Даша шла ко кресту с надеждой. Отец Николай выглядел устало, но светло и широко улыбался:

– С приездом, Дарья Михайловна. Что не веселы? «Христос рождается, славите». Или тётушка совсем плоха стала?

– Нет, там всё без изменений, – ответила Даша. И вдруг пожаловалась: – На душе что-то смутно.

– Всё по грехам нашим, по страстям, – и отец Николай осенил мятушуюся душу Распатым.

Михайло-Архангельскую церковь в Радимове переоборудовали в зимнюю только полвека назад, а до этого она слыла кладбищенской. За алтарём в своих гробах почивали священники, когда-то служившие в здешнем храме. По южному склону Архангеловой горы и далее широкой полосой на запад, в сторону деревни Керженцево, скорбным шествием тянулся погост. Когда Дарья Михайловна, по выходе из церкви, молилась на паперти, ленивое декабрьское утро уже занялось. Холодное дыхание восточного ветра, от которого ограждала каменная твердыня храма, здесь ощущалось значительно слабее – и Даша решила навестить дорогие могилы. Возле маминого холмика, занесённого снегом, она простояла недолго, а у дяди Гриши задержалась.

Григория Петровича Грачёва и поныне вспоминали в Радимове: «Добрый был хозяин». Свою молодость Григорий Петрович начинал бурлаком: тянул лямку, бывало, до самой Астрахани. Потом, скопив кое-какой капиталец, вышел в люди, завёл рыбную копильню. Грачёвских копчёных лещей можно было встретить даже в московских трактирах. Свой дом – о пяти тёплых комнатах – Григорий Петрович строил на большую семью, но с тётей Варварой ему Бог детей не дал: одну Дашу воспитали. Племянницу жены дядя Гриша баловал. По роду своих занятий ему часто приходилось бывать в разъездах, из которых он без гостинца для Даши не возвращался: то медовых пряников привезёт, то муромский нечерствеющий калач, а когда поедет уже совсем в глухомань – ржаную горбушку, посыпанную солью: «Лиса прислала». Дорога, можно сказать, его и убила. Отправившись раз в Москву, под Сретение девятисотого года, дядя Гриша вернулся домой сильно простуженным. К доктору, как водится сразу не обратился,

а, натопив жарко баню, крепко попарился. На следующий день Григорий Петрович слёг в горячке. Доктор, осмотрев больного, тут же приговорил: «Воспаление лёгких. Надеемся на милость Божию и силу организма вашего мужа». Варвара Петровна, не помня себя, бросилась заказывать сорокоусты о здравии. Однако через три дня они с Дашей осиротели. Вот было горе так горе!

Могила дяди Гриши находилась на открытом месте, и Дарья Михайловна скоро почувствовала свою легкую доступность декабрьскому холоду: ноги становились чужими, коченеющие пальцы рук слушались плохо, а по спине, без стыда, пробегал мороз. Скороговоркой помянув раба Божия Григория, Даша поспешила домой.

В кухне, отогреваясь у печи, она слушала, как закипает самовар. Однообразный нарастающий шум – глухой и воркотливый – напомнил ей голос мужа. «Даша, я люблю тебя», – и стены града падали не от натиска штурмующих, а от обречённости осаждённых. Дарья Михайловна бесцветно вздохнула. В саду ветер порывами гнул кусты и раскачивал ветви деревьев. Без интереса наблюдая эту картину, Даша ощущала, как безжизненно трётся друг о друга холодная материя. Огня не было.

5

За пять минут до полуночи на колокольне церкви Воскресения Христова ударили в большой колокол. Густой бас протяжно и низко поплыл над Волгой. В напряжённом ожидании замерли и уездный городок, вознесшийся над рекой, и скованные морозом воды, и заснеженные холмы, и тёмный лес на противоположном берегу. Второй удар – молчание. Третий – и снова тишина. На четвёртом рождественский благовест подхватили на звоннице Покровской церкви, и далее, по цепочке, на Вознесенском, Михайло-Архангельском и Троицком храмах. Наконец, на трезвоне усердием звонарей праздничное ликование слилось в единое колокольное торжество.

– Саша, говорят, кто на войне не бывал, тот Богу не молился, – по обрыве звона Ляховский перевёл взгляд

с погона подпоручика, где поверх скрещенных пушек была положена цифра «46», на круглое бритое, с вновь отросшими усами лицо Вострецова. (С полчаса назад поэт с Плахтиным заехали за своим старым товарищем, коротавшим остаток отпуска по ранению у родного очага, в такой хорошо им знакомый дом в Троицком переулке – уже сильно потемневший, но основательный и крепкий, как сами хозяева.) – Тебе повезло: ты встретил на передовой Бога?

Вострецов ответил охотно:

– На войне, Александр, можно встретить смерть, увидеть грязь и вшей, познать, что такое доблесть и суровое мужское братство. Война, в каком-то смысле, – это работа.

– Как у Толстого?

– У Толстого – литература. На войне Бога нет. Христос – не Арес.

– Вот и я, – поэту казалось, что он продолжает мысль Вострецова, – сколько ни всматриваюсь в пустоту, вижу лишь одни культурные формы. Юра, – окликнул Ляховский Плахтина, – а ты можешь доказать реальное бытие Божие?

Юрий Фёдорович через круглые очки рассматривал фото семьи Вострецовых, висевшее на стене: все ещё живы – и Степан Прокофьевич, и Мишаня, которого Юрий узнал парнишкой лет десяти.

Плахтин обернулся и, глянув на поэта карими глазами, задал встречный вопрос:

– Саша, ты признаёшь существование непреложных ценностей?

– Признаю. Любовь. Красота.

– Вот и всё, о чём ты спрашивал.

– Это свойства Бога, – Ляховский обрадовался, что поймал друга на слове. – У меня была пятёрка по Закону Божьему. Я ожидал, что ты обоснуешь существование живого личного Бога.

– Пятёрка здесь не причём. Саша, ты когда-нибудь смотрел на себя в зеркало?

– Хочешь сказать, что Бог – это я?!

– Нет. Errare Feuerbacho est*. Ты – это образ Божий, согласно которому сотворён человек. Следовательно, если есть ты, то есть и личный Бог.

– Всё логично и просто, – вздохнул Ляховский. – Только как до Бога дойти?

– Хватит, друзья, философствовать, – Вострецов поднялся со стула. – Пойдёмте в церковь. Праздник всё-таки.

Плахтин засмеялся.

– Эй, Фёдор, – крикнул поэт в сторону кухни, – выводите Орлика!

Вострецов с Плахтиным переглянулись.

– Что выводить-то, Лександр Николаич?! – в звучном ответе кучера слышались залихватские нотки. – Нищему собратся, только подпоясаться!

– Зачем Орлик? – недоумевал Вострецов. – До Троицкого храма рукой подать: пешим ходом не более десяти минут.

– Ваше право. – Ляховский был категоричен. – А я только в Архангельскую!

Плахтин шутливо хлопнул себя по лбу:

– Я и позабыл, что их сиятельство ни в каких радимовских церквях не бывают, кроме Михайло-Архангельской!

– Что ж, едем, – согласился Вострецов. – Но разговляться к нам.

– Непременно, Александр Степанович, – поэт нетерпеливо шагнул к вешалке. – Всенепременно!

Когда друзья усаживались в сани, и перед глазами Ляховского вновь мелькнули огоньки вострецовских погон, поэт не удержался:

– Господин подпоручик, почему у вас погоны не полевые?

– Ты, Александр, хотя и земгусар**, должен знать, что в окопах они не в чести, – ответил Вострецов.

– Зато все тыловики в защитных, – с неодобрением отозвался Плахтин.

* Эйхенбаха свойственно ошибаться (*лат.*).

** Ироническое наименование служащих Земгора – объединённого комитета Всероссийского Земского союза помощи больным и раненым воинам и Всероссийского Союза городов, созданного летом 1915 года. Возглавлял Земгор князь Г.Е. Львов.

– Известное дело, герои! – Вострецов беззлобно усмехнулся.

До Михайло-Архангельской церкви Фёдор домчал в те же десять минут.

Миру в храме было – не протолкаться: женщины, дети, старики...

Служил настоятель церкви, протоиерей Константин Флегонтьев. В Радимовском уезде он слыл за златоуста. Отец Константин был человеком учёным: говорили, что его сочинение о житии святой Феодоры Цареградской, представленное при выпуске из духовной академии, собирався напечатать «Богословский вестник»; но тогда что-то не сложилось. Несмотря на учёность, протоиерей Флегонтьев проповедовал просто. Небольшого роста, худощавый, с реденькой бородкой – в облике священника не было ничего монументального, – он выходил на амвон, и сердца людей открывались. Когда к батюшке обращались за советом, отец Константин отвечал одно и тоже: «Молитесь, и Господь подскажет». («Как молиться-то, – поэт в раздражении опустил глаза, – если не только молитвы, но и веры нет?») Кроме дара слова, отец Константин умело обходился с радимовскими богатеями. За деловые качества престарелый благочинный, протоиерей Василий Афанасьев, видел в отце Флегонтьеве преемника. Однако перед самой войной у того умерла супруга, и отец Константин засобирався в монастырь. Он бы постригся, если бы не благословение иеромонаха Льва из Калушиной пустыни: «Дождись сперва сына с фронта». Граф Николай Борисович любил принимать у себя в Бойких Ручьях настоятеля Михайло-Архангельской церкви. Как-то, лет шесть назад, услышав от отца Константина неодобрительные слова о своих стихах, Ляховский потерял к священнику всякий интерес: «Этот человек – дело папá»...

Толкотня и шарканье ног знаменовали собой, что литургия кончилась. Ляховский поднял глаза: держась обеими руками за напрестольный крест, из алтаря выходил настоятель. Не дойдя шага до края амвона, отец Константин остановился, незаметно сделал вдох, и громко, так, чтобы было слышно в притворе, начал:

– Когда праотец Адам пал и в мире воцарилась смерть, все мы подпали под власть греха: гордости, блуда, убийства, посягательства на чужое... От такого рабства нас освобождает Христос. Ангел Господень, открывая промысел Божий праведному Иосифу, благовествует: «Той спасет людей Своих от грехов их»...

Ляховский, хотя и был немаленького роста, приподнялся на носках сапог. Впереди, среди белых платочков, мелькнула Дашина голова. Поэт заторопился вперёд.

Проповеди отца Константина никогда не были долгими, и Ляховский ещё не достиг цели, как уже услышал «аминь». Протягивая распятие младшему Литвину-Волжскому, отец настоятель пригласил его на праздничную трапезу.

– Спасибо, батюшка, – поблагодарил поэт. – Я с друзьями, – и неопределённо кивнул в сторону выхода.

– Ну, ступайте с Богом, – отец Константин приложил к губам молодого графа ноги Спасителя.

Поэт настиг Дашу уже в притворе:

– Дарья Михайловна!

Даша обернулась:

– Александр Николаевич! – в её глазах засветилась радость. – С Рождеством Христовым!

– Позвольте, как водится по христианскому обычаю, расцеловать вас, – желания поэта были легки и бесконтрольны.

Даша подставила щёку, и они с Ляховским трижды, попасхальному, расцеловались.

– Я бы хотел представить вас друзьям, – лицо поэта сияло. – Вон они, отходят от креста. Вы не против?

– Отчего же? Почту за честь.

– А здесь славно сегодня, – Ляховский обвёл взором церковь. – Эти ёлочки на солее... Рождество – праздник со вкусом детства.

– Знаете, – Даша стала совсем девчонкой, – дядя Гриша однажды подарил мне настоящий ростовский пряник: медо-о-овый!

– А вот и друзья. – Ляховский привычным жестом представил подошедшую компанию: – Этот господин

в пальто – Юрий Фёдорович Плахтин из Петербурга, будущий профессор. – Плахтин смущённо кашлянул. – Подпоручика вы, может быть, знаете; он местный уроженец, Александр Степанович Вострецов, – подпоручик вытянулся в струну и учтиво поклонился. – А это, господа, Дарья Михайловна... – поэт осёкся, – из Ярославля.

Даша засмеялась:

– Я тоже радимовская, в девичестве Телицына. А что руки не протягиваю, простите, господа: я не священник, чтобы у меня в церкви руку целовать.

Вострецов (вот что значит боевой опыт!) проявил чудо стремительности:

– Невосполнимая потеря! Вы позволите нам проводить вас до дома?

– Мой дом совсем рядом, рукой подать.

– Вот там, у калитки, руку и поцелуем.

Ляховский мысленно поблагодарил Вострецова за настойчивость.

Даша смущённо улыбнулась:

– Ну как таким откажешь.

Михайло-Архангельская улица в эту ночь стала многолюдной и шумной.

Поэт был в особенном настроении:

– Посмотрите, господа, какое небо: по чёрному бархату мелкая серебряная россыпь.

– Это из будущих стихов? – мягко пошутила Даша.

Ляховский словно ничего не услышал:

– Нет, вы только представьте себе, что там, далеко, не звёзды, а неведомые линзы, в которые на нас смотрят те, кого уже здесь нет.

– Вот мы и пришли, – Даша остановилась. – Прощайте, господа, – и первому протянула руку Плахтину.

Юрий Фёдорович пожал Дашины пальцы. В это мгновение Ляховский что-то шепнул Вострецову, и тот понимающе кивнул.

– До свидания, Дарья Михайловна, – Александр Степанович коснулся губами Дашиной руки в перчатке. – Пойдёмте, Юра, – Вострецов взял Плахтина под локоть, – их

сиятельство нас догонят. – И приятели пошли к церкви, где их поджидал Фёдор.

– Что вы сказали друзьям? – спросила Даша, когда они с Ляховским остались одни.

– Только то, что я их догоню.

Дарья Михайловна устало вздохнула:

– Поздно уже. Пора по домам, – и толкнула калитку в высоком глухом заборе.

Поэт шагнул за Дарьей Михайловной и быстро накинул шеколду.

– Как это понимать? – было темно, но Ляховский явственно видел Дашино удивление.

– Разве так прощаются любящие люди? – поэт привлёк Дарью Михайловну за талию (Даша не сопротивлялась) и поцеловал в губы.

Через пару мгновений, опомнившись, Даша уклонила лицо. Переведя дыхание, она сказала словно в никуда:

– Тридцатого рано утром я уезжаю. – И уткнулась Ляховскому в воротник.

– Куда, позволь спросить? – поэт крепко обнял Дашу за плечи.

– В Ярославль.

– Что же ты будешь там делать? Шить бельё для солдат? – Ляховский чувствовал себя сильным. – Едем в Москву?!

Даша испугалась:

– Саша, ты сошёл с ума!

– Мы сейчас оба не в уме, – поэт поднял Дашино лицо, заглянул в дорогие глаза. – Купить тебе билет? – и напирая жёсткими усами, припал к её нежным губам.

Всё смешалось – и Даша поняла, что отказать ей не хватит сил.

6

– Несомненно, баня возвышает душу, – разгорячённый Ляховский с удовольствием заворачивался в свежую простыню.

– Прямо не парная, а Парнас, – засмеялся Юрий Плахтин, успевший уже накинуть на плечи тяжёлый овчинный тулуп,

обуть валенки и усесться за грубо сколоченный стол, на котором была расстелена чистая, вышитая красными петухами салфетка; на салфетке стояли полуштоф водки, налитый до половины, три рюмки и глиняная миска с солёными грибами, крестьянская деревянная ложка лежала рядом. – Ну ладно мы с Александром, – Плахтин кивнул в сторону двери, из-за которой раздавалось горячее шлёпанье, – а у вас, ваше сиятельство, откуда такая любовь к русской бане?

– Юра, ты не смейся. Я ведь не на бульваре Сен-Жермен вырос, а здесь, в имении. Лучше сам скажи: как ты – сын профессора университета, приват-доцент...

– Ладно, ладно, не будем, – запротестовал Плахтин, и примирительно подытожил: – Ты поэт: любишь всякую экзотику.

За дверью полилась вода: так, когда помывшийся человек последним рывком опрокидывает над собой всю шайку. Вслед за радостным отфыркиванием дверь распахнулась, и в клубах белого тумана на пороге появился мокрый распаренный Вострецов.

– О чём сыр-бор, господа?

– О бане, – весело ответил Плахтин.

– Знаете, чего более всего мне не хватало на фронте?

– Наверное, женщин, – сострил Ляховский.

– Бани, бестолочи! Хорошей русской бани!

– Да-а, господин подпоручик, – протянул Плахтин, глядя на иссечённое багровыми шрамами бедро Вострецова, – пометили вас всерьёз.

– Стопятимиллиметровый разорвался... Не понимаю, как я выжил?

– Мои псковские тётушки сказали бы: «Судьба», – Плахтин, склоненный к мудрствованию, погладил русую бороду. – Как думаешь, Александр, сколько времени немцы ещё продержатся?

– Я не стратег, – Вострецов надевал бельё. – Моё мнение: если бы не боши*, мы бы уже были в Вене. – Замер, помолчал и продолжил: – Знаете, господа, у меня брат в прошлом году погиб... А отец умер в нынешнем... Очень Мишаню любил. – Сунул ноги в валенки. – И немцы, и

* Немцы.

мы людей положили – тьма!.. Нет, господа, эта война так просто никому не пройдёт.

– Друзья! – Ляховский взял на себя инициативу. – Три чарки водки не простят нам, если мы позабудем про них. Ты, Александр, почему ещё в кальсонах? Не лето за окном; надевай тулуп. – Поэт ловко налил по полной, поднял рюмку: – Братья мои, будьте здоровы! – и выпил до дна.

Вострецов принял чарку бесстрастно, а на приват-доцента было тошно смотреть.

– Да-а, будущий профессор Плахтин, – усмехнулся Ляховский, – лекции вы читаете складно, а водку пить не умеете.

– Что верно, то верно, – Юрий Фёдорович закусывал груздями, но гримаса ещё не вполне сошла с его лица. – Не люблю горькую.

– Ты, Юра, больше не пей. Мы с подпоручиком сами разберёмся, – поэт кивнул на Вострецова. – Саша, ты когда едешь?

– Завтра, ночным поездом. Послезавтра я в Москве, двадцать девятого уже в Киеве.

– Почему так рано: ведь медицинское освидетельствование у тебя третьего?!

– Я обещал Юлии Васильевне, что Новый год проведу у неё.

– Кто это, Юлия Васильевна? – поинтересовался Плахтин.

Вострецов понял, что брякнул лишнее:

– Знаете, господа, я провёл в лазарете около пяти месяцев. Юлия Васильевна ухаживала за мной. Она служит сестрой милосердия в Киевском военном госпитале.

– Понимаю, – сказал Ляховский, – *trouvé une femme*.

– *La belle femme*, – уточнил подпоручик.

– *Ça vaut le coup*, – поэт снова налил. – *À votre santé**.

Выпив вторую рюмку, Вострецов оживился:

– Знаете, господа, у неё был муж – артиллерийский штабс-капитан Гаркуша. Очень смешная фамилия. Погиб в четырнадцатом.

* ...нашёл женщину.

– Прекрасную женщину.

– Оно того стоит... За ваше здоровье (*фр.*).

– Саша, – в глазах Ляховского заблестела выпитая водка, – познакомишь нас?

– Если жив останусь.

– Тогда *carpe diem, carpe florem!** – пожелал Ляховский. И тут же распорядился: – Всё, господа, пойдёмте в дом, а то ещё простудимся. Предбанник – не мыльня, его никто не топит. Обед, как всегда, в половине третьего. И не дай бог нам опоздать хоть на полминуты!

7

К вечеру растеплело. Снег стал мокрым и вязким. Сторожко ступая, Орлик поплёлся в темнеющее поле; копыта неглубоко проваливались, отпечатывая след на санном пути. Колокольчики под дугой не звенели, а болтаясь, издавали короткие тупые звуки.

«Не бубенцы, а ботало!» – звуки, лишённые гармонии раздражали поэта.

– Саша! – крикнул Ляховский с крыльца в сгущающийся сырой сумерек. – Мы с Юрием Фёдоровичем завтра приедем проводить тебя! К поезду! – И, не дожидаясь ответа, тронул Плахтина за плечо: – Пойдём, Юра. Всё. Уехал Вострецов.

В сенях (Николай Борисович не любил слова «вестибюль», поэтому со смерти старого графа Бориса Алексеевича в доме все говорили «сени»), когда Ляховский с Плахтиным скинули шубы на руки поджидавшего их слугу Ивана, Юрий Фёдорович нарушил молчание:

– Так завтра прощаемся с Вострецовым?

Поэт не ответил. Взяв лампу, он начал медленно подниматься в жилые покои. Под каждым шагом ступеньки тихонько постанывали, и поэт, казалось, чутко вслушивался в этот странный аккомпанемент. На площадке перехода Ляховский обернулся к другу, по-прежнему стоявшему внизу:

– Юра, ты никогда не слышал плач нашей лестницы? – Плахтин пожал плечами. – А я вот четвёртый день слушаю. – И поэт негромко напел:

* Срывай день, срывай цветок (*лат.*).

Con-fu-ta-tis ma-le-dic-tis...*

– Саша, – Юрий Фёдорович заговорил спокойно и весело, как доктор, – если тебя уже так беспокоит Моцарт, вспомни совет Сальери: «Как мысли чёрные к тебе придут, откупори шампанского бутылку иль перечти»** любимого тобою Катулла.

Ляховский неожиданно сделал шаг вперёд, к краю площадки:

Кому лощёную под пемзу суждено
Мне книжку новую в красивой дать отделке?
Корнелий, ты прими...***

– и, отчеканив античные строки, поэт провёл огоньком по тёплому сумраку: от своего сердца в сторону друга. – Соберу новую книгу, Юра, тебе посвящу. И Даше, – Ляховский осёкся, прислушался к тишине дома. – Идём! – он махнул рукой вверх.

Плахтин ступил на лестницу.

Войдя в кабинет, поэт поставил лампу на стол. Свет упал на разбросанные веером исчерканные листы.

– Пишешь? – заинтересовался Юрий Фёдорович.

– Так, дребедень, – поэт выдвинул ящик стола и быстрым движением смахнул рукопись в тёмный провал. – Стоны на облучке.

– Ты полагаешь, ямщицкие песни плохи? – удивился Плахтин. – «Вот мчится тройка...»?

– Не будем цепляться к неудачным фразам, – поэт хлопнул ящик.

Приставив к дивану туалетный столик, Ляховский достал из шкафчика бутылку, в полусвете мелькнувшую тёмным рубином, и две узкие рюмки:

* «Реквием» Моцарта:

Confutatis maledictis,	Посрамив нечестивых,
Flammis acribus addictis,	Пламени предав их адскому,
Voca me cum benedictis.	Призови меня с благословенными.

** Пушкин А.С. «Моцарт и Сальери».

*** Стихотворение Гая Валерия Катулла (87–54 гг. до н. э.), посвящённое римскому историку Корнелию Непоту (ок. 100–25 гг. до н. э.); в переводе А. Фета (1899 г.).

– Вишнёвая. Мама́ готовит прекрасную наливку. Помнишь, Юра? – Плахтин кивнул. – В сущности, мама́ могла бы открыть рюмочную в Москве. Доходное было бы предприятие! – Ляховский засмеялся: – Представляю графиню за стойкой!

Плахтин промолчал.

Усевшись на диван, поэт налил по половине:

– Будем здоровы!

Юрий Фёдорович вежливо омочил губы.

Ляховский дождался, пока тепло приятно побежало по жилам:

– Ты прав, Юра. Народные песни хороши. Простые и глубокие. Не то что мои стихи!

– Ты слишком строг к себе, – в голосе Плахтина зазвучал критик.

– Знаешь, – пожаловался Ляховский, – хочу написать прощальную песню... – и, замолчав, поэт уставился на мрачное пятно картины на противоположной стене.

– Почему прощальную? – друг всё удивлял Юрия Фёдоровича сегодня. – Мне не нравится твоё настроение, Саша.

Поэт вернулся из забытья:

– Представляешь, Юра, живёт волк. Подругу давно убили. Он одиночка. Пришла пора уходить. И, прежде чем спуститься в долину смерти, волк поёт свою последнюю песню. – Ляховский налил себе ещё полрюмки. – В сущности мы все уходим, Юра.

– Объяснись, пожалуйста, Александр.

– Смотри. Есть Русь, Россия, великое Царство. Вдруг щелчок, и нет ни-че-го. Понимаешь, Юра, ничего! Неужели не видишь?

Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт...
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жён
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мёртвых тел
Начнёт бродить среди печальных сел...
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек...

– Лермонтов, «Предсказание», – зачем-то определил Юрий Фёдорович.

– Да, – подтвердил поэт. – 1830 год... А есть ещё Блок:

– Всё ли спокойно в народе?

– Нет. Император убит.

Кто-то о новой свободе

На площадях говорит.*

Поэт взволнованно встал, подошёл к столу. На письменном приборе лежала коробка спичек. Извлёкши одну, Ляховский чиркнул – в темноте заколыхалось копьёцо огня, освещая угол какой-то газеты. Поэт молча смотрел на пламя до тех пор, пока оно, угасая, не обожгло ему пальцы.

Плахтин нарушил тягостное молчание:

– Царь – это предводитель народа. Падение короны, Саша, ещё не означает гибели самого народа. Беда в том, что мы, русская интеллигенция, не понимаем народа, не можем с ним соединиться.

– Юра, – в голосе Ляховского, всё также продолжавшего стоять у стола, зазвучало раздражение, – есть русские военные, чиновники, купцы, священники, аристократы... Неужели одни мужики – народ?

– В простом народе хранится нравственное начало.

– Нравственное! – поэт язвительно обернулся. – Напиться до бесчувствия, покуражиться? Задрать бабе подол? Не для искусства, нет: для разврата. Мужик не Фрагонар и не Бердсли**, озорного изящества не понимает... А копеечную свечку жёлтого воску по воскресеньям Николе Угоднику он всегда ставит. И это ты называешь нравственным началом? Единственное, что мужика по-настоящему интересует, – земля! Не Божья, нет. Своя! И чтобы в руках. Бурая, родящая.

– Ты верно говоришь, Саша: крестьянин любит землю. Земля-Матушка, Земля-Кормилица... До смерти работая на ней, он не только сам с неё кормится, но и нас с тобой кормит...

* Блок А.А. «Всё ли спокойно в народе?» (3.03.1903).

** Художники, чьи произведения, отличались игривым эротизмом.

– Так что, Юрий Фёдорович, – недовольный Ляховский перебил Плахтина, – прикажете мне пахать землю? Как Лев Толстой! Я ведь тоже граф! И непременно босиком-с!

– Саша, это крайности. Твоё дело писать стихи, моё – изучать христианскую Античность, купец пусть торгует, а мужик пашет землю. Каждому своё. Что же до Льва Толстого? Он гений, не разглядевший простых, ясных истин.

– Есть и другой Толстой, – Ляховский был непримирим, словно имел дело с толстовцем. – «Коль мужик не пропъет урожаю, я тогда мужика уважаю!»* И хватит о святых землепашцах!

Поэт решительно шагнул от письменного стола, полой пиджака задел лежащую на краю газету – и не заметил, как та полетела на пол. Сев на диван, Ляховский повернулся спиной к тому месту, где только что стоял.

Плахтин смотрел на грязно-серую лужу газеты: «Растечётся или нет?»

– Саша, я читал в «Биржевом курьере», что Рябушинский пытался прибрать к рукам Радимовский завод, скупая акции у мелких держателей. Одного не понимаю, к чему упоминали имя Николая Борисовича?

Младший Литвин-Волжский был, как всегда, откровенен с другом:

– Нет в этой истории никакой сложности. Папá – радимовский предводитель дворянства, влиятельный человек. С Рябушинскими у него давние дела. Вот Павел Павлович и решил с помощью папá убедить местных акционеров продать акции. Если бы не вмешательство министра путей сообщения, увели бы Радимовский завод у казны.

– Но ведь это афера! – возмутился Плахтин.

– А чем прикажете жить, Юрий Фёдорович? Графским титулом? Или моими поэтическими гонорами? А ведь папá меценат. Вот он и крутится. Уральские родственники (ты помнишь их: неграфская ветвь нашего рода, заводчики). Рябушинские. Меня, думаешь, зачем папá определил в московский отдел Земского Союза? Московское имение-то у нас немногим больше крестьянского огорода. – Ля-

* Неточная фраза из стихотворения А.К. Толстого «Поток-богатырь».

ховский взял со столика рюмку. – Всё спрашивает: видел ли я князя Львова? как он? – Поэт одним махом швырнул наливку в бездну утробы. – Частных пожертвований Земгору и военно-промышленным комитетам десять миллионов рублей, а казённых ассигнований полмиллиарда!

– Саша, – усовестил друга Плахтин, – зачем ты повторяешь черносотенную ложь?!

Ляховский удивился до крайности:

– Это «Русское слово» черносотенный листок?! Вот не знал! Влас Дорошевич с зятем Сытина?! – Поэт расхохотался: – Хороши охотнорядцы!

Отсмеявшись, Ляховский достал из кармана платок, не спеша, утёр слёзы:

– За расходование казённых денег, Юра, никто в Союзе правительству отчёта не даёт. Это первое. Во-вторых, цены растут повсеместно, а в ювелирных магазинах бум продаж. По-твоему, это случайность?

– Ты хочешь сказать, Саша, что князь Львов участвует в масштабном воровстве?! А вместе с ним и Николай Борисович Литвин-Волжский?! С сыном Александром?! Даже если бы ты был сто тысяч раз прав, я бы предпочёл остаться с другом! А не с этой «правдой»!

Ляховский растрогался:

– Я всегда верил в тебя, Юра! Давай брудершафт!

Друзья выпили и облобызались.

– Едем тридцатого утренним поездом, – Ляховский сделал Юрию Фёдоровичу неожиданное предложение.

Плахтин растерялся:

– Куда?

– Не спрашивай, Юра! – Лицо Ляховского было загадочно. – В Десничке (прошу тебя!) пересядь на Петербург, а я поеду в Москву. – Поэт помолчал. – С Дашей.

Чемодан ещё не стоял у порога, а в востречовском доме уже во всём чувствовалось напряжение от предстоящей разлуки. Мать, хлопотавшая у печи, не переставала украдкой вытирать упрямую слезу. Сестрица Еленка, девушка, хотя и не ленивая, но и не расторопная, зачем-то поминутно

выбегала то в чулан, то на двор: так что дверь на петлях не стояла. Одна бабушка, сидевшая в красном углу, казалась безучастной, но Александр Степанович знал (они всегда понимали друг друга без слов), что и ей тягостно.

– Когда я вернусь, – Вострецов подсел к дорогой ему старухе, – напеки мне, бабуся, пирогов. Как я люблю, помнишь? – со смородиной.

Прасковья Ивановна потёрла мосластые натруженные колени, выпиравшие из-под чёрной юбки:

– Вот времечко пришло: руки-ноги мерзнут, и не отогреешь! Жизнь моя, жизнь – сальной свечи огарочек! – бабка вздохнула. – У нас, Саня, в деревне, я тогда ещё в девках была, жил дурачок. Шестипалым звали: шесть пальцев на правой ручке у него было. Работать не годен – так он скотину пас. Бывало, родится у кого ребёнок – плачет, а помрёт кто – смеётся.

– К чему ты это? Умрёшь скоро? Так меня, может, раньше убьют! – ободрил бабушку Александр Степанович.

– Не по-человечески детям прежде родителей на Суд идти. – Прасковья Ивановна перекрестилась: – Упокой, Господи, души раб Твоих: Степана и воина Михаила. А меня, глупую, – она сделала ударение на вторую «у», – за ропот прости.

– Не напечёшь, значит, пирогов! и мёду не сварить! – Александр Степанович весело подытожил разговор. И вдруг посерьёзnel: – А если без шуток, вернусь я ещё в эти стены или нет? – Вострецов окинул взором пространство горницы.

Прасковья Ивановна посмотрела на внука выцветшими глазами:

– Я чаю, не у меня об этом спрашивать. Вот батюшка Лев был в Калушиной. Отошёл летось ко Господу. Царство Небесное праведнику!

– А ты сама как думаешь? – настаивал подпоручик.

– Знамо, – в бабушкином голосе мелькнула надежда. Мелькнула быстрой искоркой, и погасла: – Ноне мир переворачивается, что мне, старой, прикажешь делать?

– Перестань, бабуся, хоронить себя, – одёрнула Прасковью Ивановну Еленка, принеся брату в горницу чистое бельё.

Старуха промолчала, хотя и окатила неразумную ледяным взглядом.

– Как же мир-то переворачивается? – выпрашивал Вострецов.

– Сiju, – начала бабушка, – возле церкви нашей на лавочке, за подог держусь. Ноженьки мои ходить плохо стали. Дай, думаю, на людей погляжу. Идут рабочие на завод. Лба никто не перекрестит. Всё сигарками дымят, говорят скверно. Озорной народ пошёл, не наш.

– Что же раньше озорства не было?

Прасковья Ивановна глянула на внука как на дитё:

– Грех, Саня, не ноне явился. – Старуха достала из рукава сложенный вчетверо платочек. – Моя бабушка рассказывала. Она ещё простоволосой девчонкой бегала: до француза было.

– До какого француза? – перебил Вострецов. – До Наполеона, что ли?

– До Наплефона, – кивнула бабушка (Александр Степанович едва удержался, чтобы не расхохотаться). – А ты не встречай. У них в Малинниках дьякон был. Лихим делом промышлял: с кистенём на дорогу хаживал, до убивства доходило.

Прасковья Ивановна дохнула на платочек, потёрла правый глаз.

– Ну вот, – возразил Александр Степанович, – ты говоришь мир переворачивается, а сама рассказываешь, как в старое время дьякон разбойничал.

– Да какое у дьякона житьишко в деревне! – бабушка махнула рукой. – Помню, у нас один по пьянке в кабаке товарища до смерти зарезал. Когда того горемычного заарестовывали, он плакал да кланялся на все стороны: «Прости, народ православный». А ноне? Скажут, тот зарезанной богатой был – он сам и виноват. Да добавят: царь богатых охраняет – с него тоже спрос. Бывалоча перед попом да перед хозяином шапку за версту сымали. А надысь, смотрю, идёт отец Иван. Стоит какой-то дурачина – шапки не ломит: башку ему, видишь ли, продует. Что продувать-то, коли башка пустая? И таким-то чучелом все в господа норовят!

– Сама же хвалишься, что внук у тебя, – Вострецов приосанился, – «в господа вышел»?

– То – другое, Саня. То – воля Божья. Дед твой гожим кузнецом был. От него отец, Степан Прокофьич, ремесло перенял. А у тебя крест господский. С честью носи его. Помни только, из какого ты звания, – тем и смирайся.

Прасковья Ивановна вытерла платочком глаза.

– Серьёзные вещи говоришь, – Александр Степанович встал.

– Глаза слезиться начали, – извинилась бабушка, – иной раз, словно туманом взор заволакувает.

Вострецов подошёл к окну, отодвинул занавеску – открылся тёмный проём на Троицкий переулок. «Герань никто не полил. Чего доброго, засохнет!».

Александр Степанович обернулся:

– Бабусь, благослови меня. На войне пуля – дура, а на- всегда разлучить может.

– Поди сюды, подай образ.

Вострецов снял в красном углу Казанскую икону Богоматери, опустил перед бабушкой на колени.

Прасковья Ивановна приняла образ:

– Благослови, Господи, воина Твоего Александра. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Вострецов перекрестился, поцеловал икону и хотел уже встать, но Прасковья Ивановна удержала внука:

– А с бабой не балуй.

– С какой бабой? – встрепенулся Вострецов.

– А ты будто не знаешь, к кому едешь? – старуха строго посмотрела на подпоручика.

Вострецов ещё больше удивился: за без малого месяц дома он ни с кем из родных и словом не перемолвился об Юлии Васильевне.

– Сам не страмись и её не позорь. – Тон бабушки не предполагал возражений: – Женись, венец всё покрывает! – И заставив внука преклонить голову, перекрестила иконой: – Благослови вас Бог.

Час спустя и чемодан был собран, и сам подпоручик, по форме одетый – в шинели, с фуражкой в руках, – стоял у двери.

К проводам Александра Степановича подошла Мишанина вдова Стеша. Вроде недавно счастливые брат с невесткой сидели на свадебном пиру, вон в горнице, под образами; недавно входили в новый дом на Северной улице – выстроить который помог граф Николай Борисович Литвин-Волжский; недавно с радостью и умилением не могли налюбоваться на своего первенца Ванечку (Мишаня так толком ничего и не успел) – а уже Стеша вдова! Конечно, она была старше мужа: когда Стеша с Мишаней женились, невесте было двадцать два, а жениху девятнадцать. Но, недолго прожив в браке, Стеша вдовствовала – уже второй год! А Ванечке в июне исполнилось три.

– Прощаться будем здесь, – слова Вострецова походили на приказ. – И ещё об одном прошу: без слёз!

В очередь, с влажными глазами, подходили женщины к внуку, сыну, брату, деверю, крепко, навсегда, обнимали и целовали в губы.

Стеша не удержалась, захлюпала носом:

– Саша!

– Ну-ну, – Вострецов осторожно погладил невестку по волосам. – Не надо.

Выпустив Стешу, Александр Степанович поклонился всем:

– Прощайте.

– Бог простит, и ты нас прости, – Прасковья Ивановна неожиданно легко опустилась на колени, но встать без посторонней помощи уже не смогла.

Вострецов, не выровняв кокарды, надвинул фуражку на глаза, неловко козырнул – и, не оборачиваясь, пошёл на вокзал.

9

В туннель натянутой чёрной спиралью, вниз, уходила железная лестница. Плахтин всё спускался по ней и спускался: «Какая дурная бесконечность!»

Юрий Фёдорович был один, но металл гудел так, словно ещё тысячи ног брели по той же лестнице.

Из тёмного влажного провала несло чем-то тёплым и затхлым. «Куда я? Зачем?» – с тоской думал Плахтин. Голова кружилась, дышать становилось всё труднее.

Вдруг холодный луч света упал на маленькую (в половину человеческого роста) железную дверь в грязной, покрытой липкой испариной стене. Плахтин потянул ручку – осветился проём. Юрий Фёдорович согнулся в три погребели, и вступил внутрь.

Откуда-то сбоку, заставляя напрягать зрение, фосфоресцировал бледный свет. Необозримое помещение, в котором оказался Плахтин, было уставлено множеством столов. За ними, в грязных белых халатах и таких же колпаках, сидели то ли врачебные ассистенты, то ли часовщики. В правом глазу у каждого, словно у часовых дел мастера, был вставлен окуляр, а поверх замызганных халатов повязаны кожаные прозекторские фартуки.

Ассистенты горбились над столами, не поднимая голов. «Что они так внимательно изучают?» – заинтересовался Юрий Фёдорович. Он начал присматриваться. Тот, что с краю, был всех доступнее. Плахтин сосредоточился. И вдруг – Юрия Фёдоровича бросило в жар – он увидел себя!

«Боже мой!» – воскликнул Плахтин в своём сердце.

И тут же крайний ассистент вскинулся:

– А-а, Юра пришёл, – брякнул он во всеуслышание и нахально уставился на Плахтина; правый глаз ассистента закрывал окуляр, а левый был безжизненным, холодным.

«Он меня знает!» – мороз пробежал по спине Юрия Фёдоровича.

– Тоже мне! – нагло заявил ассистент. – Жену отдай дяде, а сам поди... – и, не закончив фразы, он расхохотался; а вслед за ним грохнула и вся лаборатория.

– Господи, где я?! Выведи меня отсюда! – возопил Плахтин.

...И открыл глаза.

Бельё и подушка были мокры от пота, волосы прилипли ко лбу. «Приснитися же! – Плахтин выпростал руку из-под одеяла. – Иисусе Христе, помилуй мя». Перекрестился, откинул волосы со лба.

Ужасно хотелось спать, но Юрий Фёдорович таращился во тьму: боялся, что, смежив веки, вновь провалится в кошмар.

Плахтин лежал безмысленно, не шевелясь, однако ему, мокрому, становилось всё неуютнее. Юрий Фёдорович встал, скинул рубашку, перевернул подушку и одеяло. Снова лёг.

В окно порывами стучал ветер. По временам стёкла оконного переплёта вздрагивали. «Разнепогодилось, – сонный мозг Плахтина не был скор на удостоверение. – А нам, наверное, уже пора ехать. Что, если дорогу задуло?»

...Юрий Фёдорович вышел в графский сад.

Ветер срывал с деревьев жёлтые листья и, шурша, гнал их перед Плахтиным. Юрий Фёдорович вступил в дубовую аллею. Жёлуди падали почти беззвучно, но их было столько, что по ним приходилось идти – и тогда древесные плоды издавали последний хруст.

На скамейке в аллее сидела маленькая сухонькая старушка: не то барыня с левреткой, не то её служанка – старая дева, похожая на взбалмошную собачку своей госпожи. Жёлуди падали и на неё, но она, казалось, их не замечала. Время от времени веткой, которую держала в руках, старушка смахивала жёлуди со скамейки на землю.

– Здравствуйте, сударыня. – Старая дева кивнула Плахтину. – Простите мою неучтивость, что, не будучи представлен вам, нарушаю ваше уединение.

– Пустяки. – Старушка провела веткой по скамейке. – Прошу вас, присаживайтесь.

Юрий Фёдорович сел.

– Простите ещё раз. – Он сделал паузу. – Вы не скажете, куда девалась зима?

– Зима?! – Старая дева посмотрела на Плахтина, как на умалишённого. – Она ещё не пришла. Видите, – старушка указала рукой в чёрной перчатке вверх, на деревья, – сентябрь на исходе. Может быть, вы больны?

– Нет-нет, – поспешил заверить собеседницу Юрий Фёдорович. – Просто мой друг, поэт, читал мне свои стихи – вот я и нафантазировал. Послушайте:

В белом завьюженном поле
Еду – и знаю: вдали
Предки на косогоре
Вечный покой обрели.

Под тёмные своды их склепа
Мне не войти, не спеша...
Льдистая буря свирепо
Бесом воеет, кружа и снежа...

– Александр Ляховский, – сказала старушка. – Последнее стихотворение сборника «Песни одиночества».

– Вы тоже знаете?! – удивился Плахтин.

– Вы недогадливы, – обиделась старая дева. – Мы сидим в парке Литвиных-Волжских.

– Ах, да! Простите, – извинился Плахтин.

Старушка переменила гнев на милость:

– Я тоже сочиняю. Вот, к примеру, «Сказка, рассказанная в дубовой аллее».

«Где-то далеко-далеко, в царстве вечного мрака и холода, обитает Госпожа Мира.

Однажды её отец, Великий Змей, был так голоден, что закусил себе хвост. От образовавшейся фигуры произошло яйцо. Змей проглотил яйцо, а на следующий день изверг взрослую дочь.

Быстротечное Время посватался к ней. От их брака родилось четверо сыновей – четверо ветров: Полночный, Восточный, Полуденный, Западный. Время был непостоянным мужем, и Госпожа Мира, не стерпев унижения, вернулась под отцовское крыло.

В День гнева Великий Змей восстал на Светлого Царя и повёл против него своё войско: ползучих гадов, тритонов, жаб, мышей и прочую нечисть. Навстречу воинству Великого Змея, горя, как жар, доспехами, с пылающими мечами в руках вышли царские ратники. Впереди них сам Грозный Витязь. Светлый Царь на холме стоял, приказы отдавал. Сошлись рати, сшиблись – и были скинуты нечистые в гнилые болота, зловонные лужи, грязные подвалы... Великого Змея в плен взяли и в глубоком подземелье заперли. А Госпожа Мира с сыновьями бежала в царство вечного льда и мрака.

Но не удалась она от дел. Если надо на кого навести слепоту или пришла человеку пора вкусить холода смерти, посылает Госпожа Мира старшего сына. Восточный ветер спешит, чтобы отворить кровь или отдать народы на поругание. Их Полуденный брат несёт знойную похоть и засуху, а Западный – пьянство, смуту и мятежи. Не вольны ветры в своём выборе, ибо хозяйка им мать – Госпожа Мира, которую люди называют Метелицей».

Слушая старую деву, Плахтин невесть откуда взявшейся тростью гонял у себя под ногами жёлуди. Вдруг женский голос, уже слышанный когда-то, позвал: «Юра!» Плахтин поднял лицо. Перед ним на скамейке сидела – Даша?!

– Юра! – кто-то настойчиво тряхнул приват-доцента за плечо. – Вставай!

Юрий Фёдорович сфокусировал сонный взгляд и увидел склонившегося над собой поэта.

– Какой сейчас ветер? – силясь что-то припомнить, спросил Плахтин.

– Ветер? – Ляховский порывисто встал. – Чёрт его знает какой! Тёплый. Подымайся. Выедем пораньше. А то дорожку развезёт – к поезду опоздаем!

Проводив сына, Софья Сергеевна осталась неспокойной. «К чему этот поспешный отъезд?» Конечно, графиня привыкла к чудачествам Александра, но: «Что он задумал на этот раз?»

Освещая коридор керосиновой лампой, Софья Сергеевна прошла в комнату младшего сына.

Постель была не прибрана. В изголовье стоял туалетный столик, а на нём пепельница, полная окурков. Графиня втянула воздух. Сладковатый аромат турецкого табака был слабым. Да и вообще как-то прохладно. «Курил при открытой фрамуге, – решила Софья Сергеевна. – А когда Саша спал?!»

Графиня подошла к письменному столу.

Жёлтый огонёк, колеблясь, осветил лист бумаги. Сверху знакомым почерком было выведено: «Александр Ляховский». И посередине, крупно: «Мятеж метели». Графиня перевернула лист. Там ничего не было.

Даша стояла по пояс в сугробе. До боли заоченели ноги. Живот стал куском льда. «Саша! – Дарья Михайловна пыталась перекричать вьюгу. – Помоги мне!» В ответ лишь метель бесстрастно завывала в голом поле. «Господи, куда же он пропал?» – плакала погибающая женщина, и слёзы бороздками замерзали у неё на щеках.

Вдруг где-то, недалеко, ударили в набат. Даша подалась на едва слышный звук... Но увидела лишь стену, оклеенную зелёными обоями в золотую полоску.

«Что это было?» – реальность не торопилась возвращаться. Даша провела ладонью по щеке. Щека оказалась горячей и сухой. «Почему так холодно?» Дарья Михайловна, лежавшая на спине, повернулась вправо. Рядом мирно посапывал Саша: весь завернувшись в одеяло.

Захотелось прижаться к родному нежному теплу. Но Даша боялась потревожить сон любимого. А лежать так было неудобно.

«Надо чего-нибудь на себя накинуть», – Даша спустила ледяные ступни с кровати; они приятно погрузились в мягкий ворс азиатского ковра. По углам спальни, справа и слева от наглухо зашторенного окна, стояли два изящных гнутых кресла, обитых зелёным шёлком. На одном была кое-как брошена Дашина одежда. «А я вчера в темноте и не заметила, куда её скинула». Дарья Михайловна взглянула на вещи с пренебрежением: «Не платье же сейчас надевать?!» На спинке противоположного первому парного кресла широко раскинулся восточный пёстрый халат. «Вот эта одежда по мне!»

Дарья Михайловна встала – и в то же время в гостиной часы отбили четверть часа. Даша взглянула на окно. По зелёным задёрнутым шторам гуляли медлительные волны. Осторожно, так, чтобы не показаться в оконном проёме между раздвинутых занавесей, Даша слегка отстранила одну. Сквозь открытую форточку в спальню лениво проталкивался холодный воздух.

Рабочая Москва, должно быть, уже давно поднялась. Однако шум с проезжей сюда, во двор богатого доходного дома, достигал слабо; явственно было слышно, как дворник скребёт лопатой по занесённой снегом дорожке.

Дарья Михайловна зябко поёжилась и обернулась, чтобы одеться.

Саша лежал, закинув руки за голову, и во все широко раскрытые, восхищённые глаза смотрел на любимую. Даша смутилась: из всего, что носят люди, на ней был только нательный крест. В таком виде её не знал даже Николай Кузьмич. Лишь Саша! Да и то в юности: четырнадцать лет тому назад. Уже почти забытые ощущения.

Дарья Михайловна шагнула к халату.

– Не надо. – Поэт призывно протянул правую руку ладонью вверх: – *Allez ici, mon amour**.

Даша охотно подошла к кровати.

Александр поцеловал у возлюбленной пальцы:

– *Allez à moi, Darin***.

Даша забралась под одеяло: в тепло, к любимому.

Обняв свою бесценную Дашеньку, поэт вдруг вскинулся, опершись локтем о постель, заглянул в потерянные им, но вновь обрётённые глаза:

– Скажи, а ты не забыла наши уроки французского языка в Бойких Ручьях?

– Нет.

Радостные искры заплясали в Шашином взоре:

– Ну-ка, назови *indicatif**** настоящего времени глагола *aimer*****. Как тогда, помнишь?

Даша светло улыбнулась:

– Только теперь без смущения. Единственное число: «*j'aime* – я люблю», «*tu aimes* – ты любишь», «*il aime* – он, она любит». *Pluriel******: «*nous aimons* – мы любим», «*vous aimez* – вы любите», «*ils aiment* – они любят».

* Иди сюда, любовь моя (*фр.*).

** Иди ко мне, Даша (*фр.*).

*** Изъявительное наклонение (*фр.*).

**** Любить (*фр.*).

***** Множественное число (*фр.*).

– Прилежная моя ученица! – поэт поцеловал Дашу в ждущие губы.

Дарья Михайловна закрыла глаза, и горячая волна накатила на неё...

Солнце поднималось в зенит, оставляя на голубой глади моря золотую дорожку. На горизонте курились лёгкие облака. Даша плыла, и ей было не страшно того головокружительного расстояния, что отделяло поверхность океана от дна. Она, казалось, не плыла, а лежала посреди прекрасного потока: тёплые струи ласково и сладко обтекали обнажённое тело. Под солнцем становилось всё жарче. Уже не было сил пошевелить ни рукой, ни ногой. Наконец, золотой поток плеснул волной, и вынес Дашу на горячий прибрежный песок. Она в истоме провалилась в глубокий сон...

Даша стояла в парке в Бойких Ручьях. Мимо несли покойника. «Кого хороните?» Ответа не последовало. Тогда она наклонилась ко гробу, чтобы увидеть лицо усопшего – и в страхе отпрянула. В домовине лежало тело Николая Кузьмича!

В ужасе Дарья Михайловна открыла глаза.

«Вот и кончилось моё счастье!» Мысль была ясной, а чувство горестным. Даша повернула голову. Саша спал спокойно, дышал ровно, с его лица не сходила улыбка. «Ишь, разлакомилась! Графиня! Нельзя строить счастье на несчастье другого. Разве Николай виноват в том, что я не люблю его? Он-то меня любит!»

Даша вдруг вспомнила, как Николай Кузьмич посватался к ней.

В тот год Дашин день рождения, двадцать четвёртое февраля, пришёлся на среду Масленой недели. Время было весёлое. Люди ходили друг к другу в гости, ели блины, пили водку, катались на тройках и дрались на реке стенка на стенку: не смертным боем, а так – показать молодецкую удаль.

Николай вошёл с охапкой красных роз. Среднего роста, коренастый, в отутюженном форменном сюртуке и начищенных до блеска сапогах, с простодушной широкой улыбкой. Даша давно видела, что нравится Николаю («Может, он даже влюблён»), но это не занимало её. Проживая

шестой год затворницей в доме троюродного дяди – а следовательно, отца Николая Кузьмича, – Дарья Михайловна молилась Богу, читала книги и старалась совсем не вспоминать младшего Литвина-Волжского.

– Поздравляю вас, Дарья Михайловна, – Николай подарил цветы. – Позвольте пожелать вам ослепительного счастья и крепкой любви.

– Благодарю, – Даша была приветлива, но в рамках обычной вежливости.

Николай Кузьмич поцеловал руку у новорожденной.

– А ещё... Я хотел сказать... – Николай тянул и оттого становился смущеннее. Наконец, собравшись с духом, он выпалил: – Я люблю вас!

Объяснение было неожиданным, но Даша приняла его невозмутимо и молча.

– Ответьте мне, – осмелел Николай Кузьмич.

Дарья Михайловна зашла издалека:

– Я уважаю ваши чувства...

– Но разве я не достоин большего?! – Николай Кузьмич перебил Дашу; и, хотя он оставался внешне спокоен, внутри него клочкотало пламя.

Даша не стала спорить:

– Достойны, конечно.

– Тогда! Дарья Михайловна! ...Вы – моя грёза! – (В Дашином сердце поднялось раздражение). – Прошу вас... – Николай Кузьмич сбился и не продолжал.

Даша не опускала вопросительно поднятых ресниц.

Наконец Николай нашёлся:

– Простите... Вы прекрасны, вы добродетельны, вы чисты...

Даше неудержимо захотелось сказать гадость:

– Добродетельна и чиста! Вы судите вот по этому платью, – она тронула рукой чёрный атлас подола, – и вон, – махнула в сторону книг на этажерке, – молитвеннику?! Вообразили себе, что я невинна! А у меня, если хотите знать...

– Не надо, прошу вас, – в глазах Николая Кузьмича стояла любовь; и прощение. – Если вы выйдете за меня замуж, обещаю вам никогда не напоминать о вашей слабости.

Дарья Михайловна впервые посмотрела на Николая Кузьмича по-иному.

«А ведь действительно – ни разу не укорил! Смогу ли я простить себе, если из-за меня с Николаем что-нибудь случится?.. Нет! Но как быть с Сашей?!» Даша всмотрелась в любимое лицо. Желание счастья и долг разрывали ей сердце: «Какая мука!» Даша отвернулась. Она вдруг вспомнила строки из Песни песней Соломоновой: «Крепка, как смерть, любовь; стрелы её – стрелы огненные». «Боже, прости нас грешных!»

Дарья Михайловна вновь всмотрелась в единственное дорогое лицо, в каждую его чёрточку: несколько пухлые щёки, ямочка на подбородке, прямой нос, негустые усы, красиво прикрывающие верхнюю губу... Губы! Ах, эти губы! Даша бы заплакала, да за столько лет пересохли источники слёз. «Сашенька! Я желаю тебе счастья... Ты напишешь много-много стихов... Об одном прошу: не забывай меня! А я, – Дарью Михайловну захлестнула тоска, – поволоку свой крест дальше. Страданиями, говорят, душа исцеляется».

Даша тихонько встала, не глядя на Сашу, оделась.

Перед уходом она обернулась. Поэт спал крепко и спокойно. Он был счастлив.

11

– На Ярославский! – Ляховский не враз поймал лихача. – Плачу втрое! Гони!

– Эх, залётные! – крикнул извозчик, стегнул коней, и пара понесла на Каланчовскую площадь.

Выскочив напротив арки главного входа под теремной крышей, поэт бросился сначала к кассам, затем на перрон.

Поезд на Ярославль – ушёл!

Убитый этим известием поэт едва доплёлся до зала ожидания.

«Уехала! Куда мне теперь? Домой?!» Ляховский опустился на край диванчика. «А на Николаевском хороший ресторан. И рукой подать. Не-е-т! Сейчас бы в кабак! Штоф водки и солёных огурцов. Хорошо бы ввязаться

в драку. Глядишь, какой-нибудь пьяный brigand* выхватил бы из-за голенища остро отточенный нож – и... Жизни моей цена – копейка!»

– Прошу извинить, милостивый государь. Не разрешили ли вы присесть рядом с вами?

Поэт поднял глаза.

Перед ним стоял невысокий худой старичок. Его левая рука висела вдоль полушубка, правую, с шапкой, он почему-то прижимал к сердцу. По впалым щекам и скулам белела небогатая борода. Высокий лоб был лыс, карие глаза не веселы.

– Прошу, – Ляховский чуть подвинувшись, предложил место.

Старичок осел на тёмную лакированную поверхность:

– Благодарю. – И, помолчав, обратился к поэту: – Я вижу, вам плохо?

Ляховский не ответил.

– Может, вас что-то тяготит?

– Прошу не беспокоиться, – в холодность тона поэт вложил желание не развивать беседы.

Однако старичку необходимо было высказаться.

– Знаете, у меня сын наложил на себя руки сегодня. – Слова застряли в горле безутешного отца. – Что я матери скажу? Жене?

Ляховский хотел встать, но старичок мягко удержал его:

– Грех-то какой, а? – и с немой просьбой заглянул в глаза поэту.

– Простите, на поезд опаздываю, – Ляховский кивнул, порывисто поднялся, но заспешил не на перрон, а к выходу.

«Если не выпить, с ума можно сойти». Без шапки на ветру и морозе, поэт не чувствовал холода.

Небо над вокзалом темнело.

– Здравия желаю, – какой-то прапорщик, проходя мимо, остановился. – Вы Александр Ляховский? Прошу простить.

– Увы, mon cher**, – поэт не скрывал раздражения.

– Почему «увы»? – прапорщик смотрел весело, он ничуть не обиделся.

* Разбойник (фр.).

** Мой дорогой (фр.).

– Потому, что я хочу выпить, а в России сейчас вместо водки приносят всякую дрянь!

– Тогда, Александр Николаевич, позвольте вас пригласить к «Тестову»: на стерляжью уху с расстегаями.

Ляховский с удивлением взглянул неизвестному в лицо: гладко выбритое, вытянутое, с блестящими зелёными глазами. «Гумилёв гордится зелёными глазами. И Гиппиус; она считает их признаком ведьмы».

– Как вас зовут?

– Юлий. Юлий Сергеевич Дебрянский.

– Ну что ж, Юлий, Вы отчаянный. Едем! С вами хоть к чёрту на рога.

И, как старые знакомые, поэт с прапорщиком отправились на Театральную площадь.

Войдя в зеркальный вестибюль ресторана, Дебрянский предложил:

– Закажем отдельный кабинет? Как вы, Александр Николаевич?

Ляховскому не хотелось никого видеть, но он пошёл наперекор себе:

– Нет, Юлий, давайте в общий зал.

Усевшись в левом ряду за вторым столиком, сразу же позвали официанта, хотя тот уже спешил к ним. Приняв меню, Дебрянский протянул поэту:

– По карте закажем? Благоволите.

Ляховский сделал упреждающий жест:

– Нет-нет, ради бога, Юлий. Сами распоряжайтесь.

– Записывай, – прапорщик обернулся к человеку.

На эстраде драматический баритон запел:

Как цветок голубой среди снежной зимы,
Я увидел твою красоту...*

– И ещё, – Юлий Сергеевич поманил пальцем, и официант наклонил ухо.

Яркий луч засиял мне из пошлости тьмы.
И лелею свою я мечту.

Голос надрывал сердце.

– Не извольте беспокоиться, в чайнике-с подам, – человек с почтением удалился.

– Я вижу, – поэт положил пальцы обеих рук на стол, – вам у «Тестова» всё знакомо?

Ужели трезвого найдём
За скатертью студента?*

Дебрянский широко улыбался.

– До войны я здесь часто бывал.

– А это? – Ляховский указал на погон прапорщика. – Призвали?

– Да, – ответил Юлий Сергеевич. – Воюем. – И с беспечностью добавил: – «За веру, царя и отечество».

...Время изменится...
Горе развеется,
Сердце усталое
Счастье узнает вновь.

Голос с эстрады растравил-таки душевную боль: «Какое счастье может быть вновь?! Бездарно, пошло потерял Дашу! Во второй раз! Даже если я прямо из ресторана поеду в Ярославль, она ко мне не вернётся!»

– Знаете, Александр Николаевич, с какого стихотворения я полюбил вашу поэзию? – вопрос Дебрянского вернул поэта к разговору.

– Сделайте одолжение.

Прапорщик собрался прочитать стихи, но тут официант принёс чайник с чашками. Юлий разлил тёмную влагу:

– Выпьем без тостов и не чокаясь.

Ляховский принял коньяк как лекарство – но, болеутоляющее при иных болезнях, оно сейчас не действовало.

– Вот теперь, если не возражаете, – после коньяка в голосе Дебрянского появилась задушевность, – я прочту ваши стихи.

– Буду рад, – Ляховский всё ещё ожидал успокаивающего эффекта спиртного.

* Стихотворение А.С. Пушкина «К студентам» (1814).

– Прошу заранее простить: я не актёр-декламатор. –
Прапорщик сделал паузу. – «Грёза».

И бледный цветок, и душистую грушу
За золото пышных волос
Я отдал и просил: «Забери также душу
И владей ей всегда, дева грёз!»

Мои пальцы влажны. Ваши очи в слезах
И замкнуты уста – не навек!
Помогите безумному: в драных лаптях
Бродит в спелых хлебах человек!

Губы шепчут мне: «Да»...
Торжествуя, гремит звон бокалов нажданном пиру.
И фата тяжела –
Флёрдоранжем увит брошу я твой венок на полу.

Смелость ласки в руках. Робость счастья в глазах.
И ликует любви естество...
Только муза моя спит глубоко в горах,
И дракон сторожит сон её.

Поэт слушал напряжённо, по окончании чтения плеснул коньяку в чашки:

– Благодарю, Юлий, – и осушил свою до дна.

Дебрянский не торопился выпить.

– Понимаете, Александр Николаевич, «Грёза» потрясла меня. Я был тогда влюблён – и чувствовал точно также как вы. А посвящение «Д. Т.»! Это были инициалы моей возлюбленной! И вашей, я думаю...

– Вы ошибаетесь, прапорщик, – Ляховский парировал заученно. – «Д. Т.» – это «Деве творчества». Стихотворение о поэзии.

– Но всё так осязаемо, чувственно! – не поверил Дебрянский.

– Поэзия сродни шалостям Эрота... И знаете что, Юлий, давайте выпьем! – Поэт взялся за чайник, но, оставив ухватистую белую ручку, голосом, в котором сквозило отчаянье, – предложил: – Хотите прочту новые стихи?! Три дня

назад написал. Ещё почти никто не знает. – И не дожидаясь ответа, начал: – Слушайте же, прапорщик, мой реквием. «Алконост».

Бьётся птица в запертой клетке.
Ей бы ввысь, на вольный простор.
Но железные прутья крепки –
Только смерть разрушит затвор.

Так душа, родившись свободной,
Рвётся к свету, небесной глуби.
Но телесные связи тлетворны,
Преграждают дорогу Любви.

Ты ломай, Алконост, рёбра клетки!
Разрывай сети мира больных!
Я хотел бы, чтоб вновь с райской ветки
Пела птица восторгов немых.

Дебрянский сиял:
– Потрясающе!

Восхищение, обычно воспринимаемое поэтом как должное, сейчас взбесило Ляховского. Впрочем, внешне он остался безучастным:

– Вы оказывается, Юлий, большой ценитель прекрасного!

Прапорщик пропустил колкость:

– Вы отрекомендовали свои стихи как реквием. Почему, Александр Николаевич?

Ляховский не ответил, он смотрел на эстраду. На неё выходил высокий худой певец в тёмно-синем фраке, похожий на мрачную башню. Встав на краю – поэт вспомнил, как однажды в театре тенору стало плохо, и тот упал в оркестровую яму, – артист резко, совсем не в манере Вертинского, запел:

Что вы плачете здесь, одинокая глупая деточка,
Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы?
Вашу тонкую шейку едва прикрывает горжеточка,
Облысевшая, мокрая вся и смешная, как вы.

Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная
И я знаю, что крикнув, вы можете спрыгнуть с ума.
И когда вы умрете на этой скамейке, кошмарная,
Ваш сиреневый трупик окутает саваном тьма...*

Ляховский обернулся к прапорщику:

– Скажите, Юлий, Вам не страшно за наше будущее?
Мы все изломаны, больны: пьянствуем, развратничаем,
один стал морфинистом, другой гомосексуалистом, тре-
тий хамом, кто-то застрелился... Ищем оригинальности!
И всё это свинство оправдываем искусством.

– *Décadence*** , – нашёл, что сказать, Дебрянский.

– Я бы сказал – *destruction**** , – поэт подвёл черту, и в его
голосе звучала безнадёжность.

Домой Ляховский возвратился один (он так и не позво-
лил прапорщику проводить себя). Доехав на извозчике,
поэт поднялся на третий этаж, сам отпер дверь (прислу-
гу Ляховский отпустил ещё вчера), в тёмной передней, по
привычке не спеша, снял шапку и пальто, не зажигая све-
та, прошёл в гостиную.

Часы в углу отбили половину часа.

Поэт тяжело опустился на диван; сидел во тьме, оцепе-
нев. «Всё кончено! Дашенька потеряна для меня навсегда.
Зачем жить?!»...

В соседней комнате хлопнула фрамуга (поэт явствен-
но услышал звук). «Стекло разобьётся», – посторонняя
мысль вошла в сознание, но не разорвала цепи тоски и
боли. Ляховский встал и пошёл в спальню.

Картина, открывшаяся поэту, была безотрадной. До-
рогие занавеси беспомощно раскинулись на обе стороны.
Сквозь настежь раскрытую форточку ледяной северо-вос-
точный ветер – окно выходило на восход – наполнял про-
странство гулевым холодом. Ляховский не стал мешать
ветру. Он вдруг почувствовал себя свободным, способным
на поступок. Подойдя к небранной кровати, поэт скло-

* А. Вертинский. «Кокаинеточка».

** Упадок, падение (*фр.*).

*** Разрушение, уничтожение, истребление (*фр.*).

нился над подушкой, на которой ещё утром, разбросав волосы цвета спелой пшеницы, лежала Дашина голова. Удивительно, но запах любимой сохранился! Ляховский поцеловал белое полотно.

Выйдя из спальни, поэт плотно затворил за собой дверь.

В кабинете Ляховский зажёл настольную лампу. Сев за письменный стол, достал из ящика чистый лист. Обмакнув в чернильницу перо, поэт, не задумываясь, написал: «В моей смерти прошу никого не винить. Я сам. Так сложилось. Простите меня, если сможете». Подписав, Ляховский поставил число: 31 декабря 1916-го. Взглянул на часы: без пяти двенадцать. «Как я мечтал, в эти минуты, сегодня, откупорить в гостинной бутылку шампанского. С Дашей! И опьянеть от её губ!».

Поэт отпер другой ящик стола, извлёк оттуда револьвер. «Не помню, сколько патронов в барабане... Но точно неполный». Ляховский крутанул об ладонь цилиндрический блок. «Если холостой выстрел или осечка, надо будет как-то жить!» Поэт приставил револьвер к сердцу. «Господи! Если Ты есть, прости меня». И нажал на спуск...

Прогремел выстрел.

Часы в гостинной пробили полночь.

Антон ЛУКИН

СИНДРОМ СТАРОЙ ВЕДЬМЫ

С Фёдором Медведевым произошла весьма неприятная история. Он, мужчина сорока семи лет, крепкий и здоровый, как молодой телёнок, вдруг стал бояться спать. Последнее время нигде не работал. Раньше тоже зарабатывал, как придётся. Трудился то здесь то там. Любил принять на грудь. Смочить горло. Потому подолгу нигде не задерживался. Село, в котором проживал Фёдор, хоть и большое, но не настолько, чтобы не знать пьяного Медведева. Когда выпивал лишнего, становился дотошным. Мог учинить драку. Потому не раз заночёвывал в обезьяннике. Связываться с ним, а тем более брать на какую-либо работу такого труженика никто не желал. Когда Фёдор не пил, вёл себя скромно и даже наивно, как большой ребёнок. Злым не был. Наоборот – последнее отдаст, если видит, что человек в этом нуждается больше, чем он. Только вот винишко изрядно подводило.

Случилось это месяца три тому назад. Почистив перед сном зубы и побрившись на скорую руку, Медведев посмотрел по телевизору новости, поругал в обыденном порядке правительство и, пожелав жене Ирине добрых снов, заснул. Но, как выяснилось, добрых снов в ту ночь ожидалось. Посреди ночи проснулся Фёдор и, к сильному удивлению своему, осознал, что не может встать. Да что там приподняться – пошевелиться не в силах. Чувствует, что жена рядом лежит, а позвать не может. И вдруг... дверь в

комнату медленно приоткрылась, и в спальню вошёл мужчина. Лица его Медведев не видел. Только тёмный силуэт. Медленно прошёлся этот человек по комнате и остановился у окна. Как ни старается Фёдор, а шелохнуться не может. Даже крикнуть не удаётся. Жену разбудить и то не в состоянии. Лишь мычит. А та, как ни в чём не бывало, спит себе, сопя носом, пока по их комнате расхаживает незнакомец. Неизвестно ещё, как он сюда пробрался, для какой цели и что у него на уме. Медведевым овладел звериный ужас. Сердце забилося, как перепуганная птаха в клетке.

«Всё, – пришла в голову единственная мысль. – Видать, кранты. Отходил ты, Фёдор Иванович, по земле-матушке сполна. Хватит. Вот и явилась погибель».

Тёмная фигура, почувствовав видимо, что в комнате присутствует страх, развернулась и уверенно приблизилась к кровати. Склонившись над Фёдором, ледяной ладонью сжала ему шею и принялась душить. Понимает Медведев, что смерти ему не избежать. И умирать неохота. Пытается изо всех сил пошевелиться, хоть как-то дать отпор... Вскочил с кровати и не поймёт в чём дело. Включил свет и с бешеными глазами принялся искать в доме незваного гостя, напугав до смерти жену. Придя к выводу, что всё это ему приснилось, успокоился. Но похожие кошмары продолжились. За три месяца раз шесть-семь подобное снилось. Так же в комнате был посторонний человек, так же он, Фёдор, не мог пошевелить ни рукой ни ногой, и по-прежнему его пытались задушить.

– Всё, мать, видать, умом тронулся, – жаловался Медведев супруге. Жена предлагала пойти в больницу и рассказать врачам всё как есть. На это Фёдор только хмурил бровь. – Упекут в дурку ишо. Эти могут. Дай только повод, – и, помолчав малость, добавлял: – Гляди сама где кому не ляпни. Народ, сама знаешь, какой у нас. Прохода не даст. Будут скалиться.

Супруга молчала. Хоть и была сама как на иголках. Мало приятного, когда мужик твой посреди ночи с криком вскакивает с постели. Посоветовавшись с мужем, Ирина решила позвать старшего брата в гости. Тот жил в городе и работал ветеринаром.

– Всё какой-никакой врач. Поди, должен знать, что за бесовщина такая. И где хворь эту подцепил. Не заразна ли? – промолвила супруга. – Может, совет какой дельный даст или ещё чего. Алексей мужик не глупый.

– Зови, – не сразу согласился Фёдор. – Пусть в субботу приезжает. Я баню истоплю... Родня как-никак. Поди, если что и серьёзное, промолчит. В психушку не сдаст.

– Может, таблеточкой какой обойдётся, – сочувственно кивала жена.

– И за что такие мучения, – вздыхал Фёдор. – Никогда не думал, что на старости лет спать бояться буду.

На том и решили. Ирина позвонила брату, пригласила в гости. Мол, давно не был. Алексей неохотно ссылаясь на дела, но уговорам в итоге поддался. Прибыл в субботу под вечер. Фёдор занимался баней. Ирина, пока мужа не было рядом, вкратце поведала, что за напасть пришла в их дом.

– Бойтся спать ложиться теперь, – призналась. – Сама переживаю. Как бы, чего доброго, и мне не досталось. Рука у Фёдора тяжёлая. Даст во сне по лбу да пришибёт ненароком.

Внимательно выслушав сестру, Алексей, поправив пальцем очки, не громко сказал:

– Сонный паралич.

– Батюшки! – испугалась Ирина слову «паралич». – И как быть?

Алексей макнул печенье в чай и по-детски улыбнулся.

– Никакой опасности, как правило, явление это за собой не несёт. Да и встречается не так уж редко. Попросту говоря, людей, которые хоть раз испытали подобное во сне, на самом деле немало. Происходит это в стадии быстрого сна. Мозг как бы уже проснулся, хотя тело по-прежнему спит. Главное – вовремя осознать, что угрозы никакой нет. И в скором времени непременно покинешь сон. Нелишнее знать и помнить, что всё это длится не больше минуты-другой. Да... нередко сопровождается это и галлюцинациями. Главное, не поддаваться панике... Сейчас для Фёдора важно нормализовать порядок дня и стараться ложиться спать в одно и то же время. Желательно погружаться в сон вечером, а днём бодрствовать. И пусть старается спать на

боку... В общем, сестрёнка, не так это страшно, как кажется на первый взгляд.

– Ох. Словно камень с души, ей-богу, – вздохнула с облегчением Ирина. – Говорю, главное, иди в больницу. Ни в какую. Боятся, что в дурку упекут. Он у меня в этом плане трусит сильно. Сроду к врачам никогда не обращался. Как на собаке заживает всё.

– В дурку, говоришь, боятся упекут? – Алексей задумался.

– Ага, – улыбнулась Ирина. Теперь, узнав, что всё это не так страшно, странные сновидения мужа, даже как-то рассмешили.

– Пьёт по-прежнему?

– Мимо льёт! Уж и не знаю, что с ним делать. Каким богам молиться, чтоб дрянь эту лакать перестал.

Алексей промолчал.

– Знаешь что, – сказал он после недолгих раздумий, – ты пока не говори Фёдору ничего. Хорошо? И... подыграй, если что, немного.

Ирина хотела спросить, в чём именно подыграть и отчего такая конспирация, да не успела. В избу вошёл Фёдор и забрал Алексея в баню.

Парились на славу. Фёдор то и дело поддавал ковшом и до изнеможения хлыстал себя веником по раскалённому телу. Алексей, поглядывая на его широкие плечи, крепкую грудь и сильные руки, дивился, что такой здоровый по всем параметрам мужик может чего-то бояться. Хотя прекрасно знал, что при сонном параличе чаще всего люди испытывают нечеловеческий страх.

После сидели за кухонным столом, пили чай. От самогона Алексей отказался, и Фёдор тоже решил пока не употреблять.

– Ну, рассказывай, что у тебя стряслось? – обронил Алексей. – Чего кота за хвост тянуть.

Медведев растерялся. Перевёл взгляд на жену. Та неловко улыбнулась.

– От баба! Лишь бы язык почесать обо что, – нахмурился. – Ты её, Лёха, не слушай. Сама толком ничего не знает, а наплетёт, будто пельменей объелась.

– Вот и хочу узнать, что по этому поводу думаешь и как на всё это смотришь.

Фёдор, покосившись на супругу, принялся рассказывать, что за беда обрушилась на него последнее время, как боится уснуть и лишиться рассудка.

– Проснусь иной раз, приоткрою глаза, и всё, как наяву: потолок, люстра, стены... а пошевелиться не могу. Голоса слышу. Будто кто разговаривает где. Первая мысль – помер. Сердце, пока спал, остановилось, а мозг ещё работает. Но и этому быть недолго. И жалко себя становится, и страшно до жути. Кому умирать охота?

Алексей, внимательно выслушав, потянув время, сказал:

– Синдром старой ведьмы.

– Какой-какой ведьмы? – вскинул бровями Фёдор.

– Попросту говоря – паралич.

– Приплыли, – Медведев посмотрел на жену. Та, как могла, изобразила испуг. – И что делать?

Алексей вышел из-за стола, подошёл к окну. Пока разглядывал вечерний двор, Фёдора от волнения пробил пот. Алексей молча прошёлся по кухне. Вновь присел за стол и незаметно подмигнул сестре.

– Что тут сделаешь, – убедительно произнёс он. – Первая стадия психического расстройства. Дальше будет хуже... К сожалению, если это запустить на ранней почве... Неизлечимо.

Фёдор выпучил глаза. Вмиг представил психиатрическую больницу и крепких санитаров в белых халатах, что заламывают руки и насильно делают укол.

Потирая ладонью лицо, Медведев тревожно спросил, как, мол, теперь быть.

– Обычно, если нам привозят с таким расстройством животных, мы их попросту усыпляем. Сделал укол, и бедняга не мучается, – ответил Алексей. – Тебя, естественно, усыплять никто не будет. Поместят в изолятор и привяжут к постели.

– Ч...чего? – Медведев растерялся не на шутку.

– Пойми, это очень страшное и редкое заболевание. Организм через сон даёт понять, что вот она, последняя

грань. Дальше пути назад не будет. Ещё шаг – и пропасть. А там... только дурка. Пожизненно. И с такими же пациентами... К сожалению, нынешняя медицина пока бессильна. Стоит перейти черту, и... каждый день подобные кошмары, тридцать пять уколов в сутки и полная изоляция, – со всей серьёзностью заверил Алексей.

– Отчего это всё? – изображая ужас, спросила Ирина. Она догадалась к чему брат клонит.

– У животных происходит как правило от отравления. Где-то что-то съели не то, и... пожалуйста. У людей причиной всему является алкоголь. Данное расстройство встречается в первую очередь у пьющих и у наркоманов. Последнее в нашем случае исключаем сразу.

– Господи, – Ирина взялась за голову. – Это лечится? Скажи честно.

– На первой стадии да. Излечимо. Люди вновь возвращаются к прежней жизни... Единственное, нужно перебороть самого себя и бросить пить. Отказаться от спиртного полностью. Ни пива, ни полкружки, ни единой капли. Полностью. А иначе... Впрочем, я уже говорил.

В доме стало тихо. Медведев, размышляя, что делать дальше, нервно переваривал весь ужас услышанных слов. Прикрыв ладонью глаза, тяжело вздохнув, произнёс:

– Придётся бросить пить.

– Извини. Я не могу так рисковать, – по-предательски повёл себя Алексей.

– То есть? – оторопел Фёдор. – Лёх, ты чего?

– Завтра же должен буду сообщить об этом куда следует. А там... Пойми, это большой риск. В первую очередь ты представляешь угрозу окружающим.

– Лёха! – Фёдор всерьёз испугался. Вскочил на ноги. Стал нервно расхаживать по кухне. – Никуда сообщать не нужно. Ты чего?.. Я же тебе по-родственному открылся. А ты...

– Пойми и ты правильно. Я не могу рисковать, – противился Алексей.

– Ты в своём уме или как?

– Как раз-таки я в здравом уме.

– А я? Я что, по-твоему... Ты из меня психа не делай! – закричал Медведев.

– Ну вот, пожалуйста, – спокойно среагировал Алексей. – Что и требовалось доказать. И руки трясутся. И с собой совладать не может. Нет. Так дела не пойдут.

– Тихо-тихо-тихо... Хорошо. Не будем кричать. Ты прав, – Фёдор присел за стол. Отпил остывший чай. Смахнул со лба пот. Когда нервничал, всегда потел. – Завяжу с вином. Слышишь? Клянусь тебе.

– Надолго ли? – усомнился Алексей. – Сколько раз обещал. Толку с этого мало.

– Слово даю – брошу.

– Ты и раньше божился на Библии, – упрекнула Ирина. – Сам знаешь, Федя. Не по силам тебе от этой заразы избавиться.

Фёдор приуменьшил. Всё оно было так. Сколько раз пытался взять себя в руки, обещал себе и людям, а в итоге... Через месяц-другой напивался и уходил в загул.

– Родственник называется, – со злобой выдал Медведев.

– И по-родственному постараюсь помочь... Есть у меня давний знакомый в городской психбольнице. Замолвлю о тебе слово.

Фёдор подошёл к окну. Долго глядел не шелохнувшись в даль.

– Нет. Меня не проведёшь. Пусть хоть на месте убивают, а я туда ни ногой. Коли упекут, обратно не выпустят. Знаю, – и добавил. – Предатель.

– Вот и вся благодарность, – обиделся Алексей. – Наверное, я с одной работы на другую бегаю да на шее у жены сижу. Допился до чёртиков, и все кругом виноваты. Тебя предупреждали, и не раз: добром это не кончится. Вот, пожалуйста. А то, что... Ты прав, Фёдор. Ляжешь и уже не выйдешь. Там у них таких называют просто – овощ. И отношение соответствующее.

У Фёдора от волнения затряслись руки. Спрятав ладони в карманы брюк, потухшим взглядом вновь уставился в окно. За спиной доносился жалобный голос супруги. Та уговаривала брата войти в положение, помочь (что в его силах) и держать язык за зубами. Уверяла, что он, Фёдор, как бы ни было тяжело, с вином обязательно расстанет-

ся. Скоро, мол, осенью, вернётся из армии сын. Если отца упекут в психбольницу и ему, пареньку молодому хорошую работу, которой и так нет, найти будет тяжко.

Всё в словах произнесённых было правильно. До того правильно, что вновь осознал в себе Фёдор подлеца. Совесть и раньше трепыхалась в груди, теребила душу и мочила глаза. Но... как-то легко она, совесть эта, запивалась вином. Махнёшь на всё рукой, опрокинешь стакан-другой, занюхаешь рукавом, и... хоть плюй в глаза – божья роса. Сколько раз обещал жене и сыну бросить. Сколько раз божился перед матушкой покойной, что не притронется к бутылке. И всё равно напивался. Топил душу в этом огненном яде. Оно ведь проще всего замкнуться и уйти от всех и всего на дно стакана. Другое дело взять себя в руки, выкарабкаться из этой зловонной трясины и трезвыми глазами взглянуть на всё происходящее. Если бы не жена с тещей, давно бы по миру пошли. Хоть и крепок телом и работать мог, да куда с таким багажом на работу.

И всё же, как бы Фёдор ни напивался, как бы ни опускался, а всё-таки маленькая, самая крохотная надежда всегда жила с ним. Мол, обязательно поднимется на ноги, и на сей раз это последняя пьянка. Была надежда, которая хоть иногда успокаивала душу. Теперь же... Алексей попросту отнимал и её. Выдёргивал с криком из груди силой. Нет. Человеку нельзя без надежды. Маленький луч света в конце туннеля всегда должен быть. А иначе... для чего тогда жить?... Сделалось страшно. Когда сам у близких ему людей отнимал эту самую надежду и веру в себя, как-то с этим жил, и жил неплохо. Теперь же, стоило самого лишить право на будущее, как вмиг оседлал ужас.

Вот звёзды появились в вечерних сумерках. Вот баня, сарай, забор. Там, за околицей река, поле, лес... Жизнь крутится-вертится, и ты вместе с ней незаметно тоже крутишься-вертишься... живёшь. Одним разом, оказывается, это можно всё отнять... Простыня, потолок, медсестра, уколы, кошмары, потолок, простыня... Нет. Лучше и вовсе наложить на себя руки.

– Хорошо, – как гром среди ясного неба раздался голос Алексея. – Утаю известие.

Супруга на радостях залепетала. Посыпались благодарные слова.

– Будет тебе, – одёрнул Алексей сестру. – Учтите, до первого раза. Вы и меня под монастырь подведёте, враньём этим. Знал и не доложил. А случись не дай бог чего... На мою же совесть грех ляжет, – помолчал. – Поступим, значит, так. Закрываю на всё это глаза. Быть по-вашему. Но не дай бог, если что проведу и ты не доложишь, – обратился к сестре.

– Крест даю – молчать не буду. Тут же сообщу. Самой терпеть не по силам более. Хватит.

– Племянника жалко. Так бы... Ладно. Будь что будет.

Стало тихо. Фёдор утёр влажное лицо ладонью и, подойдя к гарнитуру, достал початую бутылку самогона. Открыл. Вылил в раковину. Смыл водой.

– Слово даю, – пообещал Медведев.

– Время покажет, – только и ответил Алексей.

Потоптавшись на месте, чувствуя неловкость, Фёдор, достав папиросы, осторожно поинтересовался, позволяет ли ему курить. Алексей, не меняя строгого вида, кивнул. Медведев в сланцах покинул избу.

– Надо же. Струсил как. Кто бы мог подумать, – тихо засмеялась Ирина. – Поможет, как думаешь?

– Повод есть. Уже хорошо. Бывает, под страхом смерти люди творят неведомое. Страх – сильный аргумент. Главное не забывай напоминать ему об этом. А там... Поживём увидим.

На улице поднялся ветер и пошёл дождь. Вернулся Фёдор. В избе по-прежнему было тихо. Говорить не хотелось. Каждый думал о своём. И лишь дождь с каждой минутой усиливался и отчаянно барабанил в окно.

Инна ЧАСЕВИЧ

Саров

МЕЧТЫ...

Музыкальная

Адушка села играть. Моцарт унес в Одессу. Маленькая Аделаида сидела у окна одесской квартиры и слушала слепого скрипача. Как же она мечтала играть на рояле в красивом платье, на залитой светом сцене! И непременно Моцарта!

Но после войны в семье не то чтобы на пианино, на хлеб денег не было. «Музыкой сыт не будешь, иди на математика», – решила мать. И Адушка пошла. Математика – это прекрасно, это музыка формул и теорем, а ума и способностей у нее не на одно научное открытие хватит.

«Единственное правильное место для женщины-математика – школа. Вот распределение, в наукоград, кстати», – голос ректора прозвучал какофонией, заглушившей светлую симфонию мечты. Сколько потом ночей Ада не спала, помогая мужу в расчетах, чтобы на далеких полигонах у его группы не случилось промахов. Он уезжал, а ее душа рвалась следом, туда, на испытания, где свободно парила математическая мысль...

Она поудобнее усадила огромного плюшевого тигра – подарок последних выпускников. До прихода следующего ученика, первого в их маленьком городке победителя Всероссийской олимпиады по математике, можно успеть сыграть вступление ко 2-му концерту Рахманинова.

Дальнобойная

Ольга с яростью перетирала бесконечные висючки огромной люстры. «Зачем людям в современных квартирах подобное? Для таких люстр потолки нужны четыре метра и площадь метров пятьдесят», – думала она, стараясь не сильно раздражаться. Хозяева возжелали еще и экологичную уборку – дернуло же ее написать в рекламе про такую услугу!

Чувствуя, что недовольство грозит люстре серьезными потерями, Ольга решила устроить себе кофе-брейк. Она села посреди недоубранной комнаты, достала термос и начала глотать горячий чай, морщась от кипятка и обиды на собственную рекламную ловушку.

«Ведь могла бы сидеть в кабине трейлера, смотреть с высоты на пытающихся обгонять водителей, устраивать пробки на двуполосных дорогах, поедать шаурму в придорожных кафешках. Романтика! А тут тряпка, таз воды и неподдающаяся люстра»

Как же она плакала, когда в девятом класса ее не взяли учиться на шофера, как завидовала счастливым пацанам, как отчаянно с ними ругалась. Мечта стать дальнбойщиком улетела сизым дымом из выхлопной трубы учебных «Жигулей».

Прошло двадцать лет. У нее права на легковушку, инженерное образование, клининговая компания и накатывающая волной детская грёза о дальнбое.

Усадебная

Устроившись в старом кресле, Жанна мечтала. Последние лет двадцать у неё была одна, но поглощающая страсть – будущая усадьба.

Она идет по саду, с удовольствием отмечая, что завязи на вишнях обещают приличный урожай. Засмотрелась на соседских лошадей. Когда же, наконец, она получит своего жеребенка? Из цветника за домом ветерок принес дурманящий аромат роз из элитного питомника. Дочь

накрывает чай в беседке. На столе китайский сервиз. С молочником.

«Мам, ты спишь?» – голос дочери вырвал из сладкой дремы.

Когда купила дом в деревне, всем хвалилась, что стала «помещицей», мечтала, как устроит будущую усадьбу. Вскоре уже не только домашние, но и все коллеги запомнили, где у нее будет беседка, где пруд. С карпами. Надо только еще поработать. Лет пять, десять, лучше пятнадцать. Не важно, что уже стукнуло шестьдесят пять. Жанна изо всех сил приближала мечту, скупая семена. На будущее. Ухаживать за тем, что уже росло, времени не было.

Через пять лет яблоки выродились, стали маленькими и кислыми. Соседские коровы протоптали через участок тропинку. Через десять – дом наклонился. Через пятнадцать – силы кончились, как завод в детской игрушке. Внезапно. Вместе со здоровьем. Дом продали. Усадьба все еще снится.

Пётр РОДИН

Воскресенское

ДЕДКА ПАШКА

Павлу Васильевичу Лепину чуть перевалило за семьдесят лет. В удушливый от разбушевавшегося марева черёмухи день он находился в заключительной стадии очередного четырёхдневного запоя.

Вот бывает, говорят: мучается, мол, человек от резкого, как залп и неожиданного срыва в беспробудную пьянку. А у Павла Лепина – бессменного и многолетнего бригадира лесозаготовительной и, в том же составе, плотницкой бригады бывшего леспромхоза «Ударник» подобные залёты были предсказуемы, как для него самого, так и для окружающих. Почти что по плану или расписанию.

«Держите меня семеро, ёк-макарек», – только и вымолвит Васильевич, а заодно и предупредит и жену, и бригаду, что с завтрашнего дня он в загуле. И было это регулярно, но не больше четырёх раз в год.

Поначалу строгое руководство предприятия и выговоры выносило дельному и незаменимому, можно сказать, работяге, и от руководства бригадой устранило, но через малое время всё, как-то само-собой, вновь становилось на свои места. Отдел кадров и бухгалтерия нашли простой выход: дни лепинского запоя вычитали из положенного ему отпуска. Не говорун, невысокий, но крепкий, как сосновый комель, Павел Лепин снова командовал, как раз семерыми заветлужскими мужичками. Пропахшие соляром и дешё-

выми сигаретами «Прима», справляли они свою тяжеленную вахту, как царскую службу, – истово и обречённо.

Мало кто из них помышлял о переезде в райцентр в поисках другой работы. Посёлок Дунаевы Поляны на речке Смородинке, где и располагался главный лесопункт «Ударника», был для них, пришедших в этот мир под шумок местных сосен и елей, привычным и родным.

Одно плохо – развалился леспромхоз вместе с огромной страной всего за пару лет до выхода вальщиков и сучкорубов на пенсию.

Поездили они в собес, посчитали свой недоработанный льготный стаж да и успокоились на том, что непутёвое государство назначило.

– Почто, Васильич, раненько поднялся, или дела какие неотложные? – негромко спросила со своего крылечка шабрёнка. Избёнка бездетной вдовы Марии Макаровны Кононковой, ровесницы Павла, располагалась окна в окна через колдобистую, с подгнившими опилками и щепой дорогу. Конечно же, эта грузная, но легкая ещё на ногу и боевитая соседка была посвящена во все его дела. В том числе и в запойные.

– Гляжу, шабёр приоделся с утра пораньше, да и бритый, знать. А вроде как ещё денёчек гасить должен? – это она с улыбочкой про «квартирный план» намекнула.

– Ну-ну, всё-то ты, Марья, знаешь, везде побывала.

– Да дальше райцентра Здвиженского, сам знаешь, ноженьки моей не ступало. Нет, вру, до Нижнего Новгорода по делам великим доехать привелось.

– Ну ин, я пошёл.

Павел Васильевич явно не хотел поддержать разговор, но и обижать невниманием добрейшую по натуре Макаровну не хотелось.

В поисках лучшей доли молодёжь подалась за последние годы по городам, и в многолюдном не так уж и давно посёлке оставались лишь пожилые да старенькие дунаевополяны, разбавленные понаехавшими дачниками. Во время очередной «четырёхдневки» никогда, и при Аннушке, и вот уже в почти трёхлетнем одиночестве Павел Лепин

ни разу ни у кого не клячил бутылку водки, ни, боже упаси, острограммиться. Зная за собой грех, он всегда имел горячее в запасе. Грамотный и рассудительный, мужик, конечно же знал о вреде зелёного змия. Да и без врачей, по жизни убедился в этом. И не пересчитать, сколько его ровесников и землячков помладше спились в рыночно-перестроечные годы. Знал, что ничего хорошего эти четырёхдневные «вахты» не дают его крепкому от бабки с матерью организму.

При всём этом была у Павла одна необъяснимая странность. Будучи в сильном подпитии, как собака для засыпания навек и ухода в бесконечную Вселенную, он с каждым разом в финале запоя уползал в какой-нибудь закуток. Лишь иногда открывал отяжелевшие веки, обнаружив себя в избе, на своей обширной кровати с блестящими шипаками на массивных металлических стойках. То очнётся бедолага в баньке у окошка, на лавочке, то в чулане, то на сеновале. И при том всегда только на территории своего обширного домовладения.

При жизни Аннушки, в «Павловы дни» она должна была закрыть вертушок или щеколду на схроне супруга. Но ни ругани, ни драки от пьянущего в тонкую стелечку хозяина она не слыхивала и не перетерпела.

«Эх, держите меня семеро, ёк-макарёк!» – вот его обычная присказка после очередного стопаря. И больше ни слова. А держать выпивоху и нужды не было. На «полуспущенных скатах» он самолично успевал одолеть маршрут до выбранной на сей раз лежанки.

И удивительное дело! После этих «процедур» не опохмеляясь, как ни в чём не бывало, Паша Лепин с деловым видом приходил поутру на разнарядку в диспетчерскую.

И кто поверит, а ведь он испытывал какое-то благодатное обновление в организме, да и вообще в скудной на хорошие новости жизни...

А в это майское утро, когда мощный, сучковатый можжевёловый куст у калитки словно дымил, исходя обильной пылью, наверное, впервые в жизни Павел Васильевич прервал запой незавершённым. Ещё с вечера, когда был он уже изрядно «хлестнёный», как говорили в Дунаевых

Полянах, позвонила ему дочка Лена. Жила она семьёй в Нижнем Новгороде, работала медсестрой в больнице имени Семашко.

Даже в изрядном подпитии понял отец по голосу дочери, что что-то не так, что-то нехорошее приключилось.

– Пап, здравствуй! Ты хоть в какой поре?

– Да пью вот...

В семье знали эту его причуду и со временем уже привыкли к ней.

– Слушай меня, пап, или набери сразу, как протрезвешь... Слышишь?

Ответь хоть что-ни будь!

– Да слушаю, говори! Не без памяти я.

– Всё равно, в пять утра перезвони! Слышишь, обязательно перезвони. У нас с Данькой беда.

– Да что хоть стряслось?

– Болеет он серьёзно. Всё, всё, звони утром обязательно...

У Лепиных Павла Васильевича и Анны Ивановны долго не было деток. Поздний ребёнок, Леночка, была, конечно, для них как ласковый свет в окошке – одна радость и надежда. Детство её прошло здесь, в Дунаевых Полянах. В леспромхозе зарплатой не обижали, родители одевали дочурку как принцессу. Прилежная и послушная симпатюля, она окончила местную школу без троек и выучилась в Нижнем на медицинскую сестру. Замуж вышла в двадцать пять лет за городского парня с высшим образованием. В банке с трудным названием трудился их зятьёк Виктор. Оклад с премиями приличный получал. Его родители квартиру двухкомнатную для молодых спроворили.

По Аннушке скоро третью годину справлять время подойдёт. Внука, наречённого Даниилом, увидеть она, болезная, всё же успела. Приезжали дочка и зять с ним, годовалым, в гости к старикам. А как ждал появления на свет внука дед Павел! Будто повеселее стал выглядывать в мир божий его крепкий ещё пятистеночек с тёплой верандой под шиферной крышей. Только закладные брёвна

от времени малость подгнили. С улицы казалось, что срубленная из выстоянных кондовых сосен изба, чуть пошатнувшись, собралась шагать в сторону успешного подрасти молодого смешанного перелеска.

Тревожный вечерний звонок пресёк одиночную стариновскую пирушку. Дед допил остаток крепчайшей, как дубовый сучок, самогонки и улёгся в избе, на кровати, надеясь упасть в привычное забытьё. Лежал с открытыми глазами, торопил время до утра. И едва не проспал обозначенное дочерью время для звонка.

– Здравствуй, Ленуш! Как дежурство?

Старался выдерживать спокойный тон, хотя сердце тревожно бухало под рубахой.

А дочка была явно на нервах:

– Да причём моё дежурство, пап? С Данькой плохо. Сама я заметила. Голову он стал как-то странно наклонять, говорить не получается. А самое главное (голос дочери сорвался на всхлип), главное – в глазоньках косина какая-то появилась. Тебе всё не звонили, беспокоить не хотели. Второй месяц с Виктором по клиникам мечемся. Все прививки, все анализы, все осмотры своевременно делали. И никто, никто ничего не заметил!

Старик всё ещё пытался выдерживать наставительный тон, но уже осевшим голосом, с отчаянной надеждой переспросил:

– Дочь, а не придумывайте ли вы чего лишнего?

В апреле, в день рождения Данюшку видел. Пацан как пацан. И крепкий, и смышлёный.

– Да пап, протрезвей же ты. Есть подозрение, что сынуля мой не такой, как все, человечек...

Елена в истерике бросила трубку. Минут через десять сама перезвонила и уже более спокойным голосом пояснила, что за хворь обнаружилась у трёхлетка Данилки.

Оказывается, возили родители его в Санкт-Петербург, и там в известном институте по психическим болезням что-то нехорошее определили. Дочь говорила ещё про какие-то хромосомы, фамилии учёных называла.

А отцу и деду понятно лишь стало, что пришла беда. И для себя он выделил из прерывистых фраз Елены два слова: «задержка в развитии».

Легче бы всего и желаннее в это горестное утро было бы деду Павлу прохватить семиглоточный стакан из остатка спиртного, но сумел, сумел он обойтись двумя бокалами чая с добавками травки от шабрёнки Марии Кононковой.

Побрился. Пока не зная зачем, приоделся в чистую рубаху и пиджак со значком «Победителя соцсоревнования».

– ...Ну так я пойду, Мария, дела у меня, – повторил он, чем ещё больше озадачил соседку. Не обращая внимания на её вопрошающие взгляды, под лай собак зашагал по посёлку, пока сам не зная куда. Была у него потребность выходиться, подумать, как жить дальше.

У двухэтажного деревянного здания бывшей леспромпхозовской конторы остановился. Закурил. Зачем-то продрался сквозь бурьян к облезлому однорукому памятнику Ленину. Заезжие молодцы и дачники облюбовали приступок постамента вождю для распития того же самогона и палёной водки. Старик собрал пивные и водочные бутылки, бумажные стаканчики и побросал их в огромный мусорный курган у конторы.

Надо было что-то делать, наводить порядок, искать выход из беды. А беда – страшнее не бывает. Внук, оказывается, может вырасти больным на голову, или дурачком, если изъясняться попросту, по-деревенски. В памяти вдруг чётко и ярко проявилась картина из далёкого детства.

Жил у них в улице, в брошенном бараке безродный нищий – дурачок. Звали его Коля Кирпичёв. Руки и ноги как мельничные крылья. Огромный нос на всегда багровом и блестящем, будто отшлифованном лице и малинового цвета сетка сосудов в безумных глазах. Набрав хлебной милостыни, несчастный располагался в тенёчке своего убогого жилища. Здесь он нажирался досыта хлебным мякишем (корки выбрасывал), пил воду из бадьи у колодца. А потом в лопухах, сладострастно мыча и дико ухмыляясь, Коля

надрачивал свой огромный прибор. А пацаны и девчонки наблюдали это кино и хихикали...

Дрожь в коленках и испарина на лбу посетили старика, вспомнившего эпизод из далёкого детства. Да и похмелье всё же тенькало в висках, как маятник, непреходящей тупой болью.

Ноги будто сами вывели Павла Васильевича к кладбищу.

Местный погост располагался на песчаном взгорке. Был он чисто прибранным. Могилки ухожены. Массивный дубовый крест, вытесанный им собственноручно, видно был издалика.

Прибрал конфетные обёртки и яичную скорлупу у простенькой металлической ограды. Присел он, ранний посетитель, последнего приюта земляков, на невысокую скамеечку. Сдержал позыв к куреву и вдоволь набеседовался со своей Аннушкой.

Будто, как и при жизни, рассудила она общее их горе и присоветовала, как жить дальше. Так и слышался её голос дорогому, бывало и непутёвому «хозяину». А сам он только и прошептал:

– Беда мать, Данилка у нас приболел. Да и серьёзно, видать. Ленушка с ума сходит. И мне не в силу, жалко и её, и парнишку, а чем помочь, никак не придумаю. Такие вот дела, держите меня семеро, ёк-макарёк!

– Беды-то, они, Пашенька, не по лесу вон ходят, а всё по людям. Вот и нас Господь посетил. А ты, Павлуша, не сокрушайся уж больно-то. Выпил, поди. А вино-то, оно этому способствует. Всевышнего не гневи, не спрашивай за что, а думай для чего! Крестик нательный, чай, не потерял?

Павел произвольно нащупал под рубахой медное распятие на толстой суровой нитке.

Заключение этой мнимой беседы было для него неожиданным:

– А ты вот что, – слышалось ему – ты забери-ка Данюшку на какое-то время к себе, если возможно, да призови к нему шабрёнку, Марью Кононкову. Со времён её прабабушки Прасковьи ведаёт она травами от хворей.

Многим помогала, кому и врачи помочь не в силах были. Да и делает она, если возьмётся, всё тихо, без досужих разговоров да с Божьей помощью. Пусть и дочка наша около тебя поживёт. Витенька-то у неё парниша тихий и вежливый, но, боюсь, как бы слабинку душой не дал при этакой напасти.

Только ты, Павел Васильевич, не раскисай. На тебя вся надежда. А на кого ещё, как не на хозяина.

На обратном пути с погоста дед Павел даже похвалил себя за то, что догадался сходить к могилке жены. Ведь он будто бы на самом деле посоветовался со своей Аннушкой.

Лето и начало осени пролетели в заботах огородных и лесных. Ягодные да грибные места знал Павел Васильевич Лепин, как мало кто в округе. Елена с Виктором делали всё что можно по уточнению диагноза и лечению Данилки. То в Москве и Петербурге, то дома в Нижнем Новгороде. А тосковавшему деду Павлу казалось, что стоит только увидеть ему внука, погладить скрюченными топором да мотопилой «Урал» пальцами, и всё пройдёт, и уйдёт боль-зараза из Данилкиной головки.

Послал, сколько смог, денег на его лечение. Дочь звонила по два, а то и по три раза в неделю. К осени и по голосу, и по отдельным её фразам, касающимся Виктора, понял дед Павел, что права была его супруга. Спасовал папа Витя, работу доходную бросать не хотелось, да и по клиникам ездить устал. Ночевать стал у родителей.

А ближе к зиме ещё и общая на всех болезнь добавилась – короновирусная инфекция весь мир охватила. Елену в «красную зону» затребовали. В начале зимы и встретились дед с внуком – Данилку в Дунаевы Поляны доставили. И радость, и смятение в душе старика. Фельдшерский пункт на посёлке пока не закрыли.

Елена договорилась с местной медичкой о наблюдении за сынишкой, проинструктировала отца и, на всякий случай, Марию Кононкову. Слава богу, та с готовностью согласилась поухаживать за ребёнком. Дочь оставила необходимые приборы и игрушки для Данилки и уехала в больничный карантин. Оказалось, что и уходу-то за мальцом

не лишку было. Ел он вяловато, но достаточно, спал хорошо. Только с горечью заметил дед, будто глазоньки внучка блукают не в этом мире, а в своём, далёком и только ему понятном. Пальчики его плоховато работали. Не говорил, а лишь гугукал мальчишка да мычал что-то по-своему. Мария Кононкова почти постоянно была с ним. А дедушка Павел ходил на цыпочках, выполнял все её указания.

Самым трудным для него заданием стали сказки. Да он только одну и знал: «Держите меня семеро, ёк-макарёк!» Он охотно разговаривал с внуком, сам задавал вопросы, сам на них и отвечал, а вот сказок, увы, знал маловато. Пришлось подучиться.

Книжек со специальными картинками дочь оставила много, вот и сидели зачастую дед с внуком, решали не очень сложные задачи.

– Ты, Пашенька, когда ему про Машу и медведя рассказываешь, голос-то хоть сбавляй, не в лесу чай. Рычишь, как шатун настоящий, – всё наставляла соседа Макаровна.

А уж сама-то сыпала поговорками да небылицами, для малого занятыми, как мукой из ситечка, будто семерых деток вынянчила.

Много всего было за эту первую ковидную зиму. Лена звонила каждый день не меньше двух раз. На специальной попутной медицинской машине только один раз она и сумела навестить сына со стариками. Показалось отцу, что похудевшая и измотанная тяжёлыми и опасными дежурствами дочь его стала поспокойнее и уверенней в себе. Хотя и была в специальном костюме, на космонавта похожая, приобняла она обоих «сиделок». Небывалое дело – дед Павел втихаря слезу неожиданную смахнул из зарослей рыжих бровей.

Разрешила мать в тот приезд Макаровне остороженько и помаленьку давать Данилке и травяных отваров по знаменитым кононковским рецептам.

Первые проблески надежды на лучшее появились у старика после случаев с котом. Точнее, с Данилкой и котом Васягой. Крупный, дымчатый, с простецким уличным именем, Васяга был равноправным жильцом. Хозяину никогда не приходило в голову взвесить котяру. Но по прикидкам,

после плотного перекуса, весил этот домашний баловень и дворовый разбойник не меньше чем с полпудика.

Он никогда не мешался под ногами, был степенным и обстоятельным. Его зеленоватые, чуть косящие, плутоватые гляделки-блюдечки всегда и всё держали в поле зрения. А маленький влажный нос – и в зоне обоняния. Даже пребывая в глубокой дрёме и тарахтя, как тракторок, Васяга всё слышал и чуял.

В часы магнитных бурь и резких колебаний атмосферного давления он приводил в идеальный порядок свою серебристую пушистую шубку и деловито, без особых предупреждений располагался на ревматических коленях хозяина. Хотя в этот момент ещё не сразу было разобрать, кто хозяин в этой избе, а кто подопечный. В общем, жили они следуя старинной пословице: «С кем мир да лад, тот мне друг и брат».

Дед гладил приятеля своей похожей на раковую клешню пятернёй, и никаких ему супермазей от ломоты в суставах не требовалось.

Ловлю крыс и мышей считал Васяга занятием легкомысленным. Да и нужды не было.

Иногда котище пропадал на полдня или даже на целую ночь. Возвращался не мяукая. Сам открывал дверь в сенцы, а в избяную гулёна звучно царапался. Да так, что дед Павел и с изрядно подсевшим слухом всегда слышал его приход.

Данилка сразу по приезде к деду выбрал котяру в друзья.

Часто гладил его, пытался играть и мурлыкать по-кошачьи, передразнивая Васягу.

Как и у большинства благородных особей, была у Васяги одна слабость. Уж очень он любил кушать золотисто-янтарных карасиков из речушки Смородинки, чей берег был совсем недалеко от крыльца. Позаросла речка осокой, по зимам заморы были. Так что из рыбы только караси и остались. И то некрупные.

Может, и неурочно, но решил старик вылазку на рыбалку совершить. Добился разрешения у Елены и Макаровны на то, чтобы взять ненадолго с собой и внука. Уж больно хотелось Васягу карасиками побаловать, на дробинку

толстячков надёргать. А главное, хотелось деду показать Данилку и речку, и посёлок не только от крыльца.

В один из оттепельных зимних деньков с утра пораньше отправились они на промысел.

От их крылечка до реки Смородинки было рукой подать. Плотва и карасики, хоть и мелковатые, изрядно тревожили мормышку. И натаскал рыбак их из двух лунок порядочно. Рыбачил, а сам всё за Данилкой посслеживал. И показалось деду, что малость другим стал здесь, на вольной волюшке, его больной внучек. Живее и осмысленнее стал его взгляд, а очередную малявку на крючке он встречал общепринятым малышейым: «Ух ты!»

А Васяга не торопился уничтожить улов. Он только разговелся свежатинкой, с урчанием расправившись с двумя золотистыми попрыгунчиками. Вот тут младший рыбакот странно сморщился, заплакал, запротестовал руками и ногами и выговорил же: «Не... тогай!» Жалко стало Данилке ещё живых карасиков, с которыми так жестоко расправлялся Васяга.

Дед машинально хлопотал с удочкой, но теперь не спускал глаз с внука. Одинокая сорока хлопотливо трещала поодаль. Правда, она, подозрительно сужая круги, всё же подбиралась к удачливым рыбакам.

Её иссиня-чёрные грудь и спина с зеленовато-металлическим отливом по обрезау крыльев резко высвечивали белоснежный живот. Все эти цвета причудливо переливались в ярких лучах январского солнышка.

Васяга уставился своими глазищами на неожиданную гоотью. Застыл в изумлении от её яркого наряда. Потом потигриному или, собственно, по кошачьи, прилёг на свой солидный животик и стал осторожненько из-за дедовой спины подкрадываться к воровке. Замер за линиялым рюкзачком, перебирая задними лапами.

Оставался всего лишь один прыжок до, кажется, ничего не подозревающей и не перестающей трещать, жертвы. И... раз! И мимо, конечно! Чёрный и строгий сорочий зрачок отслеживал всё до мгновения, и счёт их был более тонкий и тщательный, нежели у Васяги, раздобревшего на домашних харчах. А Данилка засмеялся. По-настоящему

засмеялся! Павел Васильевич обнял его, прижал к себе и, не обращая внимания на безнаказанный пир Васяги, спешно собрался домой. Как ему хотелось сохранить эти добрые проявления в поведении внука, как хотелось поделиться радостью с мамой Леной и Макаровой?

Крепко прихватил Данилку за рукав куртки. Пошаркали до берега, кот за ними как привязанный.

На самом выходе со льда, в промоине, перекрытой гниловатой корягой, старик едва не грохнулся в заросли подмороженной пожухлой осоки. На левом валенке галоши не было. А под ногами что-то шевелилось.

Васягины глазищи стали просто огромными. Он засипел, словно змеюка, поднял шёрстку дыбом и бросился на обидчика.

А дед Паша ничего не слышал, кроме громкого троекратного и почти без картавинки выкрика внука: «Эх, дедка Пашка!»

А виновником шума-гама и был всего-навсего хороший добавок к улову – выживший при заморе щурёнок, килограмма на полтора...

Весной Елена сумела свозить Данилку в Нижний на консилиум к врачам. Беседовали, на аппаратах всяких изучали пациента и отметили они то, что дед Павел потом готов был повторять до бесконечности. Это звучало примерно так: «Явная положительная динамика. Требуется уточнение диагноза».

А вы как думали, профессора хреновы? И ещё добавлял своё: «Держите меня семеро, ёк-макарёк!»

Он напрочь отменил свои запои. Завёз кирпич и брёвна, чтобы к осени домину свою, родовое гнездо, выставить на крепкий и ровный фундамент.

Виктор КУЗНЕЦОВ

Воротынец

«СДАЛА!»

Телефонный звонок раздался в самое неподходящее время. Виктория Гертрудовна чистила картофель, и её руки побелели от выступившего крахмала. Сердито вибрируя, старенькая «Нokia» подползала всё ближе к краю подоконника.

«И кому же это я понадобилась в такую рань?» – бросив нож в раковину, подумала женщина. Она устремилась к окну, демонстративно громко и раздражённо вбивая пятки в дощатый пол. Двумя пальцами поймала мобильник, не глядя ткнула в зелёную кнопку:

– Слушаю! – мягко произнесла в трубку, которую машинально прижала плечом к уху, Виктория Гертрудовна между тем комкала влажное полотенце.

– Алло, здравствуйте, это вас из райотдела образования беспокоят, – защебетал в ответ незнакомый женский голос. – Выручайте, Виктория Гертрудовна. Завтра в школе, где учится ваш сын, Александр, состоится мероприятие – Единый государственный экзамен для родителей. Мы просим вас подойти в школу к девяти часам утра, чтобы...

– Подождите, вы ничего не перепутали? Какой экзамен?

– По русскому языку. В целях ознакомления родителей выпускников с процедурой сдачи ЕГЭ. Будут наблюдатели из областного министерства, а также наши руководители. Вот только мало кто свободен в этот день, согласились прийти всего десять мам и один папа.

– Я извиняюсь, – не теряя самообладания, ответила Виктория Гертрудовна, – но, по-вашему, я менее занята, чем остальные?

– Нет, конечно, нет, – поспешил оправдаться голос в трубке, – войдите в наше положение – просто больше НЕ-КО-МУ! А это очень серьёзное мероприятие.

«Для вас – серьёзное, спору нет», – отметила про себя Виктория Гертрудовна и, выждав пять секунд, сказала:

– Хорошо, запишите меня. Я приду.

– Ровно в девять ноль-ноль, не забудьте паспорт! – обрадовалась чиновница и первой сбросила вызов.

Найдя в списке контактов нужный ей, Виктория Гертрудовна позвонила на работу:

– Алло, Лидочка, доброе утро! Завтра будешь вести приём без меня, дорогая. Не волнуйся, ты справишься: по записи пациентов совсем чуть-чуть. У Коленьки Мартынова плановая прививка, проверь по журналу. Меня не будет максимум два часа, иду в школу на экзамен. Не спрашивай! – рассмеялась главный педиатр N-ского района Виктория Гертрудовна Пирогова в ответ на шутку своей медсестры.

...Шестнадцать лет назад, когда им с мужем жизнь начала отсчитывать четвёртый десяток, Виктория и Николай отчаялись в попытках стать родителями. И шестнадцать же лет назад они вместе приняли решение. Младенец, Саша, из «отказников» в городском родильном доме, стал для них родным.

Три года прошло, как Николай погиб при невыясненных обстоятельствах. Сломалась машина на ночной трассе; его же самого после двух дней поисков обнаружили посреди пшеничного поля, был он абсолютно седой и... мёртвый.

Мать и сын справились с бедой – ведь для них жизнь продолжалась. Александр вырос незаменимым помощником для рано овдовевшей матери и сейчас он интуитивно понимал, что должен стать настоящим мужчиной, выйти на новый уровень заботы о женщине, которая спасла его от участи сироты. Заботиться о ней до конца было его заветным желанием.

В день экзамена стояла чудесная солнечная погода – март расщедрился и выдал недельную порцию тепла, будто

извиняясь за студёный февраль. Виктория Гертрудовна проснулась без будильника от назойливого птичьего грая: под крышей её балкона поселились галки и шумно готовились к появлению потомства. На часах было ровно шесть утра.

Она переделала все нехитрые домашние дела и приготовила сыну завтрак. Вдруг поймала себя на мысли, что... волнуется! «Боже мой, я не припомню, чтобы в школе да и в институте перед экзаменами дрожала. Прямо как мои семнадцать лет вернулись, но с впечатлительностью взрослой тётки. Дожила!». Отношение доктора Пироговой к методике и качеству современного образования было в основном критичным, не резко негативным, – читать-писать ведь всё же учат, – но и не толерантным. Недоумение у неё вызывал так называемый Единый государственный экзамен, а точнее, подготовка детей к нему. Как специалист-кинолог натаскивает щенков, отрабатывая команды и шлифуя поведенческую схему будущей служебной собаки, так и учитель, бедный учитель, на долю которого выпала реформа системы образования, из-под палки доводит учеников до стрессов, срывов и депрессий во имя заветных баллов ЕГЭ.

Много о чём ещё думала Виктория Гертрудовна по пути в школу. Когда она миновала высоченные школьные ворота (мелькнула в голове фраза «Arbeit macht frei» – «Труд освобождает»), поднялась на крыльцо из двадцати ступенек под бдительным оком двух камер, прошла через рамку металлоискателя и турникет, подверглась атаке суровой вахтёрши с требованием надеть бахилы, то почувствовала странную опустошённость, ощутила себя оскорблённой, словно её заставили прилюдно раздеться донага. Нет, раньше она ходила на родительские собрания в классе сына, но пять лет назад школа не была похожа на режимный объект...

Войдя в вестибюль, Виктория Гертрудовна заприметила директрису, почти бегущую ей навстречу по длинному пустому коридору.

С Тamarой Волковой, хозяйкой учебного заведения, они были одноклассниками, учились вместе с первого класса. Даже окончив школу и поступив в разные институты, оставались хорошими подругами. Одна выбрала своим призванием учить детей, другая – лечить их.

– Вика, экзамен проходит на третьем этаже, в триста пятом кабинете. Извини, у меня срочное дело, потом поговорим, – лишь немного сбавив шаг, протараторила Тамара Валерьевна.

Виктория Гертрудовна кивнула вслед удаляющейся на цокольный этаж директрисе и начала подниматься по лестнице.

Нахлынули воспоминания – шесть лет несчётное количество раз бегала, скакала, ходила она по этой лестнице. Школьные годы чудесные... Теперь ступеньки были закованы в массивную скользкую плитку, слепящую до головокружения своей белизной. Не побегать детишкам – с непривычки и ногу-то ставишь с опаской, то ли дело выщербленный советский бетон.

Вот и третий этаж. Виктория Гертрудовна ощутила небольшой дискомфорт в груди – сердце, что с него взять... А из-за угла на неё уже нёсся ураган на шпильках, звеня всеми застёжками примоднённой сумочки, как церковный колокол в праздник.

– Вы где же ходите? Вам во сколько сказали прийти? Ведь уже без пяти девять! – на Викторию Гертрудовну из обильно обведённого тёмно-красной помадой ротового отверстия попала слюна. Голос она узнала – он принадлежал звонившей вчера чиновнице из райотдела.

– А что, президент уже прибыл? – сочувственно спросила она у соплюшки, которой на вид не дала бы и двадцати лет.

Гонора поубавилось.

– Пройдите, пожалуйста, в триста четвёртый, снимите верхнюю одежду, приготовьте паспорт и ожидайте. Вас пригласят.

Развернулась, взмахнув роскошной гривой наращённых волос и гордо уплыла в направлении огромного кактуса на коридорном подоконнике.

«Это не мой пациент, – грустно улыбнувшись, подумала детский доктор Пирогова, – такое уже не лечится».

Родители в ожидании приглашения на экзамен вели неторопливую беседу. Все они отпросились с работы: повар в детском саду, медицинская сестра в районной больнице, диспетчер в пожарной части, почтальон, продавец, дорожный

рабочий... и ни одного чиновника, ни маленького, ни большого. А Виктория Гертрудовна знала, что папы и мамы у доброй половины класса трудятся в администрации.

Оно и к лучшему. Душевная подобралась компания.

Через 40 минут всем велели построиться перед дверью соседнего кабинета. Стали зачитывать фамилии, имена, отчества и отправлять на пронумерованные места за партами.

Неизвестно, как остальным, но Виктории Гертрудовне уже на первом инструктаже стало тоскливо.

«Какой садист всё это выдумал? – зарождался внутри неё праведный гнев. – Ведётся видеонаблюдение... Должны соблюдать порядок... Не разговаривать... Не перемещаться без сопровождения... Очень нервируют такие указания. Раньше на экзамен ходили как на праздник, не боялись лишний раз улыбнуться преподавателю и товарищам, а сейчас как бы за неосторожный взгляд не вылететь на пересдачу».

– Извините, как же всё-таки писать единичку – как палочку или как у вас на доске? – прервал запутанные, монотонные объяснения о заполнении бланков отец Игоря Лебедева, единственный мужчина, согласившийся ненадолго побыть в шкуре своего отпрыска.

– Мы рекомендуем обозначать единицу как палочку, – вкрадчиво ответила преподаватель местного Дома искусств, по её словам, не первый год проводящая Единый государственный экзамен.

– Но на доске по-другому написано, а почему? – не унимался родитель.

– На доске написано по инструкции.

– Так мне как писать – по-вашему или по инструкции?

– О господи... Станислав Леонидович, – в голосе преподавательницы чувствовалось раздражение. – Вы что, в школе не учились? Единицу можно подправить при необходимости, скажем, на четвёрку. Понимаете?

– Ах вон оно что! – деланно удивился Лебедев, кстати, прораб в районном ЖКУ, и склонился над своим листком, будто опозорившийся ученик.

С горем пополам взрослые заполнили регистрационные бланки. Обязательные гелевые чёрные ручки то из-

вергали водянистую жижу, то скребли по бумаге, как высохшие перья, коими пользовался ещё пару веков назад поэт Пушкин.

В десять минут одиннадцатого было разрешено приступить к выполнению заданий. Виктория Гертрудовна, бегло просмотрев контрольно-измерительные материалы, почувствовала себя профаном. Она обладала врождённой грамотностью, прочла за свою жизнь множество книг и, конечно, учила школьные правила про «жи-ши» и так далее, но эти вопросы сбивали её с толку. «Парцелляция... Что такое парцелляция?» – метался её разум в поисках значения термина. Если когда-то и знала, то накрепко позабыла. Безнадёжно. Избавилась от этого знания, взамен приобретя другое. «Правила вы должны учить так, чтоб от зубов отскакивало! Разбужу я вас среди ночи – все падежи по порядку мне расскажете!» – любила повторять ныне покойная русичка Римма Сергеевна скрипучим голосом, навсегда врезавшимся в память многих поколений. Единственное, что сейчас помнила Виктория Гертрудовна, – тот старческий говорок...

– Отвечайте, не бойтесь – всё равно ваши работы никто проверять не будет! – чуть запоздало огорошила экзаменуемых девочка из отдела образования, заглянув в класс. Хотела ли она этими словами подбодрить растерявшихся родителей или высокомерно унизила их – никто не успел разобраться, но ответом ей было явственное возмущение, угадывавшееся в шелесте бумаг и недовольном бормотании. А может, это был вздох облегчения.

«Отлично. Только где же ты была раньше, доченька?» – взгляд Виктории Гертрудовны прожигал выскочку насквозь. Она ещё немного подумала над заковыристыми заданиями и быстро проставила цифры ответов в пустые строчки.

Вечером, возвращаясь домой по оттаявшему после снежной зимы тротуару, стараясь не наступать на отколовшуюся плитку, Виктория Гертрудовна размышляла о диагнозах, иммунизации, реабилитации и прочих будничных занятиях детского врача. Редкие встречные прохожие уважительно здоровались с ней по имени; она же отвечала неосознанно, погрузившись в себя. Утренний визит в школу больше её не беспокоил.

Она взглянула на свои окна. Сын поджидал её, уткнувшись лбом в стекло, на кухне. Потом исчез – пошёл отпирать дверь.

– Ну как, ма, сдала?! – торжественно спросил Саша, когда Виктория Гертрудовна освободилась от тесных ботфуртов.

Подняв взгляд, она не сразу поняла, о чём идёт речь. Потом расплылась в улыбке:

– Сдала!

Александр отнёс пакеты с продуктами на кухню.

– Ох, как же вас там мучают в этой школе! Вот в наше время всё было по-другому, – шутливо прокричала вслед сыну Виктория Гертрудовна.

Он вернулся, встал, оперевшись спиной о стену.

– Я хотел бы побывать в вашем времени. Вернее, родиться в то время, чтобы не знать о компьютерах, разных гаджетах, а особенно – об интернете. Готовиться к экзаменам по настоящим книгам, а не решая дурацкие « типовые варианты ». И не бояться неизвестности. Не думать о том, что ты никому не будешь нужен.

– То время уже не вернуть, сынок, – вздохнула Виктория Гертрудовна. Она всё ещё сидела на кожаном пуфике у порога квартиры. – Страны той больше нет. Осталась лишь память о ней, да и та, поверь, не всегда хорошая. Помнишь, как в твоём любимом « Властелине колец »: « ...В наших силах лишь решать, что делать со временем, которое нам отпущено ». А его ничтожно мало. Поэтому во всём нужно видеть и плюсы. Например, вахтёрша в вашей школе – настоящий Цербер, – вдруг рассмеялась Виктория Гертрудовна. – Мимо неё не проскочишь, и никакие металлоискатели с турникетами да камерами не нужны!

Помолчали.

– Саш, ты уверен, что справишься?

– Не волнуйся, мам. Прорвёмся! – подмигнул Сашка матери и поправил сбившуюся бандану на обритой после химиотерапии голове.

Лирический портрет

Владимир АЛЕЙНИКОВ

Коктебель

ВИДНО, СТОИЛО
К СВЕТУ НА ОЩУПЬ ИДТИ...

* * *

Что оставил ты, страждущий, там, позади,
Впрок для жаждущих чаши наполнив?
Не тобой ли спасённая вера в груди
Всколыхнётся, о многом напомнив?

Не твоей ли зажжённые речью, вокруг
Небывалые звёзды возникнут? –
И друзей постаревших всё тянет на юг,
От чего никогда не отвыкнут.

Что же думал ты прежде о тьме на пути,
Что извечным казалось оброком?
Видно, стоило к свету на ощупь идти,
Чтобы тропку найти ненароком.

Что же видел ты, странник? – бедлам, да вокзал,
Да разруху с ухмылкой несътой, –
Оттого-то и клятвою давней связал
Ты судьбу свою с горней защитой.

Кто же скажет о том, как в тумане жилось,
Как в забвенье дышалось и пелось? –
Обожглось, поднялось – и уже прорвалось
Всё, что в досталь от зол натерпелось.

* * *

Это бремя не стоит гроз,
Не бывавших лихой напастью,
Это бремя не стоит роз
На пути позабытом к счастью.

Был я, каюсь, упрям и крут
В нетерпенье своём и рвенье
К тем краям, где с огнём трут
Без труда не дают горенья.

И от вас, что ни взмах, далёк
Потому я бывал порою,
Что везде вспоминал зарок –
Тот, что был не пустой игрою.

Холод сгинул – и страх прошёл,
Словно снег, на земле растаяв, –
Знать, немало молитв прочёл,
Заблуждавшихся не охаяв,

Тот, кто выжить сумел, когда
Люди гибли и были звери,
Тот, чью душу ведёт звезда,
Человечьему сердцу веря.

* * *

Воссоздать неяркую красу
Этих дней, где листья на весу
Всё ещё не мечутся отпето,
Что-то в мире словом оправдать –

Может, всё, что хочет оторвать, –
Вот она, осенняя планета!

Что за прок в запасах на потом,
Что за бредни выведут гуртом
На холмы, встающие лавиной
Перед гранью, выжженной тоской,
На пороге мерзости мирской,
К берегам идущую с повинной?

Всё равно останутся пути,
Где привычной всё-таки брести,
Чем жалеть о том, что принимало
За монету чистую других –
Ты всегда был подлиннее их –
И, пожалуй, этого немало.

* * *

Каждой твари – пара в подлунном мире
На ковчеге том, где стол, и ложе, –
Не своими ль в доску, себя транжиря,
На чужом пиру мы стареем всё же?

По ранжиру каждый, пожалуй, может,
Перекличке вняв, у стены застынуть, –
Но какая, друже, обида гложет,
Если кто-то хочет ряды покинуть!

Нет покоя, брат, и в помине даже –
Из неволи мы, из тоски да боли,
Запоздали мы, – потому-то, враже,
Ты рассыплешь вдосталь хрустящей соли.

То ли дело свет, что в себе хранили,
То ли дело дух, что несли с собою, –
Хоронили всех – а потом ценили,
Укоряли всех, кто в ладах с судьбою.

У эпохи было лицо рябое,
По приказу шла от неё зараза –
Но куда бы нас ни вели гурьбою,
У неё на всех не хватало сглаза.

Слово раб изгнал я из всех законов,
Что в пути своём на ветрах воспринял –
И знавал я столько ночей бессонных,
Что покров над всем, что живёт, раскинул.

Слово царь я тем на земле прославил,
Что на царство, может быть, венчан речью –
Потому-то всё, что воспел, оставил
На степной окраине, – там, за Сечью.

Не касайся, враже, того, что свято, –
Исцеляйся, друже, всем тем, что скрыто
В стороне от смут, у черты заката,
Где от кривды есть у тебя защита.

* * *

Ночь киммерийская – на шаг от ворожбы,
На полдороге до крещения, –
В поту холодном выгнутые лбы
И зрения полёт, как обращение
К немym свидетельницам путаницы всей,
Всей несуразицы окрестной –
Высоким звёздам, – зёрна ли рассей
Над запрокинутою бездной,
Листву стряхни ли жухлую с ветвей,
Тори ли узкую тропинку
В любую сторону, прямее иль кривей,
Себе и людям не в новинку, –
Ты не отвяжешься от этой темноты
И только с мясом оторвёшься
От этой маревом раскинувшей цветы
Поры, где вряд ли отзовёшься

На чей-то голос, выгнутый струной,
Звучащий грустью осторожной,
Чтоб море выплеснуло с полною луной
Какой-то ветер невозможный,
Чтоб всё живущее напITYвалось вновь
Какой-то странною тревогой,
Ещё сулящею, как некогда, любовь
Безумцу в хижине убогой.

Широких масел выплески в ночи,
Ворчанье чёрное чрезмерной акварели,
Гуаши ссохшейся, — и лучше не молчи,
Покуда людям мы не надоели,
Покуда ржавые звенят ещё ключи
И тени в месиво заброшены густое,
Где шарят сослепу фонарные лучи,
Как гости странные у века на постое,
По чердакам, по всяким закуткам,
Спросонья, может быть, а может, и с похмелья —
Заначки нет ли там? — и cedят по глоткам
Остатки прежнего веселья, —
Ухмылки жалкие расшатанных оград,
Обмолвки едкие изъеденных ступеней,
Задворки вязкие, которым чёрт не брат,
Сады опавшие в обрывах песнопений,
Которым врозь прожить нельзя никак,
Все вместе, сорищем, с которым сжился вроде,
Уже отринуты, — судьбы почуяв знак,
Почти невидимый, как точка в небосводе,
Глазок оттаявший, негaданный укол
Иглы цыганской с вьющеюся нитью
Событий будущих, поскольку час пришёл,
Уже доверишься наитью, —
А там и ветер южный налетит,
Желающий с размахом разгуляться,
Волчком закрутится, сквозь щели просвистит,
Тем паче, некого бояться, —
И все последствия безумства на заре
Неумолимо обнажатся, —

И нет причин хандрить мне в ноябре,
И нечего на время обижаться.

Вода вплотную движется к ногам,
Откуда-то нахлынув, – неужели
Из чуждой киммерийским берегам
Норвежской, скандинавской колыбели? –
И, как отверженный, беседуя с душой,
Отшельник давешний, дивлюсь ещё свободе,
Своей, не чьей-нибудь, – и на уши лапшой
Тебе, единственной при этой непогоде,
Мне нечего навешивать, – слова
Приходят кстати и приходят сами –
И нет хвоста за ними – и листва
Ещё трепещет здесь, под небесами,
Которые осваивать пора
Хотя бы взглядом, –
И пусть наивен я и жду ещё добра
От этой полночи – она-то рядом, –
Всё шире круг – ноябрьское крыльцо
Ступени путает, стеная,
Тускнеет в зеркальце холодное кольцо –
И в нём лицо твоё, родная,
Светлеет сызнава, – неужто от волшбы? –
Пытается воздушное течение
Сдержатъ хоть нехотя дорожные столбы –
От непомерности мученья
Они как будто скручены в спираль
И рвутся выше,
И, разом создавая вертикаль,
Уйдут за крыши, –
Не выстроить чудовищную ось
Из этой смуты –
И зарево неожиданное зажглось,
И почему-то
Узлом завязанная, вскрикнула туга
И замолчала, –
Как будто скатные сгустились жемчуга
Полоской узкою, скользнувшей от причала.

Евгений ЭРАСТОВ

НО ГДЕ ЖЕ ТЫ, ОСОБЫЙ РУССКИЙ ПУТЬ?

* * *

Я программу скачал в Интернете.
Есть такая забава на свете —
Интереснее многих, мой свет.
Мне теперь предоставлены в цвете
Фотографии прожитых лет.

Снова катятся детские санки
В первозданной моей тишине,
И ступенчатость зимней огранки
Черно-белой не кажется мне.

На карнизе стальная голубка
Стала сизой и алым — закат.
Я узнал свою рыжую шубку
И коричневых пуговиц ряд.

Как давно это было, однако!
Синий дым над трубою дрожит,
И трехцветная эта собака
Рядом с санками бодро бежит.

Желтизна скособоченной печки,
На тарелке цветные драже,
И на санках кривые дощечки
Темно-синими стали уже.

О, как залита солнцем округа!
Золотисты сугробы двора.
Но еще изумительней, други,
Разноцветный рисунок ковра.

Как узоры тонки и красивы!
И уже понимаешь без слов,
Почему наши русские дивы
Всё позируют возле ковров.

Как он связан с природой суровой,
С невеселою русской судьбой!
...Цвет бывает весомее слова –
Фиолетовый, желтый, лиловый,
Светло-розовый и голубой...

* * *

Где вы, детские годы бесслезные,
Бессловесные нивы колхозные,
Дяди Леши унылый улов?
Набухали сирени хлорозные
В палисадниках ветхих домов.

На контрольных – ошибки да промахи,
На шершавых стволах – воронье.
И цианистый калий черемухи,
Одуряющий запах ее.

Физкультура с девчонками потными,
Равнодушный до одури снег,
Захлебнувшийся массажи рвотными
Одноклассник Гулятьев Олег.

Громогласной страны обветшание
Под раскатистый смех простачков,
Романтичных акаций шуршание,
Тихий хруст обветшалых стручков.
Но повязанный майскими грозами,
Был клеветом я гимнов иных –

С маслянистыми чудо-стрекозами
На бескрайних лугах заливных.

И, возвращенный неласковым Севером,
Волжских склонов непризнанный князь,
С желтой пижмой и розовым клевером
Ощущал я теснейшую связь...

* * *

Синие ягоды ветхой ирги
Кажется, будто слегка запотели
Или замерзли... Как ветки туги!
В царстве безбашенной Бабы-яги
Серая осень. Грачи улетели.

В вечной тоске от не сваренных щей
Из топора гепатитного Вани
Бомж под иргой, как Бессмертный Кощей
Спит на проваленном старом диване.

Эти диваны стоят под иргой –
Грязные, мокрые. Пахнет помойкой.
Так вот и кончилась жизнь, дорогой,
Что начиналась твоей Перестройкой.

Меченый боцман оставил штурвал,
Дремлет в Баварии, проклят народом.
Бомж с голодухи иргу оборвал.
Мне все равно – патриот, либерал,
Мне б надышаться моим кислородом.

Что мне политика! В русской тайге
Если не гнус, то постылая вьюга.
...Я-то хотел рассказать об ирге,
А заболтался, что твой журналюга...

* * *

Был день осенний хмурен и тяжел.
Шел мелкий дождь, как из аэрозоля.

За станцией – обобранное поле
И на корню прогнивший частокол.

Что было там – пшеница ли, овес –
Не помню я. Запомнил ряд осинок
И стайку облетающих берез,
И мокрый, в мелких лужицах, суглинок.

Казалось, в этом поле я один
Да друг мой ветер, что ребрист да гулок.
Как славно, что себе я господин –
Поэт, фанат бессмысленных прогулок.

В какой-то миг, от холода дрожа,
Стал думать о тепле и позднем часе,
Но вдруг заметил дряхлого бомжа,
Сидящего на выцветшем матрасе.

«Полтинник одолжил бы мне, братан, –
Он мне прошамкал. – Поддержал бы друга!
Без опохмелки мне сегодня туго».
В руке дрожал макдональдский стакан.

Я добрый. Как ему я откажу –
Забитому, забытому, больному,
Небритому российскому бомжу,
К тому ж еще до одури хмельному?

Осенний день карабкался во тьму.
И, впечатленный встречей с доходягой,
Я сам не знаю даже, почему
Дал ровно пятьдесят, одной бумагой.

Конечно, не из скарденности... Пусть
Поступок мой психолог объясняет –
Фрейд, Адлер, Юнг – который понимает,
Откуда наша радость или грусть.

И я, предметом каждым дорожа,
Внимательный ко всем деталям быта,

Запомнил шапку лыжную бомжа
И надпись криво вышитую: «Рита».

А может, «Пума», если посчитать,
Что графика у букв была другая,
Латинская. А впрочем, наплевать —
Не Рита, значит, девушка другая.

«Пойдем, Чубайс», — прибавил он потом,
И тут-то я увидел, как из мрака
Вдруг появилась рыжая собака
И завиляла ласково хвостом.

Нарушил рощи выцветшей покой
Звук электрички, суетно гремющий.
До станции уже подать рукой!
...И я не видел связи никакой
Меж этим псом с Чубайсом настоящим.

Я с детства лишь с рифмовником дружу
И в облаках полуденных витаю.
Моя рука не тянется к ножу.
И вкладчикам обиженным скажу —
Чубайса я злодеем не считаю.

И в том, что от России он далек
И русским совершенно непонятен,
Не виноват!.. С того ль он неприятен,
Что у него тяжелый кошелек?

У нас всегда то дождь, то снегопад.
Пойди, найди хорошую погоду!
В крови у русских это было сроду —
Что б ни случилось, рыжий виноват!

В чем дело, братцы? В русской ли беде,
Что непонятна в обществе свободном?
Чубайс в России — как бензин в воде —
Всегда он будет телом инородным.

Но где же ты, особый русский путь?
В снегу бескрайнем можно утонуть
Среди бомжей, барыг и негодяев.
Какой такой взыскательный Бердяев
России вскроет истинную суть?

Живу, пишу, минуте каждой рад.
И не склоняюсь к темноте и мраку.
Но почему-то столько лет подряд
Я вспоминаю ветер, листопад,
Матрас, бомжа и рыжую собаку.

* * *

Эти красные ягоды бузины
В этом мокром, неровном, кривом лесу
Мне в награду за темные дни даны.
Я люблю эти ягоды и росу.

Я люблю эти ягоды и следы
От слизней на серой шляпке гриба.
Целокупный мир дождевой воды.
Не внушайте мне только, что жизнь – борьба.

На тропинке – крапивниц цветной аврал,
Лягушонка белый смешной живот.
И ты можешь назвать меня «либерал»
(Я свободу люблю!) или «патриот»,

Потому что счастливее нет страны,
Где ты можешь увидеть в кривом лесу
Эти красные ягоды бузины,
Эту птицу, парящую на весу.

Александр ЛОМТЕВ

Саров

СТРАНСТВИЯ

Гомборский перевал

Гомборский перевал,
Меня дождями встретил,
Туманом спеленал,
Не принял, не приветил,
Там был рюкзак тяжел
И путь в грязи и лужах,
И по нему я шел,
Усталостью нагружен.

Гомборский перевал –
Не первый из высоких.
Я там не воспевал
Грузинок чернооких,
Я там не восхвалял
Цветения сиреней,
Я там не прославлял
Бессмертия селений...

Чего я там искал,
В звезду какую верил,
Среди снегов и скал
Тропу терпеньем меря?

Спустился и забыл –
Как будто и не был...

...Но что же вновь и вновь
Мне снится постоянно –
Шиповникова кровь
На ватмане тумана...

Полдень в Хургаде

Солнце влипло в зенит,
Пальма млеет в истоме,
В зное улица тонет,
Лишь цикада звенит.
Тень прилипла к стене –
Отпечаток живого...
Полдень снова и снова,
Словно в проклятом сне.

Ветер сух и горяч,
День застыл на века
Время словно устало,
Время в зное застряло.
Смотрит вниз свысока
Время – главный палач.

Моря Красного плеск,
Яхты след белопенный,
Росчерк чайки мгновенный,
Волн серебряный блеск.

В небе жестью застыл
Пальмы трёпанный веер...
Неужели есть Север?
Да, на свете есть Север –
Ты об этом забыл.

Солнце жжёт и слепит,
Солнце к небу прибито,
Не цикада – разбито
Ось земная скрипит.

Бедуин

Он сидел на пороге –
Кожа цвета оливок,
Черносливовый взгляд.
Не искавший наград,
И не знавший прививок,
Тощий и мослоногий
Он сто лет проживёт.
А быть может, и двести...
Моя жизнь – интересней,
Он – счёт дням не ведёт.
У него есть верблюды,
Есть пустыня и воля,
Всё, что нужно, с собою –
Весь нехитрый уют.
Жив – спасибо Аллаху.
Нет ни бед, ни тоски,
А дорога в пески –
Не дорога на плаху.
Аравийский песок
Год от года всё мельче.
Время вовсе не лечит –
Бьет с размаха в висок.
Только боль и беда
Бедуину – пустое,
Мы в миру на постое –
Всё уйдёт без следа...
В небе наискосок
Пролетают кометы,
Мне б поверить в приметы
Ну, хоть на волосок.

Ночь на Устюрте

Скрыла плато Устюрт
Ночь дырявой кошмой,
И чабаны поют,
Сидя к ночи спиной.

Льется печаль луны
В щели раскосых глаз,
Лица, как медь, темны.
Просто и без прикрас
Льется легенды вязь.
Здесь под степной луной
Зримей столетий связь,
Времени шаг иной...
Где-то сова кричит,
Путаясь под кошмой,
Старый чабан молчит,
Сидя к ветрам спиной.
Сидя лицом к костру,
Ветки огню даря,
Ясно увижу вдруг,
Как занялась заря.
Там, на краю плато,
Добрый казахский бог.
Чтоб не замерз никто,
тоже костер разжег...

* * *

Куба мирно дремала,
душной шалью ночи укрыв берега,
когда буря подкралась
и бросилась в драку на Плайя-Хирон.
Ветер с воем и свистом терзал облака,
волны с ревом на скалы бросались,
шипели и пеной плевались;
рвались ветру вослед кроны пальм,
и трава как поземка змеилась,
прижатая бурей к земле.
Бил по ставням рыбацкой хибарки песок,
жестко сорванный с дюн.
Лодки вжались в песок,
черепашками прячась от злобного зверя.
Все кружилось, гремело, сверкало
в озоновом вихре циклона;
шторм циклопом свирепым

крушил и топтал беззащитный прибрежный покой...
Мы обнялись и молча смотрели на пламя свечи,
что металось ночным мотыльком,
отражаясь в стекле.
Мы друг в друге спасались
от грома неведомой силы,
что трясла и залив, и хибарку, и остров, и Землю...
...А потом все сорвалось в обвал тишины!
Из неё нас, растерянно тонущих в глухоте,
утром вызволил голос сверчка.

С ОХОТЫ

И коврик лоскутный под ноги,
И лампы сиянье в глаза,
Чаек самоварный с дороги,
И даже с морозца слеза –
Мне так долгожданны, представьте,
Когда, наплутавшись в лесу,
Я вместо убитого зайца,
Усталость домой принесу

Молитва странника

Пусть вечно меня ожидают
потери и встречи,
Дороги и дом, где родился,
и смех у костра,
Пусть вечно тревога за близких
мне ношей на плечи,
И грусть расставанья,
что так неизбывно остра.
Пусть вечно встречать мне людей –
и хороших, и разных,
Под солнцем, под Южным Крестом,
под Полярной звездой,
Пусть вечно мне видеть
разливы закатов прекрасных

И слышать, как где-то
 кричит поутру козодой.
Пусть будет судьба нелегка,
 а дорога опасна,
Ну, что ж, я готов и такую
 пройти до конца,
Я верил, что вся эта жизнь
 не напрасна,
Когда уходил поутру
 от родного крыльца...

А если короче окажется путь,
 чем хотелось,
По тропке моей прошагает
 пусть кто-то другой.
Пусть славно споется ему
 то, что мне не допелось,
Пусть вечно кричит для него
 поутру козодой...

Из свежей прозы

Николай ЖЕЛЕЗНЯК

Москва

НЕВЕСТА НА СЕВЕРЕ

Никогда в жизни Толик Зарудин не ходил на лыжах.

До поступления в радиотехнический институт в Таганроге он прожил всю жизнь еще южнее, в малоснежном Краснодаре.

А по приезде в далекий карельский поселок сразу отмахал километров пять. Еле дошел до финиша. Обрато — домой к невесте.

Впереди на лыжне, если так можно назвать просеку в лесу, неизменно вдалеке, маячила рослая фигура отца Татьяны. Он высоко выбрасывал руки, размашисто загребая косыми саженьями густо падающий разлапистый снег.

Еще закрепляя лыжи на туфлях, Толик с тоской понял, что ему не жить. Небольшой пологий бугор по пути к калитке преодолевал, стиснув зубы и с внутренним рыком и рёвом. Орать в голос было нельзя. Татьяна с матерью стояли на крыльце. Обе накинули пуховые платки, обхватили себя руками за плечи и молча наблюдали схватку за овладение безымянной высотой. Толик три раза скатился задом в сарай. Назад лыжи везли неожиданно легко. Наконец, боком огибая склон, кое-как перевалил на заплетающихся, скользких лыжах препятствие.

Татьянин отец шел далеко впереди. По улице светили редкие фонари. Дальше Толик ориентировался по темно-му пятну на белом снегу в просвете между смыкающимся хвойным лесом. Боялся потеряться. Маршрут не оговаривался заранее. Он приноровился передвигаться скачками. Бежать с утяжелением в виде неудобных лыж трудно. Палал он, наступая одной на другую и пытаясь выдернуть нижнюю.

По возвращении домой он сначала тупо сидел на мокрой рогоже в сених и выковыривал негнушимися пальцами спрессованный снег из туфель, не снимая их. Штаны по пояс были ледяными. Про носки нечего говорить.

Ложился спать Толик в прострации. Ноги и руки тряслись от напряжения. Голова кружилась. Водка не была тому причиной. Хмель вышел еще на трассе.

Разделся, выключил свет в отведенной ему комнате, в темноте подошел к стулу, повесить одежду. И не мог нащупать спинку нырками руки. Не отодвинулся же стул. Он выронил одежду на пол и лишь утром догадался, что подошел вплотную и ловил пальцами пустоту перед спинкой.

Спал Толик, дергаясь измочаленным телом, как беспокойный молодой пёс после бурного дня, но беспробудно. Не везло ему в дороге с попутчиками. В поездках, которыми он добирался из Таганрога тоже. Сначала до Москвы, потом до Петрозаводска.

Одну ночь сосед по купе храпел. Большею частью со звуками закипающего чайника. Бывало, присвистывал неожиданно, предупреждая о готовности кипятка. Выводил из себя и скрип открывающейся двери, иногда рывками переходя на металлические ворота.

Несколько раз Толик включал свет. Рассчитывал разбудить храпуна, но бесполезно.

Из-за выдающейся вперед челюсти и жирного затылка голова лежащего навзничь мужчины походила на перевернутое ведро шлема немецкого пса-рыцаря. Хотелось прибить захватчика, пригвоздив к полке. Копья проводник не выдавал.

От Москвы же одним из попутчиков попался снабженец-азербайджанец со стеклянными глазами. Споро наре-

зал на газете колбасу, хлеб, помидоры, огурцы, заняв весь столик. Достал несколько бутылок крепленого вина и не отвязался, пока не уговорил выпить. Чета стариков отказалась, так что отдувался Толик.

В электричке его укачало. Хорошо добрая женщина разбудила перед нужной станцией.

Толик встал, задержался перед выходом на площадку, держась за поручень и смотря в темное оконное стекло на мрачный бор. На фоне сплошного зубчатого леса увидел отражение девушки, сидящей позади на боковом сиденье. Показалось, ее короткая юбка имела оборку, оторванную от края ткани, и между этой оборкой и юбкой были видны ее голые ноги в светлых колготках и такая же таинственная, как и снаружи, чернота в скругленном по бокам треугольнике под юбкой. Он даже обернулся убедиться, что это двойное стекло преломило изображение. Конечно же, не было никакой оторванной оборки, не было и прикрепленной к юбке.

Девушка посмотрела поверх книги и улыбнулась. Дверцы скрипнули, раскрываясь, он спустился по ступенькам в сгущающиеся сумерки. Несколько человек со жваканьем снега под ногами удалялись по дорожке к домам.

В поселке показали улицу на окраине, у самого черного леса.

Перед нужным домом Толик долго стоял в темноте, прячась вовне купола желтого света, проливаемого фонарем на деревянном столбе. Думал о Тане и о том, что зря приехал в такую даль незванным. О Тане он думал весь свой путь.

Родители сразу посадили за стол. Выпили с отцом. Бутылка водки быстро опустела. Александр Трофимович молчал всю трапезу. Один раз только сказал:

– Закусывай.

Кусок в горло не лез. Таня тоже сидела над тарелкой, не поднимая головы, смотрела в столешницу. Пришла она чуть позже. Они поздоровались. И Таня присоединилась к ужину.

– Это не будешь? – спросила мать, указывая на почти не тронутую тарелку. – Убирать?

– Нет, да.

– Что?.. Будешь или нет?

Таня покачала отрицательно головой, не поднимая ее. Не ожидала его приезда.

Ехать ребята в общежитии посоветовали.

– Чего писать письма бесконечные. Решать надо. Так или так. В смысле, не так. Попробовать нужно. Как говорится, в двух смыслах слова. Как вкусить и осязать, и одновременно – попытаться, – так многозначительно высказался Паша.

После еды Александр Трофимович поднялся из-за стола и предложил пройтись. Суровато несколько, но ничего, подумал, Толик, бить ведь не будет. Если что, переночует и уедет.

– Пойдем, пройдемся, – сказал Танин батя и впервые пристально заглянул гостю в глаза.

Толик подумал, разговор мужской будет. Но ему выдали лыжи. В сарае их торчало у стены несколько пар. И они отмахали кросс по пересеченной местности. Дорога жизни для Толика. А ну как потерялся бы в лесу. Кто там, кроме волков, еще жил. Детей говорят, были случаи, стая воспитывала. Но Толик даже из юношеского возраста выходил – институт оканчивал, – так что его бы просто сожрали.

Всего однажды в своем солнечном Краснодаре он стоял на лыжах. Проехаться не удалось.

Стойкий снег на Кубани редкость. Как-то его выпало неожиданно много. С погодой что-то случилось, быстро объяснили находчивые синоптики. Город встал. Выяснилось, в коммунальном хозяйстве в наличии два снегоочистителя, и те оба сломаны. Пару дней движения не было, пока не растаяло всё.

Подъезд к микрорайону, где он жил, шел в горку, вот на ней он и встал на лыжи. Попросил прокатиться у приехавшего с Северов экипированного друга. Показалось, нет ничего сложного, съехать с ветерком с горы. Он угнезвился в креплениях, и лыжи тут же выехали из-под него вперед. Даже палки не помогли. Несколько раз он еще опрокинулся на укатанную дорогу. Один раз чувствительно ударился головой. Благо был в шапке.

На коньках тоже была произведена только одна попытка. Рассекать предполагалось по замерзшей буграми обширной луже во дворе. Пыльные коньки старшего брата – канадки – извлекли из кладовки. Мама выдала две пары шерстяных носков, ботинки были велики на несколько размеров. Надевал он их на лестничной площадке. По ступенькам спускаться было неудобно, но еще куда ни шло.

– Перила в помощь начинающим, – высказался брат, наблюдая за его эволюциями. Идти с ним, поддерживать, по просьбе мамы, брат отказался. Заниматься надо.

По твердому асфальту Толик доковылял до условного катка. Забыв, что вообще не умеет кататься, в неудачах он порицал бугристый лед. Тот оказался к тому же местами скользким. Вокруг собрались пощериться зеваки. Ноги разъезжались и выворачивались, Толик падал, вставал, затем стал ползать, а если и поднимался, то неуклюже ходил, подворачивая тяжелые и неповоротливые ботинки под себя, боком на внешних сторонах лодыжек. Неудобно, но более устойчиво. Домой Толик заползал на коленях. Благо второй этаж. Щиколотки нестерпимо болели. Словно он перерезал себе мышцы. Ступней не чувствовал. Колени были синими.

– Зубы целы? – спросил брат, увидев состояние инвалида.

Проще на раскатанных в снегу дорожках льда скользить на подошвах. Если зимой холодно. Что бывало редко.

Таковыми на тот момент были успехи Толика в зимних видах спорта. Так что беготня на лыжах, первый раз за всю жизнь, была зачетным подвигом...

С Таней он познакомился в Дивноморске. Они вместе отдыхали в студенческом лагере. Смена давно началась, Толик с друзьями проводил вторую неделю на благостном Черном море, как приехали студенты из Карелии. Больше двух суток добирались поездами. Длинная колонна втянулась в подъезд четырехэтажного корпуса напротив. Толик с Пашей и двумя соседями стояли на балконе и обсуждали девчонок. Всем приглянулась огненно-рыжая. Заметная издаലെка. А Толику понравилась ее темноволосяя подруга. Девушки шли парой и переговаривались.

Маленькая брюнетка выглядела симпатичной даже издалека.

Ее рост был плюсом, ибо Толик был невысок. Он, правда, еще был и некрасив. Круглое лицо с картофельным носом он облагораживал редкими усами. Паша называл их заповедником для блох.

Было заметно, что Толик не мог выбросить карельскую девушку из головы.

– Ничего тетка, с пивком потянет, – выражался он в привычной в компании зубоскальной манере общения. Скрывал томление сердца.

Одному идти к ней через всю танцплощадку Толик постеснялся, взял с собой в подмогу Пашу. Тому надлежало пригласить рыжую подругу. Однако, уже подходя к девушкам и не встретившись с Таней глазами, Толик вдруг позвал танцевать улыбчивую рыжую. Та оказалась Марьей. Не Марией. Но на Машу откликаться со смехом согласилась. Под конец раскачивания в медленном танце, Толик сознался, что хотел пригласить ее чернявую подругу. Марья вновь заливисто рассмеялась и познакомила с Таней. По словам Пашы, он, пока с ней танцевал, всячески нахваливал друга.

После зимней сессии Толик поехал к невесте.

Осень они переписывались. По письму написали. Сначала он долго думал, подначиваемый друзьями, как сложить мысли. Собственно, главную все равно не выразить. Потом долго ждал короткого ответа. Таня написала, что продолжает учебу в пединституте, готовится к экзаменам, ездит в Петрозаводск на электричке. Любит готовить и шить...

Утром с чугунной головой он проснулся от шума голосов. Родители собирались уходить. Он вышел из комнаты попрощаться. Мать что-то негромко говорила Татьяне, та кивала в ответ головой. Такая же немногословная, как и отец. Ее короткие темные волосы слегка покачивались вдоль всегда красных щек. Таня смотрела в пол. У нее была красивая стрижка – каре.

Мать сказала:

– До свиданья.

Отец что-то буркнул. Родители ушли на работу.

– А сестра в Петрозаводске живет, работает в сберкассе, – неожиданно сказала Татьяна.

Они вместе позавтракали. Татьяна вышла в свою комнату, долго скрипели дверцы платяных шкафов. Приодетая, вернулась в кухню, взяла в углу у печки топор и собралась выйти из дома. Толик предложил помочь. Дрова же не будет она рубить сама, да еще такая нарядная. Татьяна от помощи отказалась. В сенях взяла из этажерки обувницы новые голубые открытые туфли на небольшом каблучке. Даже скорее, босоножки. Толик с интересом вышел вслед за ней на двор.

Татьяна поставила туфли на большую колоду и, не примериваясь, резкими ударами отрубила носки.

– Закругленные слишком были? – спросил Толик.

– Не понравились, – подтвердила Татьяна. – На лето родители подарили.

Ее картавость, при излишне четкой речи, придавала некую дополнительную твердость ей и в словах и, видимо, в характере. Отчего происходили и педантизм, и неуживчивость, и прямолинейность. Столь близкие сердцу и понятные.

У Татьяны тоже были каникулы, и они вдвоем поехали провести в выходной сестру в Петрозаводск. Там он увидел железнодорожную кассу и купил обратный билет.

Городским властям пришла в голову идея засадить площадь у вокзала лиственницами. И теперь зимой те стояли как высохшие елки с забытыми на них новогодними гирляндами, – густо увешанные шариками шишек.

После окончания учебы Толик не вернулся в Краснодар, остался в Таганроге. Пошел работать в порт. Занимался обработкой сыпучих грузов, в первую очередь пшеницы. Ту к причалам неустанно таскали с полей «хомяки» – тяжело груженные КамАЗы с прицепами.

Через несколько лет трое сотрудников создали предприятие. Пригласили к себе в контору, и вскоре он стал совладельцем. Долю ему предложили небольшую, однако статус его стал совсем иной. Так Толик превратился в предпринимателя. Ему было приятно, когда его называли

бизнесменом. Хотя принятие решений, планирование, поиск новых связей, улаживание спорных моментов с конкурентами и взаимодействие с властями – это всё было не его, он по жизни был исполнителем.

В детстве и в юности прилежный ученик, в школе хорошо учился, выполнял задания, учителя называли его усидчивым. Уроки давались тяжело, он часто занимался допоздна, вникая в новый материал. Толик не был отличником, но всегда вовремя готовился. И в институте занимался очень ответственно, был на хорошем счету у преподавателей.

Отец умер, и он забрал маму из Краснодара к себе.

Брат эмигрировал в Канаду. Они переписывались, общались по видеосвязи. Брат присылал фотографии, звал в гости. Потом к нему уехала мама, помочь с детьми – у брата родились близнецы – да так и осталась. Мама возвращалась каждый год на неделю, на две погостить. Съездить в Краснодар, убрать могилу мужа. Останавливалась она у Толика. Брат никогда не приезжал на родину, ему всё было некогда.

Толик долго не женился, а потом неожиданно сошелся с проституткой, которая работала на Греческой улице. Девушки, желающие познакомиться с определенной целью, наведя макияж, гуляли по широким тротуарам, усаженным старыми деревьями вдоль старых домов. Там она Толика и подцепила. Его фирма выкупила на Греческой двухэтажное здание девятнадцатого века, расселив несколько семей.

Чем-то Вероника его разжалобила и осталась у него дома. Они расписались. Одиночество переносить легче вдвоем.

Толик оплатил ей поездку на учебу во Францию. Через год она вернулась и родила дочь. Затем опять выехала продолжить занятия в Сорбонне. Толик вкладывал душу в ребенка, нанял няню, торопился со службы домой, сидел у кровати, часами разговаривая с малышкой. Он удочерил Сильвию.

Когда кончились деньги, Вероника вновь ненадолго вернулась из Франции. Потом все же ушла окончательно.

Хотя, говорят, в Париже с женщиной – Тьерри – рассталась. Девочку она забрала с собой.

Однажды Толику приснился сон.

Будто бы он едет на машине домой по широкому проспекту. Когда знакомый дом уже был хорошо виден вдалеке, дорога неожиданно превращается в извилистую колею в траве, петляющую вблизи реки, скрытой зарослями камыша. Он знает свой путь и продолжает движение, держась проторенных колесами предшественников лент утоптанной травы. Вдруг другая машина, торопясь, обгоняет его, прижав перед обгоном, заставив частично уступить колею и подрезав после. Он обозлен, но неожиданно задумывается, зачем ему держаться колеи, когда вокруг травяной луг и можно ехать где он захочет. Проверив это, он въезжает в высокую сочную траву на пологом склоне и, раздвигая ее капотом, вскоре вырывается на поляну, к которой, оказывается, и стремился. В центре же поляны находится конусовидная горка, созданная зверем, извлекушим землю из недр, при рытье убежища. И перед горкой, обрамляющей нору, яростно заходится в лае явно непородистая собака. К ее шее привязан коротким ремнем пушистый и добрый щенок. И тогда он останавливается, выходит из машины, берет в руки прут, изогнутый книзу, и, вращая им туда-сюда перед собой, наступает на непрерывно лающую собаку. Он желает попасть концом прута по ее носу, но безуспешно. Та пятится и в итоге скрывается в логове. Он наступает каблуками на откосы горки, забивая землю в нору, пока ему не удастся погresti там злобную собаку. Спасенный же щенок остается на поверхности.

После этого Толик захотел иметь щенка, о котором мечтал в детстве, но, побывав на рынке, купил маленького ушастого серого кролика. Они сидели в тесных проволочных клетках и тихо повизгивали. Такие зверьки были у бабушки в деревне, теплые и нежные. Они еще смешно жуют шелковистыми губами и тыкаются в шею, взятые на руки.

Вскоре кролик подрос и переехал жить в отдельную комнату, в манеж, купленный в свое время для дочери. Когда кролик испортил манеж окончательно, пришлось

соорудить ему просторный деревянный вольтер без крыши со стенками из сетки.

Незадолго до ухода Вероники Толик купил новую квартиру. Финансы позволяли. Четыре комнаты, чтобы всем было удобно. На первом этаже, так как у него появилась отдышка. Работа была сидячей, да и двигался он мало, никуда почти не ходил.

В отпуск на отдых он ездил на Черное море в поселок Небуг, в один и тот же пансионат, где знали его привычки. Читал книги в шезлонге под раскрытым зонтиком, почти не загорал и не плавал. Как-то коллеги соблазнили поездкой на Карибы. Долгий перелет, утомительная смена часовых поясов, акклиматизация. Толик привез домой несколько огромных белых раковин и темных бутылок доминиканского рома. Раздал подарки, но больше не летал на край света. Очень далеко.

Чтобы куда-то тратить деньги, сделал ремонт в новом жилище.

И после того как окончилась отделка, разбирая сложенные в коробки бумаги, нашел маленькую черно-белую фотографию Тани. Она улыбалась, смотря прямо в объектив. Снимок с уголком был, видимо, сделан на студенческий билет.

Карточку эту Толик взял у Тани на подоконнике, когда она вышла ненадолго утром из своей спальни, а его необходимо потянуло побывать в комнате, где она живет.

Фото он носил в бумажнике за прозрачным окошком, как делали многие. Чаще, правда, женщины. Он видел это в магазине, когда люди расплачивались на кассе. А потом решил, что так он слишком редко видит Таню, и положил снимок под стекло на рабочем столе дома.

Он начал мучиться мыслями, что ошибся, так быстро уехав тогда из Петрозаводска. Он помнил, как Таня, оставаясь на перроне, смотрела вслед ему, стоящему на площадке вагона. Проводник видел их расставание и не торопился закрывать дверь. Билет Толик приобрел спонтанно. Отправление поезда было через полтора часа, он зачем-то сказал, что ему надо ехать. К Таниной сестре они не пошли, посидели вдвоем в кафе-мороженом у вокзала. И он уехал.

Он часто задумывался, особенно вечерами, что надо поехать в Карелию, найти Таню. Но его останавливало прошедшее время. Годы не вернуть и Таню тоже.

Женщины иногда появлялись в его жизни. Но заметного следа не оставляли. По утрам варили кофе или чай, курили и ухаживали. Одна инициативная всё звонила, порывалась варить борщ и убирать в квартире, но Толик отказывался. К нему по вторникам и четвергам приходила пожилая домработница.

Вдвоем с Василием у них была мужская компания. Понимали друг друга они с полуслова. Василий вырос крупным, легко выбрасывал сильными лапами траву на пол вокруг вольера. Несмотря на запах, Толик приходил смотреть телевизор к своему кролу. С ним можно было разговаривать о происходящем в мире.

Когда Василий околел от старости, Толик вновь пошел на рынок и купил нового кролика. Что-то менять в жизни было тяжело.

Он много курил и умер рано, от рака легких. Это единственный орган, в котором нет нервных окончаний, поэтому хватились врачи поздно. А Толик к кашлю привык. До самого конца ничего не чувствовал, — уже ничего нельзя было сделать.

Когда Толик умер, брат маме ничего не сказал, она была уже старенькой.

— Сердце может не выдержать, — сказал в трубку после паузы Сергей.

Паша удивился такому решению, ведь всё равно придется сообщить. Но брат Толика сказал, что не хотел бы, чтобы мама сорвалась ехать в такую даль в ее возрасте. Сам он на похороны тоже не приехал.

Фотографию Тани, уходя из квартиры, Паша забрал с собой. Всё имущество Толика перешло его жене. Он с ней не разводился.

Никита КОНТУКОВ

Подольск

КРОВЬ МОЯ, ЗА ВАС ИЗЛИВАЕМАЯ

Мать ругала настоящее и хвалила старые времена, и Мансур, на мгновение задержавшись в коридоре, подумал, как сильно она постарела за последний год. Он прижал её к себе и обнял, крепко, до хруста костей.

Профессор, выполняя распоряжение Хасана, вызвонил его в послеобеденный час и пригласил на встречу. Всю ночь Мансур собирался провести у изголовья больной матери, сидя в кресле возле тумбочки с сердечными каплями. Мать всё-таки права, седьмые зубы съедает: раньше ответственность ложилась на плечи всех соучастников, согласно исконной советской убеждённости в спасительном влиянии коллектива. Мансур ещё помнил дни, когда его люди поочерёдно пребывали в заточении и клялись, как декабристы, отдать свою жизнь за народное благо. Теперь всё решал их дурацкий жребий: вытянул счастливый билет – живи да радуйся, несчастливый – не взыщи. Мансору не повезло, как родившейся осенью мухе. Он бы остался, конечно, с матерью. Да и на улице дождь, опять же: холодно и сыро, как это бывает посреди затянувшейся осени. Но нельзя было нарушать закон. А слово их было законом – они ведь всю масть держали.

Мансур ещё раз взглянул на мать, погладил её плечи и быстро отвернулся, чтобы она не заметила, как в полумраке коридора блеснули его глаза. Он-то ладно, а вот мать

пропадёт. Непременно пропадёт, лишившись осевой точки, на которой она вся и держалась.

Едва узнав о случившемся, Надежда Валерьевна вознегодовала, закручиваясь в стихийный вихрь протестующего нутра: не ходи – не к добру это! Жаловала, вспоминая Мансура в младенческих летах, когда бережно укладывала его в кроватку. По обыкновению занималась самобичеванием: это она виновата – плохо, значит, воспитала. Как могла допустить? Почему не предвидела? Не сумела вырвать малого шалопая из лап коварной улицы, вот он и связался со всякой дрянью. Это ведь зверьё, нелюди. У них даже генный набор другой. Им человека ухандохать – раз плюнуть.

Мансур показал спину и, не оборачиваясь, быстро исчез за дверью. Спускаясь по лестнице, он слышал, как мать громко всхлипывала.

На улице было свежо. Всё как-то враз преобразилось, стало легче дышать. Страх улетучился, ибо знал Мансур, что час пробил и нельзя умолить ангелов Господних вытянуть его на светлый берег. Времена-то действительно изменились: бритоголовые ребята в кожанках, отломив от вожделенного пирога, как-то неожиданно ступили на стезю добродетели и даже внешне стремились к респектабельности и лоску, провозглашая своим идеалом тихую семейную гавань да палисадник. Никто не желал лишнего шума, тех же, кто до последнего упирался рогом, тихонько убирали, но в целом это были милые и приятные люди, пусть и отгородившиеся от мира и не верящие в надличные ценности и чудеса всечеловеческого братства. И Мансур не смел роптать: во всём его облике сквозила какая-то виктимность, обречённость, как у скотины, ведомой на убой. Отказаться всё равно нельзя – шутить эти парни не любили.

Он пришёл на встречу в послеобеденный час, как и договаривались. Пацаны хмуро глянули в его сторону, но в их хмурости проглядывало задумчивое сочувствие: прости, братан, на этот раз не фартануло. Постепенно лица их размягчились, просветлели, и вот они вроде как уже не гады последние, а местами так даже и на людей похожи.

Мансур грустно улыбнулся. Дни неумолимо бежали вперёд, тасуя потери и обретения: он исправно подавал нищим, но от судьбы откупиться не смог.

Это они с ним по-божески поступили. Хасана вон с постели подняли – и пинками под зад. Тогда ещё очерёдность соблюдалась, не щадили никого, даже признанных авторитетов: подписку-то все давали, в том числе и Хасан. Он у них главарь был, всех местных под себя подмял. Как-то раз его выставили за порог в одних трусах, а потом провели через весь город, как какого-нибудь залётного лошка. В трусах да тапочках – ни одеться, ни обуться он не успел. Да ещё на рынок завернули, где каждый торгаш ему в пояс кланялся и платил солидную мзду. И вот прямо у них на глазах один из дружков отвесил Хасану подзатыльник, второй ткнул его в спину, небрежно так, двумя пальцами, словно боялся испачкаться, словно это не Хасан никакой, а разгуливающий на свободе презираемый всеми петух.

– Пшёл! – крикнул кто-то из случайных зевак. – Бегом давай.

Чумазый оборванец швырнул в него камень и, попав в заднюю часть коленного сгиба, да так больно, что у Хасана ноги подломились, радостно вскрикнул. Но Хасан с гордостью нёс свою униженность: они плевали ему в лицо, а он покорно терпел, не проронив ни слова. Некоторые отводили глаза, не в силах взирая на жуткое зрелище, когда сильный человек оказывается в беспомощности, и Хасан чувствовал ещё большую досаду из-за их снисходительного превосходства. Лучше бы плевали в лицо и били палками по голове! Лучше ненависть, чем жалость. К тому же их жалость нарушала договор, и из-за таких вот добрых сердец грядущий год мог выдаться неурожайным, скотина – сгибнуть, торговля – перестать приносить доход. Лучше ненависть. Только ненависть!

Когда же на смену очередям пришёл жребий, конвоиры стали лояльнее: они давали человеку возможность как следует выспаться, надеть что-нибудь поприличнее и заушали только для виду.

Радуйся, Мансур! Ты преодолел духовную пустыню и положил свою жизнь на великое дело: если и скидывал

крупные козыри, когда ещё ничего толком не решалось, вынужденный отбивать случайные шестёрки, то в решающий момент не стал уклоняться от возложенной на тебя миссии. Казалось, Мансур только для того и родился, чтобы пострадать за человечество, и в тигле его расцветшей души грядущие страдания претворялись в радость.

– Ты извини, Мансур, – сказал Профессор от лица всей прикентовки. Всем же не по себе было: старая дружба трещала и расплзалась по швам, как изношенные портки. – Между нами – верёвка. Крепкая. Но ничего не поделаешь – случай.

Мансур молча кивал. И родственные союзы слабеют, чего уж там. Но Хасана уже начинала раздражать эта слащавая комплементарность. Лучше быть суровым и не ограждать себя от огрубевшей реальности, а эта доброта всё дело им завалит, как домино.

– Пойдём, Мансур, – строго приказал Хасан. – Дело забывчиво, тело заплывчиво.

Они прошли несколько шагов и остановились, близко, лицом к лицу, посмотрели друг на друга, длинно и испытывающе. В тот же миг Хасан ему врезал, неожиданно, с короткого размаха, так сильно, что Мансур, путаясь в собственных ногах и отлетев метра на два, повалился на землю, сплюнул кровью.

– По-нашему, по-тамбовски, – одобрили гогочущие пацаны.

Мансур задышал громко, со свистом втягивая воздух сквозь стиснутые зубы. Никакой пощады и жалости. Дружно налетели остальные и принялись добивать ногами, словно хотели выколотить из него, как пыль из старого ковра, все человеческие пороки. Мансур криветкой сворачивался под ударами тяжёлых ботинок, инстинктивно закрывая лицо, но не проронил ни слова. Таковы были правила. Принципиальный Хасан, как и подобает человеку, лишённому внутреннего содержания, требовал буквального исполнения ритуала, в такие минуты им овладевала мания конкретики. Долг предписывал изуевчить жертву, вывалить на неё избыток ненависти.

А ведь Мансур не был благонравным мальчиком, нет! Вечно он пропадал во дворах, пил водку наравне со взрослыми,

а однажды, ещё до того, как попал под влияние Хасана и его дружков, в одиночку грабанул в чужом районе ларёк. Школу он посещал редко, учителям постоянно грубил. Матери Мансура говорили, что у неё растёт настоящий зверёныш: «Вы с ним начеку будьте, такой ведь и убить может!» А юноша и с матерью не больно церемонился: когда денёк выдавался не больно хлебный и он возвращался домой с пустыми карманами, приходилось чуть ли не милостыней пробавляться, выпрашивать у родительницы умоляющим голосом: «Налей, а – хоть капелюшечку». И мать, конечно, никогда не отказывала, наливала ему вровень с краями. Имелся у неё для таких вот случаев неприкосновенный запас. Она доставала из невыскребанных сусеков бутылочку и закусь, готовила немудрёное застолье. Да ещё радовалась в душе печальной материнской радостью: пусть лучше с ней за одним столом опрокидывает стаканы, чем пьяный на чужих дворах валится. За день ничего не украл – и на том спасибо. А то ведь и за мелочёвку всякую мордень разукрасить могут.

И этот самый Мансур, разбитной типчик, обожавший затевать драки, безропотно перемогал боль, подставляя обидчику щёку для удара. При других обстоятельствах он не побоялся бы всецё и Хасану, разбить ему харю в кровь, а оторопевших пацанов разогнать, как подкожную шушеру. Мансур бы не побоялся, это всякий скажет. Тем паче Хасан постепенно терял казавшуюся незыблемой власть, и прикентовка давно подумывала о смене лидера, а Мансур на его роль подходил идеально.

Хасан возрадовался воле жребия: имелись у него личные мотивы отдать Мансура на заклание. Ирина Егоркина, давно прижившая от Хасана незаконнорожденного сына Максима, не гнушалась промискуитета, все парни на районе знали, что она подлая трахучая тварь, которой всё равно, с кем кувыраться – лишь бы палка была тверда. Знал об этом и Мансур, приходивший к распутной бабе снять напряжение после очередного дела. В это время десятилетний Максим сидел в соседней комнате, уткнувшись в монитор компа. Его настолько раскормили, что рубахи на

его детских плечиках стали тесны, а молнии на нём не застёгивались, и даже ходил он как-то странно, по-медвежьи, держа руки враскоряк. Но Максим упрямо жрал булки, заедавая тоску, вызванную нехваткой материнского внимания.

Мансур жалел мальчишку и время от времени подкидывал Ирке денег, хотя и понимал, что таким матерям матки надо вырезать сразу. А Хасан возьми да и влюбись в неё насмерть. Он же знал, что Ирка шалава панельная, знал, но ничего с собой поделывать не мог. Рогами за притолоку цеплялся, а всё равно любил.

Тогда Хасан страстно возжелал истребить Мансура: он почему-то видел в нём главного соперника, словно Ирка не спала со всеми подряд.

Пацаны его разубеждали: ну снесёшь ты Мансуру башку, и что дальше? Ирку всё равно не исправишь, играет в ней дурная кровь. Это болезнь такая: с ранних лет она таскалась по мужикам, и даже на пятом десятке ей хотелось попробовать что-нибудь новенькое, аж до визгу. Подолгу в её постели никто не задерживался, а Мансур вовсе сбежал по собственной воле, узнав, что от беспорядочных половых связей у Ирки полезли болячки. Хасан же был неумолим: к другим он притерпелся – на месте вечно болевшего участка души затвердела мозоль, но Мансур, Мансур... Это же настоящее предательство!

– Последнее желание, – возвестил главарь, и пацаны враз прекратили избиение. Переглянулись, смущённо потупив головы.

Последнее желание! Да, было ещё последнее желание, как у американских заключённых. Некоторые обжирались, умирая от несварения желудка, или бабу просили снять. Вот когда человек перестаёт быть человеком и превращается в животное, лишённое ума и всяческого внутреннего закона, и сохраняет лишь свои физические желания, которые постоянно пытается удовлетворить. Настоящее проступает сквозь наносное. Всю жизнь прожил в плену иллюзий, не догадываясь, какой внутри него сидит зверь. Отъявленные трезвенники, расчеловечиваясь, пили диким манером, добропорядочные мужья требовали разврата, потакая телесному низу.

Мансур, обтирая с лица кровь, попросил отвезти его в родной микрорайон, где незаметно, впрямую, пронеслись дни чистого детства. Дом, знакомый ему до мельчайших облупинок. Тесный дворик, заваленный каштановой листвой, – здесь они кидали друг в друга снежки и отбивались от чужаков. И даже верёвка осталась, неровно подпираемая шестом, – на ней по-прежнему трепались белые простыни.

Хасан, удивлённо пожав плечами, распорядился потухшим голосом:

– Поехали.

Вот же чудак этот Мансур! Ему бы тёлочку навезти да жратвы побольше, а он по дому затосковал, как выброшенный на улицу щенок.

А Мансур думал, что было бы здорово всё вернуть – отмотать плёнку, как в кино, назад и снова попасть в детство, в тот же день и тот же двор.

Был у него незакрытый гештальт: хотелось отыскать отца и хорошенько его припечатать. Он и с преподавателями-то ругался из желания спровоцировать в новых отношениях конфликты, не решённые с родителем, презируемым алиментщиком, ушедшим из семьи. Особенно доставалось историку: вёл, например, Виктор Сергеевич урок, обстоятельно рассказывал, наморщив лоб, об Иване Грозном, который прикладывал к своим зловонным язвам изумруды и сапфиры, или о том, как Павел Первый был задушен в своей опочивальне, а Мансур, не дождавшись звонка, вскакивал из-за парты и громко разговаривал с необразаемым собеседником. Виктор Сергеевич выходил из себя и, взывая к дисциплине, повышал голос, превращаясь из друга учеников в карательную силу. Он обещал вызвать в школу родителей Мансура, называл его хулиганским отродьем, а тот лишь нагло усмехался краем рта и рвал в клочья дневник.

Выйдя из машины, Мансур потянулся, разминаясь после долгой езды. Всё было на месте: и дом, и ещё не убранная листва, оброненная каштанами, и верёвка, и шест, и даже старые качели поскрипывали ржавыми петлями. Ему почему-то казалось, что после его переезда двор непре-

менно зарастёт крапивой да репьями в человеческий рост, а квартира опустеет, храня кислую вонь нечистого жилья. Но двор был прибран, хоть и не изменился ни на одну морщинку, а дом, признанный аварийным, до сих пор не снесли, и жильцы гнездились в нём, как семечки в арбузе.

Где-то неподалёку мыкался его отец, человек с гнутой перегнутой судьбой, растерявший на её крутых поворотах семью, профессию и последние зубы. Жалкий, как обгрызенное яблоко, он уже не будил приступы Мансуровой ненависти: Мансур мог ненавидеть равного, могущественного врага, например, попирающего его интересы, отца же он презирал как существо низшего слоя, нечто незначашее, несущественное. Об такого даже рук марать не хочется, словно это никакой и не отец, а отпетый шпанёнок.

– Я должен его найти, – мрачно бросил Мансур. – Моё последнее желание.

– У тебя что, башню склонило?! – разозлился Хасан, а Профессор бросился Мансуру наперерез и принялся ему толковать:

– Авраам принёс в жертву собственного ребёнка, потому что так повелел Бог. *Alea iacta est*. Жребий брошен. Ты – жертва. Ты не можешь отступить. Твоя ретирада – предательство. Подумай о других – обо всех нас, о людях.

Ага, вон как они запели! Нашли крайнего, беспрекословно подчиняясь воле Хасана, как пахану – шестёрки, а теперь о людях вспомнили, об ответственности коллективной заговорили хором.

Мансур догадывался, что эти парни вели подковёрные игры и пробивались в дамки, подобно офисным клеркам, путём подсиживаний, доносов и виртуозного лизательства. С диссидентской отвагой он плевал против ветра, когда ему уже приготовили зиндан, опрокидывал сложившиеся традиции и с мстительным удовольствием повторял, как заклинание:

– Я должен его найти, иначе год будет неурожайным: всё заглохнет, убирать будет некому – хлеб начнёт осыпаться. Упадут надои и привесы.

Профессор задумчиво морщился, а Хасан, не приученный к таким афронтам, досадливо отмахнулся:

– Ладно, ищи.

Кто-то говорил, что он живёт на той же улице в старой пятиэтажке, но было как-то странно искать человека, который ушёл однажды и ни разу не проявился в жизни взрослого Мансура. А вдруг он его не узнает. Вдруг из-за его сыновней обиды пострадает ни в чём не повинный человек, который, завернувшись в любимый халат и собираясь покурить на балконе в жестянку из-под скумбрии, услышит трель неожиданного звонка и, сбитый с толку, лениво прошаркает открывать дверь, долго провозится с замком, приоткроет, натянув цепочку...

Может, он съехал давно. Или сперва спросить, а потом дать ему в хлебало. Цепочку-то он порвёт – не проблема. Но есть риск оказаться в идиотском положении. Простите, не подскажете, где проживает такой-то. Да, это я – гордо ответит жирный мудака в халатике. Ну, получай по зубам, сука. Или: простите, такие здесь не живут – и показать спину, беззлобно послав его к чертям.

И потом, нужно внутренне себя подготовить. Нельзя же просто взять и всечь ему прямо с порога. Мозг-то, согласно Бехтереву, уже знает обо всех принятых Мансуром решениях, но душа ещё колеблется. Душу-то подготовить надо.

Миновав лестничное пространство, засоренное семечной шелухой и окурками, Мансур остановился перед дверью, пригладил пятернёй взлохмаченные волосы и решительно утопил кнопку звонка. Открывать не торопились. Послышалось скрипение половиц и шум пододвигаемого стула. Залило чёрной пустотой дверной глазок.

– Кто там? – раздался безгрешный мальчишеский альт.

– Открывай, – басовито пробухтел Мансур. – Свои.

Щёлкнул дверной замок, дверь растворилась. Мансур увидел перед собой вихрастого мальчишку, споткнулся о тяжёлый взгляд его, так не вязавшийся с ангельски-кротким личиком: слишком много в нём было нарочитого равнодушия и бесстрастности, словно он прожил несколько жизней зараз и о каждой из них глубоко сожалел. Было даже удивительно, что маленький мальчик, оставшийся дома один без родительского надзора, не побоялся от-

крыть незнакомцу, оставался невозмутимым и чувствовал себя вполне защищённым, словно за его спиной вырастали могучие силуэты взрослых.

Мансур не сразу сообразил, что перед ним в выжидательно-молчаливой позе замер его сводный брат. Пройдоха отец ловко устроился на другом конце улицы и сумел обрасти не только бытовыми наслоениями, но и завести второго ребёнка, который отличался от первого, как перс от иудея. Мальчик выглядел отстранённым, в чертах его проступала какая-то пугающая серьёзность.

С минуту Мансур пребывал в растерянности, слова не шли у него с языка. Перед ним был странник, заблудившийся в лабиринте миров, и Мансур почувствовал себя в шкуре Миклухо-Маклая, окружённого коренными жителями Новой Гвинеи.

– Как тебя зовут? – спросил он наконец в воцарившейся тишине, чтобы отвлечься от исподволь нараставшего ужаса.

– Никита, – просто ответил мальчик, не отводя взгляда, настолько пронзительного, что казалось, будто он просвечивает собеседника как рентген. Можно подумать, он только того и ждал, когда незнакомец спросит его имя.

– А где твои родители?

– Папа на работе, а мама – в больнице.

В воображении Мансура предстала жуткая семейная сцена, бенгальски искристая ссора, в ходе которой пьяная сволочь, разбуянившись, хватается за нож, резко суёт его под ребро и жертву на скорой с завываниями увозят в больницу. Голос Никиты при этом не выражал никакой печали. Он очень любил свою мать, но при расставании с ней не испытывал глухой беспросветной тоски, какую испытывают почти все дети, оставленные на попечении злых менторских тёток. Он мог бы легко обойтись без матери, без отца, бабушки, брата, друзей. Никита как бы жил вне мира, продолжая делать своё, никому не нужное, когда давно пора было остановиться.

– А почему ты не в школе?

– Я не люблю школу, – сказал Никита удивлённо, всё больше впадая в эскапизм. – Там много шума.

Мансур вспомнил свою школу, садическую: одноклассники инстинктивно выбирали жертву, какого-нибудь доходягу, который на физкультурном построении стоял последним, налетали на него всей когдой и издевались, пока им это не надоедало. Скуку навевали дробь, граничные условия и уравнения, их приходилось изучать за холодными партами. Топили в школе прескверно, в оконные щели задувал злой ветер, дети сидели в верхней одежде и подолгу расписывали шариковые ручки, в которых застывали чернила.

– Да, школа не самое лучшее место, – согласился Мансур, осенённый воспоминаниями, от которых и во взрослой жизни нельзя было отбиться. – А что случилось с твоей мамой?

Никита опустил глаза, но в лице несколько не изменился.

– Она больна. Тяжело больна. Ей нужна операция... Деньги... Много денег...

Мансур представил старого, загнутого крюком отца: он горбился на заводике, не зная, где взять лишнюю копейку, чтобы вернуть этому мальчику мать. У Мансура были деньги. Он мог бы покрыть все расходы – теперь-то что, теперь деньги не нужны ему вовсе! Но он вспомнил про Хасана: тот нервно курил, дожидаясь возле подъезда.

– А что ты делаешь дома один? – спросил.

– Я играю. Хотите посмотреть?

Никита распахнул дверь настежь. Мансур молча кивнул и вошёл в квартиру.

Детская комнатка Никиты была аккуратно прибрана: никаких тебе свалок игрушек, валявшихся под ногами машинок, солдатиков, рассыпавшихся частей конструктора – всё лежало на своих местах. Никита играл в какую-то странную, недетскую игру, и в этой тихой игре его не находилось места посторонним. Никаких безобидных салочек – догоню – и по спине, – мальчишеских войнушек, междоусобиц «двор на двор», когда вторгались чужаки, как это было в Мансуровом детстве. Он играл один, с самим собой, игра его была лишена воображения. С маниакальной точностью он раскладывал предметы в ряд, сортировал их по величине и объёму, находя в этом монотонном многочасовом занятии успокоение.

Ещё Никита рисовал. Его рисунки, мрачные, набросанные на белый лист бумаги серыми штрихами простого карандаша, тоже отличались какой-то необычайной зрелостью. На страницах альбома повторялся, как рыбак в отражении воды, один и тот же сюжет: путники, Христос и двое Его учеников, один из которых Клеопа. Христос уже распят, жители Иерусалима узнали о чудесном исчезновении Его тела из гроба. Желая быть неузнанным, Он явился ученикам в виде простого путника и стал расспрашивать о случившемся в городе. Из их рассказа Христос понимает, что даже ученики не верят до конца в Божественность Его происхождения и в чудо Воскресения. Картина называлась «Христос на пути в Эммаус».

Никита взял карандаш и зашорхал по бумаге размашистыми конькобежными линиями. Сосредоточенно сопя и внимательно хмуря брови, он выписывал фигуру новоявленного Христа, принявшего за людей крестную муку. На лице Его живо выделялись грустные, испуганно-удивлённые глаза, бледные губы чуть тронула улыбка всепрощения. С особым тщанием Никита прорисовывал Христовы кисти, чуть удлинённые, Его гибкие, как змеи, пальцы, тонкие и выразительные, поражавшие своим благородством, продолговатые ногти с белыми лунками.

– Почему ты рисуешь один и тот же рисунок? – спросил Мансур, утвердившись за его спиной.

– У меня не получается. Это всё неубедительно. Вы же видите, они не поверили.

Он сделал ещё один набросок: всё тот же печальный Христос, окружённый учениками. По их словам, многие женщины Иерусалима сошли с ума, ибо им привиделся Христос, воскресший после распятия. Он выслушал их с кротким смирением, ещё не открывая всей правды, зная, что грустная улыбка убедительнее перекошенного от ярости лица. Но Никите хотелось, чтобы они уверовали, опознав в словах Его беспримесную правду.

Вдруг Никита протяжно взвыл, пытаясь заглушить рвущийся из печёнки истерический крик, отшвырнул карандаш в сторону и стал рвать альбом на мелкие кусочки, задыхаясь от мучительных слёз творческого бессилия.

Такая реакция казалась удивительной для замкнутого мальчика с безнадёжной узостью эмоциональной сферы. Мансур что-то слышал о необычных экземплярах человеческой породы, о странных детях, запертых в ледяной скорлупе своего одиночества, затоптавших в себе любые сантименты. Отгородившись от реальности, они создали сияющие, аутичные миры, находя спасение в этом каждодневном подвиге. Сквозь детские черты отщепенцев проступала обречённость взрослого человека, который сознательно вычитал себя из мира, зная, что его не переделать.

Никита всё время рисовал, словно это был единственный способ выжить. Хотя и жизнь его давно превратилась в какую-то искусственность, так же мало походившую на ускользающую от грифеля его карандаша реальность бытия, как аллегория или опера. Он сторонился мира, чувствуя себя в нём улиткой без домика, существом с содранной кожей, сторонился торжествующего, наглого, сознающего себя зла, наслаждающегося абсолютной безнаказанностью. Но оно всякий раз проступало на бумаге, как проступают годовые кольца на срезе пня. Пусть и не зло даже, а только бесконечная грусть неверия, отчаяние, тоска.

Творимые Им чудеса не вытравили из людей мучительного сомнения: клявшиеся быть до конца отвернулись, остальные рассеялись, впад в великое уныние. Писано бо есть: поражу пастыря, и разыдутся овцы стада. Христос не сумел переделать мир, куда уж нам, грешным, эти заоблачные выси.

– Даже у Него не получилось, – сказал Мансур, положив широкую тёплую ладонь на хрупкое Никитино плечо. А он всё рисовал, рисовал, словно хотел перерисовать новозаветную историю, в которой Богочеловек, уподобившись агнцу, принёс в жертву Себя.

И в эту минуту, среди расхристанного альбома и смятых рисунков, становилось очевидно, как примитивно зло и как жалок это злорадное ничтожество Хасан, снедаемый мстительными чувствами, – ему необходимо посадить кого-то в лужу, чтобы почувствовать себя человеком. Ведь зло даётся без каких-либо усилий, достаточно плыть по

течению и соблюдать определённые правила, как их соблюдают люди, страдающие синдромом навязчивых ритуалов: если, например, не постучать по дереву, случится сглаз. Если не нахамить кому-либо в трамвае или очереди – день прошёл зря. Не обидеть слабого, не унижить старого. Вдобавок нет ничего добрее зла, которое не требует от человека личностного роста, лишь потакания своим умыслам, а антихрист – лучший из людей, зеркало, в котором отражается каждый человек со всеми его недостатками, радуясь, что он не одинок: мы, брат, одного поля ягоды.

Хасан и его дружки лили кровь во спасение, уверовав, что если основательно пострадать – год выдастся удачным: рыбаки заарканят большого сома, а амбары будут лопаться от хлеба, свезённого для молотьбы.

Такая жалость охватила Мансура – всех хотелось обнять, простить: и заурядного уголовника Хасана, и махровую дуру Ирку, и всех, всех.

Мансур обнял Никиту и крепко прижал к груди. Сегодня он никуда не пойдёт.

Мария БЕРДИНСКИХ

Екатеринбург

ТЕТЯ ЖЕНЯ

Тетя Женя бодро переходила дорогу по пешеходному переходу, справедливо не доверяя водителям. Она поворачивала голову сначала налево, а потом направо, как ее научили больше семидесяти лет назад в первом классе. Передо мной было еще две машины, поэтому тетя Женя меня не заметила и, шустро перейдя дорогу, завернула за угол. Паркуясь, я подумала, что тетя Женя – большая молодец и как хорошо, что она еще жива и что нужно ей сказать, чтобы она не носила больше свое зеленое драповое пальто с меховым воротником, которое уже в восьмидесятих выглядело устаревшим. Когда пальто намокало, то оно странно пахло. Я хорошо это помнила, потому что когда 27 октября 1985 года я обняла тетю Женю и заплакала, уткнувшись в ее твердое пальтовое плечо, то оно пахло именно так – сырой землей и прелыми листьями.

В тот день умерла мама, и тетя Женя прибежала самая первая. Она забыла зонтик, поэтому зеленое пальто было насквозь сырым, а под глазами было черным-черно от потекшей ленинградской туши. Хотя, может быть, тушь потекла не от дождя, а оттого, что тетя Женя всю дорогу плакала. Она была подружкой моей мамы – не лучшей, нет. Для лучшей подружки она была слишком ненадежна. Постоянно

влипала в какие-то истории, пропадала, не приходила на юбилеи и не дарила маме красиво оформленные альбомы в бархатных обложках с поздравлениями и совместными фотографиями.

Но в тот день она пришла раньше всех. Обнявшись, мы начали реветь в прихожей, присев на этажерку для обуви, где стояли мамины сапоги с некрасивой царапиной на левом носке. Я вспомнила, как мама расстроилась из-за этой царапины, и перестала плакать, а начала выть. Прибежал муж, заревели дети.

Она приходила каждый день. Возилась с детьми, готовила, подметала пол и говорила мне: «Анюта, хочешь оладушек? Ты же любишь». Я ничего не хотела, но поднималась с кровати и прямо в колючем чешском пледе шла на кухню. От запаха тети Жениной еды мне почему-то становилось легче. Пока я кромсала оладьи на маленькие кусочки, чтобы было похоже, что я их хоть чуть-чуть поела, тетя Женя развлекала меня историями из своей жизни. Жизнь у тети Жени была такая интересная, что ее мама, Валентина Степановна иногда звонила моей маме и жаловалась на свою непутевую дочку. Мне было интересно, что же такого может сделать пятидесятичеловеклетняя женщина, что ее собственная мама называет ее шмарой?

Тетя Женя была слишком свободолюбивой для тесного советского времени. Никак не желала идти по дорожке – школа-институт-надежная работа-пенсия и все время сворачивала не туда. После медицинского училища она больше десяти лет работала в областной больнице и, по мнению Валентины Степановны, исключительно назло ей не выходила замуж. По крайней мере, эта тема была главной, когда Валентина Степановна звонила моей маме и проклинала тетю Женю, которая в тридцать лет бегала по танцулькам и не стеснялась водить кавалеров в соседнюю с матерью комнату.

В тридцать шесть тетя Женя завербовалась в Монголию работать медсестрой в военной части. Она приезжала в отпуск и привозила в подарок какие-то удивительные вещи. В голубой джинсовой юбке, которую мне подарила тетя

Женя, я ходила на выпускной в институте и первое свидание с будущим мужем. Именно она была моим стимулом для похудения после рождения детей. Когда я в нее влезла, то нарядила Леночку в клетчатое платье, перешитое из моего старого, а Андрюшу – в желтый комбинезончик, который тоже привезла тетя Женя. Муж, слава богу, оделся самостоятельно. Мы дотащились до фотоателье, поочередно успокаивая взбудораженных детей, и, чуть не протаранив стеклянную дверь, затащили туда коляску, чтобы узнать, что у фотографа – технический перерыв на полчаса. Андрюша не мог ждать и написал сквозь свой пушистый комбинезон прямо на пол. Я вытерла лужицу свои носовым платком в мелкий розовый цветочек и отправила мужа выбросить платок в уличную урну. В образцовых учреждениях советского быта не было ни мусорок, ни туалетов для посетителей.

Мы дождались фотографа, который посадил нас так, чтобы Андрюшино пятно не было заметно, и через три дня забрали фотографии, чтобы вручить всем родным и близким. Для тети Жени я специально отложила одну штуку и подарила ей, когда она вернулась из Монголии уже с Валериком. Тете Жене было сорок три, а Валерику – годик. Предыдущие года полтора темой настойчивых звонков Валентины Степановны была наглость ее старородящей дочери, которая принесла в подоле в том возрасте, когда приличные люди уже начинают откладывать себе на похороны. Об отце Валерика ничего не было слышно. Предполагалось, что он остался в воинской части, где так много военных и так мало женщин.

К тому времени, как мама умерла, тетя Женя работала дворничихой. После рождения Валерика к работе в больнице она так и не вернулась. На годовщину смерти мамы она пришла уже в статусе вахтера общежития медицинского училища. «Понимаешь, Анюточка, – говорила она, вынимая из большой авоськи две банки варенья, – как-то утром я проснулась и увидела, что идет снег. И я внезапно поняла, что и завтра он будет идти, и послезавтра, поэтому убирать его бессмысленно. Я сразу пошла и написала заявление об увольнении. А в общежитии – удобно, сутки

через трое. День Валерик у бабушки, а потом мы с ним вместе».

«Тетя Женя, вы как диссидентка!» – искренне восхищалась я, открывая варенье и вдыхая нежный земляничный запах, который напоминал о том, что надо перетерпеть, и будет лето. Пусть не скоро, но оно все-таки наступит. Тетя Женя не ругала меня, что я открывала банки так рано, хотя по всем правилам они должны были стоять как минимум до января. Она пододвигала мне ложку и предлагала попробовать еще варенье из клубники, которую старомодно называла викторией.

Тетя Женя приходила в детский садик, где я работала воспитателем. Пока дети копались в песочке, мы садились под грибок, и тетя Женя зачитывала мне кусочки из сочинений Валерика. Он писал лучше всех в классе и мечтал поступить на сценариста во ВГИК. Я уже стала заведующей, когда тетя Женя, заглянув в открытое окно моего кабинета, начала кричать мне, что Валерик поступил. В одной руке у нее была бутылка какой-то настойки, а в другой – камешек, которой она, видимо, собиралась бросить мне в окно, если бы оно было закрыто. Мы пошли к нам домой, нажарили картошки и выпили всю настойку, а потом еще шампанское, за которым покорно сбегал мой муж. У меня первый раз в жизни было похмелье, и муж потом еще много лет рассказывал всем нашим друзьям, которые пытались подлить мне вина несмотря на мое сопротивление, что когда я напьюсь, то буюню.

Мои дети выросли и уехали в большой город. Я сама стала бабушкой. Тетя Женя откуда-то узнала и прибежала с шоколадкой «Аленка» и бутылкой коньяка. Я достала «Рафаэлло» и картины, и мы выпили прямо в моем кабинете. Неумело тыкая пальцем в экран моего телефона, тетя Женя сказала, что внучка очень похожа на меня и на Лизочку, мою маму. Я заплакала. Действительно, у нас у всех были одинаковые подбородки.

Мне было пятьдесят пять лет, тете Жене – под восемьдесят. Умерли все верные бабушкины подружки. Только тетя Женя держалась. Никто больше не называл мою маму Лизочкой, а меня – Анютой. Никто не заставлял меня

чувствовать себя ребенком, которого можно успокоить, обняв и покачав на коленках, – только тетя Женя.

«Как хорошо, что тетя Женя жива», – с облегчением подумала я. Надо не забыть позвонить ей и сказать, чтобы она выбросила свое зеленое пальто и зашла попить чаю. Она придет в своем пальто, и не подумав его выкидывать, и скажет мне: «Анюта, девочка, ты так хорошо выглядишь, вы ездили куда-то отдыхать?» А я скажу ей: «Никуда мы не ездили, просто вы без очков, тетя Женя, поэтому вам кажется, что я хорошо выгляжу!» Мы будем пить чай с медом, есть пироги, которые тетя Женя обязательно пригластит и ненадолго я снова почувствую себя девочкой, у которой есть мама.

Павел ЧХАРТИШВИЛИ

Москва

ОТ МАМЫ МАЛО ПОЛЬЗЫ

Федя Куваев и Владик Шаталкин жили в старинном московском районе Хамовники, в одном дворе, дружили и сидели за одной партой. В класс пришёл новый учитель географии, вызвал Куваева, и встал Шаталкин. На другой день он вызвал Шаталкина, и встал Куваев. Класс, затаив дыхание, следил за рискованной игрой. Детишки развлекались неделю, потом испугались, что зашли слишком далеко. Географ спросил:

— Куваев! Какой город является столицей Великобритании?

В старом анекдоте мальчик Мойше из бедной семьи на такой вопрос ответил:

— Мне бы ваши заботы, господин учитель.

То было до революции. Но сейчас шёл 1960 год. Юный пионер Фёдор Куваев встал и уверенно сказал:

— Лондон.

Географ вытаращил глаза: это Куваев? Решил, что запутался. В общем, обошлось.

Младшему брату Феди папа с мамой придумали редкое имя Панкрат. Как-то Федя вёл семилетнего Панкрата из старшей группы детсада, и брат сообщил, что, когда рассказал в группе анекдот: «Едет Ленин на автомобиле, за ним Сталин на мотоцикле, а сзади Хрущёв на самокате», пацаны покатались со смеху, но услышала

воспитательница. Наказала антисоветчика: он целый час стоял в парке, как солдатик, возле скамьи, на которой она сидела, в то время как все ребятишки бегали, где хотели, и играли. Жалея Панкрата и желая вознаградить его за перенесённые репрессии, Фёдор купил ему по дороге к дому газировку с двойным сиропом. Братишка лакал вкусную водичку, он был похож на ангела. Остановились две молодые женщины. Одна сказала другой, показав на Панкрата:

– Посмотри, какая прелесть!

Старший брат любил зарабатывать и копить. Выдаст мама восемьдесят копеек на троллейбус, а сын идёт пешком. Пошлют за хлебом, забудут дома потребовать сдачу – потаённая касса пополнится ещё на десять копеек. Как-то, войдя у трамвайного кольца близ Новодевичьего монастыря в пустой вагон, решил не тратиться. Не бросил тридцать копеек – тогдашнюю стоимость проезда и уселся около кассы. Тут в заднюю дверь вошёл водитель трамвая. Наш мошенник протянул руку к кассе и оторвал билет. Водитель видел. Он подошёл к Феде, ухватил его за воротник пальто и, держа так, молча вывел через переднюю дверь из вагона. А однажды бабушка предложила внуку бить мух резинкой на палке, за деньги. К вечеру Фёдор предъявил ей двадцать два мушиных трупа и получил два рубля двадцать копеек. Был ещё способ разбогатеть: денежно-вещевая лотерея. Билет стоил три рубля. Мальчик купил их десять штук и спрятал на полке между книгами. Показал их только бабушке, предварительно взяв с неё обязательство о неразглашении. Ей нравилась в Феде деловая жилка, и она предложила ему новый легальный заработок. У Феде всё время сползали гольфы, и он забывал их подтягивать. Бабушка начала время от времени проверять:

– Покажи.

Внук задирает штанины и, если гольфы не были спущены, получал рубль. Он начал ходить за бабушкой по квартире, вымогая:

– Бабуль! Проверь!

Касса наполнялась. Перед маминым днём рождения он поехал на пятнадцатом троллейбусе на Арбат в магазин грампластинок. Маме нравилось, как поёт Обухова. Фёдор купил пластинку с песней, не про любовь, ему было двенадцать лет, он о таких вещах ещё не думал.

Грустные ивы склонились к пруду,
Месяц плывёт над водой.
Там, у границы, стоял на посту
Ночью боец молодой.
В грозную ночь он не спал, не дремал.
Землю родную стерёг.
В чаще лесной он шаги услышал
И с автоматом залёг...

Женский голос был нежным, очаровывал, и мальчик мечтал быть на месте того пограничника, чтобы первым встретить врагов огнём. Он вручил подарок маме, та растрогалась.

Подроссел тираж лотереи, и Федя выиграл камчатную скатерть за сто пять рублей и ещё десятку по другому билету, где совпала только серия. Взял в сберкассе выигрыш деньгами и стал обладателем баснословной суммы. Задумал всю её истратить на две грандиозные покупки: настоящий кожаный футбольный мяч (мечта!) и альбом для марок. Поделится планами только с бабушкой. Родители не были в курсе. Но надо же было такому случиться, что как раз в эти дни шёл затеянный папой и мамой ремонт, который быстро повлёк в семье финансовый кризис. Деньги были нужны очень, и бабушка выдала тайну. А мальчик как нарочно принёс двойку по истории. Федя перепутал, кто победил при Креси и Пуатье, не знал, когда это произошло, и сказал (о ужас!), что Эдуард Третий был французским королём. А он-то был английским! Ребёнку было скучно читать учебник, ему больше нравилась книжка про рыцарей. В этой книжке рыцари были прекрасными, благородными, смелыми, а в учебнике они оказывались нехорошими эксплуататорами, которых восставшие крестьяне убивали и правильно делали. Кроме того,

маленькому Куваеву вообще интереснее была алгебра: там надо было оперировать не цифрами, как в арифметике, а буквами. Итак, на срочно созванном семейном совете, в целях воспитания прилежания у лодыря (схватил пару по самому лёгкому предмету), была единогласно принята резолюция о конфискации нетрудовых накоплений (тогда газеты и радио любили эту формулировку). Мало того, домашние педагоги отправили раскулаченного нэпмана самого на Усачёвский рынок за олифой. Мальчик вёз в трамвае большую банку с проклятой олифой, купленной вместо мяча и альбома, боялся её уронить, и втайне мечтал об этом.

Его закадычный приятель, уже упоминавшийся Владик Шаталкин, однажды болел и мог здорово отстать по алгебре, по которой Куваев был лидером класса. Фёдор полторы недели каждый вечер сидел по часу у постели Владика, делая вместе с ним домашние задания. Благодарная мама Владика поила Федю чаем с клубничным вареньем. У Куваевых не было телевизора, и Владькины родители предлагали Феде посидеть, посмотреть у них. Однажды на экране Никита Сергеевич Хрущёв объяснял иностранному гостю, что у нас в стране осуществлён принцип: от каждого по способностям, каждому по труду. Папа Владика сказал жене:

– Зачем тогда за труд дают ордена и медали? Это лишнее, без них всё ясно. Зарплата у всех по труду. Если человек получает много, значит, он отличный работник, ему почёт и слава. А если человек зарабатывает мало, значит, от него на работе мало пользы.

Владькина мама улыбнулась. А Фёдор был ещё маленький и не понял, что папа Владика издевается над главой государства. Он вспомнил, что его, Феде, мама – медсестра в районной поликлинике и получает мало. Подумал: значит, от мамы мало пользы. И ещё подумал: от папы Владика больше пользы, он заведует отделом в универмаге и купил телевизор.

Однажды Федя и Владик слонялись по окрестностям, купили в ларьке полкило солёных помидоров и на ходу уплетали их, немывыми. Куваев рассказал Шаталкину

о постигшей его недавно дома финансовой катастрофе. Владик принял происшедшее близко к сердцу и предложил Феде захватывающий проект обогащения. Рядом был трамвайно-троллейбусный парк. Там уборщица по ночам чистила салоны стоящих трамваев и троллейбусов и вместе с мусором порой выметала, не заметив, мелкие монетки, валявшиеся в салонах у касс. Чтобы заработать, надо было внимательно осматривать землю вокруг трамваев и троллейбусов. Наши авантюристы сходили туда при свете дня раз, второй, зачастили. Это был Клондайк. А между тем стране было известно о грядущей денежной реформе. Все знали, что с 1 января появятся новые деньги, масштаб изменится в десять раз. Например, проезд в метро будет стоить не пятьдесят копеек, а пять. Старые деньги будут везде принимать ещё целых три месяца после Нового года, на этот срок они останутся в силе.

Накануне Нового года Шаталкин сказал Куваеву:

– Хочешь, я у тебя заберу медяки, а взамен дам гривенники и двугривенные?

Предложение Федя счёл разумным, и обмен состоялся. Это было 31 декабря, в день ёлочных игрушек и мандаринов. Почтальон принёс праздничный номер газеты «Известия», в которой всегда в этот день на последней странице был юмор и смешные истории, Фёдор любил всё это читать.

В новогоднее утро Куваева-мама дала старшему сыну два старых рубля (новых денег у неё ещё не было) и послала купить буханку белого хлеба за рубль девяносто. Продащица в ларьке протянула мальчику хлеб и сдачу: одну копейку старого образца.

– Это же старая! – возмутился Федя.

– Она равна новой, – последовал ответ.

Обиженный (конечно, тётка обманула) мальчик пришёл домой. Но нет! По радио сказали то, что стало для людей полной неожиданностью: монеты старого образца достоинством в одну, две и три копейки подорожали сегодня в десять раз и ими следует пользоваться наравне с монетами этого же достоинства нового образца. До Фёдора сразу дошло, что куча старых медяков, которую

он вчера в пакете отдал приятелю, сегодня вздорожала в десять раз. А старые гривенники и двугривенные, которые взамен всучил ему Шаталкин, естественно, в цене не выросли. Куваев вспомнил, что отец Владьки работает в торговле. Видимо, он сообщил секрет сыну. Значит, друг знал. Знал! Поэтому и затеял походы за монетками с целью осуществить в последний день старого года выгодную махинацию. Так Федя впервые столкнулся с горькой истиной, что на земле весь род людской чтит один кумир священный, он царит над всей Вселенной, тот кумир – телец златой. Мальчик ничего не сказал Шаталкину, но за тайл обиду.

Фединых родителей мучила совесть за конфискацию выигрыша сына. В доме была пластинка с песней на итальянском языке – хитом тех лет. И Куваев-папа наконец дал трещину:

– Выучишь наизусть её всю – куплю альбом для марок.

Много раз ставил мальчик пластинку на проигрыватель, пока не записал русскими буквами все слова. Выучил: «Марина, Марина, Марина, винонью юн френз то-скоза! О ми перломоре но но ми ошаре лонбе тере рони наре о но но но но!..» Папа, гордый успешным педагогическим экспериментом, снова и снова слушал голосистое пение старшего сына и говорил жене:

– Есть ли ещё в Москве хоть один мальчик, который знает целую песню на итальянском языке?

А мама и без него знала, какой Федя способный. Сын любовно расположил марки в альбоме. Марина, Марина, Марина!

Фёдор по-прежнему приводил Панкрата из детсада. Мама спрашивала младшего сына:

– Как кушал?

Ребёнок не знал, что можно соврать. Он признавался: кашку не доел, молоко не допил. Его лишали вкусного. На следующий день – тот же вопрос:

– Как кушал?

Панкрат снова чистосердечно раскаивался, и его снова наказывали. Сегодня пенсионер Панкрат Игоревич Куваев гордится тем, что уже тогда был честным человеком.

Но вернёмся в те далёкие годы. Владик пребывал в спокойствии, не знал, что для Феди он уже не друг. Однажды математичка Дина Давыдовна выборочно проверяла выполнение классом домашнего задания. Подзывала отдельных учеников с тетрадками к своему столу. Сказала:

– Шаталкин! Закрой форточку.

Увлечённый чтением «Острова сокровищ», Владик толком не расслышал. Спросил у Феди:

– Что?

Куваев сказал:

– Владик, тебя.

Шаталкин встал с тетрадкой и пошёл к столу учительницы. Вымолвил печально:

– Дина Давыдовна! Я не решил.

Та от удивления сняла очки. Поглядела на уникально правдивого мальчика:

– Я же тебя просила только закрыть форточку.

Подумала и добавила беспощадно:

– Ну, что ж. Единица.

Так Куваев сравнивал счёт. И отсел от Владика подальше. Дипломатические отношения были разорваны. Федю в детстве ни дома, ни в школе, ни в пионерлагере не учили прощать, не учили любить врагов своих. Потом, спустя много лет он познакомился с этим учением, но ему было уже сложно перестраиваться. Да и правда, кто любит врагов своих?

Сейчас профессору, заведующему кафедрой Фёдору Игоревичу Куваеву семьдесят два года. Он по-прежнему не прочь заработать побольше, но это сегодня не удаётся ему так просто, как тогда, когда он был пионером. Он всегда не любил лечиться, никаких таблеток не принимает. Иногда, от неосторожного движения или от смеха, у него слегка побаливает в правом боку. Думает: если это рак, сопротивляться бесполезно, надо плюнуть – и всё. А если не рак – тем более незачем обращаться к врачу: поболит и перестанет. Дедушка Куваев и его внучка очень любят друг друга. Она собирается в педагогический на филологический, а пока слетала в Глазго на фестиваль

шотландских танцев и привезла оттуда медаль. Дед ей сказал:

– Я бы скорее станцевал шотландский танец, даже два, чем пошёл в школу учителем.

Конечно. В университете больше шансов остаться живым. Шести- и семиклассники, как сейчас принято выражаться, менее адекватны, чем студенты. Вспомним, дорогой читатель, Бородино, которое творилось в нашем детстве на каждой перемене.

Фёдор Игоревич рассказал внучке о драме в двух действиях, происшедшей между ним и Владиком шестьдесят лет назад. Девушка, только что впервые прочитавшая «Преступление и наказание», прокомментировала дедушкину историю кратко:

– Предательство и месть.

Куваев и Шаталкин по-прежнему живут в Хамовниках, в том же дворе. Не здороваются. Владислав Евгеньевич сегодня владелец салона красоты «Испаньола». Там с мужчины за стрижку с мытьём головы берут восемьсот рублей.

Андрей КУДРЯШОВ

Санкт-Петербург

ВОДЯНИЦА

Сказ

*Водяница, лесовица, шальная девица!
Отвяжись, откатись, в моём дворе не кажись;
Тебе тут не век жить, а неделю быть.
Ступай в реку глубоко, на осину высоко.
Осина трясись, водяница уймись.
Я закон принимал, златый крест целовал:
Мне с тобою не водиться, мне с тобою не кумиться.
Ступай в бор, в чащу лесную к лесному хозяину,
Он тебя давно звал, на мху постелюшку слал,
Муравую устилал, в изголовье колоду клал;
С ним тебе спать, а меня крещеного тебе не видать.
Старинный заговор против русалок*

Словно отгораживаясь от действительности, дед по прозвищу Чик закрыл глаза и свой внутренний взор обратил в мир народных преданий и сказок, черпая в нём, как из мудрого источника, своё вдохновение. Голос понизился и в напевном сказе поведал он повесть о днях далёких, сокрытых от нас веками седыми, когда были наши сородичи в ладу с окружающим миром, о тех временах, в кои реки и озёра щедростью славились на богатый улов, а в сети могла угодить не токмо рыба.

Руки свои натруженные, пальцы с мозолями возложил он на струны гуслей яровчатых, в наследство родителем

оставленных. И слился голос его со звуками струн, призывая следовать за словом добрым певца-сказителя. А достопочтимые слушатели и читатели пусть раскрасят слова его красками собственного воображения.

Тише – певец начинает своё повествование.

Как сказывали деды-прадеды, жил в здешних лесах на займище мужик по имени Благояр, а с ним сын – Богун. Пришли они со стороны вечёра, пал по лесу пустили и остались на огнище обживать здешние места. Инструмент при них справный был, на работу заточенный, а посему в скором времени избу срубили, острожком обнесли, а как же, зверья раньше много в лесу хаживало, да и двуногие забредали лиходеи. Была у них когда-то своя вотчина, семьёй большой в достатке жили, пока не набежали злые вороги да не пожгли село и уголья ихние, только отец со старшим сыном случаем остались. В то время они в городище на торг ездили, подати старшинам оплачивали – платили тогда всем что было, десятую часть нажитого на весах взвешивали, – а домой возвратились, глядь – кругом смерть, разорение. Сполна горюшке лихому оплатили. Но не житьё на прежнем месте, маета лютая. Вот и снялись с пришлой ватагой в поисках своей доли. Много труда положили на новом месте, но, слава богу, силушка есть – сдюжили, отстроились. Занялись охотой – пушнину промышляли, мед в лесу добывали, землицу к севу готовили, на реке рыбой запасались.

Однажды под вечер, когда солнце огнекудрое, расчесав свои волосы о гребень лесной, готовилось ко сну, Богун на лодке пробился сквозь камыш в большую, широкую старицу, туда, где стояла его сеть из крапивной пряжи. Вода здесь тёмная, прохладная из-за бьющих ключей. Недавно нашел он это место и сегодня поутру поставил сеть. Старое русло, поросшее осокой и камышами, превратилось в лесное озеро, окруженное непроходимыми болотами. Дневная жара таяла. Разогретый за день воздух остывал, и от холодного дыхания наступающей тьмы в прибрежной осоке зарождался туман.

Найдя поплавки из свернутой рулоном бересты, потянул за кляч* и стал медленно выбирать сеть. Снасть вначале пошла легко, что отразилось на лице лёгкой досадой, однако выбрав до половины ощутил приятную тяжесть удачи, но тут сеть словно встала. Он дернул раз, другой, ни с места. Неужели коряга? Как не хочется терять новую снасть; сняв рубаху он приготовился лезть в воду, чтобы освободить, глядь, а она сама и всплыла. Рыбак удивился, схватился за шнур, потянул на себя. Вот уже осталось перехватить несколько раз, как вдруг из толщи воды стала подниматься чья-то голова. Неужели мертвяк? Откуда?!

Достигнув поверхности, голова запрокинулась и вновь ушла под воду, через мгновение бледное лицо светлым пятном колыхалось в волнах. Огненно-рыжие волосы утопленницы, словно водоросли, плавно шевелились в водной ряби. Густые пряди всплывали на поверхность и, блеснув медью, изогнувшись по-змеиному, уходили в холодный мрак подводного мира. Лицо, не ведавшее дневного света и впитавшее в себя всё серебро лунной ночи, было спокойно, волна за волной проходила над ним, омывая красивые черты.

Богун, забыв про всё на свете, разглядывал страшную находку.

Вдруг утопленница широко открыла глаза и взглянула на рыбака. Синие губы её раскрылись, обнажая зубы подобные речному жемчугу и... шаловливая улыбка обозначила ямочки на луноликом образе Водяницы-шутовки**. Голова и плечи, обвитые, словно пестрыми лентами, рыжими волосами, выступили из воды, и цепкие руки ухватились за край лодки.

Охваченный суеверным ужасом, Богун выпустил сеть, отпрянув на другой конец лодки. Он не был трусом и не раз доказывал это, выходя на медведя с одной рогатиной, вступая в схватку с волками, но здесь было другое – неведомое, таинственное, не подвластное разуму. Никогда в жизни не встречался молодец с нежитью, от того и заробел, не ведая, что делать.

* Кляч – наплавной шнур у сети.

** Водяница-шутовка – старославянское название русалки.

Шутовка тряслась, будто в припадке безумия, и слипшиеся мокрые волосы плетьюми хлестали её по лицу, при этом она безудержно хохотала, раскачивая лодку, от чего та черпала воду то одним бортом, то другим и уже достаточно на дне набралось воды, как неожиданно появилась вторая водяная дева.

Богун сидел словно камень, даже если бы сейчас стал тонуть, то вряд ли смог сделать хотя бы одно движение — тело свело судорогой страха. Новоявленная дева перехватила руку у бесноватой шутихи и остановила затопление лодки, сделала какие-то знаки, чему шутиха не удивилась, не оттолкнула подругу, а только со звонким смехом ушла на глубину в свои хрустальные чертоги, оставляя расходящиеся круги на потемневшей воде.

Оставшаяся нежить, опершись о борт, с лёгкостью подняла тело и уселась на краю. Лодка при этом даже не покачнулась. Откинув с лица огненные пряди, взглянула она на рыбака огромными изумрудами своих глаз, и взгляд этих глаз расколдовал Богуна, и он почувствовал в груди биение сердца. Сердце все сильнее и сильнее разгоняло кровь по окаменелому телу, пока одна из горячих волн не окрасила его лица. Он зарделся, взглянув на нагую красавицу, страх отпустил. А она бесстыдно сидела перед ним, чуть прикрыв свои прозрачно-зелёные глаза, расчёсывая перламутровым гребнем рыжие волосы, которые в отблесках вечерней зари, рассыпавшись по обнаженным плечам снопом огненных искр, ниспадали до самой воды и угасали в притихших волнах.

Рыбак, поддавшись магии взгляда, шевельнулся и, не совсем доверяя своим глазам, протянул руку, желая прикосновением ощутить живая ли плоть перед ним. Дева, угадав его намерение, прекратила своё занятие и, склонившись в его сторону, вытянула на встречу свою, такую тонкую, бледную руку, что, казалось, сквозь неё можно увидеть блеск мокрой сети на дне лодки. Пальцы их соприкоснулись. Смертным холодом обдало Богуна. Он хотел отдернуть руку, но не успел. Ледяные пальцы ухватили ладонь и не по-девичьи сжали её. Дрожь пробежала по его

телу, и глаза с тоской оглядели пустынные берега и гладь озера.

– Не бойся меня. Тебе не надо меня бояться. Тебе я не сделаю худого. Давно наблюдаю я за тобой и много раз загоняла рыбу в твои сети. Видела тебя на охоте и оберегала от случайных встреч с дикими зверьми. Затронул ты сердце моё, – незаметно водяница оказалась совсем рядом с человеком. Отпустила его руку и прикрыла распущенными волосами свою грудь. Бледное чело речной девы посеребрилось в свете взошедшей луны, сказанные слова тенью грусти легли на черты его.

Почувствовав себя свободным, Богун не отпрянул в сторону, а, наоборот, коснулся волос – они были нежны, как шелковистый ковыль в поле, – и, проведя по ним раз-другой, погрузил руку в глубь волнистых прядей. Плечо и шея мягкостью своей не уступали бархатистому сафьяну, но были холодны, как родниковая вода. Но этот холод токмо разжёт в нём страсть, и вспыхнули глаза у молодца желаньем.

Речная красавица, будто вода, просочилась сквозь пальцы, и её уже нет в лодке, она покачивается за бортом, утопая в листве кувшинок, прикрывая срам белоснежной лилией. Взмахнув руками, она окатила рыбака озерной водой, охлаждая его пыл.

– Принеси мне белого полотна на рубаху, и я навсегда буду твоей, мой Богун. А ты теперь не забудешь меня никогда, – сказала и бросила рыбаку водяной цветок – лилию, и растаяла словно туман.

Рыбак ещё долго задумчиво сидел в стгутившихся сумерках, а придя в себя, обнаружил, что лодка наполнена рыбой вместо воды. Уложив сети, огляделся по сторонам и, взявшись за весла, поплыл по сверкающей лунной дорожке, ведущей к узкому проходу в камышах. Уже на выходе в основное русло реки услышал откуда-то из темноты, из-за седых кисточек камыша протяжный голос:

– Богун, я твоя... твоя...

И голос этот долго звучал у него в ушах, даже начавшийся дождь не мог своим шумом заглушить звуки этого голоса.

Зарадовался отец богатому улову, похвалил сына за умение, и рассказал о том, как повстречал чужаков, что пришли зимой по льду и обосновались в здешних местах, теперь они готовят место под пал. Полдня ходу до их порубки. Отыные придется держать ловище* скрыто.

То ли новость опечалила сына Благояра, али иное, только с этого самого дня не находил себе места добрый молодец. Достанет водяную лилию и долго так разглядывает её, будто видит в лепестках белоснежных что-то ведомое только ему одному. А цветок тот не сохнет, не вянет и в своей белизне раскрывает все цвета и краски самой природы, источая тончайшие ароматы свежести лесов и лугов великих, просторов водных, воздуха выси небесной. Вот что видел и чувствовал Богун глядя на этот цветок. А в звуках сердца его слышались только одни слова – «...я твоя... Богун, я твоя...»

Приметил Благояр, неладное творится с сыном; стал скрытен, неразговорчив, всё уединения ищет – отца сторонится, мается в беспроторице**, будто кто на него порчу наслал, так и тает молодец. Сколь раз подступал отец с расспросами – всё впустую; молчит, упрямится, в глаза не зрит. Но подсказало родительское сердце, на верную тропку указало – зело молодой, кровь горячая стынет без девичьей красоты. Женить пришла пора, обновить кровушку для продолжения рода. Вот пришлые люди на огнище расселились, не поискать ли молодуху среди них, авось и дело сладится.

Недолго Благояр в думах затылок чесал, он и сам был не прочь в дом себе дружку привезть, чувствовал в себе силу. Да и Богуну для продления роду необходимо женское начало, а в их доме и запаху его нет. Поэтому запряг на утренней зорьке свою лошадь, навалил рыбы вяленой, собрал рухляди; шкур лисьих да беличьих и тронулся вместе с сыном в путь. Надо успеть к ночи обернуться.

Чужаков оказалось много, несколько семей, но одного роду, на это и рассчитывал Благояр. Неужели не найдётся у них молодухи для Богуна.

* Ловище – место для звериной и рыбной охоты.

** Беспроторица – безысходность.

Встретили их настороженно, с опаской, послали за старостой, тот не заставил себя долго ждать и после короткого разговора с Благоярм объявил пришлых гостями. Напряжение спало; всяк принялся за своё дело, звонко застучали топоры, запели пилы, бабы засуетились возле котлов, они готовили еду здесь же на улице. Мужики трудились на порубе; чистили брёвна, корчевали пни, готовили место под поле, — работа кипела. Сколь много еще предстояло им сделать, но не было страха в глазах перед трудностями. На дворе было несколько неоконченных срубов, которые покрывали камышом за неимением соломы, а пока всем приходилось спать в шалашах и землянках.

Стало над головой в небесной выси солнце в огненной короне, призывает трудовой люд полудничать. Пригласили хозяева и гостей к столу хлебать похлёбку из тетеревов, сдобренную корнями моркови и луком. Хорошая была похлёбка, добрый был разговор. Благоярм не рассказал о истинной причине посещения, ибо хотел приглядеться к непрошеным соседям, ближе осмотреть чужаков. В диком, глухом краю надобно в дружбе жить. В реке от рыбы тесно, в лесу зверья не перечесть, добычи много, на всех хватит. Рассказал, как сам с сыном сюда забрёл, три зимы уж здесь отзимовали. Прижились.

В стороне под дубами, в тени сидел старик, седой волос его шевелился на плечах от дуновения лёгкого ветерка. Жесткая борода упиралась в сильную ещё грудь, выцветшие, некогда голубые глаза вспыхивали временами яркими звёздами и угасали, прячась в морщинах век. Возле него лежали в траве трое ребятишек и две девушки-юницы плели из цветов венки. Они слушали ладные сказы старца, а он, вливая в их уши свою повесть, подыгрывал длинными пальцами на гуслих звончатых. Богун, погруженный в свои мысли, присел рядом, покусывая сорванную былинку. Будто издалека, из глубин леса доносились до него слова рассказчика:

— Давно это было, да и было ли когда, кто знает, того уж нет, от времени и река поменяла русло своё, не найти прежних следов, как ни ищи. Жил на высоком берегу

в селении удалой молодец по имени Уйка. Погулял дети-нушка с ватагами во чужих лесах, у дорог степных свыкся с ветрами буйными, а пришло время – возвратился домой к матери с батюшкой. В том же селении, у реки, жила дева, с волосами, что ярче заката вечернего, а в полудень на солнце огнём горят, так полыхают – вокруг жар растекается. Дева скромная, ну словно бела лебедь чистая, непорочная, слову родительскому не перечная, всё при доме при тятеньке с маменькой. Звали ту деву баскую Белавою. И полюбилась она молодцу с первого взгляда, да и ей Уйка молодец приглянулся. Сговорились они в листопад, месяц-свадебник, по обычаям роду-племени своего, свершить обряд супружеской верности.

Немного осталось времени до свадьбы, три дня и три ноченьки до гуляний весёлых у кострищ и вод священных, как явились с реки ужасные норманны в шкурах медвежьих, что пришли на лодьях страшных, головами драконов увенчанных, и стали требовать богатой дани за жизнь поселян. Восстали жители, возбудилось их мужество несправедливостью, поднялись как один против жестокосердных разбойных воителей. Но недолго длилась брань ратная с супостатами; позатухли домашние очаги в селении, повырубили люд лесной топорами острыми, напоили матери сыру землю кровушкой, а кто уцелел, повязали в полон злые берсерки. Люд да скот загнали на лодьи великие и на полунощ* в земли свои отправились. А безлюдные дома огонь пожрал, обратилось селение в буюво**. Осиротела земля возделанная, некому в борозду семя бросить. Почернела от огня земля, от гнева в прах обратилась.

С рассвета и до вечера, с вечера и до рассвета плывут гости непрошенные по рекам нашим, несут люду здешнему разорение; словно тучи солнце затмевают, лучам света дорогу преграждают. Тьма день переборола. Но не смогла она сломить мужества в сердцах людских.

Среди пленённых был Уйка, раненный в руку – не доби́ли его норманны, видя тело мужа сильного, – рабство

* Полунощ – север.

** Буюво – кладбище (олонецкий говор).

ждало его. Белава с ним была, врачевала раны своим соплеменникам – на что дозволение получила от кормчего воинственного, что смотрел на неё глазами жадными. Вскоре исхитрилась дева и похитила нож у сторожей своих и пути Уйка перерезала.

Вот уж ночь в лесной пуще, во болотах и мхах, во полях и лужайках вдоль речных берегов края отчего. Потемнели воды глубокие. Заиграла луна на речной волне, серебром вокруг рассыпалась.

Дождавшись часа позднего, кинулись Уйка и Белава с лодьи в воду, никто и не заметил, не уловил тихого всплеска. Понеслась лодья дальше на чужбину оставив в непроглядной тьме деву и молодца, не желавших рабами жити.

Мрак вокруг, берег дальний в свете луны чуть качается. Несут воды быстрые двоих непокорных навстречу своей судьбе, и они меж собой чуть кличутся, дабы не потерять друг друженьки. Скоро берег, но холод сжимает тело девичье, усталость ноги опутывает, однако нет страха в сердце её – рядом с ней любимый, суженный. Уйка, одной рукой гребёт, другой, раненной, как может Белаву поддерживает.

Туман у прибрежного камыша будто молча ждал, выслеживал, а выследив выполз, прильнул к воде и головы беглецов будто пухом окутал, скрыл с глаз берег родной. Нет дна под ногами, лишь омут глубокий зовёт и тянет к себе. Потеряли друг друга, сбились с пути, кричи не кричи, туман всё сокрыл, ни тени ни звука. Выбрался один Уйка, долго искал вдоль берега по камышам свою лебедь белую, кликал в полный глас, да не слышал ответа. Не один день и не одну ночь в великом горе бродил Уйка, и глаза со слезами горькой печали вылили разум его навсегда.

С тех давних пор в реке живут огненно-рыжие водяницы, да только не видел их никто, одни старики вещают легенды.

Молодёжь надела на старца с расспросами: кто такие водяницы? Где живут? Откуда они? Встречаются ли в лесу, как и лешие? Можно ли им стать людьми прежними?

Богун наострился, прислушался.

– Про водяниц-шутих ходит молва, что могут они вновь стать людьми, если полюбит их кто в образе водной девы и скажет слова им, те, что лебеди по весне друг другу шепчут в свадебных игрищах. Да только трудно подстеречь птиц в тот момент, не каждому дано. Лишь тому, кто любит по-настоящему эта тайна доступна. Вот и Уйка долгие годы искал эти слова, а когда раскрыли лебеди перед ним свою тайну, понял – его век уже кончился; состарился Уйка, поседели власы его, телом одряхлел, в движениях не скор, не видать ему уже Белавы молодой. Вот и ходит он, бродит по свету под руку с одиночеством, – закончил старец, безмолвной скорбью сковав уста.

Молодой рыбак внимательно разглядывал рассказчика – не он ли и есть тот самый Уйка? Вздохи его печальны и голос дрожит не от немощи. Кто он? Откуда?

Богун к отцу идёт за стол, где тот ведёт беседу с хозяином о делах. Да токмо промеж их не встревай – не праздный разговор. Оглядевшись, заметил подростка, что, сидя на чурбаке, неловко разбирает спутанные сети. Зелен еще, нет ловкости в пальцах, сноровки не накопил, но хваточка есть, рассудил Богун, подсаживаясь в помощь к юнцу и деловито беря снасть в руки. За работой выведал о старике и не удивился, узнав, как тот пристал к ним по весне:

– Явился утый*, чуть живой, ободранный, дикий ну словно леший, староста сжалился над ним и оставил. Теперь детей да девок развлекает сказками, пусть живёт – не голод, вытьи много.

Дождался Богун, когда разошлись работники по своим местам, да и подольстился к деду старому с расспросами: не поделится ли он тайным словом лебяжьим.

Старик долго, внимательно вглядывался в лицо молодого парня, будто желая проникнуть в его сокровенные мысли. И этот взгляд вывел Богуна на откровение: он рассказал о своей встрече, о том, что не в силах преодолеть чар рыжеволосой речной девы, что готов на всё лишь бы ещё раз увидеть блеск изумрудных глаз. Если данные слова помогут очеловечить, вернуть её прежнюю ипостась, то он

* Утый – худой, исхудалый.

готов их произнести, ибо любовь ворвалась в его сердце, и теперь он всегда носит с собой её поминочек – речной цветок.

Обговорив свои интересы, старшие ударили по рукам и распрощались. Уже глубокой ночью Благояр с сыном вернулись домой. Сын не допытывался о причине неожиданной поездки, воспринимал всё с холодным безразличием. Но по возвращении отец обнаружил изменения в поведении сына: повеселел молодец, высветлилось лицо его, живинка в очах промелькнула, – не в пустую время провели, на пользу. Да и соли с холстиной на рубаху выменяли, а то совсем было поизносились.

Заутра Богун принялся готовить снасти к лову:

– Желаю на старице сети поставить, сей час и отправлюсь.

Зашел в дом, сыромятную суму на плече вынес и в нетерпении зашагал к лодке. Отец посмотрел вослед, ничего не сказал, лишь головой покачал.

Заря утренняя, распустив красные шелка свои да взяв нити золотые, принялась узоры ткать на облаках небесных. Густой пеленой, словно пухом лебяжьим, гладь речную застелила, росой муравушку на берегах выбелила. Всё выше поднимается солнышко, туман ниже к воде льнёт – бледнеет, а вот и растаял в лучах венценосного светила.

Богун, раздвигая носом лодки жесткие перья осоки, выбрался на чистую озёрную гладь. Осмотрелся. Вон там за изгибом, где на берегу, будто в хороводе, танцуют стройные березки, и есть тот самый омут с водяницами. Затрепетало сердце. Жутко.

Молча на небо напозла свинцовая туча, поутих ветер, смолкли звуки птиц, неслышно с берега звонкого треска саранчи, даже здесь, на воде, ощущалась липучая тягостная духота – природа обречённо ждала грозы.

Несколько взмахов весла помогли обогнуть песчаную косу, и лодка рыбака повисла над бездонной пропастью омута, черные воды оногo застыли в неподвижности. Молодой рыбак привстал и, шевеля побелевшими губами, пытался выдавить из себя крик, но вылетевший звук

чуть потревожил разлившееся вокруг безмолвие. Тишина вновь сомкнулась над озером. Богун наклонился низко-низко к самой воде и, приставив ладонь к губам, позвал, растягивая слово по слогам:

– Бе-ла-ва-а-а...

Сердце бешено заколотилось, от волнения задрожали руки, а глаза неотрывно зрили в глубь бездны. Мгновение, другое проходит, – ничто не тревожит водную гладь. Засомневался молодец в правдивости слов старца, да и встречу свою готов был принять за видения, стал сеть выставлять, над собою посмеиваясь. Скинув последний буй, направил лодку к берегу, к замершим в танце берёзкам, в надежде соорудить шалаш. Тяжёлые капли ударили по плечам, застучали, зашлёпали по воде и земля соединилась с небом косыми струями дождевого потока. Поднявшийся ветер гнал волну к песчаной косе.

Вдруг лодка остановилась, несмотря на то, что гребец с усилием налегал на весла, не замечая, как высунувшиеся из воды руки ухватили утлое судёнышко. Крепко ухватили, вцепившись тонкими длинными пальцами в деревянные борта, а вода вокруг кипела-пузырилась.

Богун, бросив весла, омыл лицо дождевыми струями и, взяв сыромятную суму, взволнованно прижал к себе, застыв в ожидании. Страху не было, природный охотничий азарт вкупе с чувственным возбуждением разгорались в нем. Он ещё не осознавал истинного происхождения своих переживаний, но полностью доверился им; неискушенное сердце раскрылось пред неизвестными, до сей поры, чувствами.

Дождевые нити, истощаясь, ткали чудные узоры на поверхности озера, и на этом дивном ковре из воды и хрусталия возникла белая лебедь. Она не шла, она не плыла – движения её, лёгкие и грациозные, напоминали воздушные парения облаков по небесной заводи. Белоснежное оперение внезапно вспыхнуло в пробившихся сквозь тучи солнечных лучах и осветило всё вокруг. Лебедь лишь немного приподнялась и, выгнув дугою грудь, распахнув оба свои крыла, приблизилась к рыбацкой лодке, где, вострепнувшись, окропила себя озерной водой. И в

переливах жемчужных брызг обернулась девой с огненно-рыжими волосами. Полупрозрачное тело её блистало в серебряных струях, стекающих с обнаженного стана. Она сделала едва заметное движение, и длинные медные волосы застелили деревянное дно лодки. Тонкие руки вытянулись к рыбаку и приняли от него кусок чистого холста, иже извлек он из своей сырмятной сумы. В то же самое время уста его, ставшие одного цвета, что и губы водяницы прошептали слова тайные, слова доколе не звучавшие в устах человеческих. Но не дозволено нам передавать глаголы речи его, не нами на тот заказ положена печать суровая.

Водяница опустилаь против Богуна, притаив обнаженное тело в распущенных волосах. Пять или шесть сестёр её, оголив из воды плечи, вели древесный челн к берегу. Дождь уже закончился, и тяжелая туча унеслась на вечер, неся в себе отблески далёких зарниц. Богун, произнеся слова лебединые, сидел молча и благоприветливым взглядом взирает в бледное лицо девы, изумрудные глаза которой были полны не то озерной водой, не то слезами. Почувствовав толчок о песчаное дно, он выскочил на отмель и помог водяницам-шутихам вытащить лодку на берег. После чего шутихи с громким смехом и визгом разбежались во все стороны собирать цветы, из коих плели венки и украшали свои головы.

Белава, этим именем мы и будем величать её в дальнейшем, вышла на берег и распустила по траве промеж берёзок чистое полотно, метнулась чрез него три раза, и вмиг пропала водяница и явилась на белый свет красна девица во плоти. Стыдливо прикрывая свою наготу, взялась шить себе одежды из приготовленного материала. Водяные девы, собрав душистые букеты цветов, окружили подруженьку свою:

Возле реченьки на бережке,
Тут стояла нова светлица,
А во этой новой светлице
Сидит девица покрытая,
Печальная да сговорённая.

Собирались к ней подруженьки
На девичник на девический.
Ах, подруженька, Белавушка,
Нам с тобой больше не гуливать,
Хороводов не вываживать,
Речей тайных не говаривать.
Во леса пойдём во тёмные,
Собирать грибы да ягоды,
Вспоминать тебя голубушку.

Расселись возле, песню поют; волоса её длинные перламутровым гребнем расчёсывают, расчесав, в девичью косу сплетают – власа те горят на солнце, красным жаром переливаются, – в косу вплетают цветы полевые, заместо лент разноцветных. Солнце с небес рукой доброй лица умывает. В груди молодца при виде такой красы пожар разгорается; стоит в стороне у березоньки, будто браги медовой опившись: обхватил в томлении ствол холодный – качается.

Обрядили Белаву в сорочицу сшитую, что краше паволок восточных; опоясали пояском из камыша свитого, рукава длинные в наручи надели из лесных цветов вязанных; голову увенчали богатым венком из лилий белоснежных, источающих тонкий аромат и, взявши под руки, подвели к добру молодцу. Приняла Белаву руку его, в глаза гляючи, и вывела на поляну вытопанную. Стали округ них водяные девы хоровод водить да песни петь, а как солнце западу поклонилось, подвели к кудрявой берёзоньке и кругом три разу обвели. Сняла тогда девица с головы венок, из лилий сплетённый, и повесила на ветвь зелёную.

Не в саду я загулялася,
Не на вишни засмотрелася,
Загляделася я, красная,
Что на вас, мои подруженьки,
Что на вас, мои голубушки.
Вы сидите все весёлые
На своих местах на радостных,
Вы срядилися сряднехонько.

Платье цветно на вас новое,
И головушки причёсаны,
В косах ленточки вплетённые.
А вот я-то красна девица,
Сижу в месте во печальном;
У меня платье измятое,
У меня буйна головушка
Порастрепана, нечесана,
В косу лента не вплетённая,
С красотой* на стол положена;
Вы сидите распеваете,
А я плачу горе-горькая.
Ты прости-ко, краса девичья!
Я навек с тобой расстануся,
Молодѣхонька, наплачуся.
Опущу я тебя, красота,
Опущу я тебя со ленточкам,
Во поля, в луга широкие,
Во леса, боры дремучие,
На быстры реки текущие.
Погляжу я, красна девица,
Погляжу на свою красоту,
Вкруг чего она обвилася:
Вкруг осинушки ли горькая,
Вкруг берёзоньки ли белая
Аль вкруг яблоньки кудрявая?
Ты обвейся, красота,
Вкруг берёзоньки-то белая, –
Мне житьё-то будет ровное,
Житье будет долговечное.**

Усталый день, задевая востроверхие шапки лохматых елей своим алым плащом, не спеша уходил за горизонт. Озёрные воды налились свинцом и отяжелели. Водяницы расплели у невесты толсту косу, затем расчесали власы её огненные и, разделив их поровну, сплели заново, но в две косы, кои уложили венчиком на затылке в знак замужества. Покрыли голову убрисом льняным, тем, что соткали в

* Красота, краса – девичье украшение.

** Песня-плач – прощание с красотой.

чертогах своих, и запечалились. Смолкли песни на поляне, не слышать ни смеха, ни говора. Посадили молодых в лодку у берега и проводили сквозь серебристый камыш на чистую воду.

Стемнело.

Удивился Благояр, встретив на пороге дома сына с девицей, девицей неведомой, незнаемой, одетой в холщовую сорочицу, с волосами, убрисом укрытыми, – приосмякло* лицо его суровое.

– Вот, отец, – то жена моя, Белавя. Прости, что без твоего согласия в дом привел. Гораздо люблю её, и нет без Белавы мне жизни, как не бывает светлого дня без утра раннего, как не бывает ночи тёмной без вечера, так и мы не можем друг без друженьки. Прости, отец, ипусти в отчий дом деву юную – лебёдушку белую, что будет тебе заботливой дочерью, а мне любимой суженой.

– Вот так Богун, сын Благояра! Удивил, утешил отца – порадовал душу родителя. Будто мысли мои прочел, наперед предугадал задуманное. А я уж было совсем запечалился, готов был сватать тебе у соседей невестушку. Добре сынок, добре! Ну что мы в сенях стоим – прошу в дом! – и Благояр широко распахнул дверь, низко кланаясь.

Добром и теплом встретили стены дома новую обительницу, и вскоре семейный очаг ярко воспылал, поддержанный женской рукой, рукой будущей матери, хозяйки рачительной.

За делами да за заботами незаметно время проходит, нелёгкий труд мало оставляет времени на пустые мысли. Но лезут в голову они, окаянные, лезут, шипят-нашептывают, бередают душу: «Кто она такая, откуда в лесу появилась? Где и как Богун её встретил?» – Интерес стал распырывать Благояра, как мёд в бочке бродит, не удержать. Вот и спрашивает как-то раз у сына:

– А какого моя невестушка роду-племени, из каких краёв к нам прибыла? Давно мы здесь живём, а ни о ней, ни о родичах её не слыхивали.

*

Приосмякло – от испуга, удивления изменилось.

Рассказал сын всю правду отцу, ничего не утаил – не убоялся гнева родителя. Да и чего было гневиться – лучше жёнушки в целом свете нет!

Старый охотник токмо головой покачал, в бороду густую ухмыльнулся. Увидел в сыне самого себя – молодой, кровь горячая. Молодец, вишь, как заступается!

– Добре сынок, добре, – на том разговор и кончился.

Между тем стала замечать Белава за тестем странность: стал он развешивать по дому, особливо возле постели своей, полынь-траву от сглаза и заговора. Постигнув мысли его, уразумела: муж рассказал всё, без утайки, отцу. На следующий день, не сказав ни слова, вышла в лес и принесла целую охапку полыни, которую положила перед тестем. Увидев такое, Благояр усовестился и перестал глядеть на неё как на нежить. Мир и лад снова воцарились в доме. В природе люди жили, в полной от неё зависимости, ибо имели одни корни, одно начало от земли Матушки.

Жаворонком пролетели летние дни, жнивьём да разносолом закончились, тяжелой поступью прошла осень, да ненароком о грудень споткнулась – заковала стужа ночная болота и озёра лесные раньше времени, та, что и солнце ясное за день не справится, а то и вовсе поутру всё белым саваном оденет.

Подступила Белава к мужу со словами печальными, со словами горькими, словно полынь трава. Повела о том, как по осени должна она возвратиться в омут свой, в чертоги глубокие к водяной царице, от коей заповедь наложена:

– Быть снова водяницей до весеннего пробуждения, а как ручьи от снегов в реку сольются, изумрудной травой берега покроются, выпустит берёза листья свои, паду я снова в твои объятия. А как три зимы пройдут, отпустит она меня на землю на веки вечные. На прощание вот тебе мой знак, – перстенёк перламутровый, носи его, не снимай, никому не дари, ибо перстень этот заговорённый. Как только снимешь его со своей руки, да на чужие персты оденешь – так умрёт оно, чернью покроется, и не свидимся мы с тобой более. За измену, тобой совершенную, останусь навеки я в омуте.

Опечалился Богун, закручинился, да делать нечего. Нежно обнял Белавушку и дал клятву верности.

Вышла Белава за порог, обернулась белкой быстрою – скок-поскок и исчезла в лесу, будто и не было.

Летом нет дорог, не пройти сквозь топи и лесные дебри до городища. Зима переиначила на свой лад: позастыли болота, река в ледяной панцирь оделась – лучшей дороги не выдумать. Время на торг вести соболя, куницу, бобра и белку – нескучно скопилось за лето, – обменять на соль, муку, нужное железо. Сговорились с соседями и, когда крепче встал лёд на реке, тронулись обозом на саних в городище.

Перезимовали, пережили лютые холода как и прежде – вдвоём. Народившийся месяц истаял, за ним другой, третий. Огнекудрый властитель небесный растопил лежалые снега, и вешние воды покрыли пологие речные берега. Пробудилась спавшая природа, вновь в её жилах потекла жизнеутверждающая сила. Почки на берёзах набухли, вот-вот разорвутся от внутреннего напряжения. Богун всё заглядывается на ветви – ждёт, перламутровое колечко поглаживает, нет-нет прикоснётся к нему губами. У него и лодка уже готова – хоть в сейчас отправляйся к озеру.

И настал тот час, о коем грезил долгими зимними ночами под жалобное завывание ветра и вой голодных волчьих стай, что бродили в лютую стужу у человеческого жилища. Вырвался зелёный лепесток из тугих материнских объятий и взглянул на солнечный мир своими глазами: расправился, пообсох и затрепетал от восхищения. Богун, выйдя из дому, заметил его и бросился к лодке, отец помог – с силой оттолкнул от берега. Усевшись на банке и взявшись за весла, он взглянул на высокий берег, и счастьем и радостью засияло его лицо. По крутой тропинке к воде спускалась Белава.

Возвернулась дева к Богуну, не обманула – прогнала печаль с его сердца улыбкой отрадной. Настал конец долготерпению. Впереди долгие летние дни – разноцветные и страдные. Отец с усладой смотрел на счастливые лица своих детей, вновь обретших друг друга. Вновь зажили

полной семьёй в добром мире и здравии, не отравляя сердца унынием. А как срок вышел, кротко и покорно встретили очередную разлуку, и не было на их лицах тревожной печали.

На городском купище* распродав и обменяв мягкую рухлядь** свою на нужные в хозяйстве предметы, Богун остался заночевать на постоялом дворе. Месяц лютовей*** безжалостен к людям и не терпит беспечного легкомыслия, оттого вот и собрался разный торговый люд под одной крышей, прячась от мороза и ночки тёмной, дожидаясь, когда соберутся попутные обозы, чтобы часть пути проехать обществом.

Хозяйка, молодая вдова, была знакома Богуну по прошлой зиме, в ту пору он приезжал в городище на торг вместе с отцом, тогда она ещё заглядывалась на него, однако побаивалась своего мужа-хозяина. Звали её Чернавой, светла ликом, да душа темней темного, по её навету погубили полюбовники мужа, теперь одна всем управляет, на своём месте властвует. Увидала Богуну и к нему за стол: речи лстивые льёт, на грудь его, головкой льнёт – брагой крепкой потчует, в глаза заглядывает.

Охмелел добрый молодец, закружилась от непривычного питья голова, не в силах с лавки подняться – разметал кудри свои по столу. Хозяйка позвала челядь и повелела отнести пьяного в отведённую для гостя комнату, вослед и сама поднялась. Долго разглядывала открытое чело спящего, борясь со своими желаниями и, прикоснувшись к его руке, заметила перламутровый перстенёк, дивной работы. Просто подняла руку и сняла кольцо. Освобождённая рука безвольно упала на постель.

Хозяйка, потеряв к Богуну всякий интерес, разглядывая перстень, вышла из комнаты. Уже стоя на лестнице, надела на свой палец заветное кольцо, дарёное Белавой своему суженому, и в тот же миг оно потухло и почернело. По дому лёгким ветерком пролетел чей-то сдавленный

* Купище – торг, рынок.

** Рухлядь – меха, пушнина.

*** Лютовей – месяц январь, он же трескун и просинец.

стон. Богун очнулся, ибо стон этот проник в его сердце и лишил навсегда покоя. Он взглянул на свою руку и с ужасом понял, чей стон пробудил его, голова вмиг просветлела. Вскочив, он бросился к дверям, чтобы нагнать похитителя и наткнулся на Чернаву. Она стояла за порогом и презрительно улыбалась, в глазах не было ни доли раскаяния. Швырнув под ноги Богуну мертвое кольцо, развернулась и ушла. С отчаянием схватил он перстень и в каком-то неистовстве покрыл его множеством поцелуев. Но прежняя красота перламутра так и не вернулась, невзрачным серым предметом выглядел он на руке владельца.

До весны не находил себе места Богун: пробился по талому снегу сквозь болота к озеру, расчистил широкую полынью и с безумными от горя глазами подолгу смотрел на темную воду, шепча одни и те же слова прощения и любви.

Сошли снега, просохли вешние ручьи, напивавшие досыта реки и озёра, зелёными коврами укрылись берега, и лес воспрял в новом наряде, но не вернулась Белава, нет её, будто и не было.

Приплыл рыбак на место, где впервые встретил водяницу, долго сидел, задумчиво вглядываясь в белые лилии. Знает – не увидит он больше свою суженую, не выйдет она больше к нему навстречу из вод темных, так зачем же нужна жизнь эта постылая. Обвязал рыбак свои ноги тугой верёвкой, обмотал свои руки сетью из пряжи крапивной, не взглянув даже на солнышко бросился в омут глубокий – авось на дне с милой увидится.

Померк свет в очах голубых, тяжелые воды сдавили грудь, но не суждено рыбаку в пучине погибнуть. Подхватили чьи-то руки его тело и вынесли на поверхность, на свет божий. Очнулся. Глядит – лежит он на берегу под берёзою, а рядом сети уложены. Не пустила его водяница в свой мир, не хочет она смерти его добровольной. Упал на колени Богун и к небу с мольбой обратился.

На закате солнца в сумеречном облаке тумана возник колеблющийся от вечернего ветерка, прозрачный образ

Белавы. Рыбак с надеждой протянул к ней руки. И ответила ему дева:

– Я отныне не та, что прежде. Теперь я везде и нигде – вода ли в реке или озере, туман в камышах или лощинах, роса вечерняя на травах. Когда ты вечером пройдёшь по росе, я буду целовать твои ноги; захочешь купаться в реке – я обниму твой горячий стан водой прохладной; прикасаясь струями летнего дождя, покрою твоё лицо поцелуями. А теперь – прощай навек!

Обратилась Белавушка лебедем, взлетела в небо синее, облаком небесным обернулась и пролилась на землю дождевыми струями, что рассыпались по мураве-траве рососою вечерней.

Не уходит рыбак с того места – день сидит, ночь не спит, небу молится.

Пожалели силы небесные Богуна: обернулся он туманом, что зарождается в предутреннюю пору. Да вот встретятся ли когда роса вечерняя с туманом утренним? Смогут ли слиться их губы в едином поцелуе?

Маргарита СМОРОДИНСКАЯ

Москва

ЕЛОВЫЕ ВЕТКИ

– Мам, может, хватит дуться? Давай поговорим. Ты как маленькая, честное слово. Я уже поняла, что не права, уже извинилась сто раз, – Лиза напряженно смотрела на мать.

Та даже не шелохнулась. Наталья сидела за столом, подперев щеку правой рукой, и смотрела в окно.

Лиза закатила глаза:

– Ну сколько можно? Мама, тебе ведь даже поговорить не с кем, а ты упорно продолжаешь из себя обиженную строить. Как мне это надоело.

Лиза вздохнула и отошла в другой конец комнаты. Ситуация начинала её раздражать. Её мать всегда была обидчивой и своенравной, но в этот раз она явно перегибала палку. «И ведь не один мускул не дрогнет, – подумала Лиза. – Какая жестокая».

Лиза присела на кровать, которая была аккуратно застелена, и стала разглядывать фотографии, висящие на стене.

Вот на этой фотографии её мать такая молодая, совсем девчонка. Она усталая, но очень счастливая, держит на руках двухмесячную Лизу. Лиза пристально вглядывалась в лицо матери. Куда делась её бывшая красота и блеск в глазах? Почему люди с возрастом дурнеют не только внешне, но и внутренне? Как бы ей хотелось увидеть сейчас свою мать молодой и беззаботной, как на этой фотографии. Но прошлого не вернёшь.

А вот на этой фотографии мама вместе с папой сидят рядом на диване. У каждого из них руки сплетены в замок и лежат на коленях. Никаких современных обнимашек и поцелуйчиков, всё чинно и строго, а в глазах у обоих... чёртики.

Эх, куда всё подевалось?

Папа умер десять лет назад. Мама отшивала всех ухажеров, претендующих на её руку и сердце, потому что считала, что папа был единственным мужчиной в её жизни и изменить ему даже после того, как он умер, было по её мнению, высшей степенью цинизма и самым настоящим предательством.

Лиза особо не задумывалась над мотивами этого поступка, но, наверное, мама была права.

На душе у Лизы было как-то тревожно, беспокойно.

Лиза вздохнула, поднялась с кровати и вышла из дома. На улице было жарко. В воздухе жужжали сонные мухи. Как обычно бывает после обеда, всё вокруг было ленивым и сонным, даже воздух был неподвижным. Марево колыхалось над травой, деревьями и кустами.

Лиза медленно побрела вдоль ряда старых деревенских домов. Каждый дом был знаком ей до мелочей, как-никак Лиза прожила тут всю свою жизнь. Каждый дом дышал своим особым дыханием. Вот дом Василисы Петровны. Он дышит свежевыпеченными пирогами. Баба Василиса всегда была затейницей в плане кулинарии. Ни дня не обходилось без того, чтобы она не затеяла то пироги, то булки. Когда Василиса Петровна начинала печь, по всей деревне разлетались манящие запахи, и все деревенские дети ходили вокруг этого дома, вода носами. Василиса Петровна всегда была щедрой, и ни один ребёнок никогда не оставался без пирога.

Дом деда Василия дышал весельем. Дед был гармонистом и весельчаком, так что ни один деревенский праздник не обходился без него.

Но был в деревне один дом, который все старались обходить стороной. Он дышал горем. Мать рассказывала Лизе, что в этом доме живёт женщина, которая во время войны получила похоронки на мужа и на всех своих

пятерых сыновей. С тех пор она ни разу не улыбнулась. Даже те, кто не знал этой страшной истории, чувствовали исходящую от дома тягостную энергетику. Дети, увлечённые какой-нибудь весёлой игрой, галдящие и кричащие, когда пробегали мимо этого дома, замедляли шаг, вдруг замолкали и на цыпочках, почти не дыша, старались поскорее обойти его.

Когда Лиза проходила мимо дома бабы Клавы – старушки, с которой дружила её мать, – со двора выбежала чёрная кошка, Мурка. Лиза очень любила Мурку. Она была ласковая, и Лиза часто брала её к себе на руки и гладила. Мурка мурлыкала так громко, что, наверное, было слышно на другом конце деревни.

Но в этот раз Мурка явно была не в духе. Она перегорела Лизе дорогу, выгнула спину и зашипела.

– Мурочка, милая, что с тобой? Это же я, Лиза, – девушка постаралась вложить в свой голос всё своё доброе расположение к кошке, но на ту это не подействовало. Кошка подпрыгнула на месте, выгнулась ещё сильнее и выпустила когти, давая понять, что к ней лучше не приближаться.

Из калитки вышла баба Клава.

Лиза улыбнулась ей:

– Здравствуй, баб Клав. Как дела?

Баба Клава зыркнула в сторону Лизы и переключилась на Мурку:

– А ты чаво тут выгнулась, шальная? А ну давай туды, туды, – бабка махнула тряпкой, которую держала в руках, задев Лизину руку.

Кошка бабу Клаву слушаться совсем не хотела и даже не сдвинулась с места.

Лиза потихоньку обошла Мурку стороной. На глазах показались слёзы. Значит, мама пожаловалась на неё бабе Клаве, и теперь та с ней даже здороваться не хочет. И даже Мурка на неё шипит. Неужели она и правда такой плохой человек, что не достойна даже хорошего отношения кошки?

Да, пропадать из дома на неделю было неправильно. Лиза прекрасно это понимала. Мама, наверное, вся извелась и сто раз её в мыслях похоронила. Но ведь она ис-

кренне раскаялась и попросила прощения. Неужели она не достойна того, чтобы её простили? Да ладно, пусть не прощает, но хоть словом перемолвиться с ней можно...

Погружённая в свои тягостные мысли, Лиза не заметила, как дошла до деревенского кладбища. Ей всегда нравилось здесь гулять. Попадая сюда, Лиза как будто отрешалась от мирской суеты, даже мысли становились тут какими-то другими, а душу наполняли умиротворение и лёгкая тоска.

Лиза медленно двигалась между рядами могил, надгробий, оград.

В конце одной из тропинок её внимание привлёк свеженасыпанный холмик, весь заваленный венками и цветами. Кого же тут похоронили? – подумала Лиза. Такое событие никак не могло пройти мимо неё. В деревне, если кто-то умирал, хоронили его всей деревней. Все важные события в жизни человека, как то свадьбы, разводы, похороны, рождение детей для деревенских жителей становились общими. Их отмечали вместе, сообща. Как Лиза могла пропустить чью-то смерть? Хотя... Её ведь целую неделю дома не было. Наверное, мама не стала ей об этом говорить из-за своей обиды. Лизе стало грустно. Вот и ещё чья-то звезда закатилась. Смерть – это всегда грустно. Лиза хотела подойти к ограде и прочитать, кого тут похоронили, но тут её внимание отвлёк какой-то человек.

На скамейке в одной из оград она заметила дядю Ваню. Он сидел на скамейке за столиком и наблюдал за идущей Лизой.

– Ой, дядь Вань, здравствуйте! А вы чего тут? – радостно встрепенулась Лиза.

– Да так просто, сижу, отдыхаю, – сказал дядя Ваня.

«Странное место для отдыха», – подумала Лиза, но вслух не сказала. За целый день это был первый человек, который с ней заговорил, и она была безмерно ему за это благодарна.

Лиза открыла калитку, зашла внутрь ограды и села рядом с дядей Ваней на лавочку.

Вокруг было так спокойно, так тихо. Лизу стало клонить в сон.

– Лиза, а ты помнишь у Пушкина «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях»? – вдруг спросил дядя Ваня.

Лиза вскинула на него глаза.

– Конечно, – сказала она.

– Помнишь, там есть такие строчки:

Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места.
В том гробу твоя невеста.

– Да, я всегда так живо представляла этот хрустальный гроб... и тишину вокруг, – сказала Лиза.

– А ты никогда не задумывалась, почему богатыри не похоронили царевну как полагается? – спросил дядя Ваня и пристально посмотрел на Лизу.

– Нет, никогда не задумывалась, – Лиза покачала головой. – Я всегда воспринимала это просто как сказку. Наверное, богатыри очень любили царевну и не хотели признавать её мёртвой? А положив её в хрустальный гроб и не закопав в землю, они как бы... надеялись, что она оживёт.

Какие странные вопросы задаёт дядя Ваня. Он казался Лизе всё более странным. Да и вообще всё в последнее время в её жизни стало странным. Почему дядя Ваня отдыхает на кладбище, да ещё и рассказывает ей такие странные истории? Для чего он это делает? В голове у Лизы крутилось множество вопросов, но спросить об этом дядю Ваню она не решалась.

Всё происходящее начинало казаться Лизе каким-то сюрреалистичным, как будто она попала в фильм какого-нибудь чокнутого режиссёра с больной фантазией и стала главной героиней, вокруг которой происходят какие-то таинственные события, и все вокруг знают, в чём дело, и только одна она не подозревает о том, что происходит на

самом деле. Нет, в роли такого человека ей оказываться совсем не хотелось.

– Лиза, а ты знаешь, что не всегда и не везде людей хоронили, закапывая в землю? Были и другие обряды захоронения, – сказал дядя Ваня. – В древности некоторые народы практиковали воздушное погребение.

– Это что ещё такое? – спросила удивлённая Лиза.

– Умерших людей, как эту царевну из сказки, подвешивали в гробах на высокие деревья или просто клали на какую-нибудь возвышенность. Некоторых хоронили в стволах деревьев, выдалбливая из них древесину. Некоторых просто подвешивали на дерево на самую высокую ветку. Погребённых таким образом находили на вершинах высоких скал или даже в пещерах. Прямо как в этой сказке.

– А зачем это делали? – спросила Лиза. – Неужели нельзя было похоронить как положено?

– Что значит как положено? – спросил дядя Ваня. – То, что мы так привыкли, совсем не значит, что только так и должно быть. Другим, например, кажется, что неправильно – это то, как делаем мы. А воздушное погребение, как считается, символизирует принадлежность человека как к земному, так и к небесному мирам. Чем выше человека хоронили, тем ценнее он, значит, был для людей. Так что то, что богатыри похоронили царевну на высокой горе, говорит об их особом к ней расположении, так что тут, Лизонька, ты попала в точку.

– Надо же, так интересно и в то же время так жутко, – Лиза поёжилась. – А казалось бы, простая детская сказка.

– Знаешь, в сказках, оказывается, столько смысла. Люди в древности не просто придумывали эти сказки. В них рассказывали о той жизни, которой жили в то время люди, какие существовали обряды. Мы сейчас воспринимаем это всё как сказку, как выдумку, потому что жизнь очень сильно поменялась, многое кануло в небытие и упоминания об этом только в сказках и остались. Кстати, существовал не только обряд воздушного погребения. Некоторые народы предавали тела умерших воде. Например, пускали их вниз по реке в лёгких лодках. В последнее

плавание. Бедняки же просто заворачивали тела умерших в грубую ткань и опускали в воду. Многие народы предавали тела умерших людей огню. Существует много подобных обрядов.

– Это получается, – медленно сказала Лиза, – что людей предавали всем четырём стихиям: воздуху, огню, воде и земле.

– Да, ты права, – сказал дядя Ваня. – Всему, что нас окружает. Лиза, а ты «Вия» читала?

– Читала, – сказала девушка.

– А помнишь, как там Хома Брут целую ночь молитвы над ведьмой читал?

– Помню, – поёжилась Лиза. «Вий» было самым страшным произведением, которое она за свою жизнь прочитала.

– А зачем он это делал? – спросил дядя Ваня.

– Ну она же ведьма была, – быстро сказала Лиза. – Так полагалось.

– Оказывается, не только ведьмам по ночам молитвы читали. Это, между прочим, один из обрядов нашего с тобой народа. Когда в деревне умирал какой-нибудь человек, полагалось, чтобы по ночам с ним кто-нибудь сидел до самого утра, до первых петухов. Сидели с покойником обычно пожилые женщины, которые знали церковные молитвы. В 12 часов ночи покойнику закрывали лицо, а хозяева устраивали для присутствующих поминальную трапезу. В 6 утра покрывало, которым накрывали лицо покойника, снимали и умывали его.

Лиза закрыла рот рукой:

– Господи, страшно-то как. Неужели на самом деле такое было?

– Не только раньше было, Лизонька. В некоторых деревнях до сих пор такой обычай сохранился.

– Но это же страшно, с покойником ночью сидеть.

– А чего страшного? Он же мёртвый. Ничего страшного тебе уже не сделает, – усмехнулся дядя Ваня. – Чего его бояться-то?

– Всё равно... жутко всё это.

– Это мы, Лизонька, привыкли покойников бояться, а раньше их не боялись, раньше со смертью были на ты. Пред-

ставляешь, сколько раньше в деревнях в одной семье детей рождалось? По тринадцать штук. А выживало только двое-трое. Раньше ведь не было всяким там антибиотиков и других лекарств. Заболел простудой – и каюк. Это ж, получается, что в одной семье каждый год похороны могли справлять.

– Откуда ты всё это знаешь, дядь Вань? – Лиза по-настоящему была удивлена познаниям своего знакомого.

– Из книжек, – сказал дядя Ваня с улыбкой. – Знаешь, сколько всего интересного можно из них узнать? А еще из опыта. Своего личного. Между прочим, к смерти у разных народов очень разное отношение. Ты, например, знала, что для балийцев смерть – это праздник?

Лиза уставилась на дядю Ваню в полном недоумении:

– Ты что, шутишь?

– Нет, я не шучу, – сказал дядя Ваня. – Это настоящая правда. Они считают, что земная жизнь – это наказание, и, когда рождается человек, его оплакивают, потому что он пришёл в этот мир на мучения. Когда же земная жизнь приходит к концу и человек умирает, приходит конец и его мучениям. Во время похорон жители устраивают самый настоящий праздник. Люди танцуют, поют, веселятся. Балийцы считают, что естественное состояние человека – это слияние его духа с природой.

Лиза была в полном ошеломлении.

– Меня больше всего поразило то, – продолжил дядя Ваня, – что, оказывается, даже неандертальцы хоронили своих умерших. Учёные при раскопках нашли такие захоронения. Оказывается, там даже были цветы. Представляешь, Лизонька? Значит, они тоже испытывали печаль и тоску по ушедшим от них.

Лиза молчала, не зная, что сказать. Всё это было так ново для неё.

– А ты замечала, что когда кого-то хоронят, всю дорогу от самого дома еловыми ветками закидывают? Как ты думаешь, для чего это делают?

– Не знаю, – затаив дыхание, сказала Лиза. Ей было и жутко от рассказов дяди Вани, и в то же время безумно любопытно – такова человеческая натура, все неизвестное и таинственное неизменно притягивает.

— Оказывается, еловые ветки кидают для того, чтобы покойник смог найти дорогу домой. В течение сорока дней покойник приходит домой ночевать, и вот для того, чтобы он не сбился с пути, ветки и кидают. А ещё в течение этих сорока дней каждую ночь ставят на подоконник стакан с водой для покойника, а утром его выливают в святой угол, а на лавочке под окном стелют ему постель, чтобы ему было куда лечь.

Лиза молчала, поражённая. Она ничего этого не знала.

— Дядь Вань, а это правда, что ель — символ смерти? — тихо спросила девушка.

— Правда. Ты же сама, наверное, знаешь, что покойников и гробы, в которых они лежат, накрывают еловыми ветками. Этот обычай был ещё у древних славян. А ещё я знаю, что в древности самоубийц хоронили между двумя ёлками, укладывая их вниз лицом.

— Никогда больше не буду на Новый год ёлку наряжать, — сказала Лиза.

— У славян, кстати, новогодним деревом считалась не ёлка, а берёза, и Новый год отмечали не зимой, а в день весеннего равноденствия.

— Как это всё интересно, дядь Вань, и в то же время жутко... — сказала Лиза. — А для чего ты мне всё это рассказываешь? — Лиза решилась наконец задать вопрос, который сверлил ей голову с самого начала разговора.

Дядя Ваня пристально посмотрел в глаза девушки.

— Ты сама всё со временем поймёшь... Постепенно. Ты должна сама всё понять. Я не имею права тебе ни о чём говорить. Ты сама всё поймёшь.

Дядя Ваня поднялся со скамейки, погладил Лизу по голове и ушёл.

Лиза продолжала сидеть ошеломлённая, не зная, как воспринимать слова дяди Вани. Что он хотел всем этим сказать? Почему он выбрал такую странную тему для разговора? Что вообще вокруг происходит?

Лиза вышла с кладбища и целый день бродила по окрестностям. Домой идти не хотелось. А зачем? Снова видеть мать, которая молчит и не хочет с тобой даже словом перемолвиться?

Встреча с дядей Ваней как-то странно тревожила Лизин рассудок. Что-то во всём этом было не так, но что именно, Лиза понять никак не могла. Голова её была в каком-то тумане, как будто половину её мыслей и воспоминаний просто стерли или они ушли глубоко на дно её сознания, откуда извлечь их было очень сложно. Наверное, так чувствует себя человек после тяжелого похмелья.

Когда уже стало темнеть, Лиза наконец засобиравлась домой.

Открыв дверь, Лиза поняла, что мать не одна. Она сидела на кухне и с кем-то разговаривала. Лиза затаилась и прислушалась.

– Клавка, – рыдала Наталья. – Она ж прям перед этим ребялёнка родила и в землю закопала его. Понимаешь, Клавка?

Клава заохала.

– Как же так-то, Наташка? Как так-то?

У Лизы всё похолодело внутри. Как же она весь день вот так вот ходила и даже ни разу не вспомнила об этом? Разве такое вообще возможно? А мать-то какая предательница! Да как можно такие тайны посторонним людям рассказывать? Как она теперь соседям в глаза смотреть будет? Баба Клава тут же всей деревне об этом растрезвонит, у неё вода в попе не удержится.

Лиза от возмущения и стыда чуть не задохнулась. Ей захотелось ворваться на кухню, схватить мать за грудки и хорошенько её встряхнуть. Но она через силу взяла себя в руки и заставила себя сидеть тихо.

Наталья уронила голову на стол и зарыдала. Клава пыталась её успокоить, гладила по волосам и тихо что-то нашептывала.

– Я ж в этом виновата, Клавка, я одна.

– Да почему ты-то? – недоумевала Клава.

– Да потому что я ей сказала, что с дитём на порог не пушу, – сквозь слезы сказала Наталья и снова зарыдала пуще прежнего.

– Ой, Наташка, чё наделала-то ты... чё наделала... – Клава всплеснула руками и прикрыла ладонью рот. – Зачем же ты с ней так? Ведь никого ж у неё, кроме тебя,

нету. Ты почему не остановила-то её, когда она такой грех совершала?

– Ой, не начинай, Клавка, и без тебя тошно, хоть в петлю лезь, – завывала Наталья.

– А это ты брось, Наташка, брось. Грех великий. Даже не упоминай про это, – Клава подсела поближе к Наталье и обняла её. – Знать, судьба у неё такая.

– Да какая судьба? Я во всём виновата, одна я. Ни при чём тут судьба. И за что мне всё это? За какие такие грехи?

– Наташ, а от кого ребёнок-то был? – осторожно спросила Клава.

– От Игоря, – обреченно вздохнула Наталья.

Клава охнула и замолчала.

На стене тикали ходики. Каждый удар казался Лизе всё громче и громче. Ещё немного – и у неё лопнет голова.

Лиза поймала себя на мысли, что тикающие ходики наводят её на мысли о смерти. А ведь и правда, каждая секунда невольно приближает её к самому краю существования.

Тик-так. Скоро и ты окажешься в могиле.

Время и так бежит быстро, а Лиза ещё постоянно его подгоняет. Она постоянно чего-то ждёт. Начинается понедельник, а она уже отсчитывает дни до пятницы, чтобы поскорее пришли выходные. А выходные проскакивают настолько быстро, что она их даже не замечает. Она ждёт каникул, чтобы отдохнуть от учёбы. Она ждёт Нового года, 8 Марта, 23 февраля, чей-то день рождения, потом свой день рождения, потом опять чей-то. Она ждёт, ждёт, ждёт, нервничает, торопит время, подгоняет его, зачеркивает числа на календаре, отрывает листы и бросает их в мусорную корзину. Она торопит время, которое и так не особенно желает с ней задерживаться. Она не живёт, потому что постоянно чего-то ждёт. Надо жить, наслаждаясь каждым мгновением, растягивая его до размеров бесконечности, потому что каждое мгновение уходит безвозвратно, оно никогда больше не повторится. Мгновения надо ценить на вес золота. Лиза вздохнула и поёжилась.

Время! Как быстро оно пролетает. Лиза вспомнила, как познакомилась с Игорем. Не влюбиться в него было про-

сто невозможно. Красавец, весельчак да при этом ещё и романтик. Приходил к её дому и пел под окном песни под гитару. А потом они целовались под луной. Вот только известие о беременности очень не понравилось Лизиной матери.

Острая боль кольнула сердце, когда Лиза отчетливо вспомнила, что ей пришлось пережить в ту ночь, когда родился ребёнок. Когда Игорь узнал о том, что произошло, рыдал навзрыд, как будто у него отняли самое ценное, что только могло быть на всём белом свете. Именно тогда он и предложил Лизе сбежать.

Да где же он сейчас? Целый день его не видела, вдруг подумала Лиза.

И вдруг её внимание привлекли слова матери. Она продолжала разговаривать на кухне с бабой Клавой.

– Клав, может, я сошла с ума, но мне кажется, что её душа не упокоилась. Мне кажется, по ночам она тут ходит... Да и днём тоже. Я иногда чувствую, как она дышит возле меня... А дыхание у неё такое холодное-холодное... Как будто с мороза...

Наталья снова заплакала.

– Наташка, да не терзай ты себя так. Что было, того не вернёшь. Сама знаешь, кабы знать, где упасть, соломки бы подстелила. В церковь надо сходить, с батюшкой посоветоваться. Он тебе подскажет, что делать. А сама ты что будешь делать? Только себя изведёшь.

– Бог меня за такое никогда не простит, буду в аду гореть, – рыдала Наталья.

– Бог милосердный, – сказала еле слышно Клава. – Он и не такое прощает. Главное, тебе самой себя простить.

Лиза сидела ни жива ни мертва. Значит, мать всё-таки раскаивается в своём поступке. Так почему же она тогда не разговаривает с ней? Почему всячески показывает ей свою обиду? Лиза никак не могла взять всего этого в толк. Мысли были как будто ватные, не желали шевелиться.

– И Игорь этот тоже виноват, – вдруг со злобой выпалила Наталья. – Наворотил дел, а потом сбежать с ней решил... И водить-то толком не умеет... В аварию ведь из-за него попали.

– А вот его, Наташка, не надо винить, – Клава встала из-за стола. – Во-первых, о мёртвых нельзя плохо говорить, а во-вторых, он её любил так, как никто другой её не полюбил бы. Я сколько на свете живу, а такой любви не видала. Так что помолчи, Наташка, не бери ещё один грех на душу.

У Лизы всё похолодело внутри. Тоска сдавила грудь, но слёз не было. Игорь умер? Не может такого быть... Да как же так? А мать ей ничего не сказала? Игорь был для неё целым миром, и теперь его больше нет. Лиза была ошеломлена, но до конца ещё не осознавала своей утраты.

– Мне вчера дядя Ваня покойный приснился, что-то мне про Лизу говорил. Не помню только, что именно, – Наталья вытирала глаза подолом халата.

Лиза поднялась с пола. Её мутило. Она спустилась с крыльца и направилась в сторону кладбища. Еловые ветки больно кололи её босые ноги.

Олег ПОГАСИЙ

Санкт-Петербург

GALACTICOS

Когда космический корабль с космонавтами на борту приземлялся в необозримых степях, этак километров – с усреднено взятую в длину европейскую страну – до нашего города шахтёров и металлургов, а во дворах пульсировала на разные голоса тема «у нас сели», город, а вместе с ним и мы, в наших глазах, приподнимался над казахстанским мелкосопочником и держался на высоте денёк-другой.

Люди по своей природе, как известно, везде одинаковы; различия – в парфюме, климате, социально-экономических формациях. Право-, левостороннем движении. Космонавтов привозили в обком партии на черных «волгах» с обкомовскими номерами по правой стороне главного проспекта, если считать по восходящей нумерации – сворачивая вправо с площади, где раньше на высоком постаменте стоял бронзовый памятник Сталину в длинной шинели и военной фуражке. В начале шестидесятых эстетика сменилась, и в одно прекрасное утро отца народов не оказалось на привычном месте. Спустя десятилетия по городу циркулировали слухи, что Сталин был сброшен на дно котлована, вырытого под строительство очередного гиганта индустрии, и залит морозостойким бетоном с подогревом. Дело было в осенне-зимний период. Долгое время площадь пустовала. В семидесятых

наконец доминанта была заполнена монументальной скульптурой «Шахтёрская слава», без излишнего романтизма, то бишь величавой плавности линий сталинской шинели и сглаженности углов его согнутой руки, ладонь которой пряталась под шинель на уровне сердца. Новый монумент был выражен резкостью форм и грубоватостью нового прочтения реализма. На постаменте, но ближе к земле, стояли атлетически сложенные шахтёры, казах и русский, держа над собой глыбу угля. Чёрная осадочная порода, извлечённая из земли, дарящая тепло и надежду на продолжение жизни, стала крепой дружбы народов. Кавалькада машин разворачивалась у здания обкома, отстроенного уже без архитектурных излишеств, но разве что карниз с выступами простых плит и парадным входом обрамлённым пилястрами без вычурности. Фигурой совершенно безобидного милиционера, выходившего из здания подышать воздухом. А наш дом, рядом с обкомом, унаследовал от ушедшей эпохи и того меньше – но зато эти самые, высокие потолки. Окна квартиры на третьем этаже выходили на широкую мостовую перед обкомом с тротуарами по обе стороны, по правой, если сворачивать с проспекта, – скверик с цветочными клумбами и кисленькими кустами барбариса. За домом начинался парк культуры и отдыха. С верхних этажей хорошо просматривалась вся площадь. Во время совещаний или торжественных мероприятий, как и в случае с мягкой посадкой космического корабля, длинный ряд служебных машин выстраивался до нашего дома. А увидеть героев космоса собиралась плотная толпа, если вечером, после рабочего дня, так было не протолкнуться. Фотовспышек точно не было. Ликований тоже. Было волнительно, но смуро. Не Голливуд же с красной ковровой дорожкой и фотокорреспондентами гламурных журналов, припавших на колени, ловящих ослепительные улыбки звёзд.

Зимой в парке заливали каток, там мы и гоняли шайбу, был хоккейный бум, чему способствовало вещание Первой программы ЦТ, запущенное к тому времени и у нас. Но вечерами, когда быстро темнело, хоккейные баталии разыгрывались под фонарями у дома рядом с обко-

мом, в валенках на хорошо утоптанном снегу. Кто ходил в секцию, мог похвастать лёгкими финскими клюшками Коһо, читаемое нами – «коно». Пошла мода загигать крюки. Бросок получался сильнее, легче поднять шайбу. У «коно» крюки были тоньше, чем у мукачевских, загигать было проще. Крюки отпаривали в кипятке в больших чанах, загигая потом о чугунные батареи отопления. Мы жили хоккеем. Знали все звёздные тройки. Бортовались, как канадцы, водились, как Харламов, щелкали по шайбе, как Фирсов.

В тот зимний вечер двое ворот, как обычно из оледенелых снежных комьев, пришлось отодвинуть, ожидалось прибытие космонавтов. «Волги» приезжали, уезжали, приезжали; парковались почти до нашего дома. Народ подходил, подходил, теснился. А у нас игра, рубились отчаянно, ожидаемое прибытие героев космоса прибавляло нам куража. Приподнимало нас над зимним вечерним снегом. «Едут, едут!» – всколыхнулась толпа. Пас, пас, обводка, бросок, и шайба, можно было полегче, оторвалась от снега, пролетела по дуге, приземлилась, прошла между женских сапог и мужских ботинок, заскользила к вышедшим из «Волги», в окружении партийных лиц в тяжёлых серых пальто с меховыми воротниками, космонавтам в черных тулупах, дублёнках из овчины, моднячих у нас тогда шапках-ушанках с кожаным верхом. Шайба ударилась о подошву ботинка одного из них... Все замерли. Обернулись. Что такое? Взоры на нас. Лица в серых пальто переглянулись, хмуря обкомовские брови. Что это ещё за нерегламент, своеволие, кто допустил?... А космонавт снял перчатку с руки, взял шайбу, посмотрел откуда прилетел этот круг каучука. Толпа расступилась. Он улыбнулся, показалось, даже кивнул нам и запустил шайбу назад. Она полетела, полетела, приземлилась, вернувшись к нам с околоземной орбиты.

Шайба вброшена, игра продолжается. Космический корт со звёздами первой величины, такие команды назывались потом Galacticos, сияющими в холодном небе, с единственным зрителем, болельщиком, подслеповатой луной в дымке. Пас, пас, обводка, бросок, в ловушке вратаря

исчезает шайба, как в чёрной дыре, но – о, чудо! вытряхивается назад! Пас, пас, обводка, исход игры непредсказуем, как бы ни говорил физик-теоретик, которого не было в нашей школьной программе, что Бог не кидает кости, но мы-то этого не знали и не знаем до сих пор во тьме бесконечных световых лет отпущенных нам мгновений под светом этих фонарей. Пас, пас, обводка, бросок, ничего ещё не ясно, возможности безграничны, предчувствие не лжёт. Азарт, упоение, весёлая толкотня с палками наперевес на пяточке перед воротами

Но мы заигрались, в чёрном небе шум, вспыхивает, тревожно горит жёлтый квадрат. Со скрипом открывается форточка. Показывается голова отца: «Домой!.. Ты что, не слышишь?!»

Лирический портрет

Татьяна БАТУРИНА

Волгоград

РУССКАЯ ДОРОГА

Привычка возвращения весны

Талый ветер теребит палисады,
Дни ясны, и красны, и гласны:
Ах, как любо сиянье рассады
В ненаглядных оконцах весны!

Полелеять бы прихоть вселенску —
Стиховую весеннюю нить:
Отвести от окна занавеску
И устами к устам говорить...

На Москве

Вся заоблачная сень —
Певчий свет Московской крыти:
Строю рифмы третий день,
А четвёртому не быть,
Как не стать иной Москве:
Не по чину златоглавой
Усмиряться чуждой славой,
Чудовской служить тоске!

Русь стоит не на песке —
Хоть златом! —
на колоске

На пшеничном, на ржаном
(Настоящем золотом!)
Да на древностной Москве –
На поставе на земном:
И без брани, и без брави
Крепок Кремль Московской прави
Под Святым Крестом.

Русская дорога

Свет дороги атласно-миткалий,
В каждой кочке сияет краса
Из былинки и блестящих далей –
Хоть ступай напрямиком в небеса!

Только в ней, старорусской дороге,
На великой, на малой версте
Отчей хóжести учатся ноги,
Очи взоры стремят к высоте.

Не единожды я кочевала
По равнине цветной и росной,
И всяк цветик кивал, словно свой,
И под небом своим ночевала.

И однажъ, утомлённая волей
На пути к деревеньке честной,
Я уснула на клеверном поле
Невдали от чащобы лесной.

Сон явился, с ним лес близлежащий,
Но – нездешний, но – ненастоящий,
Но – пугающий не наугад:
Будто нечто качнулось из чащи
И отпрянуло тотчас назад...

Долго, долго, не чая покоя,
Искушалась я зябкой тоской:
Примерещилось мне неблагоё,
И какой мне отныне покой?..

Может, сгиб кто-то в клятом раздоре,
Вот и ходит, и бродит округ
Чьё-то неоткричавшее горе?
Иль душа, неотпетая вдруг...

Было, не было... Всё-таки было,
По сию пору горóшит озноб,
Чтоб, наверное, я не забыла,
Как темно возле тёмных чащоб.

Не забыла обратной дороги
Средь равнины беспечно-родной:
Как летели мои резвы ноги,
Словно верные кони, домой!

Для судьбы, где и просто, и ясно,
Лето-летски хранит меня Бог,
Я ж, любя провозвышенный слог,
Навсегда не отрину напрасно
Дивь и праведность русских дорог:
Все приводят на Отчий порог.

Мои книги

О, тропинки мои, о, дороги,
О, мои горизонты!
Звукогласицы, буквы, слоги,
Стиховые экзоты!
Я молю вас, родную ораву,
Не клонимую к славе:
Не отдайте меня на расправу
Виртуальной державе...

По старенькой пыли...

Милая сестрица, не бели
Бледных щёк защитною печалью —
Не пора ль по старенькой пыли
Поспешать во Киев иль Почаев?

Или зимним ходом ходоков
Побредём снегами да пыреем?
Белым полем вязаных платков
Головы больные обогреем.

А весной автобус поплывёт
По Руси ковчегом богомольным,
Всяк насельник в нём наперечёт,
Всепокорный далям колокольным,
Изольётся плачем сердобольным...

Русь не поле дикое – позём
Бирюзовый, светень небосклона!
Добредём, сестрица, доползём,
Упадём пред старья иконы...

Об июньской розовой поре
На святой Почаевской горе,
Где являлась Матерь,
Со слезами
След Ея Стопы облобызаем...

Стольный Киев встретит в октябре
Долготерпеливыми крестами –
Тут и мне, сестрица, и тебе
Плакать, утираючись перстами...

Отвечает милая сестра:
«Доживём, сестрица, до утра
И пойдём, издерживая плоть,
Лишь бы души вынынчил Господь».

Андрей ДМИТРИЕВ

ВЫРОС ЦВЕТОВ – ТАМ, ГДЕ НЕЛЬЗЯ...

* * *

Александру Петрушкину

Греческое имя Галактион –
как колокольный звон,
когда очевидно, откуда он
а иногда и по ком,
плывёт с языка –
не то чтобы свысока,
но выше белого потолка
сквозь люстры хрустальный ком.

Имён галактика – гала-концерт
аллюзий в лице
носителей, что в конце
концов, смолкнет –
правда, только физически,
ведь личности
без всякого иска нынче же
возместятся наличным облаком.

Галактион идёт в магазин,
который всегда вблизи,
куда в затоваренные ферзи
рвутся пешки из глубины
разлинованных досок:
их натирает воском
февраль – по фигуре плоской
узнаваем и со спины.

Покрутив в руке яблоко,
Галактион вспомнил, однако,
как непростительно мало он
жил воробьём в ветвях
заповедного сада,
где мимолётного взгляда
не хватит, чтоб за оградой
целиком представить зрелую явь.

В шелестящий пакет
набирает плодов – ранет,
анис алый и осенний привет –
антоновка: будто планеты
грузные яблоки жмутся
к незримому солнцу с чувством,
что космос – это не так уж пусто,
и фоном на сдачу звенят монеты...

* * *

Камушком вместо птенца в яйце
город проклюнулся и вот уже полон
черт, что застыли на каждом лице,
сблизив их внешне с каменным молом
вдоль побережья незнамо чего.
Рытвины: осень – пора капремонтов.
Снова до первого снега черно
будет от руководящей заботы
в тракторном парке. Кладёт листопад
хлипкую плитку на узкие тропы –
лишь бы обутая в кожу стопа
не получила безлиственный опыт...

Эти скорлупки останутся здесь,
где раскисает берёзовой кашей
золото, вмиг потерявшее вес
от безысходной унылости нашей.
Город проклюнулся: осень цыплят
пересчитает, как камушки в пальцах,

чтоб ими выстроить круг, циферблат
сделав на время подобием плаца.
Стрелка догонит, обгонит, столкнёт
с обода цифру, что сбилась со счёта,
и занесёт математик в блокнот
формулу – будто бы вдруг догадался о чём-то.

* * *

Хоть в горошек,
хоть в ёлочку
обои в прихожей –
к полночи
там только тени...
Обувь – в углу
брошена в приступе лени –
«не кричать же слугу»,
вспомнишь то, что на случай,
дойдя, наконец, до ручки
в эту пасмурную беспутицу,
и, не вставая с дивана, устрицей
приоткроешь на дне створки глаз
на порядок вещей –
верней, на их беспорядок – сейчас
ставший принципом помещения...

Обломов – обломан,
а ты – будто бы нет,
ты – обмылок, ловко
выскользнувший в ответ
на холодную воду,
падающую отвесно
в угоду
стерильности времени или места
в блоке из кафеля.
Впрочем, экая простота –
выдавать индульгенции, словно вафли
самому же себе, мол, устал

от навязанных стереотипов,
от прилаженных ходунков
и от в комментариях голоса сиплого
с панибратским этим «друг мой»...

Кто-то манипулирует лифтом –
слышно даже за дверью –
кто-то летит на рифы
очередного скандала, и звери
внутри уже прогрызли решётку,
вырвавшись в кухонный закуток –
из-за стенки их в гомон выросший шорох
выхватывает у слуха свой первый клоч,
потому – всё равно, хоть в горошек,
хоть в ёлочку
обои в твоей прихожей...
Гул по трубам – похож на волчий.
Алфавит –
поболит, поболит
в тексте с разодранной кожей,
и остынет в прихожей к полночи...

* * *

Вырос цветок –
там, где нельзя,
там, где топот тысячи ног
и вырубленные леса
уходят былыми корнями вглубь
ещё не застроенных площадей,
по которым бульдозер – тяжёл и груб –
в пространственной нищете
перемещает грейдером пустоту.
Цветок-цветок – вкрапление жизни.
Кто не рискнул –
тот остался с изнанки жилистых
и суглинистых почв,
остался несделанным вздохом.
Остановился рабочий –
смотрит, как эта кроха,

пытаясь что-то сказать,
приподнимает стебель
в серые небеса,
где холод серебряный
уже отливает себя –
словно пули,
и кожа на щёках ряба
у тучи, сводящей скулы...

Вырос цветок –
хоть и без рук,
без ног,
хоть и не улететь на юг,
и не вселиться в дом.
Лепесток к лепестку –
блёклый бутон
по мазку
перенесён на холст,
на шершавый свет.
Цветок пророс –
и иного чуда здесь нет.

Глядит рабочий
на то, как сама
природа хочет
стать формой письма
или речи
там, где лежит бетон
и щебень щебечет
что-то про прежнее ГОЭЛРО
или банальный гараж
под импортное авто,
и в этот купаж
погрузил бы свой хоботок
мотылёк –
перелётный цветок,
но, увы, он теперь – уголёк.

Галина ТАЛАНОВА

ЧТО ИЗВЛЕКЛА
ИЗ ШЕЛЕСТА ДОЖДЕЙ?

* * *

А лето всё длится и длится,
Хоть жухлою стала трава.
Неверная синяя птица
По-своему, видно, права...
На речке утиные стаи...
И зеленью плещет вода.
На пляже бетонные сваи
Тяжёлые, словно года,
Что были, прошли, пролетели,
Оставили звёздную пыль,
В ночах соловьиные трели
И жёлтый пушистый ковыль,
Полынную горечь утраты,
Букеты сиреневых роз,
Любовные грёзы, сонаты,
На осень дождливый прогноз.
Ах, лето!
Ты было ли вообще?..
Я в заводи мутной плыву
И вижу траву на погосте,
Что рвётся меж плит в синеву.
Наверно, и мне уже скоро
Отчалить к родным, в никуда...
Любовь, как лопух у забора,
Что выдолоть стоит труда...

* * *

И скоро август станет на пороге.
Пока же дни, как солнцем налились.
Мне кажется:
Ромашки у дороги
И те рванули в голубую высь.
День бархатный,
Как кожа абрикоса.
И пчёлы собирают все нектар.
Но не уйти от жгущего вопроса:
Зачем был в руки дан нелепый дар?
Зачем слова нанизывать на нитки,
Как бусы собирать из желудей?
Стихи хранить, как золотые слитки,
Что извлекла из шелеста дождей?
Зачем всё то,
Коль милый не услышал
И притулился к женщине земной,
Что знает точно:
Если дождь по крыше,
То сад не поливают в выходной.

* * *

Серебристый жемчуг среди камней
Снова память выбросит волнами.
И с годами чувства всё сильней.
И накрыло с головой цунами...
Собираю жемчуг я на дне,
Где стояла мутная водица.
Кто же знал, что столько в глубине
Жемчуга среди тины затаится?
Осторожно тину я сниму
И промою чистою водою,
Чтоб нанизать после на струну,
Что звучала музыкой прибоя.
Бусы вокруг шеи обернуть –
В два ряда ложится ожерелье.

Но блестит, как капельками, ртуть,
Будто свет, что ковриком под дверью.
Дверь закрыта...
Можно постучать...
Но откроют ль новые засовы?
В паспорте лиловая печать.
И звенят монистами оковы.

* * *

И радуга после грозы
Растаяла заревом света.
И высохли капли росы
Под розовым краем рассвета.
И в ласковом лете одна
Я мяту средь трав собираю. —
Как будто сумеет она
Снять боль, обложившую в мае.
Не слышала даже «Прости,
Что осень уже неизбежна».
...Лишь воздух духмяный в горсти
Сжимаю по-прежнему нежно.

* * *

Там в небесах мелеют реки
И сходят с гор к ручьям снега.
Зажмурю под лучами веки,
Чтоб скрылась радуги дуга:
Она зовёт своим сияньем
Вступить на мостик средь аллеи
Под тополиное качанье,
Что пух разносит, —
Словно клей,
Залепит рот, глаза и уши,
Начнёт так нежно щекотать,
Как будто близких моих души
Меня спешат к себе позвать.

Из будущих книг

Сергей ЧЕ

КРАСНАЯ БАШНЯ

(Фрагменты из романа)

Нелегко бомжам при самоизоляции.

Еды мало, хлебных мест не осталось. Даже бабок из церквей как ветром сдуло. Сердобольные по домам сидят, а если кто и высунется, то бегом до магазина и обратно, обходя каждого встречного по кривой дуге. Какие уж тут бомжи. Самим бы выжить. Полгорода работу потеряло.

А еще патрули.

Бродят впятером туда-сюда, глазами зыркают. Сперва просто бродили, теперь приставать начали. Кто, зачем, куда вылез, куар-код покажи. А какой у бомжа куар-код, если из телефонов только кнопочная «Нокиа», да и та лишь в тетрис играть умеет?

Беда.

В такое время лучше забраться куда подальше, в сады, огороды, на подножный корм из молодой травы, гнилого картофана и банок с соленьями, забытых дачниками.

Вот и Саша Белый давно бы уже слинял из города. Если б не нога.

Нога болела ужасно. Он не помнил, как и где ее повредил. То ли сам упал, то ли уронили. То ли с пьяных глаз, то ли с обкуренных. Сперва было ничего, но сегодня щиколотка распухла, покраснела и напоминала задницу павиана.

Приходилось опираться на суковатую палку и отдыхать каждую минуту, стоя на одной ноге.

На вид Саше было от тридцати до восьмидесяти. Сколько ему лет на самом деле, он и сам толком не знал. Белым его прозвали из-за волос и клочковатой бороды, которые были того перламутрового цвета, что встречается у некоторых «мерседесов» и кухонь из ИКЕИ. В темноте его борода даже немного светилась, что выглядело одновременно импозантно и устрашающе. Впрочем, воспитанники расположенного неподалеку коррекционного интерната № 10 рассказывали о Саше и его прозвище совсем другие истории, в основном позаимствованные из сериала «Бригада». Саша не возражал. Каждый знает, что лучше слыть бандитом, чем бомжом.

В этот раз Саша прошел от Малой Ямской дворами, перебрался через пустынный съезд на метромост и тут же свернул на Енисейскую, к оврагу, оставив интернат в стороне. За плечами у него трясся холщовый мешок с нехитрыми запасами, в основном позаимствованными на рынке. На этих запасах можно было прожить с неделю, если экономить, а главное – хорошенько спрятать. Чем он и собирался сейчас заняться.

Солнце уже скрылось, редкие фонари едва горели, и тянущиеся по сторонам коттеджи и деревянные избышки выглядели одинаково угрюмо.

Это был один из тех уголков Нижнего Новгорода, что заставляли краснеть местные власти во время приезда больших московских начальников. Запыленная деревня, со свиньями и петухами, расположенная в двух шагах от центра, с грязью, развалинами, сожженными бараками и вонючей свалкой на склоне. По ту сторону оврага деревня продолжалась. Над одним из домов тускло светилась надпись «Буддистский центр», что делало картину совсем сюрреалистичной.

Он свернул в темноту и включил фонарик.

Луч выхватил: корявые кусты, остатки сгнившего забора и сидящего на пне старика Каргая в дырявом пальто и вязаной шапке.

Белый подпрыгнул от неожиданности.

– Итить твою налево! Мордва! Я из-за тебя чуть коньки не отбросил!

Старик Каргай невозмутимо сморгнул подслеповатыми глазками и сунул бычок в выцветшую пачку из-под «Парламента».

– Ты чего здесь делаешь? – прошипел Белый. – Знаешь же мое место. Ступай к себе в лес, не отсвечивай.

Каргай мелко потряс головой.

– Нельзя сегодня лес. Никак нельзя.

– Это еще почему?

Каргай приложил к губам корявый палец.

– Тссс... Слушай!

Белый недоуменно остановился.

Шумела листва, изредка кряхтели ветки, но в целом звуков было меньше, чем обычно. Даже собаки не брехали.

– Нечего тут слушать, – громко сказал Белый и перехватил палку поудобнее. – Давай, вали отседова.

– Правильно, – кивнул Каргай. – Нечего слушать. Тишина. Мертвая. В такие ночи хозяйка леса Вирьава на охоту выходит. Нельзя сегодня лес.

Белый сплюнул.

– Ты, Каргай, окончательно сбрендил со своими мордовскими сказками. Не хочешь в лес, вали к реке. Или на дачи. Пошевеливайся, пока я не разозлился.

Старик поерзал на пне, устраиваясь поудобнее.

– Нет, ашо. Я лучше здесь посижу.

Белый даже задохнулся от такой наглости. Мерзкий старик явно собирался наложить лапу на его угоды. Белый решительно шагнул к нему, прикидывая, как быть. Каргай был маленький и тщедушный, но нога болела, а шуметь не хотелось.

– Вирьава ходит, людей ловит, – сказал Каргай. – Сегодня к домам надо, – он кивнул в сторону дороги, где в ближайшей избушке зажглось окно. Чья-то голова выглянула наружу.

Белый застыл. Каргай смотрел на него снизу вверх наивными водянистыми глазами.

Голова в окне пьяно выругалась и залезла обратно.

– Ладно, – прошептал Белый. – Сиди. Но если за мной увяжешься – руки-ноги поломаю.

Он шагнул мимо, к зарослям.

– Ты тоже в лес не ходи. Нельзя сегодня, – сказал Каргай ему в спину.

– Нет там леса, убогий. Старик вздохнул.

– Где четыре дерева – уже лес.

Белый усмехнулся и пролез под нависающей веткой.

Дорога шла вдоль оврага, мимо плотного ивняка и давно заброшенных сараев.

У поворота он остановился, выключил фонарик и с минуту торчал на месте, ожидая, не приковыляет ли следом ушлый старик. Старик не приковылял.

Вокруг была непроглядная тьма, только перемигивались огоньками далеко внизу метромост. Здесь не было ни фонарей, ни домов, лишь корявые деревья и буйная растительность, за которой десятилетиями никто не следил. Заросли тянулись по откосам вдоль правого берега Оки через половину города, иногда прерываясь голыми холмами, вычурными новостройками и автомобильными съездами. Встречались такие дебри, где если и ступала нога человека, то очень нечасто. Смотрящий за рыночными помойками Семен Иванович называл эти места «и в лесах, и на горах». Он был очень начитанным и до бомжевания служил библиотекарем.

Белый шагнул к обрыву и заглянул вниз.

Часть узкой дороги за поворотом давно обвалилась. Внизу виднелись останки асфальта и бетонного ограждения, заросшие бурьяном. Сверху попасть туда было нельзя, не рискуя конечностями, а снизу тянулся почти отвесный склон, заросший ельником.

Белый осторожно раздвинул ивовые прутья, пролез к старому тополю и вытащил из еле заметного дупла веревочную лестницу. Проверил крепеж, затянул узлы, скинул вниз и кряхтя начал спускаться, стараясь переносить вес на руки.

Обвалившаяся дорога заканчивалась оползневыми тупиками и слева и справа, а посередине был извилистый проход, скрытый от посторонних глаз кустарниками и нависающим земляным выступом.

За проходом была утопленная в склон краснокирпичная арка, похожая на выход дореволюционной дренажной штольни.

Белый, сгорбившись, пролез внутрь.

Это и был его схрон. Глубокая, закрытая с трех сторон ниша, облицованная почерневшим кирпичом. Рядом проходила теплотрасса, и здесь было терпимо даже зимой, достаточно было занавесить выход тряпками.

Белый скинул мешок с припасами в угол и рухнул на ворох заплесневелых матрасов. Тьма обволакивала, как теплое одеяло. Он нашарил в кармане яблоко (подгнившее, но наполовину целое), откусил.

И замер.

Что-то было не так. Звук.

Обычно звуки здесь вязли в густом, затхлом воздухе.

Теперь хруст яблока внезапно разнесся гулким эхом по каменным сводам и затих где-то вдали.

Белый дрожащими руками достал фонарик. Желтоватое пятно мазнуло по нише, метнулось вперед.

Дальней стены не было.

Столетняя кладка была разворочена, битые кирпичи усеивали пол. Вместо стены зиял черный провал уходящего вглубь холма подземного хода.

— Черт!

Белый вскочил на ноги, не обратив внимания на резкую боль.

Фонарь высветил в дыре нависающие черные балки, щербатые булыжники облицовки, белесый мох на стыках и торчащие из стен и потолка толстенные корни. Луч уходил дальше во мрак тоннеля и там рассеивался.

Под ногами хрустнули обломки кирпичей, и Белый похолодел. До него вдруг дошло, что если кирпичи лежат снаружи, значит, стену ломали изнутри.

Ледяное дуновение коснулось лба. Сзади хрустнула ветка, и Белый в панике обернулся.

— Старик! Это ты? Предупреждал же! Урою!

Слова заматались по тоннелю, затихая во мраке. Нет ответа.

Какая-то тень мелькнула в глубине, но Белый ее не заметил.

Он оглядел выход, кусты, дорожку. Никого. Отсюда нельзя было забраться наверх и нельзя было спуститься вниз. По крайней мере без лестниц и прочих приспособлений. А это значило, что тот, кто пришел по тоннелю, обратно в тоннель и вернулся. Но он обязательно придет снова и заберет у Саши Белого его собственность.

Саша вернулся к пролому и взгляделся в его непроглядную черноту, пытаясь отогнать нехорошие мысли.

– Эй! – заорал он. – Есть кто? Найду, мало не покажется!

Как обычно от воинственных воплей смелости прибавилось. Он ухватил поудобнее палку и перешагнул остатки стены.

У воронцовского секретаря Иван получил только пару тонких бумажных папок и флешку. В папках были копии пожелтевших протоколов. На них ушло минуты три. Опись конфискованного у старообрядцев имущества (губЧК, 1921 год), запись допросов. (Откуда у вас эта книга? – От деда-прадеда.)

А вот с флешкой пришлось возиться почти до вечера.

Сканы документов, выписки, сохраненные форумы, где среди пустой болтовни приходилось выискивать крупницы информации. Выцветшие фотографии старообрядческих скитов и их застывших рядом хозяев. Блеклые глаза изможденных старцев смотрели на него сквозь время так, что пришлось отвернуться.

Одна из фотографий его заинтересовала. Скорее всего, это был погреб, низкая бревенчатая клеть, совершенно пустая, если не считать стоящей в углу напольной подставки для книги. Есть на ней книга или нет, было не видно. Рядом виднелась окованная железом дверца. Иван вспомнил, что старообрядческие избы часто имели жилые подполья и связывались между собой подземными ходами.

По документам выходило, что конфискованный в Комаровском скиту том «Тайных писаний» («размер 30 на 20 сантиметров, толщина 5 сантиметров, бумага плотная, рыхлая, текст писан вручную, рисунки нанесены в два цвета, красный и черный, десять страниц повреждены влагой и нечитаемы») пропал тогда же, в 1921-м. Его должны

были переправить в архив губкома ВКП(б), но туда он не доехал.

Бергер провел колоссальную работу, собрав выписки из газет, докладов и даже личных писем. И все-таки узнал, что случилось дальше.

Книгу оставил себе один из руководителей губернской чрезвычайки. Неизвестно, зачем она понадобилась товарищу Хахареву. Может, он решил, что она действительно способна вылечить инфлюэнцу, бушевавшую за пару лет до того. Или хотел продать кому подороже, да не смог найти покупателя. Или взял в память о своем прадеде – старообрядце. Книга десятков лет хранилась в особняке губЧК на Малой Покровке. Пока туда не пришел новый хозяин с новой метлой и не вымел половину сотрудников вместе с вещами. В это время она снова исчезла и появилась только во время войны, в личной библиотеке краеведа Илларионова. И здесь она стала причиной таинственных событий и семейных неурядиц.

Жена профессора Илларионова, из письма родственнице: «Витя купил эту книгу на Черном, у старьевщика, и теперь сам не свой ходит. Читает ее день и ночь напролет, пометки делает. Говорит, теперь понимает, что раньше ничего не понимал». В семье книгу называли колдовской, намекали на ее негативное влияние. «Дети от нее болеют», считала теща. Илларионов, атеист до мозга костей, смеялся и называл это бабьими сказками.

То ли теща оказалась сильнее профессора, то ли профессор сделал все пометки и утратил интерес, но книга вновь исчезает. При описи домашней библиотеки 1946 года ее уже нет. На короткое время она возникает в букинистической лавке в конце 1950-х. Ею интересуется областная библиотека для своего отдела рукописей, но, видимо, покупку не одобрило начальство. И она вновь исчезает, чтобы спустя пару десятилетий появиться в руках местного диссидента, который в донесениях КГБ числился под псевдонимом Слюнявый.

«Тайные писания» перепахали Слюнявого. Вместо бегства на Запад и редактирования очередного самиздатовского журнала, он уходит за Волгу, в керженские

леса, в давно покинутый староверческий скит. И там остается.

Сперва Бергер думал, что Слюнявый взял книгу с собой, а значит, искать ее надо там же, в полуразрушенных бревенчатых кельях, затерянных среди лесного бурелома. Но она вновь начинает мелькать в городе. У появившихся кооператоров, на развалах рядом с Домом книги, в магазине «Подписные издания». Потом снова ненадолго исчезает, и Бергер начинает думать, что она вернулась к своим изначальным хозяевам. Но нет. Старообрядческая епархия ничего не знает о «Тайных писаниях» и знать не хочет.

Зато ею интересуется одна из протестантских сект, которые повылезали в 90-е как грибы после дождя. У сектантов не было ни признанного лидера, ни даже названия, а среди наблюдателей их называли «унибаптистами». Долго они не продержались и разбрелись по более удачливым сектам. Но книгу успели спрятать.

Иван даже распечатал последнюю страницу этого файла и теперь вертел в руках лист бумаги с крупными буквами.

Здесь ты найдешь только кровь и боль
Рядом увидишь знаки небес
Если сочтешь то, что прочтешь
В Красной Башне книгу найдешь

Иван вздохнул.

Сектанты 90-х любили пускать пыль в глаза и придумывать плохие стихи. Он поискал информацию об этой секте, фамилии сектантов, но больше ничего не было. Как не было никакой связи с Организацией. Видимо, эти сведения скрывались в голове у Бергера.

– Когда-то здесь был лес, – сказал старик Каргай, прикрыв подслеповатые глазки. – Большой. Древний. Тянулся отсюда и до самого Эрзямаса. Ничего не было. Ни дорог. Ни полей. Только лес.

Усманов слушал его, подперев щеку ладонью.

– И была в лесу хозяйка, – продолжил старик. – Вирьява. Большая. С дерево ростом. А когда один большой лес

превратился в много маленьких, хозяйка леса тоже стала маленькой. Уменьшилась. Теперь она как человек, только на три головы выше. Именно она забрала ашо.

– Кого?

– Ашо. Белого.

Усманов встряхнулся и взял ручку.

– Так. То есть вы, гражданин Каргаев, утверждаете, что эта ваша хозяйка леса похитила Сашу Белого?

Старик мелко закивал.

– Сам видел. Взвалила на плечо и понесла.

– Опишите ее.

Старик помялся.

– Вот тут закавыка. Мать леса голая, одноногая и с грудями через плечо.

– Так.

– А тут я грудей не видел. И ног у нее было две.

– Так, может, это была не мать?

– Мать. Больше некому.

Усманов закатил глаза и выдохнул.

Дверь приоткрылась, и недовольный голос Воеводина произнес:

– Артем. Выйди на минуту.

Усманов с облегчением вылетел в коридор. Воеводин был хмур и в глаза не смотрел

– Ну, что у тебя, – спросил он.

– Безумие. Нашли бомжа по отпечаткам пальцев на сигаретной пачке. Судя по всему, последним убитого видел именно он. Теперь сидит, сказки рассказывает. Бабы лесные и все такое. Фольклор.

– Фольклор? Так, может, он и убил? И идола изготовил?

– Он еле ходит. Руки трясутся. Ноги трясутся.

– Может, притворяется? Среди бомжей такие артисты бывают, любого проведут.

Усманов с сомнением глянул на сидящего в допросной старика.

– Проверь его получше на всякий случай, – сказал Воеводин. – И у меня к тебе дело. Политов пропал. Должен был утром отчет по символам отправить. А теперь не отвечает.

– Да в запой наверняка ушел, – хмыкнул Усманов. – Говорил я вам.

– Нет. На него это не похоже. Пошли кого-нибудь по его адресу. А лучше сам поезжай.

Усманов замотал головой.

– Сам никак не могу. Дел по горло.

– В общем, реши проблему, – Воеводин хлопнул его по плечу.

Мимо них пробежал один из помощников с вытаращенными глазами.

Дальше по коридору вдруг послышался шум, громкие голоса. В приемной забегали люди.

– Эй, – крикнул Воеводин. – Что происходит?

Помощник обернулся.

– У нас еще один труп, товарищ полковник! Только что сообщили!

Пятеро гастарбайтеров стояли кучкой в приемной и шумно разговаривали на своем гортанном наречии, размахивая руками. Двое охранников безуспешно пытались вытеснить их в коридор.

– Что здесь происходит? – громко спросил Воеводин, и гастеры замолчали.

– Вот, – сказал дежурный. – Показания с них сняли. А уходить не хотят. Какую-то защиту требуют.

– Какую еще защиту?

Один из работяг шагнул вперед.

– Алишер фашист убил! – заявил он. – Я знак видел!

– Я ему фото трупа показал, – сказал сзади один из оперов. – Он сперва никак не отреагировал, а теперь вот бунтует.

Воеводин поднял руку.

– Товарищи работники. Успокойтесь. Мы во всем разберемся.

– Я знак видел! – повторил работяга. – Мы все знак видел!

– Я только этому показывал, – сказал опер. Гастеры загомонили, размахивая руками.

– Подождите, – сказал Воеводин. – Вы хотите сказать, что видели этот знак раньше?

Один из них вытащил смартфон, порыскал по экрану и протянул его вперед.

Это была фотография облезлой железной двери, на которой красовалась намалеванная белой краской шестилучевая свастика.

– Наш квартира! – пояснил гастер. – Назад неделя.

– Кто-то нарисовал свастику на двери их квартиры неделю назад, – сказала Маша.

– Алишер фашист убил! – повторил гастер.

– Защита нужен! – сказал другой.

– Думают, что они следующие, – понял опер.

– Найти фашист надо! – сказал гастер. – Ты не найти, начальника, мы сам найти. Собрать люди и найти!

Воеводин примирительно поднял руки.

– Мы всех найдем, не беспокойтесь, – и в сторону: – еще не хватало, чтоб они людей собирали и фашистов шли ловить.

– Аллах акбар!

Удар в живот выбил из легких весь воздух, и теперь он мог только хрипеть. Кулаки у гяура были как гири.

– Аллааа...

В голову тут же прилетело снова, и перед глазами вспыхнули многочисленные звезды. Шухрата отбросило к стенке фургона, и вокруг все задребезжало.

– Полегче, Семеныч, – сказал тот, кто не принимал участие в экзекуции, а спокойно сидел ближе к водителю. – Не довезем еще. Начальство с нас три шкуры спустит.

– Молчи. Ты просто не видел, что эта тварь сделала с девчонкой. – Семеныч протянул лапищу и сграбастал Шухрата за воротник. – Скажем, сопротивление при аресте. Я знаю, что делаю.

Удар в зубы.

– Аллах акбар.

Семеныч сплюнул.

– Ваххабит хренов.

Шухрат Салимов, 18 лет, уроженец Пенджикентского района, совершенно не знал русского языка, хоть и отучился полгода в педагогическом институте.

Поэтому он повторял единственную фразу, которые знали все гяуры от мала до велика.

– Аллаа-ах акбар...

Ботинок Семеныча припечатал его по челюсти.

– Привыкай, урод.

– Слушайте, – повернулся к ним водитель. – У нас, кажется, проблема. Какая-то машина тащится за нами уже минут тридцать. Повторяет все повороты.

– Ну-ка, – Семеныч уткнулся лбом в заднее стекло.

Ночная трасса почти не освещалась. За слепящим дальним светом можно было разглядеть только угловатые контуры прицепившегося сзади автомобиля.

– А ну, тормози. Разберемся, что это за гандоны.

– Не положено, Василий Семеныч, – ответил водитель. – Арестанта же везем.

– Тормози, мать твою. И остальным радируй, они недалеко. Если что, загрузим сюда подельников. Чтобы ваххабит не заскучал.

Фургон сбросил скорость, и тут же преследователь, не сбавляя скорости, ушел вбок, к повороту на соседнюю трассу. Будто что-то почуял.

– Показалось, – с облегчением вздохнул водитель.

– Угу, наверняка, – проворчал Семеныч, провожая взглядом старую цельнометаллическую «Газель».

Битый час они колесили по району, заглядывая во дворы и переулки с частными домами. То ли подозреваемый не так хорошо все помнил визуально, как говорил. То ли водил их за нос.

– Чужой город все-таки, – оправдывал его переводчик. – Он тут всего три месяца. К тому же, говорит, тут что-то не так. Раскопали все. Дороги ремонтируют. Все изменилось.

– За день? – саркастически спросил Усманов.

Шухрат вскрикнул и ткнул пальцем вперед.

– Давайте тут попробуем, – сказал переводчик.

Это был запыленный тупик за очередной неофициальной стоянкой. С одной стороны тянулся бетонный забор какого-то предприятия. С другой – зеленели палисадники с покосившимися деревянными избушками.

Шухрат застыл на дороге, оглядываясь.

Усманов прошелся вокруг минивэна, пиная колеса.

– Долго еще? – спросил его водитель.

– Ты куда-то спешишь?

– Ага, на тот свет. Не хочу пугать, шеф, но, кажется, за нами был хвост. Какая-то обшарпанная «Газель» с грязью вместо знаков. С управления за нами тащилась, как привязанная. Только не думай, что я начитался шпионских романов.

– Ты начитался шпионских романов.

– Кажется, здесь! – подбежал к ним переводчик. – Говорит, такой же забор синий.

– У нас весь город в синих заборах, – вздохнул Усманов. – Пусть дом показывает.

Шухрат закивал.

– Говорит, это чуть дальше, – сказал переводчик.

Они не успели сделать и шага.

Завизжали тормоза, и из-за поворота вылетела «Газель». Развернулась ржаво-грязным боком, перегородив дорогу.

Дверь со скрипом отъехала в сторону, и на асфальт один за другим прыгнули человек десять коренастых бородастых мужиков в камуфляже.

Один из них вышел вперед и обвел всех тусклым взглядом.

– Проклятье, – пробормотал Усманов, на шаривая кобур и делая над собой усилие, чтобы не отступить.

– Ты здесь главный? – спросил человек, в упор глядя на него.

– Следственный комитет. Старший следователь Усманов. Стойте на месте.

Человек шагнул вперед.

– Вижу, ты меня узнал. Стало быть, знаешь, зачем я приехал.

Глеб Родионов мало походил на свои старые фотографии, где он был бритым и молодым. Теперь седая кустистая борода скрывала его лицо буквально до глаз.

Да и остальные слабо напоминали стародавних нацистов в берцах и черной коже. На вид это были скорее охотники или фермеры.

– Ты отдашь мне эту мразь, или я сам ее заберу, – сказал Родионов. Шухрат отскочил назад и прижался спиной к минивэну СК.

– Стойте! – Усманов поднял руку. – Никто никого не заберет. Идет следствие. И, я вас уверяю, гражданин Родионов, виновные в смерти вашей дочери понесут наказание.

– Следствие, – горько усмехнулся тот. – Знаю я ваши следствия. Диаспора занесет твоему начальству, и обезьяна уползет к себе в кишлак, целая и невредимая. Уйди с дороги, не доводи до греха.

Он махнул рукой, и десяток бородачей шагнули вперед.

– Ни с места! – заорал Усманов и выхватил пистолет. – Это нападение на сотрудников следственных органов. Еще шаг, и я буду стрелять.

– Храбрый какой, – усмехнулся Родионов. – Ты знаешь, что будет, если я начну людей собирать? Народных волнений захотел? А? Начальник? Сколько ваших начальственных голов полетит, если к вам в управление толпа придет? А если толпа придет в кремль к губернатору? Как думаешь, кого Москва козлом отпущения назначит?

Светло-голубые глаза Родионова казались безумными.

– Отдай мразь. Всем только хорошо будет.

Усманов медленно опустил руку с пистолетом на уровень его лица.

– Нет.

Родионов устало вздохнул и сразу поник, будто из него выпустили весь воздух.

– Ну, раз так, то будет вам всем бунт, начальник.

Один из камуфлированных сплюнул и прохрипел:

– Их всего пятеро, Глеб. Лучше покончим с этим здесь и сейчас.

Остальные загомонили. Кто-то достал из-за пазухи обрез.

– Не советую, – Усманов перевел ствол на него. – Если вы сейчас развернетесь и уедете, я обещаю оставить ваше правонарушение без последствий.

– Вы слышите? – обернулся к своим Родионов. – Он обещает. А что ты моей дочери пообещаешь, гребаная ты вертикаль власти?

Все разом загомонили, и сквозь этот шум прорезался вдруг визгливый голос Шухрата:

– Аллах акбар!

Бородачи взревели и рванули вперед, взметнув вверх биты и монтировки. Родионов отбросил в сторону вставшего на его пути опера, и что-то орал сбоку водитель, и из-за этого бедлама никто не услышал хлопок выстрела. Просто все вдруг замерли в одно мгновение, замолкли и усталились куда-то за спину Усманова.

Он обернулся.

Шухрат Салимов медленно сползал по борту минивэна. В его лбу зияло черное отверстие, откуда толчками выдавливалась кровь.

Брат Балтазар, судя по всему, хранил верность сектантскому обету молчания. Ольга рассказывала, что встретила его на Покровке, в ряду других непризнанных художников, торгующих вдоль ограды университетского филфака. Видимо, это и был тот самый забор, где можно было купить готовые картины.

Иван посмотрел на часы.

Было воскресенье, десять утра. Самое время для развешивания непризнанных шедевров.

<...>

Воеводин высадил его у арки, напротив ограды.

Иван прошел мимо лотков с деревянными самодельными сувенирами и гипсовыми статуэтками.

В обычные выходные весь забор был увешан картинами всех форм и размеров. На этот раз художников было мало, человек пять. Иван прошелся вдоль ограды, пытаясь определить брата Балтазара по стилю, но не увидел ничего похожего на inferнальные черно-белые рисунки в развалинах. Здесь были в основном натюрморты, туристические виды города и портреты знаменитостей, сделанные с фотографий.

– Вы знаете брата Балтазара? – спросил он у толстяка с длинными седыми волосами, сидящего на складном стуле.

– Немого-то? Кто ж его не знает? За углом глянь.

В тени переулка уличный вернисаж продолжался. За столом с миниатюрами скучала сгорбленная тетка в пуховом платке, накинутом на плечи. На ограде за ее спиной висели в ряд пять картин, одного взгляда на которые Ивану оказалось достаточно.

Здесь не было чудищ и изуродованных людей. Здесь были те же виды города, но нарисованы они были так, что по спине поползли мурашки. Казалось, за теньями этих старых домов и башен таится нечто угрюмое и злобное, готовое выпрыгнуть наружу. Особенно впечатлял Госбанк, в окнах которого виднелись чьи-то вытянутые страдальческие лица. То ли ипотечников, то ли обманутых вкладчиков. Иван даже оглянулся на само здание, стоящее дальше по Покровке, чтобы убедиться, что там никого не видно.

– Своеобразные работы, – сказал он вслух.

– Угу, – откликнулась сгорбленная тетка.

– Я могу поговорить с автором?

Тетка посмотрела на него и водрузила на нос монструозные очки.

– Не можете. По двум причинам. Во-первых, его здесь нет. Полчаса назад ему кто-то позвонил, и он тут же сбежал, бросив на меня свои шедевры. А во-вторых, говорить будете только вы. Он вам не ответит. Он немой.

– Но покупатели же с ним как-то договариваются?

– Понятия не имею. За два года ни разу не видела ни одного покупателя. С трудом представляю человека, который это повесит у себя в доме. Он зачем-то всем раздает визитки с телефоном, может, как-то письменно общается. – Она недобро прищурилась. – А вы хотите это купить?

– Я прицениваюсь.

– А. Ясно. Ценники на картинах. Деньги можно мне. Я передам.

Цены начинались от двадцати тысяч. Брат Балтазар ценил свое искусство выше остальных здешних мастеров.

Иван засмотрелся на Нижегородский кремль и полосы на холмах, которые под определенным углом казались тянущимися из-под земли щупальцами, и не заметил, что теперь рассматривает картины не один.

– Великолепно, – сказал высокий старик в хорошем костюме. – Просто бесподобно. Вы тоже ценитель творчества брата Балтазара?

– Я бы не сказал, что ценитель, – ответил Иван. – Скорее интересующийся.

– Прекрасная работа с цветом, – продолжил старик. – Обратите внимание. Для неискушенного зрителя картина черно-белая, но чем дольше вглядываешься, тем больше переливаются тени, и в какой-то момент начинает казаться, что она цветная. Это какое-то наваждение. Колдовство.

Иван покивал со знанием дела.

– Весь секрет в грунтовке, – сказал старик. – Брат Балтазар в нее что-то добавляет. Тайный ингредиент.

«Кокаин», – подумал Иван и хмыкнул.

– Судя по всему, вы давно знаете брата Балтазара, – сказал он.

– О, уже несколько лет внимательно слежу за его творчеством. А слышал про него и того раньше. Не то что про вас, Иван Петрович. О вашем существовании я узнал только сегодня утром. Прискорбно, не правда ли?

Иван медленно повернулся.

Старик смотрел на него в упор и улыбался. Выглядел он подтянуто и молодо. Седые волосы были уложены идеально. Черный костюм сидел как влитой. Лицо немного портил нос картошкой. К этому лицу и к этому костюму больше подходило что-нибудь длинное, с аристократической горбинкой.

– А, – сказал Иван и снова повернулся к картинам. – Это вас из Москвы прислали. Мне Воеводин рассказал. Предупредил, что можете обратиться. Обращайтесь. Что вас интересует? Символы? Тайнопись?

– Символы нас тоже интересуют. Но во вторую очередь. Если не в десятую. А больше всего нас интересует книга.

– Книга? – удивленно переспросил Иван.

– Именно. Книга, которую вы должны были найти. «Целебник, или Тайные писания». Семнадцатый век, кожаный переплет. Рукопись. Можно сказать, манускрипт. Так получается, Иван Петрович, что вы наш субподрядчик. Раз промежуточное звено между вами и нами недавно

покинуло бренный мир, стало быть, теперь мы работаем напрямую.

– Значит, вы – тот самый московский клиент, который нанял Воронцова найти книгу, – понял Иван.

– Вы удивительно догадливы, Иван Петрович. Мы с вами подружмся.

– Один маленький вопрос. Эта книга – ваш личный интерес? Или это интерес... э-э... вашего места службы?

– А разве есть разница? – улыбнулся старик.

К ним медленно подкатила черная «семерка» БМВ. Оттуда вылез коренастый молодой человек в черном костюме и черных очках и предупредительно открыл заднюю дверь.

– Садитесь, Иван Петрович, – сказал старик. – Побеседуем о делах наших грешных.

– Сто лет назад, в феврале семнадцатого, коммунаки подняли десять тысяч работяг и погнали их из Сормова к кремлю, – сказал Сварожич. – Привели эту толпу на площадь и заставили тогдашних жирдяев выйти к народу и поклониться в ноги. А мы даже сраную тысячу собрать не можем. Ничего этому стаду не надо. Их трахают в хвост и в гриву, а они сидят по углам и маски носят. Быдло.

Он сплюнул.

– Больше тысячи нам и не понадобится, – сказал Глеб.

– Ты точно не хочешь в кремль? – Сварожич глянул с сомнением.

– Бесплезно. Ну придем, поорем, помитингуем, пока автозаки не подъедут. Смысл? Так резонанс будет больше.

– Зато символично. Кремль захватим. Хоть на час.

Глеб посмотрел на старого соратника.

Сварожич был все таким же худым, сутулым как в молодости. С таким же костистым лицом и жестким взглядом стальных глаз. Только седым как лунь.

– Толку от этих символов? – сказал Глеб и стукнул кулаком по водительской перегородке. – Тормози! Приехали.

Сперва они выпустили из головного автобуса молодняк, который тут же цепью перегородил дорогу, не пуская ма-

шины на мост. В то же самое время вторая такая же цепь перегородила другую сторону моста.

Когда последние неистово сигналящие машины были пропущены и мост опустел, десяток старых автобусов развернулись поперек дороги, перегородив въезды в нескольких местах. С грузовиков начали сгружать мешки с песком, наваливая из них баррикады. Потом выволокли и расставили перед автобусами с десяток противотанковых ежей, сваренных за ночь из толстенных балок, чтобы помешать эвакуаторной технике. Все это время толпа бесновалась, размахивая флагами и лозунгами. Отстающие и те, кому не досталось места в автобусах, продолжали стекаться мелкими группами с обеих берегов. В основном тут была фанатская молодежь, но встречалась и старая гвардия.

Спустя десять минут мост был окончательно захвачен.

Фактически это был главный мост города. Самый старый, самый важный.

Даже при наличии трех других мостов, он оставался основной артерией, связывающей заречную часть с центром города. Поэтому пробки с обеих его сторон возникли и выросли за считанные минуты.

От воплей фанатов и гудящих автомобилей разболелась голова. Глеб поймал за рукав одного из десятников.

– Скажи своим, чтобы колеса с автобусов поснимали. Ежи их надолго не задержат.

Тот кивнул и убежал.

– Все будет намного проще, если раздать парням стволы, – буркнул Сварожич. – Ни одна тварь на мост не сунется. Можем тут долго сидеть.

– И всех за день потеряем. Кто в могилу пойдет, кто по этапу. Не тот случай. Без стволов обойдемся.

– Тебе виднее, – Сварожич нахмурился. – Как думаешь, быстро вертухаи среагируют?

– Уже среагировали, – сказал Глеб и кивнул в сторону съезда, где появилась мигающая люстрами полицейская колонна.

В вечерних сумерках мост напоминал сюрреалистическую дискотеку.

Бесновался фанатский молодняк, из гигантских колонок ревел славянский треш-метал, мигали фары и носились по небу лучи прожекторов.

У автобусов, ближе к съезду с моста, бродили, сидели и стояли серьезные люди в камуфляже, не участвующие в веселье. Старая гвардия.

Воеводин опустил бинокль.

— Чего они хотят?

Спец из группы переговорщиков хмыкнул.

— Во-первых, они заявили о выходе из состава Российской Федерации.

Воеводин медленно повернулся.

— Чего?

— Этот мост теперь не просто мост. Это теперь Независимое государство Русский Мост. Их главный лозунг — «Жизни русских важны». Короче, обезьянничают. Американским неграм подражают. Тоже мне, националисты.

— Ясно.

Воеводин снова поднял бинокль и поискал Глеба Родионова, но того нигде не было видно.

— Кто с тобой разговаривал?

— Какие-то трое хмырей. Средних лет. Мы их сейчас идентифицируем. Требования у них стандартные, как на любом русском марше. Выгнать всех мигрантов, посадить богатых жидов, передать власть русскому народу... — Он замялся. — А, ну и еще. Провести компетентное расследование убийства Дарины Родионовой и передать убийцу им в руки. Телевизионщики где-то раскопали ее историю, и теперь бедная девочка по всем федеральным каналам. А в соцсетях все обмусоливают, что убийца ее назвал «русской рабыней».

— Проклятье!

— Короче, у вас в конторе утечка. Кому-то очень хочется, чтобы это все разгорелось. И да. Хмыри предупредили, что у них весь транспорт нашпигован взрывчаткой. Так что, если мы сунемся на мост, они его взорвут к чертям собачьим. Вместе со всей этой толпой придурков, которые отправятся прямиком к гуриям в Валгаллу или куда там русские националисты отправляются.

– Понятно. Твое мнение?

Переговорщик почесал бровь.

– Мнение мое ясно как пень. Мы тут с вами сделать ничего не можем. Скоро сюда из своих особняков сбежится все областное начальство. А через два часа прибудет борт из Москвы. Так что наше с вами дело маленькое. Время тянуть. Ну и район изолировать на всякий случай. А то кто его знает. Не мне вас учить.

Воеводин коротко кивнул. Зеваки и футбольные фанаты продолжали стекаться к мосту со всех концов города. Оцепление уже не справлялось, и пришлось стягивать подкрепление из других районов, чтобы отсекал людей на подступах.

– Мне одно непонятно, – тихо сказал Усманов, и Воеводин повернулся к нему. – Он же знает, что мигранты ни при чем. Зачем ему понадобился весь этот цирк?

– Его дочь убили, – пожал плечами Воеводин. – Хочет оказать давление на следствие. Заставить нас шевелиться. Что тут еще может быть? А если он расскажет про носатого маньяка, кто из нациков ему поверит?

– Думаю, не все так просто. Я с вашего позволения проверю кое-что.

Воеводин буркнул «валяй», и Усманов ушел, петляя между полицейскими машинами.

Теперь из колонок доносился невнятный рэп, и весь молодняк на мосту синхронно прыгал, невпопад повторяя речовки.

– Прыгунов нам только не хватало, – пробормотал Воеводин. – Майдан хренов.

Зашипела рация.

– Первый. Это пост девять. Первый, ответьте.

Воеводин поднял рацию.

– Это первый. Что там у вас?

– Проблема. Толпа прорвала оцепление.

– Что за толпа? Откуда? Большая?

– Несколько сотен. Сложно посчитать. Скоро будет у вас. Стягивайте людей. Иначе...

Шипение. Триск.

– Пост девять! Повторите! Глухо.

Воеводин оглянулся, увидел омоновского лейтенанта, поднял руку.

— К прыгунам подкрепление с Горького прется. Берите всех свободных и перекрывайте съезд! Срочно!

Лейтенант молча кивнул и опустил щиток шлема.

Толпа на мосту вдруг взревела громче. Колонки захрипели, повышая громкость до разрывающего перепонки визга, и сквозь этот визг Воеводин скорее почувствовал, чем услышал выстрел.

Усманов неся к нему со стороны развязки, перепрыгивая через блоки ограждения.

— Лажа! Это лажа, Александр Владимирович! Родионов внизу! Под мостом! Они уходят!

Снизу взревели двигатели. Воеводин бросился к ограде и едва успел увидеть, как из-под моста вдруг вынеслись один за другим пять мотоциклов, взлетели по бетонным плитам к развилке и вмиг унеслись вдоль берега, туда, где никого не было и не горели фонари.

— Вся эта хрень для отвода глаз! — бушевал Усманов. — Чтобы мы всех сюда стянули! А он в это время...

— Что?

— Да кто его знает, что! Они под мостом по фермам пробрались, Родионов и с ним человек восемь. А мотоциклы, видимо, заранее спрятали. Я стрелял, но...

— Живо за ним.

— Есть.

Усманов прыгнул в машину и рванул с места.

Воеводин озибался по сторонам, лихорадочно прикидывая, что делать дальше. Молодняк на мосту все так же плясал, и все так же бродили у автобусов бородачи в камуфляже.

Переговорщик деликатно кашлянул рядом и указал в сторону съезда.

— Кажется вот оно, их подкрепление.

Там, метрах в ста, где зажатая между холмами дорога делала поворот и уходила в гору, постепенно скапливалась темная людская масса. Между ней и мостом оставалась лишь редкая цепь из дюжины омоновцев.

— Что-то они мало похожи на подкрепление, — сказал переговорщик. — А если и подкрепление, то явно не для нациков.

Воеводин похолодел.

Темная масса вновь прибывших заволновалась и медленно двинулась к мосту.

Один из них поднял зажатую в кулаке арматуру и заорал:
– Аллах акбар!

И тогда темная масса взревела и бросилась вперед.

Их было слишком много.

Толпа гастеров казалась неорганизованной. Точнее, это была даже не толпа, а разрозненные кучки, человек по десять-пятнадцать. Они просачивались сквозь редкую цепь омоновцев, обходили заграждения и вгрызались в ряды фанатского молодняка, размахивая дубинками и арматурой. Над мостом неслись нескончаемые вопли, рёв и скрежет железа. Били по всему, что попадалось под руку, по автобусам, стеклам, даже по противотанковым ежам, хоть это было и бесполезно.

Пару раз хлопали пистолетные выстрелы, и тогда драка становилась совсем остервенелой. Покалеченные отползали сами. Кого-то отволакивали за руки.

– Плохо дело, – лейтенант прислонился к борту микроавтобуса и снял шлем.

– Что там? – не оборачиваясь спросил Воеводин.

– Выцепили из толпы двух особо разговорчивых. Короче, сегодня утром на какой-то стройке бытовку подожгли. И дверь заблокировали. Пятеро строителей сгорело. А на асфальте перед бытовкой свастику намалевали.

– Вранье. В сводке ничего похожего. Пожар на стройке был, но без жертв.

– Это мы с вами знаем. А они не знают. С утра их кто-то баламутить начал. Они и собрались. А тут услышали про нациков на мосту. Ну и вот...

С моста донесся грохот. Один из автобусов накренился и рухнул на бок, разбрызгивая по асфальту стекла. Какой-то гастер забрался наверх и стал прыгать, размахивая черной футболкой. Его стащили за ноги, приложив о железо.

За гастерами была численность. За фанатами организованность и безбашенность. Какой-то бугай в татуировках

взял метровое полено и стал охаживать всех без разбора направо и налево, прокладывая тропинку.

– Нелогично все это, – пробормотал Воеводин. – Мы же их теперь из страны погоним. Работу потеряют.

– Я вам больше скажу, – проговорил лейтенант. – Один из тех двух признался, что его из Кирова привезли. На автобусе. Его и еще пару десятков. И автобус был не один. Кто-то к сегодняшнему дню хорошо подготовился.

– Выявляйте организаторов. Выцарапывайте из толпы.

– Так в том-то и дело, что их здесь нет. Ни десятников, ни организаторов. Броуновское движение какое-то. Натравили и свалили.

Сквозь вопли и лязг прорвалось урчание двигателей, и из-за поворота один за другим стали появляться черные броневики Росгвардии.

– Наконец-то, – сказал лейтенант, снова напялил шлем и побежал к своим омовцам.

Дюжина броневиков разъехались по площади, перегородив все съезды.

Следом появились автобусы, остановились поодаль и выпустили росгвардейцев, которые быстро оттеснили оставших гастеров назад, а потом выстроились плотной цепью перед мостом, выставив пластиковые щиты.

Сверху ударил стрекот вертолетных винтов, и рядом с мостом завис росгвардейский Ми-8 «Терминатор». Громко взвыла система оповещения.

– Внимание, граждане дерущиеся! – хрипло заявил усиленный мегафоном голос. – Убедительная просьба сложить палки, дубинки и прочие опасные предметы. После чего сесть на землю и сложить руки за головой.

Граждане дерущиеся на мгновение притихли, покрутили головами, кто-то тут же воспользовался ситуацией, и драка возобновилась с новой силой.

– Ну, раз не хотите присесть, значит, будете лежать, – пообещал вертолетный мегафон.

«Терминатор» развернулся к мосту боком, в открытый люк просунулось толстенное дуло пулемета и разродилось длинной очередью. Трассеры наглядно прошли над головами, заставляя всех броситься на асфальт.

– Ну то-то же, – сказал мегафон.

Цепь росгвардейцев медленно двинулась вперед, приступая к зачистке.

Вертолет лихо сиганул в сторону, к свободному пространству между двумя броневиками.

Когда винты остановились, из люка прыгнул человек в штатском и направился к Воеводину.

Остановился, насмешливо его разглядывая.

– Ну? Я ж говорил, мы еще встретимся. А ты не верил.

Подполковник Кравец, сменивший льняной костюм на полевую форму, раскрыл папку и достал какие-то бумаги.

– Извини, Александр Владимирович, – сказал он, – но теперь это моя делянка. Москва решила, что следком с делом не справился. С этой минуты я здесь главный. Вот полномочия. Ознакомься.

Допрос 4

– Я нашел ее два года назад. Убедил поселиться у меня. Перед этим долго искал. О ней ходили легенды.

– *Легенды? Какого рода?*

– Божьих мастеров мало. Едва ли пара десятков человек наберется. Она – одна из лучших. Под ее резцом дерево оживает.

– *Божьи мастера – это изготовители идолов?*

– Это для вас они идолы. Для нас они боги. Боги живут в каждом своем изображении. Чем больше в дереве жизни – тем сильнее бог.

– *Хорошо. Сейчас вы опишите ее внешность. Как можно более подробно. На основании ваших слов мы составим фоторобот. Постарайтесь вспомнить какие-нибудь особенности. Приметы.*

(Смех.)

– Бесплезно. С этим я вам не помогу.

– *Почему?*

– Я не видел никаких примет. И никогда не видел ее лица.

(Молчание.)

– *Поясните.*

– Это своего рода обет. Человек, творящий богов, не может иметь своего лица. Ее лицо – это лица всех тех богов, которых она создавала. Ее лицо было всегда скрыто. Чаще – чем-то вроде паранджи. Знаете, такого покрывала с сеткой, как у арабов. Иногда маской.

– *Иногда краской.*

– Что? Да. Иногда краской. Но это только во время работы.

– *Ну хоть имя ее вы знаете?*

– Смотря какое. Себя она называла Божьей Странницей. Вряд ли вам это имя поможет. А паспорт я у нее не спрашивал.

(Молчание.)

– *Давайте подытожим. Два года у вас на ферме жила женщина, лица которой вы не видели и имени которой вы не знаете. Мне это кажется странным. А вам?*

– Она человек Родной Веры. По крайней мере я так считал. Мне этого было достаточно.

– *С чего вы взяли? Может, она наплела вам с три короба. А по дереву научилась вырезать в кружке «Умелые руки».*

– У нас был ритуал первого знакомства. Я не могу сказать, в чем он заключается. Но я видел знаки на ее плечах.

– *Что за знаки?*

– Вот такие.

(Шорох, молчание.)

– *Для протокола: подозреваемый снял рубашку и показал татуировки. Изображения прилагаются.*

(Несколько щелчков фотоаппарата.)

– Это не татуировки. Это знаки богов. Содранная и выжженная кожа. Славянские руны, нанесенные железом и огнем. А не иголкой и краской. Они говорят, что их обладатель – посвященный верхней ступени. Волхв. Наши предки по знакам определяли, кто перед ними. Отсюда и само слово – знакомство.

– *Ну вот. А говорите, никаких примет. Такое... украшение – всем приметам примета. Знаки на ее плечах были в точности такими же, как у вас?*

– Нет. Они индивидуальны. Но основные – те же самые, как у любого волхва.

– Разве женщины могут быть волхвами? Это же вроде мужская профессия. Посох, белая длинная борода.

– Женщины могут быть кем угодно. Мы не христиане и не считаем женщин низшими существами.

– Это радует. Идете в ногу со временем. Давайте вернемся к нападению на НИЦ «Этногенез». Когда вы поняли, что ошиблись?

– Когда увидел вывеску «корпус № 2». Я не знал, что у них два корпуса. Знал только название конторы, которой они прикрываются.

– Откуда?

– В мешке, который они мне напялили на голову, была маленькая дыра. Обычно она была прикрыта складками, но пару раз открывалась. Я успел заметить стенд с этим названием.

– Что за люди с вами разговаривали? Вы их видели?

– Эти ублюдки были в масках.

– Эти ублюдки вам сильно помогли с делами. Вот финансовая сводка по вашей организации. Полгода назад вы были почти банкротом. А потом внезапно кто-то решил ваши проблемы с налоговой. Помог с контрактами.

– Возможности у них большие.

– А потом?

– Они сказали, что за все надо платить. Сказали что-то о жертве, которую должен принести каждый. Я тогда не обратил внимания.

– И оказалось, что жертва – ваша дочь? Так вы решили? Посмотрите еще раз на снимки. Это – кадры скрытой камеры, установленной в вашей мастерской. Вот ваш божий мастер. Вот ваша убитая дочь. При чем здесь НИЦ «Этногенез»? Вы видели эту запись? Это вы установили камеру?

– Я не устанавливал никаких камер! Творение богов – таинство. Наблюдать за ним – оскорбление.

(Молчание.)

– Эта тварь заодно с ними. Я знаю. Наверное, они ей заплатили. Или еще что. Но она точно заодно. Найдите ее. Найдите первый корпус. Найдите уродов. Или, я клянусь, выберусь отсюда и сожгу все дотла.

Взлетное поле аэродрома Стригино было совершенно пустым, и только рядом с первым терминалом стоял недавно прилетевший бизнес-джет «Гольфстрим», покрашенный в сине-красные цвета.

Стоял он уже полчаса.

– Чего он ждет? – спросил Усманов. Он не любил терять время.

– Скоро узнаем, – сказал генерал и достал маленькую коробочку. – Витаминку хочешь?

– Нет, спасибо.

– О! Смотри. Еще один.

На посадку заходил остроносый белый «Эмбрайер».

– Вы мне так и не сказали, кого ждете, – сказал Усманов. – Или это не моего ума дело?

– Раз ты здесь, стало быть, твоего. Мы ждем кураторов. Людей, финансирующих наши проекты. Сегодня они увидят, каких успехов мы с тобой добились.

– Кто они?

– Большие люди с большими деньгами. Фамилии ты их никогда не слышал. Они не из тех бизнесменов, которые светят морду лица в телевизоре.

– Я думал, ваши кураторы не с большими деньгами, а с большими московскими кабинетами.

Генерал рассмеялся.

– Одно другому не мешает. Всегда есть возможность подработать. У тебя она тоже будет... Смотри. Третий.

На взлетно-посадочную полосу опустился ярко-зеленый «Фалькон» с арабской вязью на хвосте и покатил к зданию аэропорта.

Четвертый бизнес-джет появился спустя три минуты. Потом был пятый, шестой и, наконец седьмой.

Семь маленьких остроносых самолетов стояли в ряд рядом с первым терминалом.

– Ну вот, – сказал генерал и потер ладони. – Они все в сборе. Можешь гордиться, капитан. Нашу с тобой программу ведут целых семеро кураторов из разных стран мира. Обычно одного назначают.

– И что это значит?

– Что наша с тобой деятельность очень важна для мирового сообщества.

Усманов хотел было сказать, что присяга не имеет никакого отношения к мировому сообществу, и прямо спросить генерала, кому тот служит. Но промолчал.

Трапы опустились почти одновременно.

Сперва по ним сбежали секьюрити. Проверили окрестности, осмотрели ближайшие углы и двери.

Затем вышли люди в хороших костюмах, по три-четыре на каждый самолет. Наверно, это были юристы, советники и прочие топ-менеджеры или кого там возят на своих самолетах миллиардеры.

И только потом появились кураторы. Разношерстная публика. Кто в костюме, кто в трениках, кто в шортах и майке. За каждым следовали секретари с личными помощниками. У троих это были длинноногие девицы с папочками в руках. Еще у двоих – молодые люди в очках и цветастых шарфиках. Шестого, пузатого дядечку в льняном костюме, сопровождала объемистая дама в летах, видно, опытная секретарша. Седьмым куратором был какой-то арабский шейх в белом бурнусе. За ним следовало существо непонятного пола, завернутое с головы до пят в серые тряпки. В руке у существа был объемистый портфель.

Кураторы встретились у первого самолета, оставив обслугу в стороне. Перекинулись парой слов, не здороваясь.

Усманов даже издали почувствовал, что кураторы друг друга недолюбливают.

– Ну что, – спросил генерал. – Готов к встрече с сильными мира сего?

Усманов хотел было сказать, что не готов и вообще непонятно, что он здесь делает, и зачем ему эти напыщенные денежные мешки. Но только кивнул в ответ.

В конце концов, раз уж встрял в тему, надо идти до конца.

Кураторы тем временем, закончили короткие переговоры и один за другим потянулись к терминалу, держась друг от друга на почтительном расстоянии.

Толпа обслуги двинулась следом.

Допрос 7

— Скажите, гражданин Родионов, зачем вы открыли детский дом? У вас ни педагогического образования, ни навыков. Ни даже особого желания возиться с детьми. В вашем до-
сье сказано, что детей вы иначе как спиногрызами и личинками и не называли. Откуда такой внезапный интерес?

— От размышлений. Дети — это будущее нации. Сейчас ими занимается только либерда и педерасты. Мы проигрываем битву за мозги молодняка. Любой националист с головой на плечах должен понимать, что главная работа заключается не в том, чтобы выпускать газетенки и бить нацменов. Главное — это будущие поколения. Я это понял и решил попробовать.

— И сосредоточились на детях с отклонениями или, как сейчас говорят, с особенностями развития?

— Да говорите прямо, ненавижу это западное лицемерное говно. У меня были дауны, шизофреники, олигофрены, просто агрессивные и депрессивные. Всякие.

Национализм как идея не терпит отклонений. Нация должна быть здоровой и чистой. Это аксиома. Отклонения можно уничтожить, как проповедовал тот же Гитлер. Или лечить. Я пытался лечить.

— Не слышал, чтобы даунизм лечился.

— Вы много не слышали. Существует экспериментальное лечение.

— Вы про лаборатории «Медтеха»?

— Да. Вы не представляете, на что они были способны. На моих глазах ребенок, который всю жизнь был идиотом и не мог связать пары слов, начинал общаться вполне сносно для своего возраста. Они поднимали на ноги колясочников. Лечили шизофреников. Не удивился, если и даунов бы излечили.

(Шуршание бумаг.)

— Для протокола. Подозреваемому показывают фотографию мальчика примерно пяти лет. Вы узнаете его?

— Да. Это Коля Романов. Воспитанник нашего детского дома.

— Что с ним случилось?

— Он сбежал. Был пойман бандой малолетних мигрантов. Избит и изнасилован.

– *Как вы отреагировали на этот случай?*

– Как нормальный гражданин. Написал заявление вам, господу полицаи. Но пришла диаспора и занесла вам деньги. Поэтому искать ублюдков вы не стали и даже дело не завели.

– *Разговор записывается, гражданин Родионов. Ваши бездоказательные обвинения могут сыграть вам плохую службу.*

– Ну да, конечно. Короче, после того как я понял, что на полицию надежды нет, я решил вопрос своими силами.

– *Это как?*

– Мои люди нашли всех этих мразей и кастрировали. Одного пришлось снимать с поезда Москва–Ташкент.

– *Вы понимаете, что признаетесь в совершении преступления?*

– Ага, только у вас потерпевших нет. Они сидят в киш-лаках и подставляют зады своим более везучим собратьям. Лишь бы дырка была. Впрочем, нет. Я немного преувеличил. До одной твари мы тогда не добрались. Он успел сбежать в кишлак и там отсидеться. Судя по визгам кастратов, именно он предложил поглумиться над ребенком.

(Шуршание бумаг.)

– *Для протокола. Подозреваемому показывают фотографию Алишера Эльмуродова, жертвы № 2. Узнаете этого человека?*

– Ну, тогда ему было лет семнадцать, но да. Это он. Судя по дохлому виду, награда нашла героя?

– *Вернемся к случаю с вашим воспитанником. Когда вы поняли, что ребенку нанесена физическая и психическая травма, что вы сделали?*

– Отправил на реабилитацию в «Медтех». Там были программы для жертв насилия.

– *И каковы были успехи?*

– Не знаю. Вряд ли они были, эти успехи. С одной стороны, пять лет, ничего не понимает. А с другой, если совсем честно, я вообще не верю в реабилитацию жертв насилия. У них мозги набекрень, особенно пацанов. Бабам проще, пассивность – их природное назначение. А тут... Он уже дырявый, пацан. Куда ему? Такие идут в шлюхи,

приживалы к старым педерастам. Или сами начинают отыгрываться и насиловать. Человеческий шлак. Да, это больше их трагедия, а не вина. Но для будущего нации это роли не играет.

– Хотите сказать, в отношении таких следует поступать по заветам дедушки Гитлера?

– Не передергивайте.

– Давайте я вам расскажу, что было с мальчиком потом, раз не знаете.

Вы правы, программа не сработала. Поэтому специалисты «Медтеха» сделали то, что всегда делали в подобных случаях. Они вырезали у мальчика все годные для продажи органы, а что осталось – выбросили в подполье, куда выбрасывали трупы всех подобных неудачников. И где их недавно нашли наши сотрудники. Возможно, среди тех останков есть и другие ваши воспитанники. А, гражданин Родионов? Сколько детей вы отправили в «Медтех» на реабилитацию, прежде чем власти закрыли вашу конторку? Сколько из них вернулось? Вы знаете?

(Молчание.)

– Это еще не все. Мать мальчика потратила десять лет жизни, чтобы подготовить свою месть. Она втерлась к вам в доверие под именем Божьей Странницы. После чего отрубила голову сторожу, который продал ее сына за бутылку водки. Казнила главного насильника. А потом пришел ваш черед.

Точнее, вашей двенадцатилетней дочери. Она приказала сломать ей шею. Цепью. Сперва я не понимал, почему дочь, а не вы. Но логика в этом есть. Дочь за сына. Ребенок за ребенка. Хочу, чтобы вы поняли – именно в тот момент, когда вы отправили в «Медтех» покалеченного мальчишку – вы подписали смертный приговор своей дочери.

Аудиозапись с камеры оперативного наблюдения. Локация – отель «Шератон». Перевод с английского.

– Я не понимаю, зачем нас привезли в эту дыру? Нельзя было устроить испытания где-нибудь поближе к Европе?

– Насколько знаю, было распоряжение с самого верха. Вроде бы русские поставили такое условие. Где изобрели, там и пробуем.

– Здесь нет элементарного оборудования. Отсюда все вывезли. Мы не сможем сделать анализ.

– Анализ мы сделаем позже. Лично я смотрю на это не как на испытания. А как на демонстрацию возможностей. Сегодня нам покажут то, о чем твердили пять лет. А уж потом мы все разложим по полочкам. Когда получим на руки формулы, расшифровку и подопытных. Наберитесь терпения, коллега.

– Вы же знаете, я перфекционист. Должно быть все правильно. А это больше похоже на мистификацию. Как я без оборудования узнаю, что увиденное – реальность, а не клоунада?

– Не думаю, что русским есть смысл врать. Их и так чуть не погнали из консорциума ссаными тряпками. Сегодня у них будет шанс реабилитироваться.

– А вы уверены, что им нужен этот шанс? У них же здесь режим осажденной крепости. И это... как его... импортозамещение.

– Ну, дорогой мой. Не путайте правительство и большой бизнес. Это все риторика. Здесь, как и в любом другом государстве, уже все решено. Это как мертвец. Он еще дрыгает конечностями и выпускает газы. Но его уже нет. Так и любое государство. Оно может бряцать оружием и собирать налоги. Но его суть, люди, которые принимают решения, уже давно ему не принадлежат.

– Проблема в том, что в России не знаешь, где кончается большой бизнес и начинается правительство. Это сиамские близнецы. Причем один гораздо больше и жрет в три горла. И это не бизнес. Советую вам это учитывать при анализе.

– Как скажете, дорогой друг. Как скажете.

Их так и не представили.

«Зачем тебе их имена? – раздраженно прошептал генерал. – Они с тобой все равно разговаривать не будут».

И точно. Столкнувшись пару раз в отеле, Усманов понял, что кураторы смотрят на него, как на пустое место. Впрочем, так же они смотрели и на всех остальных, от горничных до собственных помощников.

Поэтому, чтобы различать, он им всем раздал кликухи, как делал в свое время «на земле», работая с незнакомыми бандами.

Сухошавый седой американец в шортах, майке и с лошадиной челюстью стал Джоном.

Пузатый немец в очках – Гансом. Француз в шарфике – Полем.

Похожий на наркобарона латиноамериканец с увесистыми перстнями и в цветастой рубаше – Пабло.

Улыбающийся китаец с жестким взглядом узких глаз – Мао. Хотя он наверняка не был членом коммунистической партии, а был гонконгским бизнесменом, сделавшим состояние на дешевых смартфонах.

Над кликухой араба в бурнуса долго думать совсем не пришлось. Мухаммед. С вероятностью в 90% его так и звали.

Единственный русский среди кураторов получил прозвище Славик. Это был красномордый увалень, разменявший полтинник. Наверняка любитель охоты, рыбалки, бани и жопастых девок.

Было около десяти утра, когда к подъезду отеля подкатили три длинных лимузина.

Кураторы загрузились в них вместе со своими секретаршами и помощниками. Усманов немного удивился, когда увидел, что двое импозантных молодых людей явно нетрадиционной ориентации сопровождают не француза Поля, как можно было подумать, а американца Джона и наркобарона Пабло. Рядом с Полем была классическая француженка с забранными в пучок волосами и ярким большим ртом. Из чего Усманов сделал вывод, что модные тенденции поразили Новый Свет намного сильнее Старого.

– Ну что, – повернулся к нему генерал. – Полигон нас ждет.

– Думаю, что победят салатовые, – меланхолично сказал американец Джон. – У них преимущество в вооружении.

– Зато у фиолетовых выгоднее позиция, – возразил Ганс. – Кстати, генерал. Почему выбрали такие странные цвета для команд? Нельзя было что-нибудь классическое, да попроче?

Генерал выслушал переводчика и развел руками.

– Увы, нельзя. Мы долго выбирали. Белый, черный, желтый отмели сразу, как связанные с расами. Коричневый тоже. Красный и зеленый отпали из-за политики. Голубой с розовым – из-за толерантности. Остались только оттенки. Выбрали самые безобидные. Так что...

Внизу гроыхнуло. Да так что затряслось бронированное стекло. Рой осколков забарабанил по стенам.

Когда дым рассеялся, стало видно, что один из фиолетовых дотов уничтожен. Рядом лежали три изуродованных взрывом трупа в фиолетовой форме. Пятеро салатовых спецназовца продвигались дальше, поливая огнем стены. С шипением прилетела мини-ракета, и один из салатовых разлетелся на куски.

Другие поспешили залечь в траншеи.

– И все-таки я не понимаю, – проворчал Джон. – Зачем переводить столько человеческого материала? Этих солдат вы могли использовать более разумным способом. Это все ваша русская любовь к пушечному мясу.

– А как же демонстрация? – возразил генерал. – Нам для дорогих гостей ничего не жалко. Как еще показать наши новые достижения в области контроля над личностью?

– Этим достижениям лет десять. Старье. Сколько времени занимает подготовка?

– Три года. После этого человек начинает подчиняться приказам беспрекословно. Вплоть до отключения инстинкта самосохранения.

– Ну, у нас чуть дольше, – сказал Джон. – Но принципиально ничего нового. И потом. Что это за дамы? Вон там.

Он показал в дальний угол сектора, где под прозрачным куполом стояли четыре полуголые девицы. Одна из них лениво крутилась на шесте. Остальные наблюдали

за битвой и время от времени начинали подпрыгивать и хлопать в ладоши.

– Это? – спросил генерал. – Тоже подопытные. Увеличенная сексуальная привлекательность, усиленные феромоны, модифицированные мышцы влагалища. Они здесь в качестве своего рода награды. Та команда, которая выигрывает бой, получит их на время в пользование.

Джон покачал головой.

– Вы, русские, отсталый варварский народ! То, что вы говорите, это объективация женщин. Так нельзя!

– Не, мужик, – встрял красномордый Славик. – Это не объективация. Объективация баб вон там, – он показал на следующий сектор, где клубился дым и горели красные фонари. – А это – трофей!

– Какая еще объективация, – добавил немец. – Вы, американцы, со своим лицемерием вконец одурели. Все подопытные в наших лабораториях и без всякой объективации фактически рабы. Что, у вас как-то по-другому?

– Женщины у нас имеют преференции, – сухо сказал Джон. – Также как некоторые другие группы населения. Это прогрессивно.

Салатовые внизу тем временем уже добивали гранатами последний фиолетовый дот.

– Тут все ясно, – сказал генерал. – На выходе вам раздают материалы о подготовке, характеристиках подчинения, список использованных препаратов и какие части головного мозга были модифицированы. Пройдемте дальше.

– Поростите, – на ломаном русском сказал вдруг Мао. – Вы нам ние сообщили, откуда подопытные. Здешний филиал давно закорыт.

– Из московской лаборатории, – ответил генерал. – Она продолжает работать на полную мощность.

– В общем, – подытожил Джон. – Я не увидел пока ничего необычного.

– Еще не вечер! – хохотнул Славик.

– Этот филиал, – встрял Мухаммед. – Который тут был. Я читал досье. Он же на детях специализировался. И говорят, вы нашли его отчет. Его тоже раздадут на выходе?

– Выжимки, – ответил генерал. – Не весь.
– Это важно, – продолжил Мухаммед. – Контроль и модификация детского организма для нас большая тема.
– Пойдемте уже дальше, – раздраженно сказал Джон. – Все переговоры – на обсуждении.

Усманов переводил взгляд с одного куратора на другого, потом смотрел вниз, на два десятка искалеченных трупов в фиолетовой и салатовой форме. Он должен был что-то сделать. Или хотя бы сказать. Но все это походило на сюрреалистический кошмар, где сделать бы все равно ничего не получилось.

На ночь Нижегородский кремль обычно закрывали, и он превращался в пустую крепость-призрак, где горели тусклые фонари, чернели оконные дыры административных зданий и жил только ветер, налетающий с Откоса.

Крепостные стены огораживали довольно большое пространство в 22 гектара, чуть меньше его московского собрата. Весь север этого пространства представлял собой пустырь, заросший бурьяном, кустарником и редкими деревьями. Здесь не было ни домов, ни церквей, ни фонарей, ни достопримечательностей. Люди сюда даже днем редко забредали.

Она откинула пласт травянистого дерна, под которым прятался тайник. Вытащила ручной садовый бур, несколько сумок и двухметровую, свежеизготовленную Мару, завернутую в тряпки. Все это она привезла еще накануне, договорившись с таксистом, который за пару тысяч согласился не задавать лишних вопросов и подвести странную пассажирку прямо к стене, под которой прятался узкий лаз.

Травянистый пригорок находился аккурат между Зачатьевской башней, которую в летописях называли Белой, башней любви и зарождения жизни, и Борисоглебской. Башней трагической гибели, предательства и крови. Лучшего места для Мары было не сыскать.

Бур легко вспорол мягкую землю, выпростал на траву глинистые внутренности.

Когда глубина и ширина земляной вагины показалась ей достаточной, она подняла Мару и осторожно опустила. Столб вошел в отверстие как влитой.

Тряпье упало к ногам, обнажив деревянное тело.

Мара, богиня смерти, колдовства и справедливости, смотрела на нее огромными глазами, и в этих глазах было что-то смутно знакомое.

Она отошла на пару шагов, чтобы получше разглядеть собственное творение.

Это был шедевр. Богиня казалась живой. Ее глаза обещали гибель, полные губы готовились произнести приговор, а тело хотело любви. У нее был только один недостаток. Ее лицо было человеческим. Обычно боги так не выглядели.

Она не помнила, почему так получилось. Боги рождались в трансе и клубах дыма от сожженных чародейских трав. И любой их недостаток имел значение.

Со стороны налетел холодный ветер, и она поежилась.

Ее покрытое белым ведовским составом обнаженное тело уже давно отвыкло от таинств. Свежие шрамы горели и до сих пор кровоточили. Теперь знаки волхвов покрывали не только плечи, живот и груди. Витиеватые красные узоры тянулись по ногам и заходили на внутреннюю поверхность бедер. Там можно было разглядеть вереницы пленников, трупы врагов и сожженные города. Такие же знаки тянулись по всему телу Мары, превращаясь то в рубленые руны, то в тайнописную вязь.

Она шагнула к идолу, провела ладонью по деревянному лицу и прошептала:

– Сегодня ты умрешь, богиня.

Мара не ответила. Она продолжала улыбаться.

Первым из сумки был извлечен толстенный пухлый том древней рукописи.

«Целебник, или Тайное писание» она положила богине в ноги, раскрыв на странице с подорожником и болиголовом.

Высыпала рядом распечатки с начальными расшифровками. Положила с десятков твердотельных накопителей, на которых хранилась вся документация по модификато-

ру. Добавила флешек, с которыми не успела разобраться. Пробирок с перламутровой жидкостью и контейнер с основой для химреакции.

Облила приготовленное пиршество из канистры.

И достала список «Наследия» тридцатилетней давности.

– Прощай, – сказала и щелкнула зажигалкой.

Ключ к шифру вспыхнул и спланировал вниз.

Гудящее пламя за мгновение объяло богиню и поднялось до небес. Внизу плавился пластик и скукоживалась бумага. На чернеющих листах «Целебника» проявились колонки белых цифр и тут же рассыпались в прах.

Огонь лизал Мару, как любовник, заставляя ее плакать смолой и стонать. Он становился все плотнее, стирал ее руны, тайнопись и символы. Пожирал ее тело, как древний андрофаг. Добрался до сгустков смолы и вспыхнул с новой силой.

Покрыл ее лицо дрожащим маревом, и тогда оно и в самом деле ожило.

Глаза распахнулись и в них уже не было обещания смерти, а был только страх. Губы приоткрылись, и в них почудилась беззвучная мольба о помощи.

Ее шатнуло.

Она узнала это лицо.

Сквозь пламя на нее смотрела и умирала четырнадцатилетняя Оля. Кукольное личико с пухлыми вечно улыбающимися губками и наивными миндалевидными глазами.

Она медленно отступала от горящего идола. Огонь становился все сильнее, он уже перешел на россыпь валяющихся по соседству веток, когда сзади вдруг замигали синие и красные огни, и реальность ворвалась в языческую мифологию.

– Эй, гражданочка! Что это вы тут делаете?!

Она присела от испуга.

– И почему в таком виде? Почему голая?

Перед машиной патрульно-постовой службы стояли трое полицейских и разглядывали ее круглыми от изумления глазами.

Она выпрямилась, изгибаясь, как на шесте.

– О, теперь вас трое. А тогда было двое. И вы мне не помогли. Может, сейчас поможете?

– Так. Что произошло? Как вам помочь? Что там горит?

– Там горит богиня смерти. Если бы там горела богиня любви, мы бы с вами устроили первоклассную оргию. Да, мальчики? Прямо тут, на траве, вчетвером. Прямо, как тогда.

Она медленно погладила себя по бедрам.

– Так, ясно, – сказал один из них. – Полунин, вызывай скорую. Тут явная проблема. И пожарных, тушить надо.

– Ага, сейчас, – Полунин достал рацию, бросая косые заинтересованные взгляды.

– Женщина, давайте успокоимся. И вы мне все по порядку расскажете. Ваше имя, фамилия.

– О, это не так просто сказать...

– Алло! Тут какая-то женщина. В кремле. Голая и вся разрисованная. То ли ваша пациентка, то ли под веществами. Но если вещества, то они точно тяжелые. Поджог устроила. Что? Сколько лет? Откуда я знаю, сколько ей лет? То ли двадцать, то ли пятьдесят. Явно ваш случай. Приезжайте, забирайте.

– Григорьев, в машине плед есть. Принеси, пусть хоть накроется.

– Лейтенант, тут смирительная рубашка нужна, – пробормотал Григорьев. – А не плед. Дожили. Безумные фрики уже по ночам в кремль пробираются.

– Фрик или не фрик, наша задача во всем разобраться.

– Есть принести плед.

Лейтенант повернулся к ней.

– Значит так, гражданочка. Сейчас мы пройдем в машину...

– Я не пойду в машину.

– Это не обсуждается. Вы нарушили как минимум пять статей гражданского и одну Уголовного кодекса. Вы устроили пожар у памятника федерального значения.

– Я не пойду в машину! В прошлый раз тоже все началось с машины!

Лейтенант вздохнул.

– Полунин, заходи слева.

Полунин заулыбался и двинулся к ней, расставив руки. Она завизжала и отпрыгнула в сторону.

– Григорьев, помогай!

– Бегу!

Толстый Григорьев уже пыхтел рядом.

Патрульные зажимали ее с трех сторон, заставляя отступать к кремлевской стене.

– Гражданочка, не сопротивляйтесь. Отступать вам все равно некуда. Выхода тут нет.

Она выпрямилась, сбросив маску безумия.

– А вот тут ты ошибаешься, лейтенант. Выход всегда есть.

Она отскочила назад, в два прыжка добралась до стены.

И исчезла. Патрульные застыли.

– Не понял, – протянул Григорьев. – Она куда делась?

Полунин уже ходил у стены, заглядывая под коряги.

– Наваждение какое-то. Тут нет ничего.

– Может, это мы под тяжелыми вещами, а, лейтенант?

– Утром разберемся. Тушить давайте. А то весь кремль сгорит на хрен.

Вехи памяти

Галина МУХИНА

Омск

В. Г. КОРОЛЕНКО:

«СЧИТАЮ СЕБЯ СОЦИАЛИСТОМ...»

К 100-летию со дня смерти писателя
(27 июля 1853 – 25 декабря 1921)

В Удмуртии есть село Короленко, бывшее Старый Мултан. В 1930-е годы оно было переименовано в память о В.Г. Короленко – общественном защитнике крестьян-вожатых (удмуртов), приговорённых к каторге. В пересмотре дела он стоял до последнего, защищал их в 1895–1896 годах – в суде и печати, и они были оправданы.

После тюрем и ссылки в Сибирь (1879–1885) ему было разрешено поселиться в Нижнем Новгороде, где жил и работал до 1896 года, пока не переехал в Петербург, а в 1900 году – в Полтаву. Годы жизни в Нижнем Новгороде он потом называл самыми счастливыми: здесь он стал признанным писателем и народным заступником.

С детства (в Житомире, Ровно) он начал сталкиваться с национальным вопросом. О своей национальной идентичности Короленко особенно задумался во время поездки в США: на Всемирную выставку в Чикаго в 1893 году. Тосковал вдали от родины и испытывал чувство некоторой уязвленности. В Лондоне его шокировала европейскость,

он болезненно ощутил её недостижимость, одновременно не теряя самообладания и преданности к своему, родовому, о чём писал жене: «мне страшно подумать, что моим детям был бы непонятен мой язык, а за ним и мои понятия. Мечты, стремления! Моя любовь к моей бедной природе, к своему чужакому и рабскому, но родному народу, к своей соломенной деревне, к своей стране, которой хорошо ли, плохо ли – служишь сам». Даже пройдя суровую сибирскую ссылку в Амге под Якутском, он не колебался перед выбором между Якутией и Америкой, предпочитая своё, а не заморское пространство. И объяснял это Э.Л. Улановской ментальными причинами: «Плохо русскому человеку на чужбине и, пожалуй, хуже всего в Америке. Хороша-то она хороша и похвального много, – да не по нашему все. Вот почему там русский человек тоскует больше, чем где бы то ни было, в том числе и тот русский человек, который знал Якутскую область». Его не сразила богатая Америка, даже напротив, заставила сравнить с Россией и по-новому её оценить, о чём сообщал жене: «Бог с ними, с Европами и Америками! Пусть себе процветают на здоровье, а у нас лучше! Когда мы ехали вначале, – все отмечали, что лучше у других народов. А теперь все ищем, что лучше у нас. И много у нас лучше. Лучше русского человека, ей-богу, нет человека на свете. И за что его, бедного, держат в черном теле!»

Себя Короленко определял не по крови, а по культурной принадлежности. Ощущал свою причастность к славянству. И когда его спрашивали, почему он родом из Украины, а не пишет на украинском, он отвечал И.М. Хоткевичу: «...малорусский язык не есть только особый говор (как вологодское или ярославское наречие), а самостоятельная ветвь старого славянского ствола. Поэтому-то русскому трудно все-таки понимать малорусскую книгу». Не писал на украинском, так как не знал его настолько, «чтобы писать свободно». И вообще не считал, «что национальность есть долг». Он родился от матери-польки, а отец был русским чиновником (в третьем поколении). Прививку от национализма он получил рано: «Первый язык, на котором я говорил, был польский, первые впечатления детства – восстание поляков и споры отца с матерью по этому поводу.

Поляки несомненно боролись за свою свободу и национальную независимость, русские отстаивали свое право завоевания, малороссы мужики живьем закапывали в землю взятых в плен “панов”, жертвовавших жизнью за *свое* отечество. Я и теперь не могу сказать, на чью сторону я “должен” быть стать в этом споре и какая национальность – отца, матери или предков отца являлась для меня обязательной. Полагаю, что всего правильнее то, что вышло: разные национальности нейтрализовались во мне, и, после разнообразных романтических увлечений, – я увлекся глубоко человеческими мотивами русской литературы, той именно, которая оставила в стороне национальные споры и примирила их в общем лозунге: свобода. Свобода от национальных угнетений, свобода от “панов”, как бы они не назывались: Вишневецкие, Меньшиковы или Кочубеи, свобода от всего, что вяжет и народы, и личности. Полагаю, что я прав. Национальность – не цепи. Наша родина там, где сформировалась наша душа, выросло сознание».

В рассказе «Братья Мендель» Короленко развивает эту же тему на примере дружбы трёх учащихся из глухого города «черты оседлости»: русского, поляка и еврея. И ставил вопрос о самоопределении: «Чувствуем ли мы какую-нибудь разницу, что-нибудь разделяющее наши миры?... Ведь нет!.. много ли в нас осталось от национальной веры...» Среди вечной борьбы биологических, национальных, социальных и других форм – «начинает зарождаться новый вид человека, новая национальность... национальность общечеловека». Фроим – ещё мальчик. Он «инстинктивно – большой патриот этой новой национальности. Все мы относимся к другим, прежним национальностям – равнодушно, то есть терпимо».

Короленко признал приоритет русской литературы в своем нравственном становлении. И в статьях о русских писателях отразился его особый пиетет и к их личности, и к их творчеству. В. Белинский для него – «истинный рыцарь духа, без страха и упрека, и русская литература всегда с гордостью будет обращать на него взгляды, как на своего подвижника и святого!» И главная его черта – это искренность. Глеб Успенский – уникам «человеческой породы,

редкой красоты и редкого нравственного достоинства», с вниманием «ко всем вопросам народной жизни» – без идеализации мужика, ибо он «с большой горечью и силой говорил о “мужицком свинстве”». Сокрушался о болезни В. Гаршина и говорил А. Чехову, как бы отвлечь его от литературы и политики, чтобы «снять с усталой души то сознание общей ответственности, которое так угнетает русского человека с чуткой совестью... поставить лицом к лицу только с первобытной природой». Выделяя Гоголя, Успенского, Щедрина, Чехова, именами которых «почти исчерпывается ряд выдающихся русских писателей с сильно выраженным юмористическим темпераментом», задавался вопросом: «Неужели в русском смехе есть в самом деле что-то роковое? Неужели реакция прирожденного юмора на русскую действительность... неизбежно дает ядовитый осадок, разрушающий всего сильнее... душу писателя?»

Он обращал внимание на максимализм Льва Толстого, на его способность «заражаться народными настроениями», которые определяли «крупнейшие повороты» во взглядах самого писателя, когда он вместе со своими героями (Безуховым, Левиным) – тосковал о душевном строе простых людей – «без разлада между мыслью и делом». Для Короленко бесспорно влияние классика на то поколение: Толстой – «великий художник, одна из культурных вершин русского народа», который «обращался к тому, о чем мечтали тогда мы все». В 1920 году, к десятилетию его смерти, Короленко снова вспоминал о «прекрасной, вечно взволнованной душе первого русского интеллигента», «с его страстными исканиями правды, с преклонением перед непосредственной правдой народной», которую он принимал за «душевную цельность и непосредственность». Юбилейную тему Короленко начинал с обращения к проблеме совести (которую не затрагивал марксизм), потому что «работа совести в человеческих душах» способна быть «значительной движущей силой». Как, например, «общественная совесть» эпохи французского Просвещения, которая «внятно говорила уже, говорила языком философов, энциклопедистов».

Не одна литература влияла на складывание идентичности. Узнавание разных уголков страны, природы, людей,

правов – для Короленко не менее важно. Он неистощимый землепроходец: «Меня всегда тянет на уездные тракты и проселки, по которым так привольно, так мягко идти с котомкой за спиной, или к мелким речкам с их тихой красой, с их лесами и неожиданностями». – «Все мы немного романтики... мы, русские, не менее, а может быть, и более других». В 1890 году Короленко с племянниками отправляется на лодке по Ветлуге и Керженцу, где «тихо угасает старый “раскол” и доживают последние дни пустеющие древле-православные скиты», разоренные писателем П.И. Мельниковым. Ему «захотелось посетить эти тихие лесные пустыни, где над светлым озером дремлет мечта народа о взыскуемом невидимом граде, где вьется в дремучих лесах темный Керженец, с умершими и умирающими скитами...»

В его рассказе «Художник Алымов» приводится легенда о Святом озере в Семеновском уезде, в ней сообщается, что город исчез по молитве старца перед нечестивыми полчищами Батыя. Два раза в год сюда из дальних мест – прибывают сотни людей «взыскующих града»: «сутки в посте и жаркой молитве, ложатся на берегу, и на закате солнца начинают для них берега озера зыблиться и колебаться, из глубины слышится звон... все исчезает, и стоит на месте этой призрачной действительности фантастический город Китеж с церквями и монастырями». Здесь боярские и купеческие хоромины, крестьянские избы, кресты о восьми концах. Как «теперешняя деревня, та же улица, только пошире, те же избы, только из хороших бревен, те же крыши, – пожалуй, только тес вместо соломы (эх, и это жалко), ну, и тот же мужик в той же одежде, с той же иконописной бородой и с той же таинственной мудростью». Он цитирует слова из песни, сложенной старицами, в которой льётся «тоска о невозвратном прошлом»:

У нас были здесь моленны, они подобны были раю...
У нас звон был удивленный, удивленный звон подобен грому...
В рощах птицы распевали, соловьи нас утешали...
О, прекрасный ты наш раю, прелюбезный драгой скит,
Нам в тебе уж не живати, святые службы не стояти,
Тихие радости не видати...

Путешествие к скитам обогащало встречами с местными людьми, которых он оценивал – по их культурно-национальным особенностям. Поражало, что Аксен-медвежатник (из «лесных людей») называл «нас, первых встречных» – друзьями, и это не было случайным. Писатель объяснял появление подобной близости: «Среди этих темных молчаливых лесов, наполненных жуткими воспоминаниями и могилами убиенных и принявших огненное венчание, над рекой, усеянной трупами деревьев, под шум перекликающихся непонятными голосами лесных вершин – встретиться с человеком, у которого в нужде найдешь сочувствие и помощь, с которым поговоришь на языке людей, а не леса, – да это в самом деле нечто больше наших пустых встреч и шапочного знакомства». Из общения с лесными жителями складывалось представление об их психологии, в частности, о живучести монархической идеи «великого государя». Лесной мир тогда выдвинул её против увеличения налогов на бортничество: «Это его понятие, обвеянное мечтательным обаянием, неопределенно, романтично, смутно и в значительной степени архаично. “Великий государь” этой лесной легенды – прежде всего враг наличного, конкретного государства, враг всего чиновничества и находится с ним в постоянной борьбе... Победа пока не за ним, но все же это таинственная безличная сила, которая в любой момент и по любому поводу может быть приведена в движение и заступиться за мужиков. Дойти до нее трудно, но есть какие-то особенные “слова”, которые ее приводят в действие. И те “слова”, как волшебные заклинания, не всегда знают мудрейшие и ученейшие. Отставной солдат,.. порой просто неведомый “проходящий человек” кинут порой такое вещее “слово”, – и пойдет оно перекачиваться от деревни к деревне, от мира к миру, пробираясь, как лесное эхо, в самые глухие уголки русской земли, где всего живее полумистические суеверные понятия... и по дорогам к Питербурху потянутся мирские ходоки, уверенные, что от проходящего человека они получили самую настоящую формулу заклинания...» Отмечал приветливость и бескорыстие лесных жителей: и когда Аксен отказывался от угощения чаем,

потому что путникам самим он понадобится, ибо далек путь, и когда старуха на кордоне лесника не брала с него лишние деньги за провизию и говорила: «Вного будет».

В разговоре с пахарем Оленевского скита услышал горькое признание: «Усердия мало. Нет в нынешнем народе усердия. Старики помирают, молодые не идут... Не надо им...» Этот мотив часто слышал от многих людей старинного обряда на Волге. На скитском пепелище он прозвучал особенно выразительно. «Умирает исконная старая Русь... Русь древлего благочестия, Русь потемневших ликом, Русь старых неправленных книг, Русь скитов и пустынного жития, Русь старой буквы и старого обряда, Русь, полная отвращения к новшествам и басурманской науке... Умирает старая Русь, так стойко державшаяся своим фанатическим усердием против не менее фанатического утеснения... Теперь она умирает тихой смертью, под широким веянием иного духа... Гонения она выдержала. Не может выдержать равнодушия...»

Три раза он был на озере, «присматриваясь к движению этой веры, и каждый раз уходил оттуда с сильными, но невеселыми впечатлениями». Теперь – в четвертый раз.

Отмечал своеобразие здешних народов. Встреча с поляком лесничим в Хахалах, Казимиром Казимировичем, позволяла отдать дань полякам, как отличным лесничим, потому что: немец чиновник – «порой высокомерен и жесток». Русский – «слишком близок к взглядам своего народа. Они легко находят отклик в его душе, он рефлексирует... Если он плут, – плутовство его размашисто и недисциплинированно. Если честный человек, – честность его порывиста и беспокойна». Поляк – «культурнее, выдержаннее, в нем крепче и устойчивее “цивилизованные” взгляды на земельную собственность...»

Задаваясь вопросом: что такое русский человек, Короленко утверждает в статье «Несколько мыслей о национализме» (1901): «Национальность наша есть факт, так сказать, первичный, сопровождающий нас от рождения и налагающий на нас свой отпечаток, естественно, неизбежно и непосредственно. Мы русские потому, что родились в России, дышали с рождения ее воздухом, глядели на ее

убогую, грустную, но порой и прекрасную природу, выражали свои чувства звуками ее речи, первую свою любовь, и свой первый гнев, и все другие ощущения отдали русским же людям. Этот факт не может не сказаться на душевном строе и поведении. Он не должен мешать видеть свои недостатки и чужие достоинства, но «он залегает в глубине души каким-то узелком ощущений, вследствие которых наши недостатки нам ближе и больнее, а наши достоинства, когда они проявляются в действии, – тоже ближе и приятнее». И все эти черты вместе – «чувствуются нами непосредственнее и интенсивнее, чем свойства других народов...»

Однако Короленко различает русских по степени национального самоощущения: есть «просто русские люди», а есть «ультрарусские, сугубо русские, “истинно-рррусские” патриоты, которые носят ковчег своего патриотизма, как бретер носит ковчег своей чести, – тенденциозно, нарочито озираясь на соседей, толкаясь и вызывая...» Такой «вид выпяченного, гипертрофированного и нездорового патриотизма» называет «национализмом» – «в его особом современном значении». Замечая его в других странах, особенно во Франции, Короленко подчёркивает всё большее его усиление в России в последнее время. Реальное содержание национализма, по его мнению, сводится к отрицанию других национальностей, поскольку он обращает непосредственный патриотизм в патриотизм «”воинствующий”, оскорбляющий...»

Так, известный редактор «Московских ведомостей» М.Н. Катков, который был «либералом и даже конституционалистом в первом периоде своей литературно-общественной карьеры», совершил поворот, «быстрый и решительный», «на почве болезненно задетого национализма». Этот воинствующий национализм всюду выступает против прогресса и общественного совершенствования. Во Франции он спаялся «с католической реакцией, с aspirations умершего легитимизма или авантюрами бонапартизма». В России он перешёл «из рук мечтательного и далеко не во всем обскурантного славянофильства» к литературным партиям совсем иного склада. Так и А.С. Суворин, некогда либеральный

публицист, обратился во второй половине 70-х годов к вульгарному национализму, сближаясь с Катковым. Часто подобную эволюцию по пути национализма («суррогата» патриотизма) совершали «именно перебежчики из оппозиционного лагеря». К примеру, члены «Русского собрания» – «далеко не ретрограды», «прогрессисты», но признающие прогресс, совершающийся только «на русской почве самими русскими», тем самым претендуя на монополию «в деле прогресса». К ним писатель относил Суворина и Комарова (издателей «Нового времени» и «Света» – «двух наиболее влиятельных в России газет», находящихся в числе членов-учредителей «Лиги русского отечества»).

Национализму писатель противопоставлял «“человечность”, постоянный рост человеческой личности, с её усложняющимися потребностями, материальными и нематериальными». Свободу человека он отстаивал – «в пользу кустаря и земледельца – против представителей капитализма». Когда же перед ним возникал вопрос, что важнее: община или человек в общине, то при всей его нерешенности, отдавал первенство человеку, его праву на самоопределение. Он находил этому подтверждение в статьях Н. К. Михайловского и считал, что «борьба за индивидуальность» останется всегда «общей задачей передовой русской печати». На литературу в целом он смотрел как на одну «из важных действующих сил» во имя служения человеку. Русско-японская война лишний раз убеждала его в том, что антигуманизм, античеловечность является одной из характерных черт воинствующего национализма.

Когда же произошла Февральская революция и Короленко в честь её победы открывал 6 марта 1917 года митинг в Полтаве (где он жил последние свои годы), в его речи прежде всего зазвучало понятие «народ». Отталкиваясь от крупных, узловых исторических событий (Полтавской битвы, «великой смуты», приведшей Романовых на царство), Короленко заявлял, что теперь Романов вынужден «отдать власть, полученную от народа, обратно тому же народу». И «лучшее правительство будет то, которое вольными голосами установит свободный народ. Потому уже, что только такому правительству будут верить». Ре-

шать же «великий вопрос» о власти следует нам решать, как братьям. Ему было важно подчеркнуть антинационалистический смысл предстоящих решений. Потому взывал к исторической памяти: надо помнить, что «весь русский народ без различия народностей и племен грудью на фронте или трудом в тылу защищал общую родину, и что родная земля, на защиту которой лилась лучшая молодая кровь, впитала в себя наряду с кровью великороссов также и кровь поляков, украинцев, евреев».

Революция 1917 году политизировала социальные отношения, поставила интеллигенцию перед выбором: с кем быть? По его мнению, она показала «глубину интеллигентского отчаяния» и «бесскелетность нашей психологии». Он писал в дневнике 5 декабря 1917 году: «в страшный час испытаний у нас не оказалось веры, устойчивой, крепкой», которая выше неудач и успехов. Теперь и в народе, и в интеллигенции – «Ничто “не грех”». А это основа для потери мужества интеллигенции сказать правду и вступить «на путь лжи и бесчестия», измены народу. «У души тоже должен быть свой скелет, не дающий ей гнуться при всяком давлении, придающий ей устойчивость и силу в действии и противодействии». Скелетом всякой души является вера: или религиозная, или «убежденная», за которую стоят «даже до смерти». Сказано было не для красного словца. Когда Короленко предупредили о покушении на него – ответил: «Я останусь здесь даже в том случае, если верны предупреждающие слухи. Смерть? Ну, так что же! Жизнь писателя должна быть также литературным произведением». И в марте 1917 года он писал в статье «Отечество в опасности»: «...я не пожалел бы отдать остаток жизни тем, кто мог бы с каким-нибудь вероятием успеха противопоставить этому безумию деятельную идею человеческого братства, Она давно зародилась в благороднейших умах и пускала уже ростки в человечестве. Да, за это дело стоило бы отдать жизнь, если бы была малейшая надежда удержать море вражды и крови».

Вера его самого заключалась в убеждениях, на которых он стоял твёрдо. Как он писал критику и публицисту А.Г. Горнфельду: «я совершенно искренно и горячо

считаю себя социалистом», но ни большевиком, ни коммунистом, ни даже меньшевиком, ни «народным социалистом», «социалистом в том смысле, что признаю одну свободу, без социальной справедливости, неполной и неосуществимой. Но для меня свобода — необходимое условие осуществления и социальной справедливости, а не наоборот, как для нынешнего коммунизма».

Самые заветные мысли он изложил в «Письмах к Луначарскому», изданных в 1922 году после его смерти в Париже. Это была его критика политики большевиков, попытка повлиять на демократическое развитие России. Главная ценность — это Свобода, выстраданная всей жизнью Короленко: и ссылкой, и творчеством, и деятельностью. По его мнению, свободы, завоёванные Европой: мысли, собраний, слова и печати — это не буржуазные предрассудки, а «необходимое орудие» «борьбы и прогресса» за будущее. В России же казарменный «фантастический» коммунизм нарушает неприкосновенность и свободу частной жизни и жилища. Короленко выносит приговор большевистскому строю: это «первый опыт введения социализма посредством подавления свободы». Принимая формулу, что какой народ — такое и правительство, писатель оценивает большевиков как естественных представителей русского народа, «с его привычкой к произволу, с его наивными ожиданиями “всего сразу”, с отсутствием даже начатков разумной организации и творчества». Признавая, что «по природным задаткам наш народ не уступает лучшим народам мира, и это заставляет любить его», Короленко отмечает его отсталость «в воспитании нравственной культуры». У него недостаточно самоуважения, и ему требуется пройти «еще довольно долгую и суровую школу».

Ему ясно: для такого социального переворота нужны другие нравы. Он убеждён: «Правительства погибают от лжи», поэтому власть должна сказать правду и признать свои ошибки. Он требовал правды и говорил правду. На своём юбилее в июле 1918 года в Полтаве искренне признавался: «дело не в близком успехе, дело в честном стремлении. Как ни темно впереди, — есть все-таки несомненное, незыблемое, вечное, чему стоит и надо служить... Эти не-

зыблемые маяки – истина, право, справедливость. Судьба послала мне литературное дарование, я его направлю, хотя бы как отдельный партизан, на служение этим вечным ценностям».

Его жизнь была служением обществу и человеку. Он был уважаем, его постоянно просили помочь, спасти от беззакония, репрессий. В революционные годы он был бессменным ходатаем, защитником многих людей, как и до революции стоял до конца, отстаивая права обвиняемых в суде, в прессе, в расследовании дел, чтобы добиваться оправдания невиновных, оговорённых. Приобрёл признание своим беспримерным, горячим и бескомпромиссным публичным выступлениям в защиту человеческих прав. Короленко был поистине неутомимым, упорным заступником униженных и оскорблённых. Европейские достижения в области права считал основанием для отстаивания права на жизнь, свободу, собственность. Но этим не ограничивался, ибо был преисполнен верой в русскую идею о правде и справедливости. Потому выходил за пределы западноевропейской цивилизации и следовал русскому ментальному коду.

Несмотря на болезни, в 1918–1921 годах его, стоявшего вне партий, выбирали председателем митингов, организаций в защиту детей, военнопленных, голодающих. Его имя и его слово имело авторитет. Он был поистине масштабной общественной личностью России.

Далекое — близкое

Николай БЕНЕДИКТОВ,

доктор философских наук, профессор

РУССКИЕ В ПАРАГВАЕ

Эта история мне впервые была рассказана около 2000 года в Москве нашим бывшим нелегалом: «Обложили так, что мне уходить пришлось не к побережью, а в другую сторону. И через какое-то тоскливое время я выбрался в Парагвай к столице Асунсьону. Вот тут я натурально обалдел: главные улицы столицы Парагвая названы именами русских. Шли: улица имени генерала Саласкина, улица имени генерала Белова и т. д. Оказалось, что когда-то в войне с Боливией, на стороне которой все организовывали немцы, на парагвайской стороне все сделали русские. И они победили! И превратились в национальных героев!»

История меня, конечно, заинтересовала, ведь об этой стране мало было известно, тем более что до 1992 года у нас не было с Парагваем дипломатических отношений. Об этой истории никакой информации тогда не было. И лишь после 2010 года пошли публикации в прессе и в Интернете. Многое уточнилось: Белов оказался Беляевым, а Саласкин оказался не генералом, а Салазкинским и «команданте», т. е. командиром, вождем, атаманом. Однако главное подтвердилось: в Асунсьоне есть ули-

цы Серебрякова, Касьянова, Малютина, Салазкина, Канунникова, Блинова, Гольдшмидта, Бутлерова, Беляева. Есть памятник И.Т. Беляеву. Все раскрасилось новыми и очень даже интересными красками. Вот об этом и хотелось рассказать.

Две страны в Южной Америке не имеют выхода к морю – Боливия и Парагвай. Они соседствуют, и у них долгое время был спор о пограничных Чакских территориях. Спор тянулся годами, стороны не торопясь обменивались дипломатическими документами, обосновывающими претензии. Этот вялотекущий спор мог продолжаться десятилетиями, однако новое время принесло и обострение. Как известно, появились автомобили, резко выросла потребность в нефти, а в чакских джунглях якобы появились намеки на нефтяные месторождения. Нефтедобывающие компании обеих стран почуяли выгоду и сильно обострили ситуацию. Спор шел о территории Гран-Чако, полупустынной местности размером с половину Франции. Началась Чакская война – самая большая война в Южной Америке в XX веке. Она длилась три года, с 1932-го по 1935-й, и совершенно неожиданно закончилась победой Парагвая. Хотя в самом начале конфликта Парагвай явно выглядел слабейшей стороной.

За полвека до этого конфликта Парагвай умудрился ввязаться в войну с Бразилией, Аргентиной и Уругваем одновременно. В результате этой войны 1864–1870 годов страна оказалась натурально избита и обессилена. Из 1 300 000 парагвайцев в живых осталось 200 с небольшим тысяч, а мужчин не более 10%. С тех пор страна не успела восстановиться. В Парагвае не было фактически ни армии, ни оборонной промышленности. Неудивительно, что подсчеты показывали поразительное соотношение сил в Чакской войне. Боливия выглядела сильнее в 70 (!) раз. Кроме того, Боливия наняла имеющих боевой опыт Первой мировой войны немцев, помогали еще чехи и чилийцы. Командовал армией участник Первой мировой генерал Ганс Кундт. Закупили аэропланы и танки. За штурвалами были профессионалы.

Парагвай обратился к своим малым возможностям. Боевым опытом Первой мировой и гражданской войны располагали осевшие в стране русские белогвардейцы. Во главе генштаба стал генерал Иван Тимофеевич Беляев. Он обратился к русским эмигрантам. Суть его обращения состояла в следующем: мы оказались без дома и родины, и эта страна нас приютила. Наверное, правильным будет отблагодарить ее нашей верностью и боевым опытом, выступить на ее защиту. Русских было мало. Беляев послал агитаторов в Европу и получил еще несколько русских бойцов. И все же соотношение сил внешне было ужасным, не в пользу Парагвая. Если офицеров-немцев (вместе с чехами и чилийцами) насчитывали около 300, то русских сначала было 30, а в конце войны – 43 человека. Иными словами, и соотношение бойцов с боевым опытом было примерно 1 к 10 в пользу Боливии и немцев. И все же Парагвай победил.

Почему?

Конечно, сыграла роль и русская доблесть. Достаточно для иллюстрации сказать, что впервые в XX веке русским бойцом (ротмистром Касьяновым) был совершен подвиг Матросова (задолго до Великой Отечественной войны) – он грудью закрыл вражескую амбразуру. И все же каждый понимает, что это недостаточный фактор. Что еще? Конечно, оказались недостаточно эффективными и боливийские аэропланы, и танки. В джунглях с самолета толком ничего не видать, а танки в едва могли передвигаться и превращались в душную жаровню для экипажей. После войны не один полностью целый боливийский танк был найден брошенным в Чакских джунглях. Оказалась неэффективной и тяжелая артиллерия Боливии, ибо тягачи также оказались бессильны перед сельвой.

И все же вспомним соотношение сил – 1 к 70!

Как и почему все получилось так, а не иначе?

Придется обратиться к последствиям нашей Гражданской войны. Эвакуированное войско белогвардейцев должно было как-то выживать. Генерал И. Беляев попал сначала в Болгарию, однако и там скоро стало невозможно жить. Съездил во Францию, увидел, что и там генералы

вынуждены были иногда работать таксистами. Вспомнил о своих детских мечтаниях, о книгах Фенимора Купера и Майн Рида, о смелых индейцах. И поскольку имел к этой теме не просто склонность, но и научный интерес (он посещал Императорское Русское географическое общество, слушал и сам делал доклады, учил испанский язык), то отправился сначала в самую европеизированную страну Латинской Америки – в Аргентину. Однако там отношение к эмигрантам немногим отличалось от европейского. И тут подвернулось предложение от парагвайских военных и политиков. В Парагвае он сразу устроился в военное училище преподавать. По договоренности с военным министром стал приглашать из Европы других русских эмигрантов.

Парагвай того времени был предельно отсталой страной. В столице было всего пять автомобилей (машины президента и военного министра и три торговых). Главная улица была вымощена булыжником. Солдаты и полиция обычно носили ботинки в руках, а барышни, лишь подходя к центру надевали чулки и обувь, прежде чем появиться на центральном базаре и в магазинах. Трамваи и электрическое освещение имелись только в центре. Но жизнь была удивительно дешева и спокойна. Беляев выдвинул проект: исследовать Чако. Военный министр предложил это сделать ему же. С 1924 по 1932 год, т. е. до войны, Беляев совершил 13 путешествий в Чако. Составил карты, описал биологию и этнографию местности, создал два словаря индейских племен мака и чамакоко с индейского с переводом на испанский. Усыновил будущего вождя племени мака, стал отцом этого племени. К периоду Чакской войны племени Чако считали себя парагвайцами, а не боливийцами. Работа была проделана фантастическая, восхищала в последующем и географов, и лингвистов, и историков. И, конечно, сильнее всего сказалась на ходе военных действий.

Вообще Парагвай стоит наособицу среди латиноамериканских стран. Это единственная страна, в которой не только испанский, но индейский язык гуарани в ходу как официальный. Для понимания парагвайской атмосферы

достаточно сказать, что главнокомандующим в войне был Феликс Эстагаррибиа – полковник из индейцев гуарани. Видимо, это единственный случай подобного рода в латинских странах – индеец в высоких чинах, и индейский язык признан как официальный.

Понятно, что элитный русский генерал с большим военным опытом и стал основным организатором победы в этой войне. Напомню, что И. Беляев был и сыном генерала, его двоюродный брат был последним дореволюционным военным министром России, старший брат был царским, а затем красным генералом, сам Иван Тимофеевич получил генерала в 1917 году. Причем семья была не только военной, но и научной, и литературной. Сестра И. Беляева была мачехой поэта А. Блока. Именно Беляеву удалось привлечь дополнительные интеллектуальные и офицерские силы на помощь Парагваю. Русский генерал Н. Эрн работал главным фортификатором, а все удивительно точные карты были созданы и подписаны начальником отдела картографии Генерального штаба Парагвая Н. Гольдшмидтом. К военной службе были привлечены 2 генерала, 8 полковников, 4 подполковника, 13 майоров, 23 капитана. Они стали начальниками штабов армий (3), командирами дивизий (1), командующими полками (12), батальонами, батареями.

У Боливии не было карт, не было взаимопонимания с местным населением, не работало тяжелое вооружение в джунглях. При этом боливийцы хорошо осознавали, кто им противостоит. Объявляли премии за голову Беляева, оставляли начертанные на фанерках послания противнику. В них говорилось, что виной всему проклятые русские, иначе они (боливийцы) давно разогнали бы босоногую армию Парагвая. В итоге к 1935 году, т. е. к окончанию войны, Боливия потеряла 89 тысяч убитыми, Парагвай – 40 тысяч, в плен попала вся боливийская армия в 300 тысяч человек. 4/5 Гран-Чако стали парагвайскими. Самым популярным именем в Парагвае стало русское имя Иван (подчеркиваю: не латинизированное Хуан). Как курьез можно отметить, что русские научили парагвайцев выпивать с закуской, а то до тех пор аборигены пили не закусы-

вая и быстро пьянели. И еще один курьез: нефть на Парагвайской территории тогда так и не нашли, нефтеносные пласты были открыты только в 2012 году, что и вызвало дополнительный интерес к давним событиям истории. Истории, радующей русское сердце: русский человек стал национальным героем Парагвая!

И. Беляев мечтал, чтобы хотя бы в Парагвае сохранить честь и смысл русской души и огня, не продающуюся душу и веру. Это ему удалось.

Довелось мне посмотреть телепередачу об Асунсьоне. В ней показали богослужение индейцев мака в память И. Беляева. Ритмический перепляс с песнопениями в память великого предка, отца племени сразу напомнил мне публикацию в сборнике 60-х годов «На суше и на море», где советский журналист описывал свое пребывание на берегу Маклая в Новой Гвинее. Ему довелось побывать на богослужении в честь Миклухо-Маклая папуасов, берегущих память великого русского путешественника. Ритуальные пляски там сопровождались возгласами: «Кто дал нам небо? – Маклай. Кто дал нам солнце – Маклай. Кто дал нам море? – Маклай». И тому подобное. Сегодня эта схожесть уже отмечена в публикациях о Беляеве как о парагвайском Миклухо-Маклае. Беляев прошел тот же путь, что и Миклухо-Маклай: сначала он друг племени, затем он – отец племени, затем – великий предок, затем – дух великого предка, и наконец – бог-творец. Мне кажется, что подобная эволюция недостаточно исследована и осознана научным сообществом. Ведь Миклухо-Маклай и И. Беляев, возможно, показывают пути духовной и мировоззренческой эволюции, пройденные отдельными народами или племенами и покрытые тьмой времени.

Стоит внимательнее отнестись к подобным предположениям и искать утерянное в веках наследие человечества. И, конечно, это в первую очередь касается христианства. Ведь, согласитесь, есть нечто загадочное в том, что Христос появляется в Иудее, однако евреями не принят кардинально. А русский народ оказался едва ли не последним народом, принявшим христианство, однако это привело к появлению понятий «русская вера»

и «Святая Русь». Видимо, стоит предположить, что какие-то ключевые моменты мировоззрения древних арийцев просто вернулись к русскому народу через много-много веков и стали основанием современного взгляда на мир. Под ключевыми моментами я имею в виду непродажные и непокупаемые святыни любви, дружбы, чести, совести, добра и красоты.

Сегодня доминирующими в мире представляются западные нормы жизни, при которых господствует кошелек. Дочь говорит матери: «Ищи, где ты будешь жить, а я тебя содержать не могу, у меня есть обязательства перед моим кошельком». И вот это невообразимое в России «обязательство перед моим кошельком» является само собой разумеющимся в Америке. На этом фоне русская неподкупность и подчиненность святыне (ведь святыня есть то, ради чего стоит жить и стоит умереть) является полной противоположностью общей продажности. И это было в древней системе мировоззрения. Когда это затуманилось? Предполагаю, в периоды повторяющихся мировых потопов, открытых и описанных русским ученым М. Гросвальдом в 90-годах XX века. Страшные катаклизмы, описанные ученым, выглядели как регулярные водно-ледяные потопа, которые неслись по русской равнине, сметая все на своем пути. В этой ситуации предкам русских трудно было сохранить в неповрежденном состоянии свое мировоззрение, не забыть многого. Южнее были горы Гималаев, Ирана, Ирака, Турции. Там легче было перенести удар, помнить о потопах, о смысле, о старшинстве и т. п. Что-то могло сохраниться. Поэтому сегодня принципиально важно заняться сравнением индийской Ригведы, зороастрийской Авесты, русских мифов Арконы на острове Русском (ныне Рюгене), а также исследовать древнеарийскую веру, которую подхватили идеологи иудеев в период вавилонского пленения евреев.

И второе. Занимаясь словарем и мифами индейцев мака и чамакоко, гениальный лингвист И. Беляев открыл удивительную вещь: языки индейцев оказались родственными санскриту! Напомню, что санскрит – это литературный язык Древней Индии до нашей эры. Беляев был родствен-

ником С.Ф. Ольденбургу, великому ученому, специалисту по санскриту, лидеру индологии России на стыке XIX и XX веков, председателю этнографической комиссии Императорского Русского географического общества, и поддерживал с ним не только родственные отношения, но ходил на его лекции, знакомил со своими изысканиями, с его помощью издал свою первую научную книгу о народах Кавказа. Иными словами, ему было где заразиться интересом к санскриту. Составляя словари индейских племен, Беляев заинтересовался возникающими ассоциациями с санскритом. В мифологии и преданиях он нашел подтверждение азиатского источника и азиатской прародины американских индейцев. Конечно, это удивительная вещь: где Индия трехтысячелетней давности и где современный Парагвай! Однако это важнейшее научное открытие до сих пор плохо осознано.

Для нас любое открытие, имеющее отношение к санскриту, всегда актуально. Дело в том, что в Индии существует особая научная школа, и ее последователи есть в России. Они считают, что в России сегодня говорят на какой-то форме санскрита. В Индии и сегодня изучают санскрит, но и там он является мертвым языком. А когда профессионалы-лингвисты попадают в Россию, то бывают ошарашены тем, что окружающие «говорят на санскрите». Мне тоже доводилось слышать это от индийской профессуры. Приведу примеры.

Святой город Бенарес на Ганге известен сжиганием мертвых и омовениями верующих индусов. Однако «Бенарес» есть результат искаженной транскрипции. По-индийски он звучит как Варанаси. Для индусов это непереводаемо и непонятно. А для нас? Карловы Вары известны и как Карловы Воды, глагол «варить» несет несет в себе значение «вар» – «вода». Иными словами, «Варанаси» означает «наши воды». А много выше Бенареса по течению Ганга в горных бурных водах совершают омовение добравшиеся до святого города Харедвара верующие индусы. Название города на хинди непонятно. А для нас? «Харя» поменяла знак с негативного на положительный. Это бывает: «вонявки» – по-чешски «духи», а «урода»

по-польски – «красота». Харя – это лицо, лик. «Харедвар» означает «Дверь к Богу» или «Лику божьему». Вспомним песнопения кришнаитов: «Харе Кришна, Харе Рама...» Я все это говорю не для кабинетных ученых, а чтобы читатель мог осознать древность и различные грани русского языка и его многочисленные связи в истории и современном мире.

Воздадим же должное памяти Ивана Тимофеевича Беляева. Сегодня он может многим потерявшимся укрепить душу. В интернете и сегодня русофобская пена из старых зажеванных штампов и исторически безграмотных нелепостей. Визгливым нападкам подвергается и «Бессмертный полк», и защитники блокадного Ленинграда, и вообще русская история, все, что сохраняет какую-либо святость для русского народа. Военные победы России достигались якобы исключительно «заваливанием врага трупами», полководцы России-де просто паразитировали на большом рекрутском призыве, и Суворов-то был не был великим полководцем, а скопцом... Во всем этом столько же глупости, сколько и злонамеренной лжи. Авторы подобных вбросов не заботит малейшее правдоподобие: ведь каждому понятно, у скопцов не может быть детей, а у Суворова был сын Аркадий и дочь Варвара. Относительно же отсутствия полководческих талантов у наших военачальников – отчего бы не вспомнить хотя бы капитана Казарского. Ему поставлен памятник в Севастополе с надписью «Потомству в пример». Командуя небольшим бригом, он вынужден был вступить в бой с двумя громадными линейными турецкими кораблями. И победил. Соотношение сил легко подсчитывается: 1 к 10. А пытаться разыскать в данном случае попытку «завалить трупами» противника пахнет предельным идиотизмом.

Или вспомнить Кутузова, которого тоже русофобы не оставляют в покое на его пьедестале. Почитайте о его Рущукской операции 1812 года. Она закончила войну с турками прямо перед войной с Наполеоном. Стратегическая операция была проведена фактически бескровно. И более

того – Кутузов брал противника на прокорм! Однако если не хотят слышать, то не услышат.

Поэтому мои слова к тем, которые просто оглушены нынешним русофобской какофонией. Посмотрите на историю И. Беляева и на русских в Парагвае. Беляев стремился сохранить русскую честь и совесть вдали от Родины, доказать, что не все в мире продается и покупается. И сделал он это весьма убедительно. Одержатъ победу в совершенно невероятных условиях (1 к 70) – где уж тут говорить о «заваливании трупами»! И наконец, он еще раз доказал, что русское дружелюбие и умение жить со всеми в любви по принципу «возлюби ближнего своего», приведшее индейцев в стан парагвайцев, оказалось мощнейшим военным фактором и решило исход войны.

Людмила ТОБОЛЬСКАЯ

Сафферн, штат Нью-Йорк, США

НА ПОКЛОНЕНИЕ СВОЕЙ СВЯТОЙ

Что знала я о своей святой, начиная от самого малого детства и потом – все мои долгие взрослые годы в Советской России? В лучшем случае – это из продающегося в магазинах словаря имен народов СССР: «Людмила, чешск». И всё. Даже слово не дописано.

Мне, родившейся в семье с православными корнями, посчастливилось держать в руках Евангелие в первый раз в 36 лет. Первую большую подарочную Библию широкие православные слои смогли приобрести лишь по случаю юбилейного 1988 года – тысячелетия Православия на Руси...

Говоря об этом, я не открываю Америки, я просто с горечью констатирую известное теперь всем положение верующих в России советских лет. Да, «Жития святых» не были для нас семейной настольной книгой, так что о своей святой я первые знания получила уже в эмиграции. На другом континенте. Узнала о её княжении в полуязыческой еще Праге IX–X веков. О соратнической ее помощи мужу своему, князю Боривому. О православном пути ее в период вдовства. Об изгнании и горькой невозможности в полноте осуществлять мечтаемое православное воспитание внуков. И о мученической ее смерти от руки подосланных невесткой-язычницей убийц. Ее мощи позднее перенесены были в Прагу ее внуком, Венцеславом, геро-

ем Чехии, одним из столпов славянского христианства и государственности.

За океаном я твердо решила осуществить паломничество к ее святой могиле. Для этого нужно было, ни много ни мало, отправиться в Европу и при этом преодолеть эмигрантско-документальные и финансовые барьеры. «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». На это ушло несколько лет.

Но вот я уже гражданка США, и вместе с мужем, гражданином Канады, мы получаем в турагентстве проспекты, карты, авиационные билеты... Словом, мы по дороге в Россию собираемся посетить Прагу, где пробудем неделю. И будем там как раз в день моих именин – в день памяти моей святой Людмилы!

Полет – из аэропорта Кеннеди. До него из нашего северного Джорданвилля несколько часов пути.

И вот тут-то и начались, как всегда при совершении благого дела, всевозможные маленькие и большие неприятности и препоны. Поначалу, казалось бы, незначительные: например, по пути в аэропорт нам пришлось столкнуться со множеством объездов и изменений обычного маршрута, так как поездка наша проходила вскоре после взрыва знаменитых Башен-близнецов. В воздухе стоял запах гари, ветер гнал по улицам мелкий мусор и обрывки бумаги. Хорошо, что выехали мы с хорошим запасом времени! Кроме того, для меня, воодушевленной началом исполнения многолетней мечты, весь этот путь и аэропортовские подробности проходили как в тумане. В памяти отчетливо – только первый шаг в салон самолета чешской компании, это уже кусочек чешской земли. И время стремительно понеслось!

Рассказы попутчиков об их Праге, какие-то рекламные журналы о Чехии в моих руках. Приготовление к посадке на пражскую землю, и эти волшебные волны славянской музыки, «эмблемы» чешской столицы – «Влтава» Бедржиха Сметаны. Так под эту музыку наш самолет и подрулил к входу в здание пражского аэропорта.

Лечу на крыльях мечты! И – стоп! Таможенник опускает турникет передо мной и моим мужем. Еще не верю,

что это надолго, потом с удивлением понимаю, что это что-то серьезное. Что же, представители американского агентства, оформлявшие нам документы, что-то напутали, недоучили, недооформили? Нет, оказывается – просто неожиданно, за считанные дни изменился порядок документального оформления турпоездки между Канадой и Чехией.

Словом, мы не можем войти в город, нас не пускают в страну. Собственно, не пускают моего мужа, но я же не могу оставить его и продолжить без него свое путешествие. В таком случае нам обоим предлагают вернуться в пункт отправления. Я не верю своим ушам. Лететь обратно в Нью-Йорк? Через океан? Из-за одной какой-то бумажки или печати? Но бюрократия есть бюрократия. Особенно международная. Понимая, что всё вполне серьезно, в последней надежде обращаюсь к офицеру, явно игнорирующему мой русский и не реагирующему на мужнин английский. Обращаюсь на тут же рождающейся в панике какой-то смеси церковно-славянского, украинского, белорусского и чего-то, отдаленно напоминающего болгарский. Он вслушивается с интересом. Потом отвечает мне медленно тоже на каком-то славянском наречии. На чешском? Словацком? Понимаю мгновенно. Общий смысл:

– Так бы и сказала, что ты сербка. Тогда посоветую вам в порядке исключения. Поезжайте в Словакию, это близко (еще бы!). Визы не нужно. Там есть чешское посольство. Оно выправит ваши бумаги, и тогда возвращайтесь, вас впустят в Прагу.

Так и пришлось поступить, и я не буду утомлять читателя перипетиями нашего неожиданного путешествия в Братиславу, хотя оно неожиданно оказалось довольно интересным и познавательным. Оно даже продлилось путешествием на противоположную сторону Дуная в близкую Вену, так как ждать документов для Праги пришлось несколько дней.

Но вот наконец, уже на автобусе, мы пересекаем чешскую границу. И вот – Прага! Теперь у нас для пребывания в ней есть только две ночи и один день, а сделать нужно так много и еще передать разным лицам посылки, письма...

В общем, когда мы бежим в древний замок, что вышается над рекой Влтавой, в тот собор, где находится гробница святой Людмилы, выясняется, что именно в этот день замок закрывается раньше. По крутым лестницам – всё вверх и вверх, а внутри за воротами охрана с собаками на поводках уже обходит территорию, проверяя, нет ли где затерявшихся посетителей. По иллюстрациям, по книгам кремль изучен до мелочей. Нахожу храм святого Георгия, подхожу снаружи к правому приделу, за стеной которого гробница моей святой, и мысленно прошу ее простить меня за то, что мечтаемая встреча не осуществилась. Прошу ее молитв, еще раз прошу прощения и плачу. Вдруг до моего слуха доносится нежное пение. Откуда это? Кажется, что изнутри, прямо из-за Ее стены. Почудилось? Нет, поют, действительно поют. Голоса сливаются, расходятся... Поют в храме, и мы устремляемся туда.

«Пограничники» почему-то не останавливают нас. Тяжелая дверь поддается, и вот мы в храме. Спина к нам на скамьях сидят люди, а прямо перед всеми, вдалеке, как раз на верхней площадке великолепной лестницы, ведущей к Людмилиной гробнице, расположились певцы и музыканты. Идет концерт старинной церковной музыки. На наше появление никто не реагирует, и капельдинеры как будто и не видят нас. Мы слушаем стоя, потом осторожно присаживаемся на крайнюю скамью, делаем несколько снимков. Никто не обращает внимания.

Концерт кончается. Слушатели долго аплодируют. Я знаю, что обычно вход на лестницу перекрыт и тогда не удастся подняться к гробнице. Сейчас же лестница открыта. По ней уже спускаются некоторые выступавшие, другие еще переговариваются наверху. Никто не обращает внимания на меня, подошедшую к самым ступеням, на меня, уже поднимающуюся наверх, на меня, уже склоняющуюся к мраморному саркофагу и молящуюся на коленях перед маленьким алтариком «в головах». Благодарю святую за такой подарок – пение, музыку, всё-таки встречу. Ухожу, провожаемая недоуменными взглядами последних музыкантов. Если бы они знали о моем счастье!

Перед храмом на маленькой площади пусто, только слушатели концерта, покидающие замок. Охрана обходит площадь. Мы опять оказываемся у южной стены, где я молилась, горько сетуя и плача. Я плачу и сейчас, но слезы совсем другие. На сердце так радостно, так тепло!

Приближается охранник с собакой. Он осматривает каждый закоулок. Как же он проверит вот этот, выходящий из стены невысокий балкон, взобраться на который, например, хоть озорникам-мальчишкам вполне возможно? И тут, как бы в ответ на мелькнувшую мысль, словно успокаивая меня, мне было показано и это. Охранник остановился под стеной храма, надел на собаку намордник, снял с поводка и коротко скомандовал ей (почти по-русски, но с ударением на последнем слове): «На гору!»

Та устремилаcь наверх по выступающим комням, перепрыгнула через каменные перила, обежала балкон и остановилась у края с победным лаем. Короткая команда: «Вниз», – хозяин освобождает ее от намордника, пристегивает поводок и следует дальше. Маленькая интермедия, восстановившая душевное равновесие, окончена. Медленно идем по дороге из замка. С высоты открывается далеко видная Прага. Все ее сады, купола и горящие закатным солнцем окна. Над идущими вниз широкими лестницами кружат голуби. Чистый дрожащий воздух, легкий туман. Что-то похожее на стихи разлито вокруг. Они и появляются постепенно. Сначала на ведущем нас через реку древнем Карловом мосту, откуда замок виднеется в новом повороте. Потом в узких улочках старого города. И всё не дают покоя в ночном автобусе, увозящем нас в аэропорт. И получаютcя такими:

В Праге

Княгине Чешской, священномученице Людмиле.
Святая Людмила, твой шарф не дает мне покоя,
твой лёгкий, твой белый струящийся шелковый шарф,
он в знак послушанья Христу твою голову кроет,
легко за плечами, как ангела крылья, шурша.
Не надо короны княгини, лишь мудрые книги,

да белая церковь, да внуков мерцающий смех;
о, не отнимайте детей,
дайте мне их подвигнуть
к Христу, к небесам от языческих ваших утех!
Мой князь Боровой, мой герой,
мой защитник

и рыцарь,
уж меч не возьмёт и узды не натянет коню...
От вражеской злобы приходится мне удалиться
И здесь я в изгнании Бога заветы храню.
Дорога до церкви идёт сквозь высокие травы;
пойду помолюсь, лобызая алтарный порог,
о внуках своих, о надежде моей – Венцеславе...
Но тени убийц на тропинку легли поперек.
Как цепки наёмные пальцы,
как холодно сердце убийцы!
И плотно вокруг шеи ложится твой шелковый шарф...
Сквозь время я слышу твой крик, как у раненой птицы,
до сердца паденья, до галлюцинаций в ушах!
Примером и веры и верности
вплоть до последнего шага
лежишь ты высоко-высоко над Влтавой-рекой.
Тобою хранима, шумит под горой Злата Прага
И шарфом туман опоясал твой вечный покой.

Владимир ПАХОМОВ

Спенсер, штат Нью-Йорк, США

КРЕСТ НА ВЫСОКОМ БЕРЕГУ

Такое долгое, долгое эхо...

О восстании староверов на севере Приморья 1932 года написано много, и читатель легко может найти эти материалы. Настоятельно рекомендую книгу А.М. Паничева «Бикин. Тайга и люди». Я же попробовал донести до вас в литературной форме свидетельства очевидцев, а также мои воспоминания о пребывании в местах, до сих пор хранивших следы тех трагических событий.

Вместо пролога

Осень 1982. Магадан встретил меня типичной и уже привычной для меня погодой – мокрый снег с дождем и ветром, а также опустевшими улицами и отсутствием мест в ведомственной гостинице, помянутой по этому поводу «незлым тихим словом».

В гостинице (ну конечно же, с оригинальным названием «Магадан») дежурный администратор, фигурой сильно напоминающая плохо завяленную корюшку и таким же приветливым лицом, почему-то с раздражением пробурчала, что места есть только в двухместных номерах и в каждом уже есть посетитель. Долго изучала мой паспорт, а командировочное удостоверение даже смотрела на свет (интересно, что она ожидала там увидеть).

Наконец, с видимой неохотой буркнула:

– 213. Ресторан сегодня не работает – санитарный день.

В номере было в меру накурено, пахло селедкой, луком и чем-то спиртным. Из за столика поднялся... я сразу узнал его! Человек со шрамом из моего далекого прошлого!

Годы слегка согнули его плечи, но военная выправка все равно осталась, а белые волосы заметно поредели.

– Николай, – протянул он сухую жилистую ладонь. Пожатие было чуточку излишне крепким (с каким-то вызовом, что ли?). – Присаживайся к столу, откуда будешь?

На журнальном столике стояла початая бутылка водки, аккуратно нарезанная селедка, луковица и батон белого хлеба.

Критически осмотрев это «великолепие», я достал из дипломата свой дорожный набор: бутылку коньяка и палку сырокопченой колбасы.

После традиционного «за знакомство» я сказал:

– Николай – а я ведь вас помню, Вы ведь работали в Сеймчанском РайГру авиадиспетчером, да? Я там на практике был в 1969-м.

Меня он, конечно же, не вспомнил, но опять же под селедку вспомнили многих общих знакомых.

– А ты до Севера где работал-то, Вовчик? (Видно пожизненно мне Вовчиком быть.)

– В Приморье вот восемь лет отпахал. Незабываемое время!

– В Приморье? – как-то напряженно переспросил он. – На Бикине, случайно не был?

– Как не был – в 1972-м и 1973-м заканчивал сезон на Улунге. (Место есть там такое.)

– Да знаю я это место, знаю, – лицо его потемнело, опущенные углы рта по-волчьи поднялись, обнажив в оскале пожелтевшие, но еще крепкие зубы. – Оттуда вот это, – и он провел рукой по налившемуся кровью шраму с внезапно побелевшими краями.

Не спрашивая меня, налил почти полный граненый стакан коньяка, выпил залпом, шумно выдохнул, размял беломорину, повертел и смял узловатыми пальцами с уже проступающими старческими пятнами.

Конец сентября 1932 года.

Рассказ Николая

– Я сам с Приморья, в Спасске родился, ну, ты знаешь, где это, а может, и бывал. При мне его в Спасск-Дальний переименовали. Самый партизанский центр был в 1920–1921 году.

Отцы рассказывали, как офицерье и буржуев разных пачками к стенке ставили без всякого суда, некоторых в ямах закапывали, а тех, кого в лес вывозили, так землей присыпали.

Мы сами расстрелы-то не видели, малы еще были, но одну колонну запомнил. Человек 40–50 было, одни офицеры, все с орденами и шли как в строю...

Мы, мальчишки, всё в партизан играли, «беяков» били, да как-то никто не хотел «беяками» быть, хоть и крестами ихними обвешивались.

Я всегда был активным – председатель пионерского отряда, секретарь комитета комсомола и мечтал бороться со всеми врагами советской власти. Поэтому, когда призвали в армию, попросился в особые части в подчинении ОГПУ (я ещё в школе уже сотрудничал с районным отделом), и меня, конечно, зачислили.

Однажды на внеочередном построении нам было объявлено, что нашу роту перебрасывают на север Приморья для ликвидации последствий староверского восстания. Приземистый, бритый наголо человек с одним ромбом на петлицах твердым поставленным голосом закончил выступление:

«К настоящему времени благодаря усилиям пламенного борца с врагами советской власти товарища Соколова восстание в целом разгромлено, и главари его понесли заслуженную кару.

Но по тайге остались хутора, заимки и скиты недобитых сторонников восстания и сочувствующих им элементов. Никакой пощады врагу! Советское Приморье должно быть полностью и навсегда очищено от этой нечисти!»

Вскоре самолетами нас перебросили в Улунгу.

В задачу нашей роты входило полное уничтожение хуторов, поселков, заимок, скитов и... бандитов!

Сколько их мы оставили лежать неубранными в тайге... кто считал!

Помню Хомяково, Плотниково, Старково, Новожилово, да сейчас все на одно лицо!

Добрались мы до монастыря на реке Зева, ликвидировали все, а монахов отправили под конвоем в Улунгу, да слышал, что не доехали они, лодка, что ли, перевернулась по дороге, наши-то вроде спаслись, а монахи плавать не умели, но это со слов, а может, и доехали они все.

Выше по течению был женский скит, но там мы никого не нашли.

А еще помню, что наш 3-й взвод парнишку нашел в зимовье, недалеко от Барановского хутора, так он, стервец, удумал капканы на трупах ставить, хоронить-то их времени не было, да и не нужно было никому.

Еле насмерть того мальчика не забили, командир пожалел, а зря...

Ты читал, наверное, или слышал, что много баб с детишками потонуло, спасаясь от нас на батах (лодки такие длинные плоскодонные, да ты знаешь, конечно).

Так вот, Вовчик (меня вдруг покорило от этого обращения), неправда это.

Было устное (не письменное, а устное) указание не щадить никого... понял?

Мы и нагружали бабами с ребятишками полные лодки и без весел отталкивали их от берега.

– Вот тут-то я и получил это, – и он снова погладил шрам. – Ликвидировали мы тогда хутор Старково. А уже лед по Бикину шел. Стал я передавать в лодку мальчонку, годика три, может, чуть больше, а он возьми да и упади в воду, случайно, конечно, я ведь не хотел... Ну и унесло его сразу течением!

Вой поднялся жуткий, и тут одна старуха (помню платок черный под самые глаза) кинулась на меня и обломком косы полосанула по лицу. Боль была адская и кровящая!

Ну, я, не помня себя, выхватил винтовку у бойца, что рядом стоял, и воткнул ей штык в грудь, а она обеими

руками в винтовку вцепилась, молчит, не кричит даже, а смотрит мне прямо в глаза, и, ты представляешь, не было в ее глазах ни злобы, ни ненависти, как будто запоминала она меня...

Дернул я раз, другой – она из лодки вывалилась, и понесло ее вниз, только вот запомнил, что лицом вверх и рукой такой скрюченной будто грозит мне!

Сколько таких лодок было, уже не помню, а про эту отметина на лице каждый раз напоминает, и глаза эти, как сейчас помню. А мне ведь тогда и двадцати еще не было!

Он залпом допил оставшийся коньяк, закурил и вдруг, прищурившись, спросил:

– Хочешь спросить – не мучает ли меня совесть? Нет, не мучает! И сплю я хорошо. Враги это были, понимаешь? Враги! И если бы дали мне еще одну жизнь – да что одну? несколько! – я бы их прожил также! Ни одного дня бы не поменял, потому что ни о чем не жалею.

Я ведь потом в охране лагерей служил (как говорили «вертухаем») до самой их ликвидации, так я тебе скажу – политические, они для меня так «контриками» и остались, в десять раз хуже воров были, и я их давил всегда, как только мог! Жаль, вот только стрелять их запрещали, а на побег кишка у них тонка была.

Особенно ненавидел тех, кто по статьям 58-10 и 58-11 шел, за агитацию против советской власти. Сидели бы себе и молчали, а то только и умели как сучки из подворотен гавкать..

Укусить-то не могли, куда им с их натурой-то...

Другие там за взрывы, диверсии разные сидели, так у тех хоть характер был...

В войну на фронт не просился, потому что понимал – здесь был мой фронт, в лагере, не менее важный!

Золото мы стране давали, на износ работали, да всего не расскажешь...

– А что вы здесь, Николай в гостинице, проездом куда, что ли? – спросил я.

– Слёт у нас завтра здесь – бывшие сотрудники органов собираются со всей области. Я вот и пиджачок со всеми наградами почистил. Разные почести нам, паек (икра, ба-

лычок, чай «со слоном», коньячок, может быть, а то последние годы все водку больше дают), ужин в ресторане, посидим, повспоминаем...

Все меньше нас, и внимания к нам все меньше, а ведь были нужнее нужного когда-то! Понимаешь ты – нужны мы были, нужны.

Было время, а главное – порядок был, ну и достаток само собой, а теперь вот – пенсия, – и он указал на столик. Прожить-то, конечно, можно на эту пенсию, да разве это жизнь?

Я вот всех пережил – Сталина, Хрущева и теперешних переживу тоже, не сомневайся, но скажу тебе так: лучше всех при вожде было! Два раза в моей жизни ревмя ревели все – и мы, и зэки – в день смерти вождя и в день, когда статуи его, бюсты и портреты уничтожали.

Одни политические не плакали (радовались, наверное, втихомолку), ну, я кому смог – припомнил потом это!

А Победа, что Победа – радость, конечно, была великая, только вот нам-то от нее радости было маловато – «суки» головы подняли, да «автоматчиков» (солдат осужденных) с фронта нагнали, но это длинная история – может, в другой раз, если еще свидимся... Спать давай, – резко оборвал он разговор и через пару минут уже беззвучно спал.

Я, в буквальном смысле этого слова, оглушенный рассказом, уснуть, конечно, не мог. Глядя на безмятежно спящего человека, я пытался представить, как он жил все эти годы? Пытался – и не мог.

А сколько таких Николаев еще живут рядом с нами, получают пенсии, растят внуков... Что они рассказывают им? Чему учат?

Слетается завтра воронье – только что мундиры не черные.

Глядя на спящего Николая, я спрашивал себя: воспитала их существовавшая в то время власть такими, подменив все человеческие ценности понятиями революционной целесообразности и сознательности? Нет, я думаю, что большинство из них даже не знало этих слов, а если знало, то никогда не задумывалось над их значением.

Просто порожденная властью вседозволенность помогла высвободить и в полной мере проявиться всему низменному, что жило в них, было заложено их родителями и предками вне зависимости от происхождения.

Под утро мне, наконец, удалось сомкнуть глаза, и память (все ещё под впечатлением рассказа, наверное) перенесла меня на 10 лет назад.

Улунга, конец августа 1972 года. Первые встречи

Люди жили... просто жили, и все..

Батчик Андронич

Наконец-то летим! 18 дней, 18 долгих летних солнечных дней мы ждали этот Ан-2 возле полосы затерянного в тайге таежного аэродрома с давно опустевшим домиком метеостанции.

За окном иллюминатора бескрайняя тайга – заросшие лесом низкие сопки сменялись долинами с едва поблескивающими речками, каменными осыпями, спускающимися с гольцов.

Вдали уже угадывалась долина реки Бикин с ее многочисленными притоками, названия которых завораживали, как неизвестная музыка: Бачелаза, Тавасикчи, Улунга, Чинга, Биамо...

Вдруг под крылом замелькали четко очерченные прямоугольники и квадраты редколесья и кустарника, контрастно выделяющиеся на фоне темной зелени тайги.

Знаком – большой палец вниз – пилот показал, что садимся.

Оставив нас на полосе с кучей снаряжения, самолет развернулся и улетел, помахав крыльями.

Немного в стороне от изрядно заросшего по краям молодым березняком аэродрома виднелся неказистый домик или просто избушка, в которой, кроме порядком облупившейся и сильно закопченной кирпичной печи, не было абсолютно ничего.

До самой Улунги было чуть меньше двух километров, а темно-красное солнце (пожары, что ли, где-то?) уже клонилось к закату.

Мы знали, что рядом с аэродромом находится военная радиолокационная станция и наверняка там есть машина. Увиденное, право же, было достойно описания.

Одна створка ворот под полностью выцветшим транспарантом с неясной надписью лежала на траве, вторая же косо висела на одной петле. Судя по всему, на станции не было никого, но на звук наших голосов вышел в помятой гимнастерке на голое тело и без подворотничка страшно заспанный сержант.

– Никого нет, Кирпичев (это лейтенант наш) уехал вверх по Бикину на рыбалку, и все с ним тоже. А я вот на дежурстве, – и широко зевнул. – Машина не на ходу, но если немного смазать, – он выразительно погладил себя по покрытому минимум трехдневной щетиной подбородку, – то до села доедет.

Через полчаса мы въехали в Улунгу.

Вдоль дороги, местами поросшей травой, стояло с десяток рубленых домов, угрюмо и, как показалось мне, враждебно смотрящих на нас темными окнами.

– Света нет, – пояснил сержант и мрачновато добавил: – А также магазина, почты, медпункта и никакой советской власти тоже нет! Две веселые фамилии на всю деревню – Черепановы и Могильниковы. Да еще Леха Гришко, или Гришков, шут его знает, – с большим прибабахом! Вам сюда, – и затормозил возле дома, в окне которого брезжил свет (керосиновой лампы, наверное).

На крыльцо вышел высокий сухощавый мужчина лет 50 и, судя по всему, жилистый и крепкий.

– Вы от Михалыча, что ли? А сам он где? Ну проходите, что стоять-то. Черепанов моя фамилия, а кличут Андроничем. Батчик теперь я ваш.

Так мы познакомились с одним из очевидцев восстания 1932 года, правда, в те времена он был ребенком и мало что мог рассказать об этом, да и то с большой неохотой.

От него мы узнали, что прямоугольники и квадраты, которые мы видели сверху из самолета, – заросшие пашни

староверов, где они выращивали пшеницу, рожь, а также сенокосы, пасеки, загоны для домашней скотины. На наших «генштабовских» картах были нанесены деревни: Старково, Новожилово, Плотниково, Хомяково. На наш вопрос, сохранилось ли что-нибудь там, он как-то невесело улыбнулся.

– Вот поедem, там сами все увидите.

Утром, узнав, что Михалыч (начальник наш) прилетит через неделю, он предложил нам помочь срубить баню.

– А хозяйка моя – Люська, значит, картошки вам отсыпет – мешка три, да вот и она!

На пороге появилась здоровенная бабища (другого слова подобрать не могу) лет 45, с выражением отстраненного любопытства на загорелом лице, в общем-то, не лишенном приятности.

Впоследствии Андроныч рассказал нам, что невестою он привел ее из поселка Кхуцин (что на побережье Японского моря в 160 км от Улунги) через глухую тайгу.

– Там же, километров 100 от Кхуцина, и брачную ночь справили – не дотерпели до дома-то.

Баню мы срубили из тополя, легкую, игрушечную, и даже успели помыться в ней.

Была только одна проблема: все пригодные деревья находились на другом берегу. Если вам приходилось когда-нибудь переправляться через быструю реку с помощью только одного длинного шеста, да ещё и на гружёной плоскодонной лодке длиной в 7 метров, то вы знаете, каких невероятных усилий это стоит.

После кровавых мозолей и охрипнув от терпкой брани, мы наконец приобрели этот бесценный опыт, который так пригодится нам впоследствии во время сплавов по таежным рекам Приморья.

Прилетел Михалыч, и, загрузив до отказа бат (вода чуть не достигала бортов), мы отправились вверх по реке Бикин на место работы со странным названием Санькин Ключ.

Немного выше устья Улунги Андроныч указал нам на обширные проплешины, поросшие молодым березняком и осинником на высоком правом берегу Бикина.

– Ну вот, смотрите, здесь деревни и были-то раньше! Люди жили... просто жили, и все, никого не трогали, детишек растили...

Только в одном месте (Плотниково здесь стояло, пояснил Андроныч), нам удалось рассмотреть два почерневших, слегка покосившихся деревянных столба.

Высадив нас на левом берегу, Михалыч уплыл с Андронычем вниз, пообещав вернуться через неделю.

Первым делом мы решили пожарить картошки. Развязали мешки с «благодарной» картошкой, которую упаковала Люська, и наградили «зловредную» самыми нелестными эпитетами, после того как обнаружили, что во всех мешках картошка (к слову сказать, отменная) была только сверху, примерно ведро или чуть больше. Остальной объемом занимала картофельная ботва вперемежку с землей и камнями!

Мы сразу же вспомнили, что оставили Люське 15 килограммовых пачек сахара для бражки к нашему возвращению.

Через 16 (!) дней приплыл Андроныч – без Михалыча, который, по его словам, был очень занят.

– К сезону готовится.

– Какому сезону? – не понял я.

– Ясно какому, охотничьему. Он же каждый год остается здесь и отпуск прихватывает, ты что, не знал, что ли?

Узнав о том, что львиная часть нашей работы была на другом берегу и сделать ее без лодки было просто невозможно, он прихлебывая чай, неожиданно мягко промолвил:

– Ты только не обижайся, Володя, ладно? Я вот каждый год работаю с геологами, и все они что-то ищут, а вот ваша партия, мне кажется, ничего не ищет.

По молчаливому уговору мы не стали ничего говорить о картошке и вечером уже с наслаждением смывали двухнедельную грязь в бане. Из погреба был торжественно извлечен молочный бидон с «мальвазией» (так мы заранее окрестили брагу, изготовленную Люськой).

Но столь ожидаемого праздника не получилось (точнее, совсем не получилось).

Эффект после первой кружки был неожиданным и весьма неприятным. Пудовая, а то и больше, гиря в желудке, обильный холодный пот – самое малое, что я мог почувствовать тогда. Зловредная Люська и здесь умудрилась чем-то подменить сахар.

Дверь вдруг отворилась, и в комнату как-то боком и неуверенно вошел невысокий человек, лет 60, плохо выбритый, с редующими пегими волосами и неуловимым взглядом маленьких бегающих глаз.

Увидев, в каком мы состоянии, он молча достал из спичечного коробка какую-то бурую (мазь? – погуще, однако, мази) с едким специфичным запахом и предложил каждому на ногте скрюченного грязного пальца маленький кусочек.

Минут через 10 после обильного, но уже не холодного пота нам стало значительно лучше.

– Медвежья желчь это, – глуховатым, слегка гнусавым голосом пояснил человек. – Могильников я, Евтихий, можно кружечку?

Так мы встретились с живым свидетелем восстания 1932 года.

Выпивая кружку «мальвазии» за кружкой, он, то подымая, то опуская по-прежнему неуловимый взгляд и как-то без особых эмоций, рассказал нам, что восстанием руководил его ближайший родственник Ефим Могильников и что Улунгу отряд ОГПУ захватили только на пятый день.

– Мне в ту пору только 17-й пошел, не убивал я никого, по зимовьям скрывался вначале. А потом вокруг деревень, да и деревень-то уже не было, стал покойников (наших, стало быть) находить, мужики, бабы иногда попадались, много их было... А уж дело к скорому снегу-то шло. Подумал я, подумал: им-то мертвякам-то все равно уж, и стал их на приваду (приманку, стало быть) растаскивать по тайге-то.

Дух от них, конечно, тяжелый был, и сам я этим духом пропах насквозь, но ничего, потом принялся, почитай, мертвяков-то 20 растащил да и капканы приготовил – на росомаху, соболя да разные, по зимовьям их много нашлось. Да вот однажды ночью меня пинком разбудили,

в зимовье ночевал я, выше по течению от Барановского хутора, да хутор-то уже спалили чекисты, а меня нашли, стало быть, случайно, сами искали, где погреться, наверное. Отправили меня в Хабаровск, а я, почитай, сроду в городе-то не был. И припаяли 15 лет, а за что? Отсидел я да и вернулся сюда вот. Наших-то всех, кого знал, да и родню мою, говорят, расстреляли всю.

Потрясенные рассказом, забыв про «мальвазию», да и про все остальное, мы лежали молча.

И показалось мне (ну не от «мальвазии» же), что потянуло от Евтихия отчетливым запахом тлена!

– Ну вот разговорился я что-то, – вдруг засобирался он. – Щас вот 17-ю кружечку допью (а я завсегда считаю) да и пойду. Благодарствую за угощеньице, не обессудьте, коли что не так.

– Открой дверь – душно что-то стало, и дрянью какой-то воняет, – вдруг отозвался с нар Виктор.

После этого я больше никогда не пил брагу и даже разговоры о ней вызывали самые неприятные, тошнотворные ощущения.

Ровно один год спустя. Улунга, Зева, конец августа, 1973

Крестов и тех-то не найти...

Так и лежим незахороненные по сих пор

Ветра таежные панихиду справили...

Монахиня Вера

В конце августа 1973-го я снова оказался в Улунге – один с рабочим (тоже Володей).

Мне предстояло отработать площадь на левобережье реки Зева в бассейне ключа Трофимовский.

До зимовья в устье ключа нас доставил, конечно же, Андроныч, то и дело задевая винтом мотора о каменистое дно заметно пересохшей речки.

– Значит, через неделю забирать, да, Володя? – и оттолкнулся шестом от берега.

Зимовье (барачек по-здешнему) оказалось небольшим, чистым, но, к сожалению, без печки. Охотник, по-видимому, решил сменить ее и еще не завез.

Проснулся я оттого, что лунный луч, прорезав через скудное оконце зимовье, осветил ближний угол каким-то призрачным зеленоватым светом. Накинув куртку, я вышел и вдруг почувствовал робкое, еле ощутимое дыхание осени, сбросившей еще не ломкий, пахнувший почему-то дымом листок мне на плечо. Я снял его бережно и, держа в руке, как билет на долгожданный спектакль, тихо и счастливо рассмеялся. Мохнатые ресницы звезд над головой вдруг задрожали, с трудом сдержав серебряную слезу, чтобы не уронить ее в бесформенную шапку птичьего гнезда на наклонившейся к ручью голой вершине огромной ели.

Рано утром мы вышли в первый маршрут и через полкилометра вступили в густой еловый лес. Как он был непохож на зеленомошный ельник бассейна реки Арму, где мы начали полевой сезон! Там чахлые, подгнившие, сложенные ели повсеместно проросли высокой вечно мокрой травой, с тучей комаров, облепляющих тебя при каждом шаге. Здесь мы попали в настоящий заколдованный лес; то ли земля Берендеев, то ли владения Бабы-яги?

Огромные вековые ели, сквозь кроны которых едва просеивались лучи солнца, свисающие длинные бороды зеленого с сединой мха, чуть вздрагивающие от неошутимого ветра, и гнетущая тишина (именно гнетущая, до неприятного позванивания в ушах) создавали иллюзию присутствия кого-то невидимого, пристально наблюдающего за тобой.

Оба, испытав это чувство, мы с облегчением молча вышли за границу ельника и замерли, ошеломленные увиденным. Ошеломленные, потому что контраст между сумрачным лесом и тем, что мы увидели, был просто невероятен! Как будто перед нами, сидящими в полутемном зале, внезапно подняли занавес, заливая зал ярким волшебным светом с бравурной увертюрой невидимого оркестра!

Перед нами была на первый взгляд нескончаемая березовая роща! Да какая! До сих пор мы видели такую только в фильмах – сказках Роу и Птушко.

Удивительно ровные стволы, которые, казалось, вырастали из невысокой густой, еще не тронутой желтизной травы, на которую невесомо не падали, а спускались редкие позолоченные осенью листья, закружив голову, как немислимый хоровод невест в длинных снежно-белых платьях.

Стояла тишина, но совсем не такая, как в ельнике. Это была обволакивающая умиротворяющая тишина, которую хотелось бесконечно слушать, забывая обо всем на свете.

– Беловодье! Истинно Беловодье! – прошептал я, с пронзительной ясностью понимая, почему староверы выбрали эту землю.

Она действительно, как земля обетованная, была в полной мере созвучна их образу жизни, помогала взаимоотношениям с творцом природы, окружающим миром и друг с другом.

Размышления мои прервал шепот Володи:

– Тихо, ты! Молчи! Сейчас она выйдет!

– Кто выйдет? – не понял я.

– Ну, она! Понимаешь! Машенька или Варенька – да не все ли равно! С косой и корзинкой!

Я посмотрел на застывшее в благоговении лицо Володи и понял, что я совершенно не знаю его, проработав полгода рядом, и сколько мне еще придется учиться, чтобы хоть в какой-то мере понимать людей, что является одной из величайших ценностей дарованных нам природой.

А на третий день Володя потерялся во время маршрута.

Обычно он шел то слева, то справа от меня, в пределах так называемой голосовой связи, постреливая из моей мелкашки рябчиков, которых он обычно во время обеда поджаривал на прутике и съедал полусырыми.

Но в этот раз или я увлекся, или он незаметно вышел из пределов слышимости, но так или иначе мой сорванный голос, метания по склону и выстрелы из нагана (мое ведомственное – императора Петра Великого Тульский оружейный завод 1905) были напрасны.

Усталый и расстроенный, поздно вечером я припелелся в барачек. Спал плохо или скорее не спал, постоянно прислушиваясь. Утром я опять вышел на левый борт

Зевы и по нему пошел вверх в надежде, что Володя переждал ночь и, согласно десятки раз повторенному, ждал на месте.

Смеркалось. Донельзя вымотанный, я выбрал место под двумя огромными лиственницами, из-под корней одной из которых вытекал светлый ключик с необычайно вкусной ледяной водой. Точнее, это был не ключик, а родник почти правильной круглой формы, глубиной в полметра.

Что-то странное было в этом роднике, но что, я понять не мог и решил не забивать себе голову (забот и так хватало с лихвой). Из последних сил заготовил сушняка на костер, кое-как смастерил настил, запил водой банку сгущенки и мгновенно уснул.

Проснулся я от странных и совершенно незнакомых звуков – явственного женского плача-причитания или заунывной молитвы, исполняемой несколькими женскими голосами. Костер почти погас.

Дрожащими руками (приснится же такое, к чему бы?) я подбросил сухих веток, яркое пламя разогнало темноту, и вот тут я испугался по-настоящему! Напротив меня за костром сидела женщина.

Вся в черном, в черном же платке, из-под которого смотрели на меня огромные, немигающие, темные глаза.

– Не пугайся, монахиня я, Вера! А сестры матушкой звали. Здесь они вместе со мной, вверх по Каменному ручью. Человек, знакомый тебе, крест наш (не антихристовый) поставит, да нескоро это будет-то. Пусть уж упомянет нас как невинно убиенных, а имена-то пресвятая Богородица и так знает. Вижу – крещен ты, да среди тех, с красными звездами начертанными от антихриста, тоже крещенные были, только отреклись они от веры-то, и не будет прощения им во веки вечные. Многие, ох многие от суда мирского-то ушли, да суд то Божий страшнее будет. Ну, пойду я – идти-то далече, разговорилась, людей давненько не видела, прости меня грешницу. А работник-то твой, – почти ласково добавила она, – тебя около сруба поджидает, нашелся он.

Я еще долго всматривался в темноту, в которую она ушла, словно растворившись, сопровождаемая печальны-

ми криками совы-сплюшки и еще какой-то незнакомой ночной птицы.

Непреодолимый, какой-то внезапный сон сморил меня.

Вскочив, будто кто-то громко позвал меня по имени, я тупо смотрел на потухший костер, думая про необычный сон (а вдруг не сон это?).

И тут я понял, что странного было в роднике, – в нем ничего не отражалось. Абсолютно ничего: ни мое лицо, ни небо, ни нависающая ветка лиственницы! Желая проверить догадку и заодно набрать воды для чая, я подбежал к роднику. И тут холодок снова побежал по моей спине – воды в роднике не было!

Дно его было абсолютно сухое, как будто если и был родник, то очень и очень давно.

Голова закружилась от беспорядочно спутанных мыслей: ночное пение-плач, монахиня, родник...

Даже не позавтракав и не оглядываясь, я быстро зашагал назад.

Уже ближе к вечеру на подходе к барачеку я увидел дымок от костра и причаленный бат. Навстречу мне поднялись от костра Андроныч и Володя со смущенно-виноватым видом.

Оказалось, что по плоскому водоразделу он незаметно для себя перевалил в долину реки Биамо и, проделав за два дня около 50 километров, выскочил на берег реки Бикин, где его подобрал каким-то чудом проплывавший охотник. (Спустя два года Михалыч передал мне картонку от сахара-рафинада, найденную им в барачеке на устье Биамо, на которой углем написано: «Был здесь. Ушел искать наш маршрут. Володя».)

За чаем я рассказал о приключившемся со мною ночью и поразился, как изменилось лицо внимательно слушающего Андроныча.

– Вот оно как-то... Значит, не врал Толик. Ты, Володя, знаешь его по прошлому году. Толик Решетько, участок у него по правому борту ниже Санькиного ключа. Так вот, он лет пять назад завозил на Зеву кого-то, то ли геологов, то ли еще кого-то, врать не буду, да и заночевал возле костра. А ночью, по его словам, монахиня к нему приходила.

Ну, я тогда посмеялся – любит Толик приврать да и к спиртяге (а он у него завсегда есть) приложиться перед сном любит, а оно видишь-то как! А теперь вот послушайте оба. Был на Зеве на ключе Каменном в 30-х годах женский скит. Сколько там было их, откуда пришли и кто строил скит, тогда-то никто не знал, а уж теперь-то и подавно, но настоятельницу монахиню-то у них Верой звали – это точно! – и выразительно посмотрел на меня. – Когда чекисты-то пришли, то разное говорили – мол, не нашли никого там, наверное, через хребет ушли на Кхуцин, а там в Японию, да только не видел никто монахинь этих больше. Я так думаю, что после чекистов все они остались там убиенными да незахороненными по нашему обычаю-то, вот она, матушка, и бродит там – напоминает о них, да где их найдешь теперь, сколько лет прошло... А поминать – а вдруг и правда живы тогда остались, пусть даже не все? Как же их поминать – грех ведь!

Андроныч уехал, обещая вернуться через три дня, а я с Володей засиделся у костра. Спать вроде бы и не хотелось, но сизая дрема после трудного дня уже какими-то волнами начала накатываться на меня.

Страшный хохот заставил нас вскочить, парализовав руки и ноги, и сердце, казалось, тоже!

Это был поистине дьявольский хохот, потому что ни один человек так смеяться не смог бы! Глухие замогильные раскаты сменялись язвительно – торжествующими нотами! Внезапно хохот оборвался, и в наступившей полной тишине я слышал не только гулкое биение своего сердца, но и, казалось, сердце стоящего рядом Володи. Заснуть мы уже не смогли.

Приехавший через три дня Андроныч долго смеялся над нашими страхами и указал на бесформенное гнездо на голой вершине ели:

– Филин-рыболов это, давно живет здесь, а бывает, что после смеха-то еще и свистит, как говорят, Соловей-разбойник из сказки.

Больше я никогда не был в тех краях.

В 1995 году по инициативе и при участии Александра Михайловича Паничева – человека, после окончания ге-

ологического факультета посвятившего свою жизнь изучению диких животных и ныне доктора биологических наук, – на правом высоком берегу Улунги поставлен высокий староверский крест-голубец, деревянные части которого для долговечности проварили в крепком соляном растворе.

На кресте 122 фамилии расстрелянных участников восстания. Им было от 24 до 42 лет.

Думал ли я тогда, что через 20 (!) лет в совершенно чужой стране судьба снова напомнит мне о тех далеких трагических временах!

Штат Орегон, США, осень 1993

Здесь наш дом – на земле богоданной...

Начетчик Иннокентий

В 1993 году по контракту с областным управлением здравоохранения Магаданской области мы поставляли из США продукты питания, с которыми в это время в области, было прямо скажем, неважно.

Столкнувшись с проблемой поставки овощей и фруктов (соответствие цены и качества) мы случайно вышли на компанию из Орегона. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что это русскоязычная компания и принадлежит она староверской общине.

И вот мы в Вудборне – небольшом городке штата Орегон.

Здесь нас встретил худощавый невысокий человек с окладистой бородой в потертых джинсах и простой голубой косоворотке, застегнутой на плече простенькими пуговицами.

– Порфирий, а величают Иннокентьевичем, можно просто Порфирий. За мной езжайте – уже вечереет.

Через полчаса мы въехали в живописную долину, расчерченную сеткой полей, ухоженными строениями ферм, небольшими стадами черных и черно-белых коров, фруктовыми садами.

До чего «похоже» на наши деревни, подумал я.

Грузовичок «Тойота» затормозил на неожиданно открывшейся за яблоневым садом просторной улице со стоящими по обе стороны добротными домами с цветущими палисадниками.

– Приехали, пошли, умоемся с дороги, да потрапезничаем чем бог послал. Гостевой дом это, извиняйте, что не так, для гостей это – приезжих, стало быть.

Чистая просторная комната с двумя кроватями, застеленными лоскутными одеялами, самодельный аккуратный дощатый шкаф для одежды и небольшой буфет-горка с посудой.

После душа мы вышли в затененный дворик, где рослая, пышущая здоровьем молодая девушка, накрыв вкопанный до блеска выскобленный стол и сложив руки на груди, с нескрываемым любопытством смотрела на нас. Русые с золотинкой густые волосы ее были покрыты платком, не закрывая лоб, с тронутого загаром лица с россыпью веснушек смотрели васильковые глаза, а длинная, ниже колен юбка скорее подчеркивала ее фигуру, чем скрывала, во всей красоте молодости.

– Что, хороша девка-то? – глядя на нас, рассмеялся Порфирий. – Ступай, Агаша, не надо тебя больше.

– Кушайте на здоровье, – грудным голосом пропела она и с полупоклоном прошла мимо нас, обдав волной каких-то приятных знакомых запахов.

– А ведь яблоками пахнет, – вырвалось у меня.

– Как есть яблоками, – серьезно подтвердил Порфирий. – У нас все девки баские да на руку скорые, от того-то и пахнут так. Молитву исправить надо – перед трапезой-то, а как неверы вы, то не возьмите в тягость «аминь» в конце сказать – чай, язык-то не отсохнет.

Он достал из кармана красиво украшенную лестовку и со смущенным видом спрятал ее обратно.

Мы наконец оглядели стол. На деревянных блюдах лежали: свежий крупно нарезанный серый хлеб, немислимых размеров румяные пироги, белоснежная квашеная капуста, соленые огурцы, помидоры.

– День-то постный, – словно извиняясь, проговорил Порфирий.

В центре стола глиняный кувшин с квасом и небольшая (литра на полтора всего-то) запотевшая бутылка с прозрачной жидкостью.

Я сразу обратил внимание, что посуда наша отличалась от посуды Порфирия. Как будто заметив мой взгляд (а может, и впрямь заметил?), негромко он произнес:

– Посуда-то мирна – токмо для гостей, извиняйте уж! Здравы будем, – и ловко налил в граненые стаканы. – Самогон мой, давеча справил. Да я крепкий-то сам не уважаю, градусов 70, не более!

После второй Порфирий разговорился, и мы с удивлением узнали, что ему всего 34 года, а детишек бог дал пока всего пятеро и что отец его Иннокентий Евсеевич – начетчик здешний («вроде попа вашего» – мы-то беспоповцы, стало быть, будем).

– Сейчас, почитай, у нас дворов 60 с гаком осталось, а было почти под сотню. Лет 20 назад на Аляску подались первые-то, жизни, стало быть, лучшей искать, за ними и другие, а я так думаю, что жизнь-то, она там, где дом твой, верой да молитвой крепкий, семья твоя да детишки – нешто можно лучше-то найти? Вот мы, Старцевы, сколько лет-то ее ищем, жизнь лучшую, – и в Китае, и в Бразилии, а она вот здесь, – и он обвел руками вокруг. – Отец-то мой с Дальнего Востока – да расспросите его сами завтра, коли охота есть, а таперича спать надо, встаем-то потемну еще.

Я по обыкновению встал рано и вышел. Белая взбитая перина тумана как бы нехотя сползала с долины под ласковыми руками утреннего солнца, горластые петухи уже заканчивали переключку, где-то слышалось мычание коров, певучая размеренная речь – поселок проснулся.

Вечером, опять же с непременно угощением, мы встретились с отцом Порфирия – Иннокентием.

Невысокий, плотный, с заметно наметившимся брюшком, борода и усы с густой проседью и очки в круглой железной оправе – таким мы увидели одного из самых уважаемых людей в поселении.

– Да я мало что помню-то, да и времени прошло сколько. Мне ведь в 1932 году-то пять годочков-то и было. Отец

рассказывал, что с Каменки (село такое в Приморье было) в Китай они скрытно ушли. Там мы и жили аж до 1958 года; отец мой, мать, два брата и сестра захоронены там. А потом Бразилия – тяжелые времена были, и вот тут уже нашли свой приют-то, на земле богоданной.

А о восстании мне отец рассказывал, брат-то его Иосиф вместе с Могильниковыми, Кулагиными да со своим побратимом Ванькой Токаревым эти дела и вершили. Праведные были люди, коль мученическую смерть за веру от антихриста-то приняли. Прощевайте пока – мне вечерню исправить надо.

Через два дня мы возвратились в Сиэтл.

Больше встретиться не довелось, а жаль...

Вместо послесловия

Кто мог предположить, что эхо событий 1932 года отзовется через 60 лет, найдя отклик в моем сердце, и в какой-то мере изменит отношение к людям и их судьбам.

Такое долгое, долгое эхо...

Софья РОНГОНЕН,

старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала
Архива РАН

«Я ПО ОБЫКНОВЕНИЮ ПРОГУЛИВАЛСЯ ПО ПОКРОВКЕ...»

Нижний Новгород на карте 1812 года

В Городском архиве Хельсинки хранится карта Нижнего Новгорода начала XIX века, составленная Э.Г. Эрстремом.

Эрик Густав Эрстрем (Erik Gustav Ehrström) родился в 1791 году в Эстерботнии (österbotten-Pohjanmaa), приход Ларсмо (Larsmo-Luoto), недалеко от Якобштата (Jakobstad-Pietarsaari) и был первенцем в семье пастора Андерса Эрстрема и Анны Марии Рейниус.

Первоначально Э.Г. Эрстрем получил домашнее образование, в 1807 году был принят в Академию в Або, где начал изучать русский язык. В 1808–1809 годах участвовал в русско-шведской войне. В 1811 году защитил диссертацию, посвященную учению Канта о вещи в себе. В 1812 году (вместе со своим товарищем К.Г. Оттелином) стал первым государственным стипендиатом русского языка в Великом княжестве Финляндском: они были отправлены в Московский университет [Бородкин, 1909]. Во время эвакуации университета при подходе французской армии к Москве студенты оказались в Нижнем Новгороде. Позже Э.Г. Эрстрем вернется в Або, будет преподавать, затем

станет пастором, в том числе почти 10 лет в шведской общине в Санкт-Петербурге.

Судьба Эрика Густава, с одной стороны была типичной для человека его круга и времени, с другой стороны, его личный архив, переписка, дневники раскрывают нам личность необычную, творческую, талантливую. Мы видим лирического героя дневников – доброго тонкого человека, очень тактичного. Честного, открытого и весьма наблюдательного. Побывавшего в свой 21 год на войне, горестно пишущего подробный список сгоревшего при пожаре в Москве имущества, большую часть которого составляют книги, в том числе подаренные родителями.

Дневники Э.Г. Эрстрем имел прекрасную привычку вести на протяжении всей своей жизни. Военные дневники 1808–1809 годов («Пушки Оравайса») изданы только на шведском и финском. Московская и новгородская части изданы и в русском переводе. Дневники 1812–1813 годов по содержанию являются путевыми заметками ученого (этнографа, лингвиста, историка).

В дневниковых записях Эрстрема из Городского архива Хельсинки хранится нарисованная им карта Нижнего Новгорода (фрагмент – на задней стороне обложки). Карта помещена между записями 92 и 93 за октябрь 1812 года.

Карта нарисована на плотной бумаге желтоватого оттенка с водяным знаком, склеена из 7 частей (шесть размером 19 на 22 см и одна размером 19 на 14 см). Имеет неправильную форму (прямоугольное полотно и выступающая прямоугольная же часть) и следующие размеры: основное полотно 57 на 44 см, верхняя вклейка 19 на 14 см. Лицевая сторона тонирована зеленовато-голубым тоном. Карта нарисована акварельными красками, надписи сделаны чернилами. Карта сохранилась неплохо. Основные проблемы ее физического состояния – разрывы в местах сгибов и в местах склейках, информация при этом не утрачена. Масштаб карты автором не указан, предположительно 1:10000. Надписи в орфографии шведского соответствующего периода, четкие и за редким исключением легко расшифровываются.

В названии карты: «GRUNDTECKINING AF NISHNEJ NOVGOROD Innan man befär denna Grundteckning bör man föreställa sig en Präfatio honoratissima af Auktern (?), tui er (?) sigtande af haus hastverk och stursveri» (Общий план Нижнего Новгорода) автор извиняется за то, что ему пришлось рисовать ее в спешке.

На карте изображена центральная часть города, место слияния Волги и Оки, кремль и прилегающие улицы. В легенде читаем о значении цветов на карте: «Gult ubmärker bebodda Stöllen. Grönt inom de gula, trädgårdar eller promenad platser. Blått på torra landet, djupa grafvar, samt längs af floderna hoga branta åbackar, eller stränder. (Жёлтым цветом обозначены места обитания, застройка; зеленый в окружении желтого обозначает сады, парки, пешеходные улицы или места для прогулок; синий на суше обозначает глубокую балку, а вдоль рек – высокие крутые склоны или обрыв)».

Далее в легенде перечислены отмеченные буквами латинского алфавита здания церквей:

a. Kasanska Kyrkan och begravnings plats (Казанская церковь)

b. Voznesenska, eller Christi himmelsföns Kyrkan (Вознесенская церковь)

c. Roshdenstvenska eller Christi födelse (Рождественская церковь)

d. Gamla Kasanska (Старая Казанская церковь)

e. Ilja Prorok, eller Propheten Elia (Ильинская церковь)

f. Ivan Predtetsch, eller Johannes Döparen (Церковь Иоанна Предтечи)

g. Preobrashenskoj Sobor, eller Christi förklarings Katedral (Преображенский собор)

h. Archangelska, den andra äldsta Kyrka i Staden (Архангельская церковь, старейшая в городе)

i. Staroverska Kyrkon (Староверская церковь)

k. Sretenska, eller Marie Kyrkogångs (Сретенская церковь)

l. Varvara mutsennitsa, eller Barbara Kyrka (Церковь Варвары мученицы)

m. Nikolaj Tsudotvorets, Nikolai undergörare (Церковь Николая чудотворца)

n. Pokro(v)ska – Marie Skyds och Förböns (Покровская церковь)

p. Tyska Lutherska Kyrkan (Немецкая лютеранская церковь)

r. Hospitalet och dess Kyrka (Больница и церковь при ней)

q. Peter Pauls Kyrka och Begravnings Plats (Церковь Петра и Павла)

Под нарисованной на карте дорогой в Ярославль и Петербург (Vägen till Jaroslavl och Petersburg) указаны общественные здания и дома знакомых Эрстрему жителей города: 1. Rostbonden Kurakin – 2. Borgaren Kolin – 3. Krets skoler. 4. Titulär rådet Jagodinsky – 5. Gostinoj dvor eller (?) bodarna – 6. Archierejon – 7. Theatern – 8. Apoth Evenius – 9. Kertelli – 10. Lubof Muranof – 11. Majorskan Kulebakin och Kaptenskan Travin – 12. Titulär rådet Meshetsky – Stzesesky – 15 Olga Stepanovna Nitjajef.

Некоторые объекты отмечены крестиками, их названия написаны прямо на карте. Стрелками изображено направление течения рек, указаны две паромные переправы (Färja), четыре основные дороги – в Ярославль и Петербург (Vägen till Jaroslavl och Petersburg), в Арзамас и Симбирск (Vägen till Arsamas och Simbirska), в Казань и Макарьев (Vägen från Sibirien Kazan och Makarief), в Москву (Vägen till Moskva). Отмечены такие объекты, как Kreml (кремль), Öfre Torget (верхняя площадь), Djupa Grafvar (глубокий овраг), улицы – Barbare (Варварская), Александровская (Aleksandrovskaja) и Покровская (Pokrovskaj). Недалеко от места слияния Волги и Оки Эрстрем отметил на карте монастырь (Munk Klostret). По местоположению и характерному оврагу рядом, можем утверждать, что это Благовещенский монастырь [Храмцовский, 1857, план, № 37].

О точности и достоверности приводимых в дневниках студента сведений можем судить по одному прекрасному отрывку. Запись № 168 от 21 января (2 февраля) 1813 года, в Нижнем Новгороде. Эрик Густав описывает свою прогулку по городу и наблюдаемое им солнечное затмение: «Вчера около полудня я по обыкновению

прогуливался по Покровке. Погода была хорошая, хотя и холодная, солнце редко скрывалось за прозрачными облаками. Сквозь тонкую облачную пелену проглядывал слепящий диск солнца, который вскоре засиял во всем своем блеске. Когда же раз я случайно бросил взгляд на этот благодатный свет, то увидел, что край солнечного диска скрылся, не оставив и следа. Удивительно, но четкая его граница дугообразной формы как бы перерезала солнечную окружность. Пока пятно не исчезло, я догадался, что являюсь свидетелем солнечного затмения». Кольцеобразное солнечное затмение действительно произошло 1 февраля 1813 года (57-е затмение сто восемнадцатого сароса [О кольцеобразном...]), а область наилучшей его видимости попадает в широты Северного полушария.

Опубликованная нами здесь карта Нижнего Новгорода, несомненно, требует дальнейшего изучения, а дневники Э.Г. Эрстрема – научной публикации.

Источники

1. Helsingin kaupunginarkisto. Aa 3. Erik Gustav Ehrström päiväkirjat. 1812.
2. Helsingin kaupunginarkisto. Aa 4. Erik Gustav Ehrström päiväkirjat. 1812.
3. Helsingin kaupunginarkisto. Aa 5. Erik Gustav Ehrström päiväkirjat. 1813.

Литература

1. Cederberg, A. R.: Suomalaisuuden merkkimiehiä. 3, E. G. Ehrström; K. N. Keckman; J. F.Cajan. Kansanvalistusseura, 1917. 87 p.
2. Moskva brinner, en nyupptäckt svensk dagbok från 1812, red. av Christman Ehrström. ISBN 9158205004. Stockholm: Legenda, 1984. 197 p.
3. Эрстрем Э.Г. Для меня и моих друзей. // Наше наследие, № V (23), 1991. С. 67–82. Перевод со шведского Т. Тумаркиной. Публикация Магдалены Эрстрем.

4. Эрстрем Э.Г. 1812 год. Путешествие из Москвы в Нижний Новгород. – Нижний Новгород, Издательство Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2013. стр. 293.

5. Бородкин М.М. История Финляндии. Время императора Александра I. – Санкт-Петербург, 1909. 765 с.

6. Храмцовский Н. Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода. Часть первая (очерк истории). Нижний Новгород, в Губернской типографии, 1857.

7. Храмцовский Н. Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода. Часть вторая (описание города). Нижний Новгород, в Губернской типографии, 1859.

8. О кольцеобразном солнечном затмении 1 февраля 1813 года [Электронный ресурс] // URL: http://www.secl.ru/eclipse_catalog/1813.html (дата обращения: 18.06.2019).

Пётр РОДИН

Воскресенское

ТИХАНСКИЙ ПРУД

Давненько уже всё это было, в восьмидесятих годах прошлого столетия, в самый расцвет поветлужских коллективных хозяйств...

Ранней весной, в водополе, чем свет, он мог постучать в дверь председательской избы и чуть виновато, переминаясь с ноги на ногу, доложить:

– Пруд в Тиханках, боюсь, что уйдёт, спасать надо.

И заводили они вездеходного «козлика» ГАЗ-69, и поспешили к расхулиганившемуся, как обиженный подросток, и гнавшему лукошки пены, ворчащему потоку талой воды.

Проект водоёма, выкопанного в своё время единственным стареньким колхозным бульдозером с помощью ещё и наёмного, был утверждён на одном из больших перекуров тиханских и сухореченских мужиков во главе с бригадиром Геннадием Смирновым. Чертили ивовыми прутьями по песку на взгорке, у райповского сельмага, и матерились почём зря:

– А я тебе, Валер, так скажу: из этого не выйдет ничего.

Николай Кошельков, главный супротивник предлагаемого плана, сказал как отрубил. А «Валер», механик Большеиевлевского колхоза имени Большакова, Валерий Васильевич Воробьёв, с ещё большей уверенностью терпеливо доказывал, что воду можно удержать. Только надо подежурить с полсотней мешков речного песка у дамбы в самый её напор.

Ранний визит на председательское крыльцо и состоялся как раз в ночь этого «самого напора».

Его звали либо по имени-отчеству, либо укороченно, Валер, и никак иначе. Там, где его пуповина зарыта, на месте родимой деревни Покровки, уже тогда было тимофеечное полько, опушённое берёзовыми да ольховыми перелесками с болотинами. Выгорела деревня дотла ещё до войны, когда Валер и под стол-то не хаживал. А сейчас заподлицо с поредевшим старым лесным массивом затянулось мелколесьем и бывшее поле. С высоты птичьего полёта, наверное, только и можно разглядеть очертания бывшего поселения, а потом пахотного участка.

Дед и отец его вместе с другими погорельцами отстроились в Большом Иевлеве, на центральной усадьбе колхоза. Поступил учиться Валерка в начальную школу осенью срок первого беспощадного года. Как он горько подшучивал над собой:

– Окончил четыре класса, да пятый – коридор.

Надо было как-то кормиться семье. Выручал лес, грибы и ягоды. Липу драли, мочальную рогожку на продажу ткали. Сено корове да овечкам по кулигам шорыхали, ну и в колхозе, конечно, трудились, рук не жалея. Известный лозунг: «Всё для фронта, всё для Победы» главным посылом для всей страны был. Очень хотелось Валерке Воробьёву учиться, да времечко ему и сверстникам на взросление жестокое выпало.

Но учёбу на тракториста в городе Горбатове сам парнишка и его батька с маткой всё-таки осилили. Позднее, будучи уже взрослым, он не упускал возможности подучиться на различных курсах, пополняя свои познания в технике. Получил права тракториста-машиниста первого класса, шофёра, корочки бригадира тракторной бригады. Новинками в парке сельхозмашин живо интересовался.

Был он среднего роста, с широким русским лицом здорового цвета. Малость курносый, седой как лунь смолоду. С детской, на первый взгляд наивной, усмешкой. Но не таким уж простеньким был этот мужик, как могло показаться. Умел расположить к себе собеседника. Кучерявым заветлужским матерком владел в совершенстве, но выражался редко. О происхождении вот такого тарабарского изречения: «Екон, твоё мал!» можно догадаться. Вот им

чаще он и пользовался. И ещё его перевёртышем, как бы ответом на пароль: «Мал, твоё еконта!»

С молодых ногтей любил Валер железо, всякое и разное, но главное – применительно к местной земле-неродиче да животноводческим фермам. И «кувалдометры», и самые мелкие шайбочки, кажется, примагничивались к его ухватистым крестьянским ладоням. До самых мелких кожных пор он был пропитан гаражными запахами. Всегда сопровождал его бензино-солярно-масляный душок, перебиваемый ароматным до чихоты самосадом и (знай наших!) амбре дешёвенького одеколонца.

Воробьёв знал себе цену. При случае заявлял её, не стесняясь малость и зависить. Опыт, накопленный ещё с мальчишеских лет, начиная с управления быком, лошадкой, тракторным плугом, а потом и самим трактором, и автомобилем в сплаве с природной сметкой, позволил ему стать одним из лучших в районе механиков-практиков. В то время он только ещё входил в настоящую мужичью силу. Топал по матушке-земле так, будто она пружинила под его кирзачами.

Он тащил в гараж отовсюду самое необходимое и дефицитное. А дефицитом тогда было всё, кроме, может быть, дешёвой рабсилы.

Основной записью в его трудовой книжке была следующая: «Механик по трудоёмким процессам в животноводстве». Сам же Воробьёв называл эти процессы «говняными». И это было ближе к натуре. Навозные транспортёры на тяжёлых штампованных звёздочках с гирляндой цепей со скребками были в его ведении.

Ближе к развалу огромной страны, а затем и колхозов замыслил Валер вместе с городскими шефами и инженером внедрить в практику контейнерное хранение картошки. Это же вековая мечта крестьянства! Не перебутыривай её, спасительницу, в вонючем сусечном хранилище или того хуже – в полевом кагате, а бери клубни из-под принудительной вентиляции заданного режима. И ведь были, были уже смонтированы направляющие рельсы для скольжения на роликах яркой окраски контейнеров, смонтированы и подключены электродвигатели с пультами управления на толстых кабелях...

Но не судьба была местной бульбе понежиться зимой под дуновением прохладного ветерка (по чешскому образцу) – перестройка грянула.

Костеря почём зря горбачёвские выкрутасы, обитатели колхозного гаража ставили во главу угла его антиалкогольный указ. Это ж надо было, до такого вредительства додуматься!

– Плохо всё это кончится, – пророчили мужики. Так оно и вышло.

Ладно бы где-то ещё! А в колхозе, как без неё, поллитровки казёнки?

Не для увеселения утробы, а чтобы спину да руки-ноги расслабить после лежания под «газоном» или «дэтэшкой» с домкратом и ключами.

Или после десятичасовой тряски по малоконтурным полям-кулигам в кабине того же советского трактора ДТ-54, а позднее и ДТ-75. С другой стороны, может, и отмазкой общей было такое умозаключение. Встречались нередко и малопьющие механизаторы. И ничего, пахали дай бог каждому. Но в любом случае перестройка в СССР связывалась в мироощущении наших работяг со злополучным указом. Кстати, а как тому же автомеханику, к примеру, на поиски запчастей отправляться с пустыми руками, без пузыря за спинкой сиденья? А с введением в действие печально знаменитого указа водка вообще стала валютой. Жидкой, но вполне конвертируемой в глубинные насосы, шестерёнки и подшипники.

Пользовалась спросом «Московская особая», «злодейка с зелёной наклейкой», но с четырьмя медалями. Правда, помнится, с серебряными. Стоила до повышения 1981 года два рубля 87 копеек, после – пять рублей 30 копеек, а в конце восьмидесятых – уже до червонца.

Водка «Пшеничная» также в фаворе была. Её вывеска: жёлтое пятно тучного ржаного поля с работающим комбайном. Бутылка была уже без язычка, закрывалась на завёрточку.

А как не любить патристическую «Русскую» с названием, начертанным старинной вязью и с красивым вензелем. Платить за поллитровочку с четырьмя уже золотыми

медалями надо было четыре рубля 12 копеек до повышения и пять тридцать, а потом и десять – после.

А водочка «Московская» с кремлёвской башенкой да со светлой головкой! «Иностранкой» её ещё обзывали, так как на экспорт шла.

Так же, как и самарская «Столичная экстра» восьмимедальная. О вкусовых качествах в сравнении с теперешним хлебобовом уже умолчим. Это ли не символы эпохи!..

Утро. Гараж. Разнарядка. В диспетчерскую заходит Валерий Васильевич. Не садясь на своё привычное справа от председателя, место, подходит к питьевому бачку. Степенно погружает кружку, висевшую на цепочке в тепловатую водицу. Выпивает и крикает так, будто семиглотышный стакан «Старки» в нутро отправил.

Константин Голубков, шустрый и острый на язык шофёр, громко так, на публику, задаёт провокационный вопрос:

– Что-то Валерий Васильевич, опосля вчерашней командировки, знать, жажда замучила с утречка?

– Да не говори, Константин, мал – твоё еконта, едва ли не селёдки солонущей в Дзержинске, на «Оргстекле» натрескался.

Матерки и хаханьки... Колхозная планёрка продолжается.

Имея самое благородное крестьянское происхождение, Воробьёв тянулся к книгам и журналам. Вычитал где-то легенду об истоках родной деревни Большое Иевлево.

О том, как во времена стародавние монах Бабьегорского монастыря Иевель с двумя сыновьями Петром и Макаром пришли сюда, на речку Кукудомку. Мечтали о своих избах да пашнях. О том, как жили первосельцы в глухом лесу, в землянке, от медведей да волков оборонялись. Гласила легенда, очень уж на правду похожая, и о том, как построили они избу, крепкую и просторную. Да лесные люди черемисы выжгли их. И ведь не ушли тогда Иевель с сыновьями с облюбованного места. Прогнали разбойников, заново жилище построили. Вот с той первой избы и зародилась деревня.

– А ведь если задаться целью, – вслух мечтал Валер при мужиках в курилке, – то и мою родимую Покровку возродить

можно. Стоит только первый дом выстроить, и дело пойдёт. А там, глядишь, и первая улица обозначится.

В должности уже заместителем председателя строил он в колхозе не только избы и двухквартирные дома, но и дороги, фермы, и гаражи. Вырастил двоих сыновей и трёх дочерей. У здания бывшего детсада «Сказка» распушились заматеревшие уже голубые ели, завезённые им саженцами из питомника. А у родовой избы в деревне Большое Иевлево растут посаженные им три кедра.

Страна чтит своих героев. Сам Георгадзе подписал удостоверение к ордену «Знак Почёта». Но вот уже больше тридцати лет прошло, как покинул любимый край наш замечательный земляк.

Раненько убрался в мир иной не святой, но светлый человек, Валерий Васильевич Воробьёв. Впрочем, и маршруты нам, и время в пути, как говорят воцерковлённые люди, определяет Всевышний.

Да, а Тиханский пруд в то памятное буйное половодье удержать в берегах так и не удалось. Ушла водица, подмыв и легко раскидав все преграды. Зато следующей весной удалось всё-таки сохранить запруду. Может быть, и потому, что разлив случился не таким спорым и разовым.

Мы тогда лишь наблюдали за ручьями-игрунами, наполняющими чашу пруда. И за мирно уходящей в лоток широкой и тяжёлой, будто свинцовой, водяной лавой.

Особенно отрадно было созерцать родной берег в предвечернее время начала мая. Легкий ветерок из дальних полей и перелесков наносил ещё запах мокрого снега. Сырость и прохлада быстро завладевали округой. Предвосхищение какой-то нечаянной радости, торжества обновления, надежды на лучшее, словно висело в пахнущем сырой глиной и горьким тальником воздухе.

Казалось, что не воду сгоняют в котловину пруда ручьи, а само время, по секундам, минутам и часам. А потом оно лавиной дней неотвратимо уходит куда-то в придорожные кусты и в уже по-ночному темнеющий лес.

Стихи по кругу

Надежда КНЯЗЕВА

Арзамас

Витилиго

Как близко не принять, когда уже
И так безмерно близко расположен.
Ты витилиго на моей душе,
Как белое пятно на карте кожи.
Заветная приметная черта,
Всем видимая – разве тут укроешь?
Незримо уязвимая пята,
Ранение озонового слоя.

Я допускаю эту слабину
И не ишу ключа, что был украден.
Я запускаю сердце в глубину,
Одно.
На дно.
Между ключичных впадин.
И бьётся там его большой плавник,
И запускает тремоло вибраций.

Ты целый неоткрытый материк,
К которому так хочется добраться.

* * *

В желании умерить дурь,
Сквозь небольшую ранку
Я вывернул лицо вовнутрь
И заглянул в изнанку,

И там увидел не скелет,
Не тлен и страх распада,
А дедушкин велосипед
Средь яблочного сада.

Он мне отдал его, когда
Дыханья не хватало,
И оплетали провода,
И гасла нить накала.

Я думал, боль внутри найду
И спазм артериальный,
А тут мой дед стоит в саду –
Живой, почти реальный.

Ворчливо шутит: во, ребята,
Дурные вы, живые,
Все вдаль да вширь, а вглубь себя
Ко мне пришёл впервые.

Не забывай о старике!..
И я стою, виновный,
Сжимаю яблоко в руке,
И каплет сок венозный.

Татьяна КОПТЕЛОВА

Из цикла

«К 800-летию Нижнего Новгорода»

Нижегородские начала

Есть место святости, покоя
В движенье Волги и Оки.
Его Россия вновь откроет.
Её стремлениям близки
Нижегородские начала:
И созерцанье, и борьба.

Корабль не дремлет у причала...
У нас единая судьба!

Под знаком многих поколений
Жизнь, словно реченька, текла,
Путь открывал народам гений,
И высь, что дивно глубока,
Хранила лучшие богатства:
Любовь и память, и мечту.
Мы помним Родину и братство,
И ширь земли, и красоту!

Мы – поколение надежды

Не властны грозные столетья
Над русским духом. Нижний вновь
Пройдёт сквозь пламя лихолетья
И сохранит свою любовь,
Убережёт свои святыни
От ветра бури и вражды,
От тяжкой участи гордыни
И от забвения беды.

Соединенье вещей силы –
Движенье рек и небеса...
Мы помним всё, что раньше было,
Мы снова верим в чудеса.
Мы – поколение надежды!
Нам новый век готовит путь,
Шьёт время разные одежды,
Но не померкнут смысл и суть:
Единство в вере и участие
В судьбе России до конца!
Творить, любить – земное счастье!
В стремленье плаваются сердца.

Восемьсот ступеней

Восемьсот ступеней –
Долгих славных лет,

Свет земных мгновений
И свершений след.
След в сердцах и душах,
На земле родной.
Слово жизни слушать
Будем мы с тобой.

Слово скажет память.
Путь запомним ввысь.
Вся Россия с нами.
Не оборвались
Корни. Живо древо
Света и добра.
В мире будет первой
Русь! Её пора.
Нижний – часть России,
Ветвь её судьбы,
Пламенной стихии
Света и борьбы!

Юрий ПРОНИН

* * *

Житейским обливаясь потом,
Душа, зажата в тиски
Заботой, домом да работой,
Не чувствует смертных тоски.
Тоски по небесам и воле,
Необозримости дорог.
По солнцу, по луне, по полю,
По том, что сотворил нам Бог.
Тоска о том, что позабыли,
Как бы не знали никогда.
Как бы всю жизнь без Бога жили,
Все свои лучшие года...

Пётр РОДИН*Воскресенское, Нижегородская область***Пацаны**

Отцвели лишь одуванчики,
Лето просто, как в кино.
Пацанва – седые мальчики
На лужайке пьют вино.
Почечнили, поафганили,
Вот Серёга без ноги.
– Моджахеды, суки, ранили,
Экономлю сапоги.
Заходил кадык, как маятник:
Глыть да глыть – туда-сюда.
А за спинами их памятник,
Где начертаны года.

Тех, кто звёзд высоких вспышками
Был на веки впечатлён.
В Грозном, в Новый год парнишками
Не петардой опалён.
– Мужики, а нам же ё-моё!
Скоро будет по сто лет.
Вон идёт моя знакомая.
Блин, ржавеет пистолет!
– А вино-то, знать, разбавлено,
Да и водка – хренотень!
– Хорошо, что не отравлено,
Нам привычно, слышишь, Сень!
«Куд-куда!» – в бурьяне курица,
Нищета идёт пешком,
– А в Аргуне моют улицы,
Даже скалы – с порошком.
Почечнили, поафганили.
Жить хреново, ну так что?
Вот по крайней стопке налили:
– За Россию, как за что!

* * *

А у нас, в Воскресенском,
В косыночке, налегке,
Кружась, будто в вальсе венском,
Осень спешит к реке.
— Здравствуй, рыжеволосая!
Не рано ли, август лишь
Страду завершил покосную.
Может, в лесу поспишь?
Девочка, в жизнь влюблённая,
Успеешь, позолотишь
Листья клёнов зелёные.
Стожары в зенит наостришь.
Нет, сбежала к Ветлуге
Сегодня, в туманную рань.
И канула в осень округа,
Родная моя глухомань

София МАКСИМЫЧЕВА

Ярославль

* * *

Из дома каменного вышли,
на серебро травы ступив.
Над нами небо и Всевышний,
и сицилийский перелив.

Там впереди, у горизонта
один единственный изъян:
слепящий око яркий контур
всех привозных самаритян.

И монастырь у ног деревни
с покорной слабостью раки,
где сросся мох с плитой древней,
и мантелетта шелестит.

Ольга КОСОВА*Кстово***Яблочная осень**

Было ль лето, не было? И когда успели? –
Сладкие, румяные яблочки поспели.
Вымыты дождями, высушены ветром
Соком наливались в хмурый день и в светлый.
...Побросало деревце яблоки устало,
Всё цветной мозаикой под собой устало.
Облако пушистое опустилось ниже:
Ароматом яблочным с наслаждением дышит.
Надышалось допьяна – не удержат ноги.
Поползло урывками через сад к дороге.
Растеклось туманами по кустам, оврагам,
Повисая клочьями: не туман – бродяга.
А вокруг волнующий аромат разносит,
Чтоб зимою помнили яблочную осень

Елена СОМОВА

* * *

Посвящение Люции Коренновой

Сегодня улыбнусь благодаря свирели,
Запавшей в душу таинством мелодий,
Из глаз летящих в сердце, что согрели
Мельчайших искр мозаики на входе
В мир противоположных соответствий
Мечте,
В дорогу заново влекущей, –
И полон до краев при соловьиных кущах
Свет глаз рулад и радуги, –
Наследства
Счастливых снов о жизни...

Дарья ФОМИНА*Балашиха*

Закат

Растворился вечер почти –
Так во рту тает сладкая вата.
А я глаз не могу отвести
От порезанных линий заката.
Светло-алый сменился багряным,
Нежно-розовый – синим на треть.
Этот фильм на небесном экране
Я могу бесконечно смотреть.
Может быть, за горящей чертою,
На доске исчезающей той,
Бог рисует несмелой рукою
Нашей жизни сценарий простой.

Русский смех

Ирина СОЛЯНАЯ

г. Калач, Воронежская область

ПОЕХАЛИ!

Одним из серьёзных ощущений, связанных с нашим временем, стало ощущение надвигающегося абсурда, когда безумие становится более или менее нормальным явлением.

С. Довлатов

Геннадий Павлович Мухин, гражданин России в возрасте шестидесяти пяти лет, а попросту – Палыч, лежал в отдельной палате. На подоконнике в трехлитровой банке плавал чайный гриб, на тумбочке сияли три апельсина. Такого почета Палычу не оказывали никогда, а всё потому, что его ударило в голову упавшим с неба осколком метеорита.

Поскольку Палыч и зимой и летом ходил в шапке-ушанке, страдая хроническим отитом, то его мыслительный центр не пострадал. Но от испуга Палыч уронил на кочку трехлитровую банку самогона. Степень его печали была так велика, что доктор Безобразов не рискнул положить пациента в общую палату. Благо что в психоневрологическом диспансере № 4, называемом в народе «Кубышка», нашлась свободная.

Вечером, после отбоя, к Палычу прокрался симулянт, помещенный в психстационар по постановлению суда, сожрал два апельсина, отхлебнул из трехлитровой банки и сказал без видимого сочувствия:

– Дурак ты, Палыч, тебе не страдать надо, а жизни радоваться. Интервью давать, по телеку выступать. В рекламе сниматься. Эх...

Но Палыч не ответил симулянту, а только отвернулся к стене. О чем говорить? Его картина мироустройства сильно пошатнулась. Мало того что он утратил доверие товарищей и не принес заветного самогона, депрессия Палыча имела гностические корни. А что если метеорит – вовсе не метеорит, а осколок небесной тверди? А что если Земля не круглая, а Гагарин и в космос не летал? Вон, по каналу Рен-ТВ уже неоднократно говорили, что американцы на Луну не высаживались. Эдак всё можно подвергать сомнению.

Наутро психиатр Безобразов во время обхода задержался у койки Палыча.

– Что вас беспокоит? – участливо поинтересовался он.

– Гагарин, – хмуро ответил Палыч.

– Это из двенадцатой палаты?

– Нет, из шестьдесят первого года, – отвечал пациент.

«Выписывать пока рановато», – сделал пометку Безобразов и удалился пить кофе.

Время шло, подчеркивая каждой своей бессмысленной минутой, что Палычу выйти из «Кубышки» будет непросто.

Через месяц из областного центра приехал шустрый следователь Гусаков с неопрятной конопатой лысиной и пористым, как старый поролон, носом.

– Напрасно мы Мухина Геннадия Павловича в больнице держим. Экспертиза показала, что в осколке, ударившем этого пациента, содержатся форстериты и пироксены. Это не считая того, что метеорит был характерно черного цвета и с матовой поверхностью. Так что пациент не только говорит чистую правду, но и оснований считать его сумасшедшим не усматривается.

Безобразов потер переносицу и предложил Гусакову дешевого коньяка с дорогим лимоном. Он умело посыпал желтые дольки молотым кофе, показывая особую, утонченную интеллигентность. После второй рюмки Безобразов подписал выписку Мухину Г.П.

* * *

– В сутки на Землю падает примерно пять тонн метеоритов, – начала улыбая телекорреспондентка, – как вы объясните, что один из них угодил именно в вас?

– Я – избранный! – гулким от убежденности голосом сообщил Палыч, и на этом интервью с ним и закончилось.

К дому Палыча потянулись паломники. Все хотели знать, какая истина открылась Палычу после незапланированной встречи с космическим объектом. Но тот только мычал про небесную твердь, которая раскололась от грехов человеческих на тысячи осколков, и каждому грешнику рано или поздно треснет по голове. Эсхатологические воззрения Палыча разделяли немногие, большинству было бы приятнее узнать, что ему за доблестный труд премия положена или за несправедливые притеснения какая-то компенсация. А по голове – извините, пусть лучше вам.

Следователь Гусаков закрыл дело о причинении вреда здоровью Мухина Г.П. в связи с неустановлением виновного лица, причинившего падением метеорита данный вред. Сам метеорит был уничтожен как вещественное доказательство. Музейщики попробовали было пожаловаться: «Как уничтожен? Как вы могли посягнуть на потенциально ценный экспонат?» Ан нет – без бумажки ты, как известно, Чебурашка. У вас есть бумажка, господа музейщики о том, что вам принадлежит вышеозначенный метеорит? То-то!

Место, на котором Палыча настиг осколок небесной тверди, огородили сеткой-рабицей. И к этому пятачку землицы потянулись страждущие. Прошло полгода, ни на одного из них метеорит не упал, и постепенно история с Палычем забылась, а сетку-рабицу кто-то банально спёр.

Вечерами Палыч подолгу глядел с крыльца в чернильное небо и томился неясными мыслями. Яркие всполохи июня говорили ему, несведущему что метеорный поток Ариетид, именуемый почему-то Майским, не имеет никакого отношения к падению метеоритов. Палычу того было не понять, и он любовался темной бездной, простроченной светящимися нитями, и вздыхал. В его доме не нашлось бы засохшей крошки, углы затянуло паутиной, даже обиженные голодные мыши ушли к соседям. В отместку те позволили в «Кубышку», и Палыча снова госпитализировали.

Он вернулся на тот же этаж, но поскольку уже не был ценным пациентом, Палыча определили в двенадцатую, к Гагарину. И это было судьбоносное решение.

* * *

– Мало того что Бог есть, – горячечно шептал Палыч своему новому другу Гагарину, – так он еще и не всесилен, если созданный им мир рушится! Пойми ты, от небесного купола отваливаются огромные куски, внутри которых сокрыта целая вселенная. Мир непрочен. В нём трагедия! А мы – жертвы собственных преступлений! В нас поселился дух пустоты и тьмы.

– Палыч, ну как же ты ошибаешься! Ты же с ног на голову ставишь весь исторический материализм! Какой бог, какая небесная твердь? Двадцатый век! – Гагарин вскочил на койке, запутавшись в скомканном одеяле. – Я тебе докажу, просто на пальцах, как дважды два есть секретное число пи, как ты не прав!

– Не-е-е-ет! – Мухин покрутил фигой у носа Гагарина. – Ты самозванец! Никакой ты не Гагарин, и ничего ты мне не докажешь! Ты Егорка Гарин, я видел в карточке! Егорка чужое имя присвоил и в космос не летал. Ты Землю нашу даже с высоты птичьего полета не видел! А и никто не летал. В газетах написали. По телевизору тыщу раз повторили. Кто подтвердит?

– Циолковский! Титов! Терешкова! – бессвязно выкрикивал Гагарин, пока не валился на кровать, бессильно кусая подушку.

Палыч садился рядом, гладил плачущего оппонента по голове и уговаривал: «Уймись. Не пришло твое время. Все люди по-разному чувствуют связь с Богом. Дети и святые – всегда. Взрослые – только в моменты озарения. На меня сошла благодать, а ты жди своего часа».

Так Мухин и Гагарин спорили не одну ночь. За спиной каждого стояла своя правда, в общем и целом одинаковая, с разницей только в деталях. Но именно эти детали страшно волновали спорщиков, и разрешить их мог только личный полёт в космос.

– Имей в виду, Гагарин, – убеждал его Палыч, – мы погибнем в любом случае. Или без трехразового питания на орбите Земли, если ты прав, или ударимся своими затылками о каменный купол, если я прав. Но я за правду готов на всё, так и знай. Может, это мое предназначение – стать героем и испытателем.

Доктор Безобразов даже не подозревал, какие планы вынашиваются в двенадцатой палате. Олигофрен Будкин, о котором забыли и Мухин и Гагарин, всегда был молчалив, улыбался и пускал слюни. Он не искал истин, лишь злился, что Гагарин и Мухин мешали ему спать. Поэтому Будкин пригрозил заговорщикам сдать их начальству. Мухину и Гагарину пришлось разработать специальный язык, понятный лишь им двоим, на котором они сговаривались совершить дерзкий побег. Кодовым словом начала операции было: «Поехали!»

Решили лететь в космос на медицинской «буханке», усовершенствовав её двигатель и конструкцию. И операция была близка к успеху, если бы не предатель Будкин, который всё-таки донёс. К сожалению, о несанкционированном полёте в космос узнали «там», и доктор Безобразов ничего не смог с этим поделать. Палыча арестовали и тут же увезли. Гагарина, страдавшего шизофренией, не тронули. У него было непоколебимое решение суда: «Недееспособен».

Палыч слезливо моргал и выглядывал из автозака, выезжавшего из ворот «Кубышки». Гагарин кричал в форточку: «Крепись, товарищ! То, что мы не завершили, будет рано или поздно сделано!»

Судья хмыкала, листая уголовное дело Мухина Г.П., его обвиняли в подготовке к террористическому акту. Не желая делать из Палыча узника совести и выносить оправдательный приговор, она переквалифицировала преступление в покушение на угон транспортного средства. Палыч попал в колонию, где пользовался необыкновенным авторитетом. Весь срок он провел у пахана под боком, выплетая словесное кружево своих философских воззрений. «Ни одна блоха не плоха, если к истине ползёт», – вывел для себя Палыч.

* * *

Двенадцатого апреля после трехлетней отсидки Палыч возвращался домой. Он не страшился будущего, его не пугало настоящее. Перед освобождением из колонии он получил письмо от Гагарина, в котором было только одно слово: «Поехали!» Палыч мечтательно улыбнулся: он знал, что его заклятый друг исполнил взятое обязательство. Уж как-то ему удалось оторваться от грешной Земли и выйти на орбиту. Оставалось лишь ждать вестей.

Палыч знал, что газеты и телевидение будут замалчивать несанкционированный полёт Гагарина, но все же надеялся на тайный знак. И знак не заставил себя ждать. Из облака показалась тёмная точка и с невиданной скоростью устремилась к Земле. Отколовшийся кусок небесной тверди догонял Геннадия Павловича Мухина. Тонкий свист, завершившийся шипением, заставил Палыча свалиться в рыхлую весеннюю борозду. Это осколок метеорита настиг философа, застряв за ухом заношенной шапки-ушанки.

«Я оказался прав, – прошептал со счастливой улыбкой Палыч, теряя сознание, – упокой Господи душу раба твоего Гагарина».

Александр ПОНОМАРЕВ

Москва

ШВЕЙЦАРЬ

Нет лучшего средства забыть про кошмары минувшей рабочей недели, нежели закатиться в клуб-ресторан «Гоголь», чья вывеска выстрелит неоном по вашим глазам на съезде с Ижорской эстакады в сторону Литейной улицы, и там, расправив крылья, с молодецкой удалей пуститься во все тяжкие.

— Знаем мы ваши тяжкие... — недоверчиво усмехнется искушенный читатель, скептически прищурив свой глаз, но будет немедленно поставлен на место.

— Что бы вы понимали, — скажу я в ответ на его скепсис, — во-первых, в данном заведении можно стогнать партийку-другую в бильярд или даже в вист на интерес. Затем вкусно отужинать филе сиба, запеченного с пармезаном и артишоками, и запить все парой бокалов хорошего рейнского. А еще тут можно между делом обсудить со здешними пикейными жилетами беспокойную обстановку на Ближнем Востоке и перспективы «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Ну и на десерт позволить себе перекинуться томным взглядом со скучающей брюнеткой в леопардовом платье, что лениво ковыряет мороженое за соседним столиком, пока ее кавалер, забыв про все на свете, азартно засаживает в лузу непослушный шар.

Следует отметить, что описанные выше удовольствия вы будете получать под «Времена года» Вивальди в живом исполнении струнного трио и отменную кубинскую сигару.

Не знаю, как для вас, друзья мои, но для почтенного, законопослушного и к тому же по уши семейного человека, кому недавно отметили полтинник, у кого хронический холецистит, подагра, мигрень, а также невыплаченный кредит в Сбербанке, подобное времяпрепровождение, увы, как раз-таки и тянет на все тяжкие.

Так, к чему я, собственно, начал свой разговор? Ах, да.

Если театр начинается где-то в районе вешалки, то у клуба начало вы обнаружите, можно сказать, не дойдя до его порога. Еще под козырьком, украшенным медным профилем великого писателя, вас встретит эдакий аккуратный, прилизанный, одетый в длинный сюртук господин с увесистым зонтом наперевес. Это в том случае, когда вам приспичит наведаться сюда летом. Ну или все тот же господин, только уже в подбитой ондатровым мехом шинели с медными пуговицами, если подобное желание настигнет вас в более прохладное время года. Но зонт при нем будет всегда. Точно так же, как и роскошные, не хуже, чем у самого Бисмарка, усы, висящие на сытом, без единой морщинки лице, несмотря на весьма почтенный возраст их хозяина. В общем, прошу любить и жаловать здешнего швейцара – Акакия Акакиевича. Не уверен, что так звучит его настоящее имя, но судя по визитке, прищипленной к высокой тулье его старомодной шляпы, кличут здесь колоритного привратника именно так.

– Семен Аркадьевич, радость-то какая! – всплеснёт он своими пухлыми ручками, едва заметив, как вы, выбравшись из такси, втягиваете голову в плечи, пытаетесь сократить площадь своего намокания под мерзкой осенней изморосью, и, раскрывая на ходу купол зонта, засеменит вам навстречу.

Затем он непременно проводит вас, поддерживая аккуратно под локоток, до фойе, где передаст лично в руки услужливому гардеробщику, кивнув незаметно уборщице, чтобы та затерла мокрые разводы на мраморном полу, что оставили ваши хлебнувшие небесной влаги ботинки.

– Сегодня вы по полной программе погулять зашли – или так, севрюжки с хреном откусать? – обязательно задаст он вам свой дежурный вопрос.

– Это уж как карта ляжет, – ответите вы ему с залихватской улыбкой праздного гуляки. И тут же, хлопнув себя по карманам, неожиданно вспомните: – Эх, опять карту клубную забыл, кажется. Ну не олень ли? Может, пустите под честное джентльменское?

– Спрашиваете тоже, – умилительно сложит он руки на груди, – подумаешь, какая напасть. Это даже очень замечательно, скажу я вам, что вы ее забыли, – начнет утешать он вас по-отечески, – значит, в покере удача будет сегодня на вашей стороне. Примета у нас здесь такая.

При этом весь вид его будет излучать такое благожелательство, такое неземное наслаждение присутствием дорогого гостя, что душа ваша зайдется в шоколадной истоме от счастья пребывания в самом атмосферном уголке городской инфраструктуры, а рука непроизвольно потянется в карман за пятисотенной.

– Возьми, любезный, – заслужил. Очень все хорошо.

– Что вы это так! Зачем вы так это! – возмутится он, уверенным движением запихивая купюру за обшлаг своего сюртука. – Я же здесь для того и поставлен, чтобы хорошо все было. Служба у меня здесь такая.

В общем, единственный раз, когда я из клуба ушел раньше полуночи и в полном разочаровании, это вчера. Зуб неожиданно сломался, представьте себе. Рябчик попался чересчур жесткий, зараза, вот зуб и хрустнул. Неспроста, видно, мне повар так настойчиво вместо дичи сосиски повенски с грудинкой предлагал.

Хотя, возможно, дело и не в рябчике вовсе, а в, собственно, моем несчастном клыке. Сколько раз его уже латали, потом перелатывали и затем опять переперелатывали. «Время, значит, его пришло», – подумал я, и сердце мое сжалось от предчувствия неминуемого расставания со столь необходимой в быту частью тела. Настроение у меня от таких мыслей испортилось окончательно. Я на скорую руку допил свой бокал, быстро оплатил счет и махнул рукой Акакию, чтобы тот подал ко входу такси: дома, мол, и стены помогают.

Только дома мне стало значительно хуже. Стремительно разнесло левую половину лица и подскочила температура.

И это несмотря на то, что я весь вечер полоскал челюсть виски с содовой. В конце концов я на ногах едва стоял от невыносимой боли. Впрочем, вполне возможно, что и не от боли вовсе, а от полоскания.

Утром мне чрезвычайно повезло договориться с регистратурой насчет визита к дантисту на десять. Зубной в нашей районной поликлинике от бога. Старый кадр еще, дореформенный, я только у него зубами занимаюсь, несмотря на страховки всякие.

Так что без пятнадцати десять я, замотанный шарфом от подбородка и до макушки, стою эдаким бедуином у порога районного медицинского учреждения. В глазах темно, в ушах музыка звучит, не понять какая, но точно не Бивальди.

Стоило только мне попытаться надавить на тяжелую, обитую кованым железом входную дверь, как я сразу же почувствовал на спине чей-то колючий и цепкий взгляд.

– Эй, а полис медицинский при себе у тебя, приятель? – заглушил музыку в моей голове ехидный голос. Я неуверенно притормозил и обернулся. Передо мной, разметав ноги на ширину плеч, стоял дородный охранник в черной униформе и с дубинкой в руках.

Порывшись в карманах, я пришел к выводу, что полиса у меня при себе нет. После чего мне осталось только отрицательно мотать головой и глупо улыбаться.

– Так чего же ты приперся тогда сюда, голубь? Давай-ка поворачивай назад свои оглобли, – продолжил ехидничать охранник, внушительно играя перед моим носом резиновой дубинкой.

– Мил человек, разреши, так пройду, – пытаюсь достучаться я до него. – Это зуб все окаянный. Ночь напролет глаз не сомкнул. Поверь, не до полиса мне было.

– Ничего не знаю. Полис сначала предъяви, а потом ступай на все четыре стороны. А иначе, значит, никак. Порядок тут такой.

Палка охранника при этом многозначительно уткнулась в мой живот.

Я опустил глаза и внимательно посмотрел на дубинку.

– Так на то он и порядок, чтоб исключения делать, – продолжаю канючить я, шелестя непослушным языком. – Пока туда-сюда, полчаса пройдет, не меньше, а у меня очередь через пять минут уже. Не губи, родной.

– Никак нельзя. Я для того здесь и поставлен, чтобы во всем порядок был. Служба у меня здесь такая.

«Надо же, слова какие знакомые, – мелькнуло вдруг у меня в голове, – где-то подобное уже приходилось слышать».

Тут я поднимаю голову и упираюсь взглядом в растопыренные от справедливого возмущения усы а ля канцлер Бисмарк.

– Акакий, ты ли это? Вот никогда бы не подумал, что тут встретимся, – хлопнул я себя по ляжкам, не столько от радости, сколько от удивления.

Тот присмотрелся ко мне повнимательней. Наконец взгляд его потеплел, а усы стали показывать, как им и положено – полшестого.

– Семен Аркадьевич, – опешил от изумления охранник. – Простите, не узнал вас сразу. Потому как тоже не ожидал, что вы... и сюда... к нам, – неловко попытался оправдаться он. – Да и мудрено признать вас с таким-то реквизитом на голове. А я тут, понимаете ли, по выходным реализую себя. У хворающего населения, так сказать, на страже здоровья стою...

Палка Акакия между тем опустилась, а потом и вовсе спряталась за его широкой спиной.

Встретить сотрудника престижного клуба в таком амплуа, да еще где! – в районной захолустной богадельне показалось мне настолько забавным и странным событием, что я даже забыл, по какому поводу, собственно, здесь остановился.

– Разреши задать нескромный вопрос, Акакий? – не удержался я наконец.

– Извольте, чего уж там.

– Все никак не могу в толк взять, что ты здесь забыл у парадного? При твоих-то чаевых, не считая зарплаты у себя в «Гоголе».

– Правда ваша, – утвердительно закивал Акакий, – уж что-что, а финансовая сторона моей жизни протекает вполне благополучно и без видимых потрясений. А здесь... какие здесь, право, деньги. Так, слезы одни.

– Вот и я говорю, какого лешего тебе весь этот маскарад случился?

– Так это я ведь не для денег вовсе, для души это, Семен Аркадьевич, – слегка смутившись, ответил он.

Перехватив мой недоуменный взгляд, он принялся объясняться, все больше распаляясь при этом.

– А вы бы сами попробовали днями напролет улыбаться всем, спину гнуть перед каждой... простите, я не вас имел в виду... персоной с туго набитой мошной. Приятные слова разные произносить. Порой так муторно на душе становится, что в морду так и тянет кому-нибудь плюнуть. Но ты не моги – терпи, раз служба у тебя такая...

– Это я все понимаю, братец, – продолжаю недоумевать я, – поликлиника-то только при чем тут районная?

Наверное, выражение моего лица стало совсем глупым, ибо он посмотрел на меня с некоторым снисхождением и сожалением, как на юродивого.

– Как это при чем? – процедил Акакий, после некоторой паузы. – А где ж, как не здесь, я смогу в свой законный выходной самим собой побыть, расслабиться от будней трудовых, душой оттаять.

Тут взгляд его снова сделался цепким и колючим.

– Минуточку, Семен Аркадьевич...

После этих слов Акакий бросился вслед за какой-то теткой, чинно проследовавшей мимо нас в регистратуру.

– А ну-ка стоять, гражданочка! – проревел он во всю мощь своих легких.

Та от неожиданности аж присела. Из одной руки у женщины выпала сумка, другой она судорожно схватилась за левую половину грудной клетки.

– Куда это ты без бахил намылилась, шельма, а? – строго насупив брови, спросил Акакий нарушительницу, удерживая ее за хлястик старенького полупальто.

В ответ женщина, с подобострастной с улыбкой, лепечет что-то, типа ей только на секундочку и вообще

она ветеран труда, а ветеранам вроде бы положено и без бахил.

– О том, что тебе положено, ты в собесе будешь рассказывать, а здесь монету гони.

– Да сейчас я, сейчас, о господи!

Пока она дрожащей рукой рылась в потрепанном ридикюле, на шаривая деньги, он все бормотал, накручивая свой ус:

– Не знала она, вишь ли. Ишь умные какие вокруг все стали. Бесплатно пройти норовят. Хоть десятку, но дай зашпилить. Но знают пусть – у меня такой номер не проскочит, – гудел он себе под нос.

Когда мелочь нашлась, Акакий, презрительно поморщившись, выдал нарушительнице бахилы и повернул ко мне свое раскрасневшееся лицо, на котором крупным шрифтом было написано несказанное удовольствие!

– Вот так, получается, и живем. Такая вот, значит, служба, – подытожил инцидент страж медицинского порядка. – Да что же вы стоите-то, касатик, прямо как неродной будто, – спохватился он вдруг, расплывшись в своей широченной улыбке, – милости просим проходить, Семен Аркадьевич.

После чего он услужливо растворил передо мной дверь и привычным движением смахнул невидимую пыль с моего плаща.

Яков ШАФРАН

Тула

ЗАЯЧЬИ БОИ

Сошлись как-то волки, хоть и немного их осталось, сошлись на свой сход – обсудить свои волчьи нужды, да и просто потолковать. И в конце, когда уже и толковать было не о чем, поднялся один серый и предложил:

– Что мы зайцев-то всё ловим да едим, ловим да едим... Скучно и нудно. Почему бы нам не спроворить для забавы заячьи бои?

– Как так? – раздалось на поляне.

– А вот так: пусть они точат лясы и перечат один другому, препираются, бранятся, режутся на словах и увещевают один другого, мы же будем слушать, потешаться и вообще наслаждаться. Не всё же нам после еды давить ухо да по ночам выть на луну.

– А есть-то мы будем их, зайцев-то?

– А как же! Будем, да ещё как! Но только не этих. Эти пусть нас забавляют, мы их и морковкой кормить будем после действия, не убудет с нас – зато весело заживём.

Разобрали всё по косточкам волки, побились об заклад раз, другой и третий, да и сошлись – тому быть!

Изловили они восемь зайцев, правда, только сухопарых, так как более упитанных, удержу нет, съели. Разделили их на две дружины – какой же взаправдашний спор без того? Один устал, другой ему на смену заступает. И стали потихоньку приучать и морковкой кормить – зайцы-то со временем и вовсе ручными стали: ходят осанисто, судят да рядят, а по вечерам дружина на дружину набрасываются.

Да и то, волк, ответственный за это дело, наущает их, мол, позлее, позлее будьте, один на другого нападайте, как на злейшего своего супротивника. Кто будет так выступать да со смыслом, да с вывертом и страстью, тот получит двойную, а то и тройную порцию морковок.

Долго сказка сказывается, да недолго дело делается. А оно пошло. Даже волчье телевидение заинтересовалось и стало передавать на все волчьи поляны. И на морковку теперь этим волкам-устроителям не приходилось тратиться. А зайцы знай хрумкают морковь, но всё ж на волков косятся, косятся. Один не выдержал и говорит:

– Не верю, братцы, я им. Съедят они нас, за милую душу съедят!

– Да брось ты! – ответил ему другой. – Мы же им полезны. Смотри, как смеются и хлопают!

– А может, это начало нового житья – согласия между зайцами и волками?! – воскликнул третий.

– Да, жди... Не дождёшься, – возразил ему первый.

Но так или иначе, а деваться-то некуда. И бьются зайцы на говорильной сече, аж до потери сознания порой, а после в очереди за морковкой улыбаются друг дружке да приятельски толкуют меж собой.

Так и жирели наши зайцы, и до того разжирели, что многие волки, сидевшие вокруг поляны боёв, уже облизываться стали да задумываться – а не съесть ли нам их?

Так и шло: зайцы косятся, а волки подумывают. И чем больше зайцы косятся, тем больше волки задумываются, а чем больше волки думают, тем больше зайцы косятся...

Сколь долго бы всё это тянулось и чем бы разрешилось, неизвестно, не случилось нежданное, негаданное. Откуда ни возьмись, появились в лесу тигры, да как раз в тот момент, когда на поляне происходило это самое действие. Да до того свирепыми оказались те тигры, что сразу, недолго думая, окружили то место говорильное и, издав боевой рык, растерзали вмиг тех волков и зайцев в клочья и... съели.

На том и закончились заячьи бои со страхами и волчьи мечтания.

Валерий РУМЯНЦЕВ

Сочи

БАСНИ

Заклинание

Пять обезьян пришли к Сурку,
Который с каменным лицом
Их принял лёжа на боку.
– В лесу слывёшь ты мудрецом
И можешь, говорит молва,
И смерть заставить отступить.
Скажи, мудрейший, есть слова,
Чтоб тот, кто умер, вновь стал жить?
– Слова-то есть, – сказал Сурок, –
Но нужно многому учиться,
Чтобы от слов был в жизни прок,
От знаний может вред случиться.
Пять обезьян пять дней Сурка
Молили им поведать тайну,
Они канючили, пока
Не надоели чрезвычайно.
Сурок слова продиктовал,
И обезьяны удалились,
Их стадный разум ликовал:
Они мечты своей добились.
Сухую ветку подобрал,
Сказали хором заклинанье –
И стала ветка вся в цветах,
Против законов мирозданья.

Возликовали обезьяны:
– Отныне нет для нас смертей!..
Идут с восторгом по поляне
И видят множество костей.
Решив продолжить тут же опыт,
Пропели тайные слова.
И вот под восхищённый шёпот
Зашевелилась вдруг трава.
И кости начали срастаться
Канатами упругих мышц,
И Тигр с земли стал подниматься –
И пали обезьяны ниц.
Взмах лапы с острыми когтями
Решил проблему со смертями.

Петух и Муравей

Навозну кучу разрывая,
Петух искал Жемчужное зерно;
Рыл долго и старательно, не зная,
Что найдено зерно давным-давно.
Бегущий мимо кучи Муравей
Спросил: «Что, брат, охота на червей?
Я слышал, лучше во всём земстве нет?»
«Увы! – вздохнул Петух ему в ответ. –
Да, черви здесь и вправду хороши,
Но хочется чего-то для души.
Ведь знаешь, счастье не в желудке...»
«Ну, у тебя, Петух, и шулки, –
Хихикнул Муравей. – Ну, что ж,
Прощай. Пора мне. Как найдёшь
Ты тут чего-то для души,
Глотать-то сразу не спеши».
Промолвив: «Помолчал бы лучше»,
Петух вернулся к своей куче.

Нередко мы вот так же ищем
Духовной пищи.

Пиявка

Была Пиявка королевской крови:
Её прабабушка впивалась в короля.
И этой близости благодаря,
Пиявку до сих пор все славословят.
Её слова для всех – авторитет,
Путь к донору всегда открыт пред нею...

Кто некогда оставил в жизни след,
Тот славой и потомков обогреет.

Книга знаний

Открыла свою книгу Смерть,
Всем разрешив: «Смотрите».
Но не спешил никто смотреть.
Судьба любых открытий.

Клинок и язык

Кристаллы соли резали клинками.
Но глыба разрушенья избежала,
Пока олени не слизали камень.
Порой язык опаснее кинжала.

Шахматные Часы

О Шахматных Часах написано немало
В солидных тематических журналах,
А баснописцы их вниманьем обошли.
И вот Часы к Поэту подошли
И говорят: «Чем хуже мы Мартышки?
Колотишь ты нещадно нас рукой,
Когда играешь с другом в шахматишки.
Так неужели басни, хоть какой,
Не заслужили мы, снося побои эти,
Ужель нет справедливости на свете?

Какой пример подать мы можем детям,
Когда предстанем в басенном сюжете!»
Был Баснописец мягкотел,
С Часами спорить не хотел.
Он сел за стол, весь день потел,
Но басня всё же получилась.
И из неё мораль сочилась:
Иные, лишь когда их бьют,
Способны взяться за свой труд.
Часы моралью не довольны.
«Ты опорочил нас!» – кричат.

Тот, кто захочет жить спокойно,
Пусть ценит, что о нём молчат

Находка Ежа

Смысл жизни Ёж искал в лесу.
Но попадались всё смыслишки.
Потом решил он: отнесу
Хотя бы их домой детишкам.
Набрал смыслишек два мешка,
Принёс домой, собрав все силы,
И разложил их по горшкам,
Чтоб до весны семье хватило.
И снова жизнь текла вперёд.
И вновь в ней смысла было мало.
Но, хоть стоял голодный год,
Семья Ежа не голодала.

Владимир ЛЕБЕДЕВ

СТРОЧКИ НА БОСУ НОГУ

- Азбука жизни: а Я?
- Судя по ходу истории, и у нее могут заплетаться ноги.
- Законы джунглей пишутся не для ботаников.
- Заходи вечером, солнышко!
- С годами сплетни и слухи становятся преданиями и легендами.
 - Не всякое увядание – признак зрелости.
 - На лучших из худших неплохой спрос.
 - У законсервированных килек свой счет в банке.
 - Великий человек! А для жаворонка в небе – муравей муравьем.
- Электрик сантехнику глаз не выключает, но фонарь поставит.
- Оратор – это человек, который говорит лучше, чем думает.
 - В путь, – сказал он бодро. И крыша поехала.
 - Получил пощечину, другую... Глядишь, лицо вырисовывается.
 - Когда стоишь на коленях, перед тобой открываются совсем другие перспективы.
 - Заключать сделки с совестью лучше всего в ее отсутствие.
 - Иной раз то, что написано на лице, и читать неприлично.

- Пока доказываешь, что ты не верблюд, тигром станешь.
- Рожденный ползать летать не может. А в клюве орла?
- Берегитесь, слоны! Мышь пошла в гору.
- Рыбак так радуется пойманному окуньку, как будто спас ему жизнь.
- Всеядный червь сомнения.
- Где тот часовщик, который бы отремонтировал время?
- Неудобно водить человека за нос. Лучше обвести его вокруг пальца.
- Для того чтобы стать цельной натурой, иной раз нужно переломить себя.
- О чем думает совесть, когда молчит?
- Никто не знает столько, сколько не знаю я.
- Даже дураку нравится, когда его называют перспективным.
- Не всё, что разумно, само собой разумеется.
- Изящная бессловесность.
- Если куры денег не клюют, значит, на птичьем дворе инфляция.
- На щекотливые вопросы отвечают смехом.
- Для человекоподобных мы – обезьяны.
- Отбиться от стада чаще всего мешает общая кормушка.
- Плохо, когда все умнее тебя. Поделиться не с кем.
- Ветры времени того и гляди заметут всю эпоху.
- – Моя хата с краю.
– А моя – в центре Москвы!
- Экономить свое время лучше всего за счет чужого.
- Слуги народа, не водите своих господ за нос!
- Гомо сапиенс – будь человеком!

Эдуард КУЗНЕЦОВ

«Я ПОХВАЛИТЬ БЫ РАД...»

«Стихорецензия» – под таким подзаголовком в 20–30-е годы прошлого века на страницах периодики появлялись мини-отзывы о последних опубликованных работах литераторов. Такие миниатюры не претендовали на критический анализ, на типовой вариант рецензии новых стихов или повестей и романов. Они представляли собой всего-навсего впечатление от прочитанного в короткой стихотворной форме, но, тем не менее, являли собой субъективную хоть и короткую, но конкретную оценку.

Даже второстепенные произведения и авторы далеко не первого ряда отмечались в рецензиях современников. Не всегда в этих отзывах открывались новые таланты и гениальные прозрения, часто критика носила негативный характер, как писал С. Васильев, было немало рецензентов, готовых «давить и не пущать»:

Он манку ест и пьёт боржом,
И взор имеет голубиный,
В статьях орудует ножом,
В рецензиях – дубиной.

Впрочем, профессия литературных критиков никогда не была проста. В зависимости от политической и нравственной обстановки в обществе, от значимости критикуемых имён им зачастую приходилось резко менять своё мнение. Тот же С. Васильев знал, о чём писал:

Применяя стиль единый,
То букет несёт, то гроб,
Либо действует дубиной,
Либо густо льёт сироп.

В данном обзоре речь пойдёт о коротких миниатюрах, в которых практически невозможно скрыть своё мнение за двучливыми соображениями, за уклончивыми характеристиками. Стихорецензия в четыре строки предполагает точное и конкретное высказывание. Такую рецензию возьмётся писать, конечно, не каждый; записной критик и в прозе выскажет, что найдёт нужным. Стихотворная рецензия в форме эпиграммы (реже – пародии) появляется чаще всего у сатириков (или у поэтов, склонных к шутке и насмешке) как результат неудовлетворённости от прочитанного. Высказанное мнение может быть спорным, несправедливым, чересчур (иногда незаслуженно) резким. Для того чтобы оно прозвучало привлекательно, обратило на себя внимание, оно должно быть высказано в необычной, неожиданной форме, мгновенно заинтересовать окружающих. Такой экспресс-отклик может быть лишь условно отнесён к рецензии, однако сбрасывать его с критических счетов было бы неверно.

Сплошь и рядом оценка критиками творчества писателя распадается на их личное мнение о самом писателе и о его произведениях. И если положительные оценки (их мало и они неинтересны) не принимать во внимание, то придётся настроиться на характеристики весьма резкие.

А. Безыменский на В. Лидина:

Талантливости примет –

нет.

А. Рейжевский на И. Стаднюка – автора романа «Люди не ангелы»:

Главное выяснить нам он помог:

Люди – не ангелы, автор – не бог!

А. Безыменский на С. Малашкина:

Скорей избавьте нас от графоманской тяги.
До смерти жаль истраченной бумаги.

С. Васильев на В. Ардаматского, автору повести «Он сделал всё, что смог»:

Его я, видит бог,
Судить не буду строго.
Он сделал всё, что мог,
Хоть сделал и немного!

Конечно, бывали и более мягкие оценки, когда отмечались положительные достижения, но и в этих случаях находилось место для указаний на промахи и неудачи.

А. Раскин о повести Б. Полевого «Золото»:

О «Настоящем человеке» повесть,
Что говорить, написана на совесть.
Но, к сожалению, признать придётся:
Не всё то «Золото», что издаётся...

С. Швецов – В. Ажаеву, автору популярного романа «Далеко от Москвы», опубликовавшему в журнале «Нева» посредственную повесть «Творческая личность»:

Мы встретили Вас на страницах «Невы»,
Но нам показалось, что это не Вы!

Непростое явление – изменение отношения к писателю, вызванное или его поведением или публикацией неудачного произведения. Смена оценок происходит болезненно – с раздражением и придирками. Нередко у критикующих меняется мнение о своём оппоненте буквально с плюса на минус. Известно, например, увлечение Безыменского поэтикой Маяковского: он многое взял на вооружение из его поэтической практики. Это не помешало ему по разным поводам то и дело нападать на поэта весьма агрессивно. Такое двуличное поведение послужило поводом к резкому отпору Маяковского:

Уберите от меня этого бородатого комсомольца! –
Десять лет в хвосте семени,
Он на меня или неистово молится,
Или неистово плюёт на меня.

Но случилось, что видимые противоречия имели подводные течения. Известны два диаметрально противоположных отзыва А. Пушкина о переводе Н. Гнедичем «Илиады» Гомера. Один – издевательский:

Крив был Гнедич поэт, прелагатель слепого Гомера;
Боком одним с образцом схож и его перевод.

Другой – почтительный:

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи,
Старца великого тень чую смущённой душой.

Тут, пожалуй, преждевременно было бы обвинять Пушкина в неискренности: хвалебный отзыв, по всей видимости, относился в целом к огромной работе Гнедича, а сатирический касался каких-то отдельных её недостатков.

Стихорецензии чаще всего далеки от бытующих официальных, общепринятых мнений и установок. Объясняется это просто: в сатирической миниатюре автор может позволить себе в более раскованной форме отозваться о любом литературном явлении. Порой он нарочито обостряет свои высказывания, особенно в тех случаях, когда не предполагает их появления в печати. Стишок становится достоянием немногочисленных слушателей в беседах, спорах, дискуссиях. Если он остроумен и привлекателен, то мгновенно запоминается и расходится «по рукам». Опасаясь негативных последствий таких распространений, авторы часто скрывают своё имя: или не указывают его вовсе, либо ссылаются на выдуманный псевдоним.

Вообще жанр рецензий – не вегетарианский. Он предполагает разбор произведений, в том числе и с указанием их недостатков и промахов. Естественно, стихорецензии с большим основанием предпочитают уделять внимание сатирическим оценкам. Но и в сатире их авторы используют

весьма разнообразные оттенки: от грубых наскоков до мягких и взвешенных характеристик. Есть сатирики, не позволяющие себе неучтивых высказываний в адрес персонажей (например, А. Раскин), есть и иные авторы, не озабоченные тонкостью и изяществом своих оценок (С. Васильев, А. Безыменский и др.).

Особый интерес вызывает реакция сатириков любого диапазона на творчество литераторов, уже составивших себе имя. Любопытны микрорецензии на произведения авторов, возведённых общественным мнением в ранг советских классиков.

Первая приводимая рецензия была опубликована в 20-е годы в альманахе «Круг» и принадлежала перу сатирика Арго: «М. Горький. «Жизнь Клим Самгина», часть 1»:

Я книгу взял, восстав от сна –
И погрузился в сон.
Роман:
 «Жизнь Клим Самгина»
 на восемьсот персон!
Что Достоевский? Что Бальзак?
 Что книги прежних дней?
Бывало лучше – точно так,
но не было длинней!

Об этой же эпопее М. Горького нелестно отозвался и А. Безыменский в книге «Поэтическая канонада» (1930 г.). Свою миниатюру он назвал «Лирическая рецензия»:

«Клим Самгин» – неплохая штука.
Но боже мой, какая скука...

Один из первых советских романов «Цемент», сразу сделавший его автора Ф. Гладкова классиком, вызвал оторопь среди объективно настроенных читателей. А. Безыменский:

Раздраив, вздрючив, раскумекав
Всю чеперуху в душу, в гром,
Он дал цементных человек
Бесспорно пьяным языком.

И другой роман Гладкова «Энергия» был встречен настороженно; это было отмечено в микрорецензии, опубликованной без подписи в 1934 году в спецвыпуске «Крокодила» на съезде писателей:

Прочитал «Энергию», улучив момент,
В романе видна Гладкова сила!
У него хватило энергии на «Цемент»,
А на «Энергию» цемента не совсем хватило!

Уже упомянутый А. Безыменский отозвался на произведения М. Шолохова и Н. Тихонова. На Шолохова:

Писателем ты станешь сразу,
Когда уйдёшь от злой беды.
Пусть Дон течёт в твоих рассказах,
Но только, милый... без воды.

На Н. Тихонова:

Довольно в «поисках героя» мять пути!
Пора бы, собственно, кого-нибудь найти.

Не менее критично (без подписи) был оценен и роман Л. Леонова «Дорога на океан»

Длинна, ухабиста, туманна,
И позади и впереди
Лежит «Дорога к океану».
По ней, читатель, не ходи!
Зане найдёшь, презрев труды,
Смешенье «суши» и «воды».

Послевоенный роман А. Фадеева «Молодая гвардия» был анонимно обруган в рецензии, ходившей по рукам. Уже после выхода книги в свет открылись факты, противоречащие изложенным в романе. Это и послужило причиной столь резкого отзыва:

Нет повести печальнее на свете,
Где оклеветаны и матери и дети.

Так расправлялись с советскими классиками литературы как известные, так и анонимные «рецензенты». Появление их отзывов случалось в разные времена: некоторые – ещё до ужесточения идеологических норм и установок в 30-е годы, другие (как на Фадеева) – во времена жестокого преследования инакомыслия. В последнем случае отклики не афишировались, распространялись осмотрительно и становились известны широкой публике лишь спустя многие годы.

Нельзя считать, что лидеры советской литературы находились под каким-то особо пристрастным надзором сатириков – резко оценивались и писатели менее известные. Практика эта вела своё начало ещё с XXIII века – уже тогда не существовало неприкасаемых. Например, ни одно из произведений И. Тургенева не избежало саркастических комментариев.

А. Апухтин о его романе «Новь»:

Твердят, что новь родит старицей.
Но, видно, плохи семена
Иль пересохла за границей:
В романе «Новь» – полынь одна.

Н. Огарёв о романе «Дым»:

Я прочёл ваш вялый «Дым»
И скажу вам не в обиду –
Я скучал за чтеньем сим
И пропел вам панихиду.

Комар о романе «Отцы и дети»:

Ты мне сказал, что слёзы льёшь рекой,
Когда ты сам роман читаешь свой,
В том ничего нет странного, ей-ей:
Отцы ведь плачут от дурных детей.

Д. Минаев о романе «Вешние воды»:

...При чтеньи этих «Вешних вод»
И их окончивши, невольно

Читатель скажет в свой черёд:
«Воды, действительно, довольно»...

П. Вяземский о показавшейся ему деградации
И. Тургенева:

Талант он свой зарыл в «Дворянское гнездо».
С тех пор бездарности на нём оттенок жалкий,
И падший сей талант томится приживалкой
У спавшей с голоса певички Виардо.

Конечно, не только Тургенев был отмечен нападками сатириков. Не убереглись Л. Толстой, Ф. Достоевский, да и другие знаменитости.

Н. Щербина по прочтении 4-го тома «Войны и мира»:

В его художничьей натуре
Какой-то странный Вавилон:
Он генерал в литературе,
А в философии бурбон.

Н. Некрасов о романе «Анна Каренина»:

Толстой, ты доказал с терпением и талантом,
Что женщине не следует «гулять»
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,
Когда она жена и мать.

Д. Минаев на роман Ф. Достоевского «Идиот»:

У тебя, бедняк, в кармане
Грош в почёте – и в большом,
А в затейливом романе
Миллионы нипочём.
Холод терпим мы, славяне,
В доме месяц не один.
А в причудливом романе
Топят деньгами камин.
От Невы и до Кубани
Идиотов жалок век,
«Идиот» же в том романе
Самый умный человек.

Если уж столь знаменитые авторы подвергались резкой критике, что же говорить о менее известных. И им пришлось по первое число.

П. Вяземский на комедии Шутовского (князя Шаховского) «Коварный», «Новый Стерн», «Полубарские затеи, или Домашний театр»:

«Коварный», «Новый Стерн» – пигмеи.
Они незрелый плод творца,
Но «Полубарские затеи» –
Затеи полного глупца.

С. Соболевский на «Обоз к потомству» Н. Сушкова:

Идёт обоз
с Парнаса.
Везёт навоз
Пегаса.

Д. Минаев – надпись к роману П. Боборыкина «В путь-дорогу»:

«В путь-дорогу»! – новейший роман,
Для чего же он публике дан?
Да спасут Боборыкина боги:
Сбился он и с пути и с дороги.

Это были эпиграммы-отзывы из дореволюционной литературной перебранки. Примерно в таком же стиле изъяснялись литераторы первых лет советской власти.

Рецензия за подписью Вальцовщик на книгу А. Снитковского «Цоколь»:

Не сердись на нас, Аркаша,
Что пришлось отметить нам,
Что, к несчастью, книжка ваша –
Беспросветный серый хлам!

Оценка А. Безыменским романа Б. Лавренёва «Синее и белое»:

Синее небо. Белый туман.
Чёрное море. Серый роман.

Анонимный отзыв на роман М. Козакова «Девять точек»:

Все говорят, что «Девять точек»
След девяти злосчастных мух,
Со скуки испутивших дух
Над морем водянистых строчек.

В более поздние советские времена традиции грубых рецензий были активно поддержаны.

А. Безыменский о многих стихах Е. Долматовского:

Скоро. Смело.
Скороспело.

С. Васильев – «Совет доценту И. Нечаеву, автору путаной статьи “Пушкин в оценке Мериме”»:

Не смысла в Пушкине ни бе, ни ме,
Не сваливай вину на Мериме.

Некий аноним высказался по поводу длинной поэмы К. Ваншенкина «Одна судьба»:

Сколько строчек петитных пустых!
Хоть с конца их читай, хоть с начала!
Если это действительно стих, –
Что ж такое, скажите, мочало!

Поэт Л. Куклин среди многих других отозвался на скандальный роман Вс. Кочетова «Чего же ты хочешь?»:

Ах, как мы в лужу сели!
У критиков – понос:
Единственный бестселлер –
Общественный донос!

Иногда критика подавалась более тонко, камуфлируя ехидство и двусмысленность показной доброжелательностью.

В. Масс и М. Червинский о романе В. Саянова «Небо и земля»:

Прочёл читатель заново
Один роман Золя.
Потом прочёл Саянова:
«Небо и земля».

А. Раскин о поэме Е. Долматовского:

Поэму выткал ты, и пряжи
Вполне хватило для холста:
Поэма так длинна, что даже
В ней есть удачные места.

М. Сточик – В. Солоухину, автору заметок «Камешки на ладони»:

Володимирский сей тихоня,
Медовед и иконоподвижник
Держит камешки на ладони,
А за пазухою – булыжник.

А. Иванов о стихах Б. Ахмадулиной:

Она читала... Я внимал
То с восхищением, то с тоскою...
Нет, смысла я не понимал,
Но впечатление – колдовское!

А. Иванов по поводу книг Б. Ахмадулиной «Струна» и «Уроки музыки»:

Игра талантлива вполне,
Да жаль, что на одной струне.

Г. Фрумкер на Б. Акунина:

Ну, писатель, отвечай-ка,
Что же нового нас ждёт?
Прочитал «Акунин. “Чайка”».
Где «Акунин. “Идиот”»?

Если речь зашла об Акунине – представителе литературы нового времени, то есть смысл остановиться на некоторых стихотворных характеристиках его современников – писателей противоречивых, неоднозначно воспринимаемых публикой. Среди читательской (ещё сохранившейся) массы бытует мнение, что в настоящее время популярных писателей как бы не существует (если не считать авторов детективов, которых к литературе отнести трудно). Но есть среди них те, что постоянно находятся на слуху. Они получают премии, публикуются в толстых журналах, выходят их книги. И тем не менее известность их в немалой степени объясняется регулярным мельканием на телеэкранах. То есть не тексты определяют их популярность, а публичность, неизменное присутствие в средствах массовой информации. Поэтому и в стихорецензиях их деятельность освещается с двух сторон: как литераторов и как «вещающих голов».

Лидером среди них можно было назвать М. Жванецкого, прославившегося ещё в советские времена. Популярность его своеобразна – далеко не каждый знакомый с его творчеством, готов оценить его положительно. Но и отрицательных рецензий он собрал не так уж много.

Г. Фрумкер:

Мне объяснить всё это сложно.
Гипноз? А может, наваждение?
Читать глазами невозможно...
Со сцены слушать – наслаждение.

А. Сивицкий, Ю. Тимянский:

Он на отлёте держит лист,
Он восхищает почитателей,
Как самый пишущий артист
Из всех читающих писателей!

Популярность Жванецкого среди широких масс разделял М. Задорнов. Если разобраться, он не меньше Жванецкого дурачил публику, преподнося ей двусмысленные тексты. Кто-то это понимал, а кого-то устраивала именно прямолинейность его высказываний.

Л. Гаврилов:

Смешит, доводит до икоты,
А мы роняем номерки
И верим:
Янки – идиоты,
А мы умней, мы – дураки.

Г. Фрумкер:

Ах, как Задорнов не любит Америку:
То визу он рвёт, то впадает в истерику.
Как явно актёр в Михаиле играет:
Чужих ненавидит, своих презирает.

Следующие два литератора – Прилепин и Быков – к эстраде не имеют отношения, хотя публичности не избегают, скорее даже стремятся к ней. Любая аудитория их не смущает, и разговор их не всегда касается только литературы, хотя имя себе они сделали как литераторы.

В. Топоров о присуждении премии «Супер-Нацбест»
3. Прилепину за книгу «Грех»:

Сквозь НБП и Чечню пробивался к победе Прилепин,
К Путину даже сходил, в «Школу злословия» тож.
Не покати́л здесь роман, но зато оценили рассказы:
«Грех» этот наше жюри на душу дружно взяло.

В. Антонов:

Небезызвестный всем Захар,
По паспорту Евгений,
Писательский имеет дар,
Но всё же он не гений.

О быстросписании Д. Быкова упоминается во множестве отзывов. Ф. Мальцев:

Он собеседника не слышит,
Он сам собою увлечён.
Он говорит и пишет, пишет
И обо всём, и ни о чём.

В. Андреев:

Полупоэт. Полупрозаик.
Из категории всезнаек...

З. Вальшонок о Д. Быкове – авторе книг о Б. Пастернаке и Б. Окуджаве в серии «Жизнь замечательных людей»:

«Большая книга»* среди мрака
Мир оглушила, как набат.
Он смог осилить Пастернака,
И по зубам ему Булат...
...Бык – номинант непобедимый,
И пусть комиссия строга,
Нет премии, которой Дима
Не взял бы лихо за рога...

Не всегда стихотворную рецензию-эпиграмму надо принимать за чистую монету. Часто авторы идут на поводу мелькнувшей в уме остроты и грешат истиной ради красного словца. Примером может служить анонимный отзыв на оперу Т. Хренникова «Мать» (по роману М. Горького), поставленную в 1957 году в Большом театре.

Хоть опера и новая,
Успеха нет как нет:
И музыка хреновая
И матерный сюжет.

В стихорецензиях авторы любят упоминать названия произведений своих персонажей, по возможности остроумно жонглируя их заголовками.

*

«Большая книга» – национальная литературная премия.

Г. Пятов на С. Михалкова:

Скучна без Михалкова сцена,
Он пьесы пишет много лет:
Уж были «Раки», была «Пена»,
Вот только «Пива» нет и нет.

С. Смирнов о пьесах того же Михалкова:

Не только я, но скажет всякий,
Тая в груди упрёк немой:
Мы на твоём спектакле «Раки»
Шептали «Я хочу домой!».

Из дореволюционных времён донёсся отзыв Д. Минаева на пьесу Устрялова «Чужая вина»:

Эта драма назваться должна,
Чтоб избежать скандала немалого,
Уж совсем «Не чужая вина»,
А вина господина Устрялова.

В эпиграмме К. Мартовского о практике М. Сточика включать в свою новую книгу большое число произведений из предыдущих книг таился полускрытый упрёк. Книге «Тайфун в корыте» предшествовала книга «Сапоги не с той ноги». В реплике якобы от имени автора этих книг сатирик намеренно перепутал их названия:

Придумали мои враги
Критиковать, набравшись прыти,
Мол, «Мой тайфун не с той ноги» –
Всё те же «Сапоги в корыте».

Случается, что при отыскании подходящей рифмы открывается новый горизонт стиха. Так получилось, скорее всего, при сочинении отзыва А. Боброва на книгу стихов и пародий З. Вальшонка. Рифма подсказала нужный вывод:

Есть такое понятие: незавершёнка,
На жаргоне строителей – гиблый объект.
Подходящее слово для книги Вальшонка:
Есть конструкции, блоки, а здания – нет.

Иногда читателю может показаться, что «ход» в микро-рецензии им уже угадан, что он как бы заранее напрашивается как, например, в отзыве Г. Шмуленсона на книгу Вл. Вишневского «Вишневский сад»:

Прочёл «Вишневский сад»
И вывод мой таков:
Я похвалить бы рад,
Но много сорняков.

В любом случае, что бы ни казалось читателю, следует понимать, что выразить своё мнение в виде короткой и остроумной стихорецензии не так-то просто. Возможно, именно поэтому жанр таких отзывов не очень-то распространён, хотя он, несомненно, востребован читателями.

Отношение к рецензиям у писателей разное. Одни принципиально их не читают, какими бы они ни были – положительными или отрицательными. Другие абсолютно равнодушны к их содержанию. Третьи волнуются при их отсутствии и готовы их заказать у потенциальных критиков. Четвёртые негодуют по поводу даже мелких замечаний об их произведениях, а уж за ядовитую критику готовы на скандал или дуэль.

Есть ли какая-то отдача от рецензий? Прислушиваются ли к ним критикуемые? Имеют ли они какое-то значение для общественности? Не слишком ли часто получается по басенному принципу: «А Васька слушает да ест»? Как писал С. Швецов в сатире «История одного романа»:

...Он смело и дружно отвергнут был всеми,
О нём говорили сурово и строго,
Что пухлый роман этот мелок по теме,
Что форма романа бедна и убога...

Но после того как его разругали
С завидным уменьем и редким стараньем,
Он был напечатан в солидном журнале
И вышел недавно отдельным изданьем!

Можно рассматривать четырехстрочную стихорецензию всего-навсего как шутку, как ни к чему не обязывающую остроту, но, положив руку на сердце, не кажется ли нам иногда, что именно благодаря своей ядовитости она способна (может быть, и через обиду) оказать на автора более существенное воздействие, чем взвешенная и аргументированная критическая статья?

Наверно, какими бы ни были рецензии – стихотворными или прозаическими, – они необходимы. Они нужны и авторам, и читателям как свидетельство равнодушия общества, его заинтересованности в появлении новых имён, новых произведений, новых идей.

Семейное чтение

Пауза ХУЗАХМЕТОВА

Казань

Из цикла «МЕЧТЫ В КОРОБКЕ»

У камина

Подевалась куда-то кочерга. Хозяин и в поленнице искал, и за камином, и в золе рукой пошарил – нет нигде. «Придётся купить», – решил. Принёс и положил у камина...

– Ах!.. – сморщила губки новенькая Кочерга, тряхнув изящной ручкой. – Уже испачкалась!

– Рад приветствовать, сударыня! – почтительно склонил голову старый Камин.

– Здравствуйте, – неодобрительно взглянула Кочерга на потемневшую облицовку.

– И мы рады! Мы рады!.. Мы рады!.. – наперебой заговорили весёлые Дрова.

– Будем дружить, – приветливо заскрипело стоявшее рядом Кресло. – Вы, верно, новенькая?

– Да! – довольно завертелась Кочерга, поблёскивая боками. – Я здесь недавно. А раньше жила на складе. Там всё такое яркое, блестящее! – восторженно прошлась перед новыми знакомыми. – И тазы, и вёдра, и самовары!

– Ну, все мы когда-то блестели, – добродушно прогудел Камин. – Время берёт своё... Да и не в блеске счастье.

– Да-да! – отозвалось Кресло. – Мы ведь тоже были молодыми и бравыми... ершистыми, хе-хе!.. Помнится,

с Каминном поначалу даже вздорили, а теперь – моё почтение! Уж сколько лет дружим!

– Нет, вы не понимаете! – воскликнула Кочерга. – Может, вы и были молодыми, а я всегда хочу оставаться молодой!.. Посмотрите на себя, на что вы похожи?! У Камина весь свод закоптился, стенки потрескались. Кресло того и гляди развалится, да и обивка обносилась... Нет! Я хочу всегда блеснуть! Хочу яркой жизни!

– Ну, у кого жизнь яркая, так это у меня, – высунулась из коробочки Спичка.

– И у меня!.. И у меня!.. – вылезли вслед остальные. – Вот увидите, как мы горим!

– А мы?! – воскликнули Дрова. – Ещё как пылаем!

– Ах, друзья мои, – подошла к ним Кочерга, – я вам так рада!

Спички и Дрова заспорили – кто ярче горит. Поднялся неимоверный гвалт, и только Зола, снисходительно глядя на них, молчала.

– Да... Наверное, это почётно и увлекательно – ярко сгореть, – вздохнул Камин. – Но мы служим долго, держим тепло и уют в доме. В этом наше предназначение. И вряд ли его можно назвать неинтересным...

Разговор прервал вошедший хозяин. Он сложил в камине дрова. Чиркнув спичкой, развёл огонь, сел в кресло и долго сидел, задумавшись и глядя перед собой. Время от времени брал кочергу и поправлял угасающие угли. О чём он думал, глядя на вспыхивающие в глубине камина огоньки? Кто знает...

В чулане

Чуть скрипнув, дверь в чулан отворилась.

– О! Нашего полку прибыло! – радостно воскликнул Утюг и пошёл навстречу новичку. – Ну, давай знакомиться! – торопливо вытер о шаровары и протянул пятерню. – Газовый!

Вошедший нехотя подал узкую ладонь:

– Электрический.

– А за что это тебя – в темнушку? – искренне удивился Газовый Утюг. – Всё-таки новое поколение... одет с иголочки... рубашечка, брючки со стрелочками... Неужто молодняк на пятки наступает?

– Угу, – кивнул Электрический Утюг, осматриваясь.

– И что же он – лучше тебя? – не отставал Газовый. – Да куда уж лучше-то! – ответил сам. – Аккуратный, лёгкий, не то что мы – динозавры!.. А всё-таки, чем он лучше?

– Ну... дизайн новый... – пожал плечами Электрический. – Потом он легче и, главное, с отпаривателем.

– Это как?

– Гладит и отпаривает сразу.

– Ты смотри-и!.. – восхищённо протянул Газовый Утюг. – А мы-то всё с мокрой марлечкой, по старинке... Только вот не представляю, как он без неё обходится, без марлечки-то?

– Отверстие специальное есть, – пояснил Электрический. – Воды нальёшь, на кнопку нажмёшь, и пар выходит.

– Вон как!.. Хоть бы одним глазком взглянуть!

– Увидишь, скоро он составит нам компанию.

– Врё-ёшь!.. – вытаращил глаза Газовый Утюг. – Это как же? Почему?

– Новые технологии... Уже и гладильный автомат придумали и выпустили, – вздохнул Электрический.

– Автомат?! Неужто сам гладит?

– Вообще-то я даже не успел увидеть.

– Да-а... – покрутил головой Газовый Утюг. – Быстро техника вперёд шагает... А мы всё дедовские сказки слушаем. Вон, – показал на угол, откуда доносился крепкий храп. – Дед наш... Дрыхнет весь день!.. Накроется тулупом и спит. «Мёрзну», – говорит. А проснётся, так в одних портках ходит. «Я, – говорит, – закалённый!» Да его и в самом деле никакая хворь не берёт. Угольный! Слышал?

– Нет.

– Ну что ты!.. Это же наша история!.. Смотри, какой огромный! – Газовый Утюг подошёл к спавшему. – Видишь, ручка сверху? Моя-то снимается, чтобы не перегревалась, когда на газовую плиту ставишь. А у деда ручка

крепкая. Заслонку только нужно открыть, чтобы горячие угли всыпать.

– Внутрь? – изумился Электрический Утюг.

– Ну конечно! Потому и называется «угольный»! Тяжёлый, не утюг, а крейсер. Жаром пышет, только берегись!

– Действительно, динозавр.

– Зато гладит – будь здоров!

– Ну, гладить-то мы все мастера, – прошёлся по полочке Электрический Утюг, поскрипывая узенькими ботиночками. Остановился и с тоской окинул взглядом чулан.

– А ты, паря, не тушуйся, – положил ему руку на плечо Газовый Утюг. – Привыкнешь. Глядишь, ещё и понадобишься кому. Вон ты в какой хорошей форме! А нет, так и у нас не заскучаешь. Располагайся!.. Дед проснётся, начнёт сказки рассказывать, обхохочешься!

– Какие сказки?

– Всякие... про прежние времена. Аж от царя Гороха ведёт повествование! Вообще-то его интересно послушать... Игры у нас есть – домино, лото, – указал на полки. – А то шашки!.. Ты пиджачок-то скинь да вон на гвоздик повесь!

Электрический Утюг ещё раз прошёлся по полочке.

– Ну что ж... шашки так шашки. Неси!

Возле дома

– Что же это почтальон так долго не приходит?.. – вздохнул висевший на заборе Почтовый Ящик. – Никаких тебе известий!..

– Да-а... давненько не было, – отозвалась Калитка. – Раньше-то частенько заглядывал... Бывало, хозяин или хозяйка выйдут навстречу да пока разговаривают, почтальон им все новости-то и перескажет.

– Да ведь теперь писем не пишут, газет не выписывают, вот он и не ходит, – подала голос стоявшая невдалеке Скамейка.

– Как это? – засомневался Почтовый Ящик. – Что же, совсем перестали общаться?

- Теперь все сэсэ... как это... сэсэмэски пишут.
- Как же пишут, когда никаких писем и не приходит?! – не понял Почтовый Ящик.
- По телефону пишут, – Скамейка в ответ. – Теперь у каждого – телефон в кармане.
- Это что же, так все с проводами и ходят?
- Да не-ет!.. Телефоны теперь маленькие, чуть не со спичечный коробок и без проводов.
- Чудеса-а!.. – протянул Почтовый Ящик.
- А ведь совсем недавно на бумаге писали... Да-а... отошли мы, – проскрипела Калитка. –И откуда ты всё, кумушка, знаешь?
- Как не знать? – живо ответила Скамейка. – Здесь ведь кто только не присядет – и старые, и малые, и молодёжь... Все новости знаю, даром что газет не читаю.
- Да приносили бы их, газеты, – вздохнул Почтовый Ящик. – Раньше перечитывал, так всё на свете знал. А теперь пробежит какой-нибудь парнишка, кинет цветную бумажку, а там только и пишут, где эти купить, как их... прости господи – с крылышками...
- Это распространители рекламки подбрасывают, – объяснила Скамейка.
- А я думал, это открытки – такие же яркие, и приносят часто, как перед праздником.
- Да-да, раньше на праздники много открыток присылали, – покивала Калитка.
- Сейчас открытки большие делают, ни в один ящик не влезут, – сказала Скамейка. – И подписывать не нужно, всё уже напечатано, любое поздравление. А конверты наоборот – узенькие и без марок, совсем не для письма.
- А для чего же тогда?
- Деньги в них кладут и дарят.
- Надо же!.. – удивился Почтовый Ящик. – Раньше-то вот другие подарки были – посылки друг другу присылали. Хозяева как откроют, так в доме – праздник. То крупу гречневую им пришлют, пачку масла да конфеты какие или лекарства редкие... А то – ящик клюквы...
- А они что отсылали? – поинтересовалась Калитка.

– А они в посылочку носки вязанные положат, банку грибов солёных или варенья, а то отрез на платье, вот родственникам и подарок.

– Ну, теперь лекарства в каждой аптеке есть, и в магазинах – всё, даже ананасы круглый год! – возразила Скамейка.

– Ты смотри!.. – покачал головой Почтовый Ящик. – Ну, вот потому и не пишут друг другу, что у каждого всё есть. Только ведь не в посылке радость, а в добром слове... Нет, девоньки, – прибавил, помолчав. – Может, оно и к лучшему, что и в аптеках – таблетки, и в магазинах – ананасы. Да только ничего не хочется так увидеть, как почтальона с сумкой через плечо, а в сумке той – письмо с доброй вестью. Да-а...

В шкафу

– О!.. Слышите?..

Все прислушались.

– Кажется, хозяин насвистывает!..

– Да не насвистывает, а поёт.

– Нет-нет, именно насвистывает! – воодушевлённо произнёс Галстук в полоску. – Куда-то собирается... Наверное, на собрание. Значит, меня наденет.

Он принялся осматриваться и отряхиваться.

– А мне кажется, поёт, – прислушался Галстук-Бабочка. – Если так – значит, пойдёт в гости или на вечеринку. Тогда прошу прощения: мой выход! – шутиливо раскланялся.

– Посмотрим-посмотрим! – не желал уступать Галстук в полоску.

– А и вправду сказать, давненько хозяин не заглядывал в шкаф, – отозвался висевший рядом Ремень. – Вот что значит выйти на пенсию.

– Да это не он на пенсию, а мы из моды вышли, – возразил с верхней полки Ридикюль. – Вот хотя бы хозяйку взять – дама молодая, а уж сколько лет платья не носит, всё брюки да брюки... Я, конечно, не против брюк – и тепло,

и удобно... Но ведь теперь женщины даже на праздники ленились надеть платье или юбку. Тогда ведь всё в соответствие нужно приводить – туфельки, колготки... А раньше даже чулочки со швом не ленились носить.

– Теперь мода такая – унисекс, – подал голос Дамский Ремешок. – И мужчины, и женщины могут носить одно и то же... Женщины совсем забыли, что такое вкус. Да разве кто себе мог позволить, чтобы туфли, ремень и сумочка были разного цвета? Не-ет, время высокой моды, похоже, прошло...

– Да-да, – покивал Галстук-Бабочка, – никакой индивидуальности!

– А вы посмотрите на современные сумки! – снова выступил Ридикюль. – Какие-то бесформенные мешки! А уж о хороших расцветках и тем более тонах и речи нет! Какие-то немыслимые тропические сочетания!..

– Правильно! – поддержал Галстук в полоску. – Я тоже за сдержанность и чувство меры. Костюм, туфли... это внушает доверие. Нет, я не против джинсов и кед, но всему – своё время и место... Не надевать же на собрание кеды! Там люди серьёзные собираются и разговоры будут серьёзными...

– Серьёзные!.. – усмехнулся Ремень. – Я вот раз на родительском собрании был. Ох, и пришлось нашему хозяину покраснеть!.. Пропесочили его за сынишку по первое число!

– Это за что же?

– Ведь он что удумал, сорванец? Принёс из дома молодого перца, насыпал на парту, нанюхался и давай чихать. Весь класс начал смеяться, а он чихает и остановиться не может. Урок сорвал!

– Ха-ха-ха-ха!.. – рассыпался в уголке Пионерский Галстук. – Я помню этот урок! Он ведь тогда на спор понюхал перец!

– Надо же такое выдумать, – улыбнулся Галстук-Бабочка. – Наверное, влетело ему дома?

– Ещё как! – кивнул Ремень. – Хозяин пришёл домой, снял меня, позвал мальчонку и давай лупить! Я уж и боком шёл, и так, и сяк, чтобы полегче шлёпнуть... Потом

хозяйка на школьные собрания мужа уже не пускала, сама ходила.

– А зря! – заметил Галстук в полоску. – Детей надо чаще наказывать, чтобы не хулиганили.

– Никто и не хулиганил! – подскочил на месте Пионерский Галстук. – Да мы в тот день больше всех макулатуры собрали!

– Ну не всегда же быть серьёзными, можно и пошалить немного, хотя бы в детстве, – примирительно произнёс Галстук-Бабочка. – Взрослые-то и рады подурочиться, ан нет: не положено, да и не поймут.

– Кто это рад подурочиться?! – строго переспросил Галстук в полоску. – Шалости в детстве нужно оставить!.. Получил паспорт – всё!.. Теперь ты – взрослый человек и за всё должен отвечать!.. – он прошёлся по полочке широким шагом. – А кто не может вовремя остановиться, у того проблемы и начинаются. Сколько таким выволочек было за всякие художества – и не сосчитать!

– Немного лёгкости всё же не помешает, – возразил Галстук-Бабочка. – В жизни найдётся место и юмору, и увлечениям.

– Вот от таких вольнодумствующих и непорядок во всём! – остановился рядом Галстук в полоску. – Не-ет, была б моя воля, я бы запретил все отклонения... Унисекс?... В этом что-то есть... Форма, дисциплина, порядок... А все эти... чулочки со швом, – неодобрительно взглянул на Ридикуль и Дамский Ремешок, – пережитки прошлого. С ними нужно бороться!.. Ну, где там хозяин?!

Старые монеты

– Ух, ты!.. – раздался восторженный возглас. – Мам, смотри, какую я монетку нашёл!

– Ну-ка?... А-а, это пятнашка. Где ты её взял?

– Вон там, на полу между дощечками. А что такое пятнашка?

– Пятнадцатикопеечная монета, раньше в ходу была. Долго же она там пролежала!

– А можно её себе оставить?

– Да она уже вышла из обращения! Добавь лучше к тем старым монеткам, что в шкафу в белой баночке лежат...

Шлёп!.. Крышка закрылась. Потирая бок, Пятнашка поднялась и огляделась. Кругом было темно, но сквозь трещины в баночке пробивались тонкие лучики света. Пятнашка увидела, что на неё с любопытством смотрит десяток глаз.

– Здравствуйте! – весело подкатился незнакомец. – Похоже, вы новенькая. Давайте знакомиться – Пятак!

– А я Трюльник! – не отстал от него второй. – Такой красотики у нас ещё не было!

– Спасибо, – тряхнула кудряшками Пятнашка. – Рада познакомиться!

– Ну, наши барышни тоже хорошенькие, – добродушно прогудел солидный господин, – но вам я рад... Позвольте представиться – Рубль. А это Копеечка и Двушка, – указал на малышей.

– У нас весело, – заверил Пятак. – Не пожалеете, что к нам попали. Я вообще компанейский. Во мне студенческий дух ещё не прошёл.

– Вы учились? – уважительно взглянула на него Пятнашка.

– Ещё как учился! – обернулся кругом Пятак. – Меня то и дело по экзаменам таскали. Какие только университеты не прошёл! Верите, меня даже на бумажный рубль меняли, так был нужен!

– Зачем?

– Как – зачем? В ботинок под пятку положить – верная примета перед экзаменом!.. А иначе нельзя! Нипочём не сдашь!

– Да! – подхватил Трюльник. – А после экзамена уж я был нарасхват! Газировку-то в автомате только на три копейки и можно было купить! – он горделиво выпятил грудь. – Зато и водичка была с сиропом! Правда, и без сиропа можно было попить на Копеечку.

– Да-да, – улыбнулась та.

– А ты, голубушка, не скромничай, – пророкотал Рубль. – Копейка Рубль бережёт, в народе зря не скажут! Да и Двушка тоже – маленькая да удаленькая.

– Ага, – кивнула словоохотливая Двушка, – как рабочая лошадка! Меня на что только не выменивали, лишь бы получить. В телефонах-автоматах только я и работала, с утра до вечера и без выходных! А то, бывало, застрянешь в автомате – ни туда ни сюда! Если кто догадается, стукнет по коробке посильнее, я и вылечу. И по новой:

Алло-алло, какие вести?
Давно я дома не была...

– запела, приплясывая. Все рассмеялись.

– Как на концерте! – восхищённо произнесла Пятнашка.

– А я любила в кино ходить, – подала голос сидевшая в углу Десятикопеечная монета. – Билет стоил десять копеек... Каких только фильмов не пересмотрела! И в буфете перед сеансом можно было стакан томатного сока выпить...

– То-то мечтательницей и осталась! – иронически произнёс Пятак. – Нет в тебе деловой хватки!.. Из себя вроде и видная, а толку никакого. Всё бы в облаках витать, бесребреница. Вот хоть бы у уважаемого Рубля поучилась!

– Бросьте, батенька, – отозвался Рубль. – Это я здесь что-то весил, а за морями на меня спрос маленький.

– Э-э... куда хватил – за морями!.. – поморщился Трюльник. – Здесь бы в ходу быть, и то ладно. Мы вот уж сколько времени как силу потеряли да от дел отошли. Лежим в баночке да и ждём, когда к хозяевам гости придут.

– Зачем? – поинтересовалась Пятнашка.

– В лото поиграть. Нами ведь теперь цифры на карточках закрывают, вот и все наши дела.

– Не скажите, уважаемый! – возразила Двушка. – Мне, например, нравится эта игра. И потом, хоть какое-то хождение, какая-то польза от нас!.. А вы умеете играть в лото?

– Нет, – пожала плечами Пятнашка. – Я никаких игр не знаю. Да и не работала почти.

– Это почему?

– Да как-то так получилось... Наверное, сразу в щёлочку на полу закатилась да так и осталась там лежать.

– Что ж, бывает, – кивнул Рубль. – Двадцатикопеечная вот совсем не работала.

– Ага! – засмеялся Трюльник. – Её ещё новенькую пробили и к косам привязали как монисто. Так всё время и красовалась, пока хозяйка не выросла да косы не остригла!

Повисла неловкая пауза.

– А разве это плохо? – спросила Пятнашка.

– Да я ничего... – начал оправдываться Трюльник. – Просто она теперь пришепётывает, вот и разговаривать стесняется... А вообще-то у нас весело.

– Это точно! Раз теперь с нами, так не заскучаете! – подтвердил Пятак. – Мы вам таких историй порасскажем!

– А давайте сядем кружком и начнём рассказывать, – предложила Двушка.

– Между прочим, мы ещё можем к какому-нибудь нумизмату в коллекцию попасть, – сказал Трюльник, садясь на фланелевый лоскут, застилавший дно баночки. – Так что всё ещё впереди! – поднял указательный палец и пропел:

Наш путь и далё-ок, и до-олог...

Все дружно засмеялись и стали усаживаться рядом.

Елена АРСЕНЬЕВА

СЛОВО СТУЖИ И ЛЬДА

Зимняя история

– ...Но мороз и должен крепчать, – сказала Зорька, снисходительно усмехнувшись. – Потому что гусь стоял на одной ноге.

Сильно оттолкнувшись палками, она покатила по склону оврага, оставляя за собой снежные вихри, и через минуту скрылась среди елей.

– Гусь стоял на одной ноге?! – возмущенно крикнул Вовка Снегирёв, глядя вслед. – Во-первых, у гуся не ноги, а лапы! А во-вторых, чтоб ты пропала со своей ерунدياتной! Да чтоб ты...

– Не так надо говорить, – озабоченно пробурчал кто-то рядом. – С таких слов толку не будет.

– Чего не будет? – повернул голову Вовка. – Какого толку?

Рядом стоял мальчишка в белом полушубке, белой ушанке, из-под которой торчали белобрысые пряди, и в каких-то белёсых штанах, заправленных в белые валенки. У него были светло-голубые глаза и очень бледное лицо.

– Ты же хотел, чтобы она пропала? – спросил мальчишка. – Да или нет?

– Да! – воскликнул Вовка. – Конечно!

– Для этого другое слово сказать. Сильное слово. Слово стужи и льда!

Вовка восхищенно вытаращил глаза.

Слово стужи и льда! Это звучало классно! Будто название какой-то компьютерной игры!

– А что, – ухмыльнулся он, – тебе тоже не нравится Зорька?

– Я её терпеть не могу, – процедил мальчишка сквозь зубы, и Вовке показалось, что здесь, на краю оврага, продуваемом всеми зимними ветрами, стало ещё холоднее. – Я бы тоже хотел, чтобы она пропала!

– А чего ты сам не скажешь это слово... как его? Льда и огня?

Мальчишку аж перекосило!

– Какого ещё огня? Слово стужи и льда! Я его с удовольствием скажу! Только боюсь, что у меня одного не получится. Давай вместе, а?

И тут Вовка... нет, не то чтобы встревожился, не то чтобы испугался, а как-то засомневался. Неужели, если сказать слово стужи и льда, Зорька в самом деле пропадет? То есть исчезнет навсегда? То есть её вообще не будет?..

Он растерянно огляделся. Деревня Бабкидедино уже готовилась встречать Новый год, и здесь, около крутого склона, где катались кто на санках, кто на лыжах, стояла украшенная ёлка. Её не из лесу принесли – она здесь всегда росла, зимой и летом одним цветом, но сейчас на ней сверкали шары, цепи, бусы, разные другие игрушки, магазинные и самодельные, старые и новые. Наглые воробышки пробовали на вкус то одну, то другую игрушку и раскачивали ветки. В праздничную полночь здесь соберётся весь народ, будут хороводы водить, песни петь, зазывать Деда Мороза и Снегурочку...

Соберутся все, а Зорьки не будет, так, что ли?

Вовка опустил голову. Как-то не по себе стало.

– Тебе её жалко, что ли, эту зануду? – раздался рядом вкрадчивый голос. – Она только и делает, что смеется над тобой, а тебе её жалко?!

Вовка поднял голову – и растерянно захлопал глазами.

Только что тут был мальчишка, а сейчас перед ним стояла девчонка: с такими же такими же светло-голубыми глазами, в таком же белом полушубке и белёсых штанах, только из-под белой ушанки виднелись белобрысые

косички. Небось, сестра того мальчишки. Небось, они близнецы, очень уж похожи.

«А у Зорьки косы подлинней и погуще, – почему-то подумал Вовка. – И щеки румяные, как яблоки!» Немедленно он рассердился на себя за эти мысли и огрызнулся:

– С чего ты взяла, что мне её жалко? Кстати, а мальчишка куда подевался?

– Он где-то здесь, не переживай, – небрежно бросила девчонка.

Вовка огляделся. Он не переживал, но никого, кроме них двоих, на обрыве не было.

– Так ты будешь говорить слово стужи и льда? – нетерпеливо спросила девчонка. – Давай быстрее, а то мороз крепчает.

Вовка насупился. Именно с этих слов и началась его очередная ссора с Зорькой. Вообще-то его всё в ней раздражало, начиная с этого имени дурацкого. Всех девчонок нормально зовут, Светками там или Наташками, а она, видите ли, Зорька! Стоило им оказаться рядом на горке, на катке, на лыжне или просто на улице, Вовка мигом начинал спорить и задиаться. Он приехал в Бабкидεδкино на каникулы только позавчера, а сколько раз они успели с Зорькой поссориться, и сосчитать невозможно! Вот и несколько минут назад, когда она позвала Вовку ещё разок скатиться по склону оврага, он строптиво буркнул:

– Да неохота. Мороз крепчает. Знал бы, что так будет, вообще гулять бы не пошел.

– Но мороз и должен крепчать, – ответила Зорька, снисходительно усмехнувшись. – Потому что гусь стоял на одной ноге.

И она умчалась в овраг, вздымая снежные вихри.

Эта чушь про гуся – одна из тех старинных примет, которыми Зорька так и сыпала, надо или не надо.

Гусь стоит на одной ноге или прячет голову под крыло – к морозу. Ворона каркает, повернувшись на север, – к нему же. Если морозные узоры на стекле выше поднимают ветки, а свинья с визгом зарывается в солому – аналогично... Ну и всё такое прочее, что Вовка называл ерундятиной. Нет, ну в самом деле, зачем современному человеку ка-

кие-то там древние приметы?! По телевизору погоду несколько раз в день предсказывают, на экране смартфона есть специальная иконка: ткнешь в неё – и пожалуйста, прогноз на день, на неделю, на две недели, а то и на месяц. Конечно, этот прогноз иногда сбывается с точностью до наоборот, ну и что? Всё равно ноу-хау не дадут пропасть! И, главное, смартфон у тебя всегда в кармане или в портфеле, а поди-ка найди в городе гуся, чтобы на одной ноге стоял, или свинью в соломе! А морозные узоры на стекле?! Сейчас в городе во всех квартирах стеклопакеты стоят, на них никаких морозных узоров не бывает!

Правда, в деревне Бабкидедино эти узоры всюду покрывали обычные стеклянные, в деревянных рамах, окна изб, гуси и свиньи по всем дворам хрюкали и гоготали, в смысле, гоготали и хрюкали, а вот с ноу-хау имелись неразрешимые проблемы... Конечно, Вовка очень любил своих деда Фрола и бабулю Катюшу, но он любил бы их ещё сильнее со своим смартфоном – работающим! – в кармане. Однако смартфон пришлось оставить в городе, поддавшись жестокому давлению родителей. Любимый сын, видите ли, напрочь забросил учебу и знай сидит в «Майнкрафте» или в «Рэймэне». Впрочем, даже если бы смартфон удалось взять с собой, толку с него всё равно не было бы. Как-то так располагалась деревня Бабкидедино, что ни сотовая связь, ни интернет здесь не работали, даже телевизоры не показывали. Поэтому их ни у кого и не было. Зато здесь выписывали газеты и слушали радио. Звонить в случае чего можно было только по жуткому старообразному телефону, накручивая диск пальцем, пока его не смозолишь. Электричество вырабатывал местный движок-тарыхтелка. Одевались как в каменном веке. Ну не в шкуры, конечно, однако полушубок, который дали Вовке (в любимой курточке тут было не выжить, так же, как и в кроссовках, даром что они назывались зимними!), носил в детстве его отец, а может быть, и дед.

Приезжали сюда чтобы, так сказать, отдохнуть от цивилизации. В основном, конечно, взрослые (мягко говоря) приезжали, поэтому деревня и называлась Бабкидедино. Иногда к ним ссылали внуков – на принудительный отдых

от гаджетов. Как сослали Вовку. Облачали их в ватные штаны, в старые, но тёплые, как печка, полушубки, напяливали ушанки, шеи обматывали самовязаными шарфами, давали лыжи, у которых не было креплений, а только толстые ремни – чтобы продевать в них валенки... Никогда Вовка так не мечтал, чтобы каникулы поскорей кончились, чтобы кончилось заточение в этом замшелом быту, где погоду приходится определять по гусиным ногам или лапам! А Зорьке здесь очень нравится. Она сюда сама приехала. По своей воле! И на каждые каникулы приезжает! Старинную, видите ли, мудрость изучает!

Только подумав о Зорьке и её дурацких приметах, Вовка ещё больше разозлился и рывкнул:

– Ладно, давай уже говорить слово, как его, стужи и льда!

– Повторяй за мной! – велела белобрысая девчонка и принялась чётко и громко декламировать:

– Поползуха-веялица, со Свистун-горы прилети,
Зорькин след замети,
след пропадет – никто Зорьку не найдет.
Ветер-северик, со Свистун-горы прилети,
стужу наведи,
стужу-морозы да зимние грозы!
Зимний ливень ледяной, со Свистун-горы пролейся,
Зорьку оледени,
чтоб не отогреть её ни при солнце, ни при луне,
ни при звёздах, ни в кромешной тьме!
Слово мое льдом навек скреплено,
стужей навек запечатано!

– Ничего себе – слово! Тут целая куча слов! – хмыкнул Вовка. – А что теперь будет? В самом деле эта чепуха на Зорьку подействует?

Ему никто не ответил. Белобрысой девчонки рядом не оказалось. Братец её, который был «где-то здесь», так и не вернулся. Вовка один стоял на обрыве и растерянно озирался.

Конечно, в Бабкидедкине всё немножко сдвинутые, но эти двое вообще чемпионы. Наворотили какой-то ерундинины – и привет!

На ёлке вдруг оглушительно расчирикались воробьи: всполошились, дружно спорхнули с вершин на нижние ветки. Ёлка внезапно заиндевела, да и стоявшие неподалёку берёзы тоже. Ветер усиливался, срывал с деревьев хлопья инея и уносил в овраг. Казалось, его заполняет красивый серебристый туман.

Впрочем, долго любоваться туманом Вовка не смог: кое-как повернулся, путаясь в лыжах, и помчался домой.

Вот это морозика ударил! Вот это холодина настала!

* * *

– Бабуль, а как зовут этих, ну, брата и сестру? Они вроде как близнецы. Такие белобрысые, голубоглазые, очень бледные.

– У нас в деревне никаких близнецов нет, – ответила бабушка, ловко доставая ухватом из печи горшок с пшенной кашей. Вовка такую кашу обожал. Много молока, много масла... вкуснотища! – Ни белобрысых, ни черноволосых. Может, конечно, к кому-то приехали, а я просто не знаю? Ты их где видел?

– Да у оврага, где ёлка стоит, – неопределённо махнул рукой Вовка.

Дверь открылась, в избу вошёл дед. Вслед за ним прошмыгнули серая кошка Прытка и рыжий вислоухий пес Лихач. Дед сразу захлопнул дверь: так понесло стужей, будто дверь открывалась прямо на улицу, а не в тёплые сени.

Прытка напрямик шмыгнула в подпечек* и притихла там, а Лихач свернулся около горячего печного бока и упрятал нос в лапы.

Вовка удивился. Раньше кошка и пес сразу бросались к нему, чтобы погладил и за уши потаскал. А теперь только покосились этак... как на врага, честное слово! Что за странности?

– Кошка в печурку – стужа на двор, – сказала бабуля.

* Подпечек — пространство под русской печью. Летом там обычно хранят домашнюю утварь (ухваты, кочерги и т. п.). В зимние холода туда норовят забиться домашние животные.

Вовка мученически закатил глаза и вздохнул:

– Забыла сказать, что собака свернулась в калач – тоже к стуже.

Дед с бабулей переглянулись и рассмеялись:

– Ишь ты, запомнил! Молодец!

«Только вернусь домой, сразу всё из головы выкину!» – мстительно подумал Вовка.

– Слушай, внуцище, ты, пока гулял, Зорьку не встречал? – спросил дед, вешая полушубок и нога за ногу ставивая валенки.

– Не-а, – буркнул Вовка и пошел к рукомойнику, чтобы дед с бабулей не заметили, как он покраснел. – А что с ней такое?

– Запропала куда-то девчонка. Настасья, бабушка её, беспокоится.

– Да Зорька, небось, на лыжах катается.

– На дворе морозище несказанный, да и стемнело уже, какие лыжи? – удивился дед, надевая обрезанные по щиколотку старые валенки – чуни. У Вовки тоже такие были. Пол-то зимой ого какой холодный! – И в гости ей пойти не к кому: детей, кроме тебя, в деревне нет.

– А может, Зорька к близнецам в гости пошла? – спросила бабуля. – Не знаешь, к кому они приехали?

– Что за близнецы?

Вовка снова рассказал про белобрысые волосы, голубые глаза и бледные лица. Дед нахмурился:

– Это не после того, как ты их повстречал, похолодало так люто?

– Ну да, а что?

– А то, – вздохнул дед. – Уж не Карачунишку ли ты повстречал?

Вовка чуть не подавился кашей:

– Кого?!

– Карачунишка – это внук Карачуна, – пояснил дед. – Сейчас всех подряд зимних богов называют Дедом Морозом, а среди них есть добрые и злые. Карачун – самый из них свирепый. А внука его зовут Карачунишкой.

– Да их двое было, я ж говорю! – воскликнул Вовка. – Брат и сестра.

– Этот Карачунишка – незнамо кто, мальчишка или девчонка, – вздохнул дед. – То в одном образе мелькнёт, то в другом. Беда человеку, которого Карачунишка невзлюбит. Заморозить до смерти может!

Дед принялся за кашу, бабуля тоже.

Вовка смотрел на них исподлобья и ужасался.

Куда он попал?! В какие дебри?! И это его дед с бабкой! Они ведь живут в двадцать первом веке! Неужели они в самом деле верят в эту ерундину про Карачуна и Карачунишку?! Стыд-позор! Вот что делает с людьми отсутствие современных технологий! Вот что делает с людьми деревня Бабкидедино!

Послышался мерный настойчивый стук.

– В гости кто-то пришёл, – сказал Вовка.

Дед усмехнулся:

– Нет, это дятел бревно долбит. Верная примета, что мороз усилится! Слышишь, как дрова в печке трещат? Тоже к морозу. Свиристует Карачун!

Вовка закатил глаза.

Опять! Да когда же кончатся эти каникулы?!

Кашу съели, бабуля налила чаю с мёдом.

Стук раздался снова.

– Опять дятел долбится! Видать, совсем замёрз! – съехидничал Вовка.

– Да нет, теперь в дверь кто-то стучит.

Дед вышел в сени, вернулся озабоченный:

– Настасья пришла. Зорьки так и нет. Я ещё раз деревню обойду.

– Я тоже пойду, – поднялась бабуля. – А ты, Вовочка, посуду помой.

Дед с бабулей торопливо оделись и ушли.

«Вот же зараза эта Зорька, – сердито подумал Вовка. – Одни неприятности из-за нее!»

Мыть посуду в тазике, подливая из кипящего горшка горячую воду, а из ведра холодную, он ненавидел. В городе остался не только смартфон, но и посудомоечная машина...

«Может, надо было тоже пойти Зорьку поискать? Может быть, она и правда из-за этого слова стужи и льда

пропала? – мелькнула мысль. – Да нет, это чушь! Я же в приметы не верю? Вот и в карачунские глупости не верю».

Вовка ждал-ждал деда с бабкой, потом устал и пошёл спать. Только устроился на своем диванчике, как на улице что-то загрохотало. Гром, что ли? Разве бывает гроза зимой? Хотя в этом замшелом Бабкидедкине всё возможно!

С этой мыслью Вовка уснул. Снились ему гусь, стоящий на одной ноге, свинья в соломе, что-то ещё, а потом в его сон заглянул тот бледный и белобрысый мальчишка, которого дед называл Карачунишкой.

– Слово стужи и льда творит чудеса! – сказал он, подмигнув, и превратился в девчонку, которую дед тоже называл Карачунишкой.

Лица их перетекали одно в другое. Это было не то что-бы страшно, но довольно противно.

– Пошли вон, дураки! – проворчал Вовка во сне, перевернулся на другой бок и вдруг увидел Зорьку! Она стояла среди оледенелых дубов, во множестве покрытых медно-рыжими листьями, на снегу, покрытом льдом, и сама тоже была покрыта льдом. Щеки её уже не были румяными, как яблоки, и губы побелели, и русые волосы казались седыми. Только глаза были прежние – живые, зелёные. Из них сочились слёзы и капали на лёд с тихим звоном.

Вовка так и подскочил в постели! Вытаращил глаза, огляделся – никакого ледяного леса, никакой ледяной Зорьки. Однако тихий звон раздавался по-прежнему.

Стекло сплошь заволокло морозными ветвистыми узорами с толстым слоем куржака*. Вовка кое-как процарапал ногтем дырочку, приложился к ней одним глазом, выглянул – оказывается, ветка берёзы стучала в стекло. И эта ветка, и сама берёза были сплошь покрыты льдом.

Вовка оделся, сунул ноги в чуни, выбежал из спальни. На столе стоял кипящий самовар, дымилась горка оладий.

Дед с бабулей надевали тулупы, валенки и тихо переговаривались. Вовка чмокнул их и заметил, что глаза у бабули заплаканы.

* Куржак – иней.

– Что случилось? Вы куда собрались?

– Зорька так и не вернулась, – всхлипнула она. – Всю ночь искали по окрестностям, а потом гром ударил и дождь хлынул. Очень редко гром гремит среди зимы, а уж дождь – это вообще небывалое что-то. Люди вымокли, вернулись. А на улице сразу всё покрылось льдом. Провода телефонные порвались, МЧС не вызвать... Снова сами будем Зорьку искать. Возьмем пешни, топоры, чтобы тропы во льду прорубить. А ты дома сиди. Эх, не повезло тебе. Завтра ведь Новый год. Сегодня все бы готовились, радовались, пироги пекли, пельмени лепили, а тут такие печальные хлопоты.

Дед с бабулей ушли, взяв с собой пса Лихача, который так и не подходил в Вовке. Кошка Прытка, спавшая в подпечке, открыла глаза.

Почему-то Вовке показалось, что Прытка смотрит на него сердито.

Да ну, ерундятина!

Вовка съел оладью, глотнул чаю. И чуть не подавился! Вспомнились вдруг слова, которые он совсем недавно произносил вслед за белобрысой Карачунишкой: «След пропадет – никто Зорьку не найдет. Зимний ливень ледяной, Зорьку оледени. Слово моё льдом навек скреплено, стужей навек запечатано...»

– Это что же получается? – пробормотал Вовка. – Значит, Зорька из-за меня не вернулась? Из-за того, что я сказал вчера слово стужи и льда?! Что же теперь делать?

Кошка Прытка выскочила из подпечка, потянувшись, выгнув спину, и села напротив, обвив лапки хвостиком и уставив на Вовку жёлтые глаза.

Почему-то показалось, что Прытка смотрит требовательно.

Да ну, ерундятина!

Или нет?..

Вовка подумал-подумал, потом оделся потеплей, сунул в карман полушубка спички и фонарик. Положил в полиэтиленовый пакет несколько оладий, налил в маленький термос, который стоял в посудном шкафчике, кипятку из самовара, и уложил припас в другой карман полушубка.

Кошка Прытка не сводила с него глаз, и Вовке показалось, что смотрит она одобрительно.

– Да ладно тебе, – смущённо пробормотал он, погладил кошку и вышел из дому, поплотнее прикрыв двери.

Прытка прощально мяукнула вслед.

* * *

Избы стояли точно целлофановой пленкой покрытые, зловеще сияя в солнечном свете. На улице суший каток, да ещё какой! Идти можно было только по вырубленным во льду тропкам, да и то еле-еле.

Пока Вовка добрался до оврага, взмок от стараний не грохнуться. Поглядел на ёлку, льдом покрытую. Это было красиво, но страшновато! Постоял на обрыве, всматриваясь в его глубину, по-прежнему залитую серебристым туманом. Издалека доносились голоса:

– Зорька! Зорька! Отзовись!

– А ты чего её не ищешь? – хихикнул кто-то рядом, и Вовка увидел Карачунишку. На сей раз это была девчонка.

– Слушай, – умоляюще проговорил Вовка, – хорошо, что я тебя встретил. Зря мы вчера так с Зорькой поступили! Давай её вернем, а? Есть же какое-то колдовство другое, которое всё исправит. Ну, я не знаю, слово тепла, слово огня, что ли...

Карачунишка побледнела до того, что почти растворилась в воздухе, но тотчас превратилась в мальчишку. Он прошипел:

– Решил Зорьку вернуть? Ничего у тебя не выйдет! Топай домой и сиди там под лавкой!

– Сам топай домой и сиди там под лавкой! – обиделся Вовка. – Не хочешь помочь – я один Зорьку найду.

– Ладно, помогу! – хохотнул Карачунишка. – Вот так!

И не успел Вовка ахнуть, как Карачунишка сильно толкнул его. Вовка потерял равновесие и кубарем покатился в овраг!

Склон превратился в ледяную горку: ухватиться не за что, остановиться – невозможно. Вовку швыряло на ухабах, которых оказалось неожиданно много, и они словно бы сговорились переломать ему кости. Он прикрывал ру-

ками голову, перед глазами всё слилось, он думал только о том, чтобы не врезаться в стоящие на склоне деревья. Словом, это был ужас! Наконец, подскочив на очередном ухабе, Вовка распростёрся на ровной поверхности и проклятое скольжение превратилось.

Кое-как поднялся на ноги, огляделся, пытаясь остановить хоровод деревьев и сугробов, которые кружили вокруг. Было холодно до зубовного стука и как-то сумрачно. Оказалось, что солнечные лучи с трудом пробиваются сквозь серебристый туман, который висел между небом и землей. Края обрыва не было видно.

– Эй, ты жив? – раздался сверху насмешливый голос – непонятно, мальчишеский или девчачий. – Ну давай, ищи эту вредную девчонку. Не найдёшь до новогодней полуночи – твое счастье, тогда домой сможешь вернуться. Ну а если найдёшь – вместе с ней в старом году останешься, навек пропадёшь.

Что-то засвистело, и мимо Вовки пронёсся вихрь с физиономией Карачунишки, которая беспрестанно изменялась.

– Топай, топай, ищи, не теряй времени! – заорал вихрь двухголосым хором. – А я поползуху пошлю за тобой присматривать!

И Карачунишка растаял меж деревьев.

– Ты сам-то понял, чего сказал? – крикнул вслед Вовка. – Не найду – вернусь, а найду – пропаду? Наоборот надо! Перепутал, что ли? Или... не перепутал?

Помолчал, подумал.

«Получается, этот транс... как его, трансформер Карачунишка решил Зорьку погубить, но сам почему-то не смог этого сделать и призвал на помощь меня, дурака? То есть я как бы пистолет ходячий?! Он мною в Зорьку выстрелили – и я попал? И заодно сам попался...»

Вовка огляделся. Вокруг стояли оледенелые деревья. Каждая ветка казалась стеклянной. Какие-то причудливые нагромождения льда торчали там и сям. Свет солнца, пробивавшийся сквозь серебристый туман, придавал лесу призрачный, мертвый вид.

От ужаса пересохло в горле. Вовка сунул руку в карман, куда положил маленький термос с горячей водой, однако

там было пусто. Наверное, термос вывалился, когда Вовка кубарем летел с обрыва. Вскоре выяснилось, что исчезли также пакетик с оладьями, фонарик и спичечный коробок. Напрасно он шарил в карманах, надеясь, что коробок завалился в прореху, которая уже давно зияла в кармане и о которой Вовка вечно забывал сказать бабуле.

В прорехе обнаружилось что-то круглое и холодное. Это оказалась монета, почерневшая от времени, потому что была выпущена аж в 1962 году. На одной стороне отчеканено: «5 копеек», а на другой красовался герб с серпом и молотом и надпись под ним: «СССР».

Кто же в столь древние времена не удосужился зашить карман, как не удосужился Вовка? Отец? Дед? Ну да, они ведь жили ещё в той стране, которая называлась СССР, и любили её, и даже теперь, когда собирались по праздникам за столом, всегда провозглашали тост: «Да здравствует СССР!» Однако в этой монетке, которая порадовала бы какого-нибудь нумизмата, не было для Вовки в застывшем лесу никакого проку. Разве что в орла или решку поиграть, да только не с кем. Хотел Вовка выбросить монетку, да передумал: лежала она в прорехе восемьдесят лет – ну и ещё полежит.

Пить хотелось страшно, и Вовка потянул с оледенелой-остекленелой рябины, стоявшей рядом, гроздь красных ягод. Ветка с хрустом отломилась, будто и в самом деле была стеклянная. И что-то тяжёлое со звоном упало на лед. Камень?

Жуя по-зимнему сладкие, замороженные ягоды (растаявший лёд быстро утолил жажду), Вовка наклонился и посмотрел.

Это оказался не камень. Это оказалась твердая, как камень, оледенелая птичка с черной головой и хвостиком, серой спинкой и яркой алой грудкой.

Снегирь, это был снегирь! Иногда они гроздьями облепляли берёзу, которая стояла под окном дедовой избы. Бабуля называла их зимними красавцами и смеялась: «Снегири к Снегирёвым стаями летят!»

Этот снегирь уже не прилетит в Бабкидεδкино, не сядет на берёзу. Никогда...

Вовка растерянно огляделся и только теперь сообразил, что странные фигуры, которые недавно казались ему нагромождениями льда, – это покрытые льдом звери! Заяц замер на задних лапках. Волк и лиса распростерлись на оледенелом сугробе. Белка сидит на дубовой ветке около своего дупла. Глухарь высунулся из сугроба... И у всех были закрыты глаза. Они всё спали... мёртвым сном!

Вовка замер, словно тоже оледенел. Невыносимо было осознать, что Карачунишка с его помощью погубил целый лес вместе с его обитателями.

В отчаянии Вовка схватил снегиря и спрятал за пазуху, под тёплый овчинный мех полушубка. А вдруг отогреется? Вдруг оживёт?

– А ты пощады попроси у Карачунишки, – прошелестел рядом чей-то голос. – Скажи, что не станешь Зорьку искать, я Карачунишке доложу – и ты мигом снова на обрыве окажешься.

Вовка так и шарахнулся: перед ним стояла на хвосте белая мохнатая, из снежных вихрей сотканная, змея с противной человеческой мордой! Бросился было прочь, да ноги заплелись на льду – так и сел на пятую точку.

– Ты кто? – прошептал помертвевшими губами.

– Карачунишка же сказал, что поползуху пошлёт за тобой приглядеть. Я поползуха и есть.

С этими словами вихрь опустилсЯ наземь и в самом деле принялся *ползать* взад-вперед, подозрительно косясь на Вовку. Очевидно, это и называлось – «приглядывать».

– Поползуха-веялица, со Свистун-горы прилети, Зорькин след замети, след пропадет – никто Зорьку не найдет, – вспомнил Вовка слова стужи и льда.

Поползуха самодовольно хихикнула:

– Да, я постаралась, уж замела так замела! Никто Зорьку по следу не найдет. И ты не найдешь. Лучше, говорю тебе, пощады у Карачунишки попроси – и лёд в один миг растает.

– Лёд растает, а вода куда денется? – услышал Вовка тихий-тихий голосок, исходивший, казалось, из-за пазухи.

Сунул туда руку и ахнул: снежирёк легонько прихватил клювом его палец. Вот здорово! И это ничего, что свитер

на груди отсырел! Главное, что красногрудый снегирь оттаял и ожил! Но что это он твердит?

– Вода куда денется? Вода – куда?

И тут Вовка понял, что пытается ему подсказать птица!

– В один миг лёд растает, говоришь? – спросил, плотней запахнув полушубок, чтобы скрыть снегиря от подозрительных взглядов поползухи. – Но тогда лес водой зальётся. Земля промёрзла, в нее вода не впитается. А морозище вон какой! Значит, потом сразу всё снова замёрзнет?

– Не знаю, – растерянно заюлила туда-сюда поползуха. – Я у Карачунишек спрошу. Погоди, сейчас вернусь.

И, вилля по льду, она унеслась куда-то в глубину леса.

– Не верь им! – встревоженно просвистел снегирь. – Всё равно тебя Карачунишка обманет. Не сдавайся!

– Я не сдамся! – пообещал Вовка. – Но ты скажи: почему я понимаю всё, что ты говоришь? Ну ладно, Карачунишка и поползуха – они волшебные существа, они как бы должны говорить на человеческом языке. Или ты тоже волшебный снегирь?

– Никакой я не волшебный, – весело свистнул снегирь. – Но ты рябину ел? Ел. А на рябине иногда вызревает ягода чудодейственная, и тот, кто её зимой съест, сможет понимать язык птиц и зверей.

– Чудеса! – пробормотал Вовка. – Повезло мне с этой ягодой! Но что же нам теперь делать, снегирёк? Где искать Зорьку? И как справиться с Карачунишкой?

Снегирь не успел ответить: что-то засвистело в воздухе, и сквозь серебристый туман вихрем пролетел Карачунишка.

– Больно умный, да? – засвистел двумордый Карачунишка на два голоса. – Помешать мне задумал? Надоел ты мне! Сейчас я для тебя слово стужи и льда скажу!

И Вовка с ужасом услышал знакомые колдовские слова:

– Поползуха-веялица, со Свистун-горы прилети, Вовкин след замети...

– Я уже здесь, здесь! – радостно зашипела змеевидная поползуха, выметнувшись из-за деревьев и стремительно приближаясь к Вовке.

– Не мешай, сбила ты меня! – разозлился Карачунишка. – Теперь снова надо начинать.

– Беги, Вовка! – пискнул снегирь.

Он вырвался из-под полушубка и налетел на поползуху: бил морозную змею клювом и крыльями, мешал ей броситься на Вовку.

Карачунишка надул щеки – морозное облачко вырвалось из его рта и полетело к снегiry, но Вовка рванулся вперед, успел перехватить птицу, сунул её в карман полушубка и помчался по льду со всей скоростью, на которую только был способен. Однако ноги разъезжались, и далеко он, конечно, не убежал бы, если бы снегирь вдруг не высунулся из кармана и не запищал во весь свой небольшой птичий голосок:

– Под выворотень* поворачивай! Под выворотень!

Вовка совершил какой-то немыслимый пируэт и рванул к растопыренным корням некогда могучей сосны, завалившейся набок. Поверх льда эти корни были покрыты мохнатым куржаком.

Вовка втиснулся в отверстие между корнями и... свалился на что-то мягкое, пахнущее сырой шерстью. Снегирь, мелко трепеща крыльями, влетел вслед за ним и сел на плечо.

Снаружи раздался двухголосый хохот Карачунишки:

– Молодец! Сам от хлопот меня избавил! Отсюда ты живым не выйдешь!

Раздался удаляющийся свист ветра – очевидно, Карачунишка умчался прочь. Но лучше немного подождать, пусть подальше улетит.

Вовка поморщился: в яме стоял какой-то странный запах, душный, тяжёлый, – поёрзал, устраиваясь поудобней, как вдруг снегирь запищал сдавленно:

– Осторожно!! Слезь с него! Ты сидишь на медведе!

События последнего времени отучили Вовку задавать бессмысленные вопросы, вроде «что?!» и «где?!». Он проворно свалился на дно ямы, устланное хворостом, ельником и палой листвой. Сквозь отверстие проникал слабый свет, и Вовка разглядел бурую громадину, которая лежала

* Выворотень — вывернутое бурей из земли дерево.

свернувшись клубком, уперев морду в грудь и скрестив лапы перед мордой, как бы защищая её.

Вовка даже рот разинул.

«Вот это попал ты, Снегирёв! Да, вот это, братцы, я попал!»

– Кого опять принесло? – сонно буркнул медведь, не поднимая головы. – Забыли, что ли? Погреться решили? У меня вам что, приют для всякого-каждого мимо ходящего? Ладно, так и быть, ложитесь вон с левого боку. Справа у меня лисы да зайцы устроились, а слева место ещё есть. Волчара, подвинься чуток, пусть новые гости прилягут, да глядите там, соболька не придавите.

И он шумно всхрапнул, снова засыпая.

– Нам не до сна! – возбужденно просвистел снегирь. – Медведедюшко-батюшко, помоги! Большая беда настала!

– Какая ещё беда? – Хозяин берлоги поднял голову, насторожился. – Ох ты, человечек ко мне пришёл! Видать, и впрямь беда, если в медвежью берлогу залез. Ладно, внучок, доверь свои беды деду-медведю.

Потрясенный Вовка не мог и слова молвить. Увидеть медведя живьём, да так близко, да понимать всё, что он говорит, да не бояться его...

Фантастика!

– Я сам расскажу! – выкрикнул снегирь и засвистел так быстро, что Вовка, хоть и выучился языку птиц и зверей, разбирал в этой скороговорке только отдельные слова:

– Карачунишка... слово стужи и льда... лес омертвел... скользко... не пройти... девочка пропала... до новогодней ночи не успеть...

– Вот же пакостник этот Карачунишка! – проревел медведь – впрочем, не слишком громко, а как бы вполголоса: наверное, старался не разбудить спавших сладким сном зверей. – Вот не повезло другу моему старинному Карачу-ну с внуком! Конечно, он и сам свиреп, но со зла ничего не делает. Обязанность у него такая: снег да мороз на землю наводить. А Карачунишке лишь бы вред кому-нибудь причинить, лишь бы нагадить кому-нибудь! Это ж надо додуматься: из пустой прихоти заморозить лес и всю округу! Но остановить этого дурня и всё вернуть, как было, только

сам Карачун сможет. Надобно его разыскать да на помощь позвать.

– Зорьку надо найти и спасти до ночи! – наконец обрёл дар речи Вовка. – Карачунишка её в ледяную статую превратил.

– А вот отыщем Карачуна, он всё и устроит, – успокоил его медведь. – Я ему весть пошлю, а ты вздремни покуда.

И он осторожно погладил Вовку по голове огромной когтистой лапой, своротив ушанку ему на нос.

– Не могу я дремать! – сдавленно выкрикнул Вовка, поправляя шапку. – Зорька стоит где-то, в лёд закованная, и плачет! Я её во сне видел! И слышал, как её слёзы звенят, ударяясь о лёд!

– Ой, матушки-батушки, горе-горюшко! – всхлипнул медведь. – Выручать девчонку надо, да где ж её найти?

– А ты не запомнил места, где она стоит? – спросил снегирь.

– Это ж ему приснилось, – пробурчал медведь.

– Но ведь бывают вещие сны! – воскликнул Вовка и даже головой помотал от изумления: неужели это он говорит?! Вещие сны – это замшелые предрассудки! Неужели он в них верит?

Ещё вчера он сам себя на смех бы поднял, а сегодня было не до смеху, поэтому Вовка напряг головушку и вспомнил:

– Зорька стояла среди дубов... а на них листья висели. Сухие, рыжие листья. Они почему-то не опали.

– Так и должно быть, – согласился медведь. – Лист с дуба опадает не чисто – жди суровой зимы!

«Интересно, а эту приметку Зорька знает? – подумал Вовка. – Если нет, я ей скажу. Только сначала её найти надо!»

– Это дубовая роща! – Снегирь вспорхнул с его плеча и в восторге мелко-мелко забил крылышками. – Это совсем недалеко! Я знаю дорогу туда! Вперед, Вовка! За мной!

И он стремительно вылетел из берлоги. Вовка ринулся было следом, однако медведь легонько цапнул его за ногу и остановил:

– погоди, торопыга шалопутный! Сначала я весточку Карачуну отправлю. Для этого надо лесавок из-под листьев

добыть. Не знаю только, живы ли они? Ты-то ввалился сюда, как подлинный медведь, да ещё так же выбраться норовишь. Не раздавил ли их? А ну, посунься!

И, бесцеремонно сдвинув Вовку в сторону, он принялся разгребать насыпанный у самого лаза палые листья, приговаривая:

– Лесавушки-голубушки, просыпайтесь, выбирайтесь, заделье для вас отыскалось!

– Да что ж за беды бедучие так и ярятся вокруг, поспать не дают?! – раздался тихий, но вполне внятный недовольный шелест, и из-под листьев выкатились два серых клубочка, очень похожие на свернувшихся ежей, только поменьше. Развернулись клубочки, распрямились – и Вовка увидел двух маленьких, сереньких, сморщенных, лохматых человечков, одетых в сухие листья, скрепленные сухими же травинками. На ножках у них были желудевые скорлупки.

– Ладно, не ворчите, лесавки, – добродушно сказал медведь. – Карачунишка злую проказину сотворил, надо лес выручать да девчонку замёрзшую спасать. Там скользотища – ни на ногах, ни на лапах шагу не сделать, да и нельзя живому существу ко дворцу Карачуна приближаться: тот гневлив, рассердится – одним взглядом своим заморозить может. А вас ничто не возьмет, в тому же, дорогу туда знаете. Только спешите: до новогодней ночи надо всё исправить! Так и скажите Карачуну.

– Сделаем, медведюшко-батюшко! – согласно закивали лесавки. – Ты только дунь нам вслед покрепче, чтобы как покатались мы по льду, ка-ак покатались бы – да прямиком бы к Карачуну прикатались.

– Дуну, дуну! – пообещал медведь, выставил наружу лапу, между когтями которой сидели лесавки, и дунул – в самом деле крепко! Лесавки исчезли, а до оставшихся донесли оханья-аханья и весёлые крики:

– Ну ты постарался, медведюшко-батюшко! Спасибо!..

А Вовка понял, что означает выражение «как ветром сдуло».

– Ну а что с тобой делать, ума не приложу, – растерянно медведь, глядя маленькими глазками на Вовку. – По-хоро-

шему, надо бы тебя проводить, да боюсь, коли выйду да пройдуся, потом уже не залягу в берлогу снова, так и буду всю зиму шататься. А медведь-шатун – не тот медведь, что в берлоге мирно спит! У меня прадед был шатуном, ох и наводил он страху на всю округу!

– Нет уж, лучше вы оставайтесь в берлоге, – испуганно выпалил Вовка, – мы со снегирём как-нибудь сами Зорьку найдём.

– Оста-анусь, – сладко зевнул медведь, – только скажи, как ты по льду пойдёшь? Будешь тащиться еле-еле, Карачунишка нападёт – и конец тебе. Ты умеешь на коньках кататься?

– Да кто ж не умеет? – засмеялся Вовка.

– Я не умею, – вздохнул медведь. – Давным-давно у меня в берлоге конёчки валяются. Бродил мой прадед-шатун вокруг деревни, а там народишко на озере замёрзшем катался на коньках. Увидали люди медведя и дали дёру, ну, кто-то и потерял коньки. Прадед их прибрал, но никто из нашего рода так и не научился на них кататься. Однако коньки ничего, не заржавели, я о них заботился, к каждой зиме готовил, но едва наступит месяц полузимник, по-нынешнему говоря – ноябрь, так силушек моих нет: тянет в берлогу залечь да проспять до весны. Вот и валяются коньки без дела. А теперь, глядишь, к делу придутся. Счастливого тебе пути! Давай помогу выбраться.

Медведь осторожно выпихнул Вовку наружу, а следом вылетело что-то завернутое в рогожу.

– Спасибо! – крикнул Вовка. – И спокойной ночи, медведюшко-батушко!

– Ага-а-а! – с глубоким зёвом отозвался медведь, а вслед за тем из берлоги донёсся сладкий храп.

– Скорей! Скорей! – порхал над Вовкиной головой снегирь. – Карачунишка, небось, уверен, что тебя медведь задрал, но коли проведает, что ты живым от него выбрался, тогда жди новой пакости.

Вовка торопливо развернул заскоружлую рогожу – да так и ахнул. Коньки оказались необычайно хороши: вычищенные, смазанные, с мягкими ремешками, которые было очень удобно завязать на щиколотках. Вспомнилось,

как он еще вчера презирал «замшелые» деревенские лыжи, а эти коньки были еще более «замшелыми». Но Вовка обрадовался им, как обрадовался бы самым лучшим и самым современным беговым конькам. Разрезая лёд и на каждом длинном, размашистом шагу благодаря медведя, он мчался через лес, стараясь не потерять из вида снегиря, который летел стрелой, ловко лавируя между ветвями. Вдруг он свечкой взмыл вверх и запищал радостно:

– Вижу! Вижу дубовую рощу! Вижу... – И охрип, и просвистел едва слышно: – Зорьку вижу...

В его голосишке звучал такой ужас, что Вовка заспотыкался и чуть не упал, однако всё же удержался на ногах, схватившись за дерево и глядя вперед.

Да, понятно, почему снегирёк охрип. Было чего испугаться!

Это выглядело даже страшнее, чем во сне: оледенелая фигура Зорьки в толстом синем свитере и овчинной безрукавке, в сбившейся на затылок белой шапочке, неподвижное, слабо различимое за толстым слоем льда лицо, помертвелые глаза, из которых уже не сочились слёзы...

«Она умерла! – с ужасом подумал Вовка. – Она замёрзла насмерть! Я опоздал!»

Он кинулся к ледяной фигуре, схватил её за плечи, затормошил, но Зорька была как каменная.

– Угомонись, – прошелестел рядом мерзкий голос, и Вовка краем глаза увидел поползуху, которая змеилась между дубами. – Позови Карачунишку, попроси пощады и возвращайся домой, там твои дед с бабкой с ума сходят. И новогодняя ночь уже близко! Пропадёшь ведь.

Сердце дрогнуло, стоило Вовке представить, как напуганы, как беспокоятся дед с бабулей. Но разве может он вернуться? Вернуться и слушать их причитания о бесследно исчезнувшей Зорьке, и видеть горькие слёзы ее бабушки Настасьи, и молчать, и не признаваться в том, что он знает, где Зорька, которая стоит среди заледенелых дубов, как ледяная статуя, что он видел её и ничем не помог, даже не попытался её спасти.

Но что же он может сделать?!

Вдруг послышался лёгкий стук, и Вовка увидел, что снегирь сел на Зорькино плечо и, весь вытянувшись, осторожно стучит клювом по её щеке. Не веря глазам, Вовка смотрел, как ледяную маску пересекала извилистая трещина, потом другая, когда снегирь перелетел на другое плечо и начал стучать по другой щеке.

– Помоги же! – свистнул снегирь, требовательно взглянув на Вовку. Тот кинулся вперёд и принялся осторожно, маленькими кусочками, снимать с Зорькиного лица ледяную коросту.

Наконец лицо её очистилось, и Вовка с изумлением и радостью обнаружил, что Зорька дышит! Бледное лицо медленно порозовело, дрогнули влажные ресницы, открылись изумлённые глаза, а губы недоверчиво прошептали:

– Это ты, Вовка?

– Он самый, – смущённо буркнул Вовка. – Тихо, тихо, ты только не плачь, потому что твои слёзы замерзнут и нам со снегирьком снова придется их отколупывать. Так что стой и терпи. Кажется, я понял, что надо делать, чтобы тебя освободить.

Зорька послушно умолкла и растерянно смотрела, как Вовка сорвал коньки и, взяв один из них, принялся осторожно постукивать по ее правой руке, отламывая небольшие кусочки льда.

Зорька всхлипнула, и Вовка испугался:

– Тебе больно?

– Нет, – слабо выдохнула она. – Спасибо тебе.

– Да ладно! – отмахнулся он коньком и продолжить отколупывать лёд. Зорьке, видимо, трудно было удерживать слёзы, потому что снегирь принялся отирать ей глаза крыльями, перепархивая с плеча на плечо и тихонько посвистывая:

– Тихо, тихо, не плачь, не плачь, а ты, Вовка, поторопись!

Вовка спохватился, что совсем забыл про поползуху, оглянулся, но не увидел её.

«За Карачунишкой понеслась!» – сообразил он и не ошибся, потому что через мгновение засвистело рядом что-то в воздухе и возмущённый дуэт мальчишеского и девчачьего голосов возопил:

– Это еще что такое?! Да я тебе...

Зорька испуганно зажмурилась. Конечно, ей было ужасно страшно, да и Вовке было страшно. Он повернулся к Карачунишке, загородив собой Зорьку, и зло бросил:

– Лети отсюда, нечисть этакая! Мы позвали на помощь твоего деда, он скоро сюда прибудет и покажет тебе, как лес морозить да людям пакостить!

– Врёш-ш-шь! – засвистели, захохотали в один голос Карачунишка и поползуха.

– Нет, не вру! Подожди немного, и узнаешь, что он устроит.

– Вот именно, что он устроит? – захохотал Карачунишка, меняя лицо на лицо, и в глазах Зорьки отобразился ужас: ведь она впервые видела эти противнейшие и поганейшие превращения. – Я могу тебе точно сказать: он вас одним взглядом заморозит! А потом меня похвалит! Он скажет, что у него самый умный и самый злой внук на свете! Нет, я его и ждать не буду. Я сам вас заморожу! Я на вас двоих слово стужи и льда скажу!

– погоди! – слабо вскрикнула Зорька. – За что ты меня так ненавидишь? За что ты меня заморозил... то есть заморозила?

Немудрено было запутаться, когда перед тобой мелькают то мальчишка, то девчонка!

– Скажи – заморозили, – ухмыльнулся Карачунишка. – Мы с Вовкой тебя заморозили. Он вместе со мной говорил слово стужи и льда. Он тоже тебя терпеть не может!

– Но почему?.. – простонала Зорька, и Вовка почувствовал, что ему стало так жарко, что он сейчас сгорит. Со стыда сгорит.

– А я тебе скажу, за что мы с Вовкой тебя терпеть не можем, – расхохоталась Карачунишка-девчонка. – В городе, поползуха рассказывала, такие штуки появились, которые за вас, людей, думают. Ткни в них пальцем – погоду вам предскажут, и про то, что на другом краю света делается, сообщат, и на разные голоса споют, а если человек не знает, как поступить, так эти штуки ему подскажут. Скоро люди своим умом вовсе жить перестанут. Я этому очень порадуясь! А ты, Зорька, сама думать хочешь, ты народную му-

дрость знать хочешь, чтобы понимать, что на белом свете происходит. За это я тебя ненавижу. Мы с Вовкой не такие!

– Он такой, такой! – пронзительно запищал снегирь. – Он тебя искать пошёл, он меня от гибели спас, он ледяного леса не испугался, он у медведюшки-батюшки в берлоге побывал и его помощи просил, он тебя ото льда освобождает, и даже если ты без передышки будешь разные приметы говорить, он только рад будет!

– Зря стараешься, снегирь, – презрительно фыркнул Карачунишка. – Зорька птичьего языка не понимает. Она же не съела чудодейную рябиновую ягоду.

– Зато я читала старинную мудрую книгу, в которой рассказано, как птичий язык научиться понимать! – резко сказала Зорька. – Я всё понимаю, каждое слово!

– Врёшь! – озлился Карачунишка. – Ну что он говорил, что?

– Он сказал, что Вовка меня искать пошёл, снегиря от гибели спас, ледяного леса не испугался, у медведюшки-батюшки в берлоге побывал и его помощи просил, он меня ото льда освобождает...

– ...и даже если ты, Зорька, без передышки будешь разные приметы говорить, я только обрадуюсь! – перебил Вовка. – Ты прости меня. Не сердись!

– Была вина, да прощена, – улыбнулась Зорька. – Чем сердиться, так лучше помириться.

– Опять начала?! Опять за старинные народные мудрости взялась?! – завопил Карачунишка визгливым дуэтом. – Всё! Кончилось моё терпение! Теперь я на вас обоих слово стужи и льда скажу! Поползуха-веялица, со Свистун-горы прилети, Зорькин да Вовкин след замети, след пропадет – никто ни Зорьку, ни Вовку не найдёт!

И тут Вовку осенило догадкой. Смелой, дерзкой, даже наглой догадкой, но это было единственное средство если не спастись, то хотя бы потянуть время.

– Ты говорил, дед Карачун нас не спасёт, а заморозит? А давай поспорим, – предложил он. – Монетку бросим.

– Какую монетку? – удивился Карачунишка.

– А вот эту, – выудил Вовка из прорехи в кармане полушубка заслуженный советский пятак. – Смотри: та сторона,

где цифра, называется решка. А та сторона, где буквы «СССР» и рисунок, называется орёл. Например, я загадываю, что выпадет решка. А ты – что орёл. Мы бросаем монетку. Если выпадает решка, выигрываю я, мы спокойно ждем твоего деда, и там уж поглядим, что он будет делать: заморозит нас с Зорькой или тебе всыплет.

– А если выиграю я? – хитро прищурился Карачунишка.

– Ну, тогда ты нас сам заморозишь, – проговорил Вовка, из всех сил стараясь, что голос его не дрогнул от ужаса.

– Так я же играть не умею, – подозрительно прищурился Карачунишка. – Ты меня в два счёта обставишь.

– А ты сначала потренируйся, – предложил Вовка самым равнодушным тоном, на какой только бы способен. – Ты же умеешь то мальчишкой быть, то девчонкой. Вот и поиграешь сам с собой.

– Ну, давай, – согласился Карачунишка. – Значит, это орёл, а это решка?

– Наоборот.

– Ага, наоборот, – кивнул Карачунишка. – Ну, попробую. Значит, у меня орёл, а у тебя...

– А у меня решка, – воскликнула Карачунишка, хитро улыбаясь. – Ну, кидай! А потом я кину!

– Орёл!

– Решка!

– Орёл!

– Решка!

Вовка смотрел вытаращив глаза. Ничего подобного он даже не ожидал! Карачунишка с Карачунишкой рвали монетку друг у друга из рук, лица их менялись с невероятной скоростью, голоса охрипли от волнения, теперь их было не различить, и больше ничего не свете для них не существовало.

– Да ты их заколдовал, что ли? – прошипела испуганно поползуха.

– Вроде того, – усмехнулся Вовка, снова берясь за конёк.

– Ну, я к Карачуну метнусь, я ему всё расскажу! – пригрозила поползуха и исчезла среди деревьев.

– Орёл!

– Решка!

– Я угадал!
– А теперь я угадала!
– До чего же надоели они, – просвистел снегирь. – Зорька, а ну, скажи нам какую-нибудь примету, да повеселей, до потеплей!

– Потеплей? – улыбнулась Зорька. – Ну, слушайте. Ворона кричит, повернувшись на юг, – обещает тёплую погоду.

– Орёл!
– На тепло лошади фыркают, а собаки на снегу растягиваются.

– Решка!

– Лес кругом шумит – к мягкой погоде.

– Орёл!

– Над лесом перед теплом голубеет воздух.

– Решка!

– Лес становится краше...

– Орёл!

– Решка!

Освободив ото льда плечи Зорьки, Вовка набросил поверх её свитера свой полушубок и начал откалывать лёд с ног, а потом и с лыж. Он так увлекся, слушая новые и новые приметы, что забыл обо всём на свете и о времени забыл, как вдруг снегирь испуганно засвистел, глядя в небо:

– Звезды на полночь сошлись! Беда! Не успеем!

Вовка от неожиданности выронил конёк, и вдруг рядом ухнул, словно взорвался, воздух, и повеяло лютым холодом – к тому холоду, который царил в лесу, Вовка уже привык, а это был другой холод, мертвенный, свирепый, жуткий!

– Вот они, вот они, колдуны и злодеи! – раздался шелестящий визг поползухи, а потом задрожала земля под тяжелой поступью, и перед Вовкой появился мрачный беловолосый и белобородый старик с белыми бровями и суровым белым лицом. Шуба его, отороченная белым мехом, сверкала серебром, в руке сиял белый, словно бы алмазами усыпанный, посох.

Вовка и Зорька схватились за руки.

Старик посмотрел на них тяжёлым взором бледно-голубых глаз, прищурился, сдернул большую белую рукавицу и вытряхнул из нее на ладонь два серых клубочка, в которых Вовка узнал лесавок.

– Возвращайтесь к другу моему медведю да скажите, что привели меня на место и что порядок я тут наведу, – проговорил тяжелым басыщем.

– Передадим, батюшко Карачунушко! Ты на нас дунь, чтобы мы быстрее до его берлоги добрались, да только, сделай милость, дуй не слишком, чтобы мы невесть куда не залетели!

– Да уж постараюсь, так и быть, – неожиданно мягко сказал Карачун и осторожно-осторожно сдул их с ладони.

Лесавки вмиг исчезли из глаз, издали донесся их смех:

– Ну ты дунул, батюшко-Карачунушко! Ну ты и дунул!

Старик перевел глаза на Карачунишку, который по-прежнему играл в орлянку сам с собой, ничего вокруг не замечая, недобро прищурился и щёлкнул пальцами.

Карачунишку втянуло в правый карман шубы Карачуна. Там же исчезла и монетка. Карман немедленно задёргался и запищал на два голоса, однако Карачун хлопнул по нему ладонью, и карман, ойкнув, затих.

– Карачун, батюшко, да что ж ты натворил?! – взвизгнула поползуха, однако Карачун снова щёлкнул пальцами, и она с испуганным писком исчезла в левом кармане его просторной шубы.

– Ох и натворили они тут дел! – пробасил Карачун, глядя на Вовку ледяными глазами. – Медведь просил порядок навести, а я погляжу, ты уже и сам почти управился. Что ж, осталось сделать всё как было. Готовы возвращаться домой?

– Готовы! – воскликнул Вовка, крепче сжимая руку Зорьки, и вдруг спохватился: – Снегирёк, дружище... Спасибо тебе!

Снегирь спорхнул ему на плечо и ласково ущипнул за ухо, а потом перелетел на плечо Карачуна и что-то встревоженно пропищал.

– Э-э, да уже полночь новогодняя наступает! – спохватился Карачун, поглядев в небо. – Успеем ли? Если хотя бы

на миг задержитесь, назад уже не вернетесь. Хотя нет, лучше вот что мы сделаем! Мы не вас вернём, а время повернём! Счастливого пути, да смотрите, больше не ссорьтесь!

И Карачун стукнул посохом о землю.

* * *

– Ну что, давай ещё разок вниз съедем? – предложила Зорька.

– Да неохота, – буркнул Вовка. – Мороз крепчает. Знал бы, что так будет, вообще гулять бы не пошёл.

– Но мороз и должен крепчать, – ответила Зорька, снисходительно усмехнувшись. – Потому что гусь стоял на одной ноге.

Сильно оттолкнувшись палками, она покатила по склону оврага, оставляя за собой снежные вихри, и через минуту скрылась среди елей.

– Гусь стоял на одной ноге?! – возмущенно крикнул Вовка Снегирёв, глядя на нарядную новогоднюю ёлку, словно ждал от неё сочувствия. Красногрудый снегирёк, присевший на верхнюю ветку, внимательно на него уставился. – Как может гусь стоять на одной ноге, когда у гуся не ноги, а лапы?!

Снегирёк насмешливо свистнул.

– Да и правда, – кивнул Вовка, – какая разница, ноги или лапы?

И, смеясь, он тоже покатил с горы, а красногрудый снегирь весело кружил над его головой.

Яков ЗВЯГИН

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СТИШОК В ПОЛОСКУ

Зебра купила в полоску матрас.
Зебре в полоску матрас в самый раз.
Зебру, с её полосатым окрасом,
Очень легко перепутать с матрасом.

Ну, а к матрасу пришлось покупать,
Хочешь не хочешь, в полоску кровать.

И чтоб совсем быть довольной собою
Зебра купила в полоску обои.
К ним же в полоску паркетную доску,
Ну, и к доске — занавески в полоску.

Столик, диван, холодильник, плиту,
Коврик, два кресла, буфет, гарнитур.
Всё, разумеется, было в полоску
И подошло под паркетную доску.

Чтобы все было в стиле едином,
Зебра купила в полоску картины.
И на её полосатой стене
Это смотрелось уместно вполне.

Ей в магазине всё так подобрали,
Чтобы полоски все совпадали,
Чтоб занавески, паркет и обои
Все сочеталось между собою.

Просто не дом, а какой-то музей.
Зебра к себе пригласила друзей.

Гости пришли и не могут понять:
Вот холодильник, диван и кровать,
Коврик, картины, обои, буфет.
Где же хозяйка? Нигде её нет!

Зебра кричит им: «Да вот же, я тут!»
Гости опять ничего не поймут:

«Зебра, послушайте, вас, если честно,
Не отличить от дивана и кресла!
Ну и, конечно, на фоне стены
Вы, извините, вообще не видны!»

Зебра расстроилась! Слёзы из глаз!
Кто виноват? Полосатый матрас!

Необыкновенный матч

Томаты и баклажаны затеяли матч футбольный
На первенство холодильника. Главный судья – чеснок!
Хотя петрушка с укропом были судьёй недовольны,
Чеснок судит по-честному! У чеснока свисток!

Играть решили картошиной, она была круглая самая.
Конечно, не очень круглая, но в этом и весь прикол.
Картошина в холодильнике слыла своенравной дамою.
Она была просто счастлива, когда забивают гол.

Воротами будут кастрюли. Их было две в холодильнике.
Одна была с макаронами, другая была с борщом.
Участники матча подумали и всё содержимое вылили.
Сейчас нам нужны ворота! Мы всё соберём потом!

Болельщики на трибунах – морковь, огурцы и тыква,
Свёкла, капуста, редька, редиска, лук и шпинат.

В футболе не разбираются, но болеют активно.
Они не кричат «На мыло!», они кричат «На салат!».

Томаты пошли в атаку, но попали под прессинг.
Их баклажаны прижали, и получился сок.
Судья не заметил, но перец слил информацию в прессу.
Чеснок лишили лицензии и отобрали свисток!

Но тут открывается дверца, и появляется мама.
Все на трибунах замерли! У мамы, конечно, шок!
Так часто бывает в спорте, случилась спортивная драма!
Сейчас участников матча мама сотрет в порошок!

«Всех удаляю с поля! – строго сказала мама. –
Что с вами дальше делать – решит арбитражный суд.
Я вас делю на две части, вернее на две команды:
Одна команда в лазанью, другая команда в суп!»

Всем, кто был в холодильнике, засчитано поражение.
Так мы и не узнали, кто у нас чемпион.
Игры не состоятся без маминого разрешения.
У мамы одна проблема – как ей отмыть стадион.

Теперь в холодильнике чисто и тихо, словно в музее,
Но по большому секрету всем рассказала икра,
Что где-то там, в морозилке, уже говорят о хоккее.
Пельмени против мороженого! Вот это будет игра!

Цвет надежды

Какого цвета Новый год?
Конечно золотого.
Он серебристый, словно лёд
Лиловый и бордовый.

Какого цвета шар земной?
Вам космонавты скажут

Он однозначно голубой
И где-то синий даже.

Какого цвета президент?
Хотя и так всё ясно,
Что вариантов просто нет:
Он бело-сине-красный.

Какого цвета наш футбол?
На днях спросил у деда,
И дед к вопросу подошел
Со знанием предмета.

Мой дед – болельщик «Спартака»
Причем закоренелый.
«Запомни, внук! Во все века
“Спартак” – он красно-белый».

Потом подумал и сказал:
«А если речь о сборной,
То мне, конечно, очень жаль,
Но цвет, похоже, черный».

Я сразу, краски взял и вот
Смешав ингредиенты,
Раскрасил Землю, Новый год
И даже президента.

Я краску черную нашел...
Но тут пришла идея!
Не стал раскрашивать футбол:
Я всё-таки надеюсь...

Кем быть

Если б я был телефоном!
Я лежал бы вниз экраном
И своим противным звоном
Всех будил бы утром рано.

И записывал бы «сториз»,
Узнавал про то, про это.
Я бы слушал разговоры
И хранил бы все секреты.

Я б с хозяйкою шептался
Про мальчишек и про шмотки,
Эсэмэсками кидался
И смотрел чужие фотки.

Я бы ездил на Гаити,
На Мальорку и Мальдивы.
В общем, что не говорите,
Жил с размахом и красиво.

Был бы в курсе, знал бы точно,
Что творится на планете,
Потому что днем и ночью
Я сидел бы в интернете.

Я бы по́стил бесконечно,
Знал ответ на все вопросы,
Ставил лайки и сердечки
На забавные видосы.

Только вот проблема! Скоро,
Можно и не сомневаться,
Те, кому я был так дорог,
Станут вдруг меня стесняться.

Я уже не самый модный,
Есть уже гораздо лучше.
Там и корпус по прикольной,
Там и камера покруче.

У меня и фотки хуже,
У меня не те рингтоны.
В общем, я уже не нужен!
Нет! Не буду телефоном!

О природе

Иногда с природой так бывает:
То ль устала так, что нету сил.
И она на детях отдыхает,
От своей работы откосив.

Мне, конечно, повезло, чего там.
Папа с мамой дали ей понять,
Чтоб она не бросила работать,
Даже не мечтала отдыхать.

И природа вышла «во вторую»,
Не спросив повышенный тариф,
Чтоб решить задачу непростую,
Денег и наград не попросив.

Мучилась она круглогодично
Без надбавок, премий, отпускных,
Административных и больничных
Праздников и просто выходных.

Результат её работы видно,
Результат отличный – нахожу!
Папе с мамой за меня не стыдно.
Вот что я родителям скажу:

Вы природе отдохнуть не дали –
Вот и я не дам ей отдохнуть.
Сразу я её предупреждаю:
Ей еще на внуках спину гнуть!

Самый длинный стих

Когда мне был один год,
Я был хулиган еще тот.
Когда мне исполнилось два,
Я был сорвиголова.
Когда мне исполнилось три,
Все бурлило внутри.

Потом мне стало четыре.
Мой кругозор стал шире.
Когда мне стало пять лет,
Я понял, что я – поэт.
Поэтом я был до шести,
Из поэтов пришлось уйти.
А скоро мне будет семь.
И тут не до шуток совсем,
Ведь скоро мне будет восемь
И сразу начнутся вопросы.
Когда мне исполнится девять,
Что я тогда буду делать?
Дождусь, когда будет десять,
Чтобы все как следует взвесить.
Понятное дело – в одиннадцать
Очень непросто прикинуться,
Что мне уже целых двенадцать
И некогда разбираться.
Когда мне тринадцать стукнет,
Иллюзии всякие рухнут,
Поскольку – давайте на спор –
В четырнадцать выдадут паспорт!

Ну, что, дорогие коллеги!
Довольно нежиться в неге.
Попробуйте! Это просто!
Дотяните до ДЕВЯНОСТА!
Давайте, хотя бы по строчке,
А можно кто сколько хочет!
А если придет вдохновение,
То целое стихотворение.
Но правила строгие очень:
На год – не больше двух строчек!
Получится, если хотите,
Длинный стишок-долгожитель.
А мы его опубликуем!
Договорились? Стартуем!!!

Наталия ГУСЕВА

РАССКАЗЫ О МАШЕ,

девочке из XX века

Как-то в субботу

Это был обычный февральский субботний день. В 7 утра, как всегда, пришел синий автобус и увез всех работников управления железной дороги из нашего дома на работу. Увез почти весь дом, остались пенсионеры и инвалиды, но и они, как правило, все где-нибудь работали, поэтому чуть позже шли по своим делам. В 6 часов папа включил сову (светильник) и стал будить Машу, которая очень не хотела вставать. Она не любила детский садик и сову, которая, сверкая желтыми глазами, требовала её подъема. Но дома порядок дня был достаточно жестким: надо вставать – вставай, нужно идти в садик – иди, надо есть кашу – ешь. Поэтому Маша встала, натянула чулочки, с трудом застегнула розовый лиф, надела байковое платье с белым воротничком, ставшее очень нарядным благодаря мастерству маминой подруге из Москвы тете Шуре. Говорить о том, что ей не хочется вставать и идти в садик, а хочется сидеть дома с бабушкой (которая жила в Туле), Маше в голову не приходило. Во-первых, это было бесполезно, потому что сидеть с ней было некому, а во-вторых, стыдно, потому что папа нахмурился бы и сказал: «Опять капризничаешь, все собираются на работу, а ты даже в садик идти не хочешь!» Работа – это было святое, все должны работать, работать очень хорошо и очень любить свою работу. В это Маша свято верила.

Садик был во дворе Машиного дома. Аккуратное двухэтажное здание с верандой, площадкой для гуляния и деревянным навесом от дождя. Дети часто гуляли и на Верхневолжской набережной, которая была очень красивой. Папа перед отъездом автобуса любил там гулять, поэтому он быстро проводил Машу в садик, вежливо и доброжелательно раскланялся с воспитателями и нянечками, а также с медсестрой Галиной Евстафьевной. Все любили папу. Во-первых, он был красивый, во-вторых, молчаливый, ни с кем никогда не ссорился, даже с лифтершей тетей Тосей, которая всегда ссорилась со всеми и ругала всех, кроме папы. Но тетя Тося была всем необходима, поскольку была верующей и тайком крестила всех детей, живущих в доме. Всех, кроме Маши, потому что боялась её мамы, которая работала главным врачом дорожной больницы и была очень строгой, ее вообще все боялись, но в случае заболевания всегда обращались к ней за помощью. Мама помогала всем, даже тем, кто ее очень не любил.

В садике царило оживление, потому что была суббота, а это значит, что всех будут забирать домой сразу после дневного сна (суббота – укороченный рабочий день), а тех, кто был на шестидневке, заберут домой на воскресенье. На улице светило солнце, и всем было весело. Машина подруга Тася принесла целый карман ирисок. У нее была бабушка, которая каждый день ей что-нибудь прятала в карман (конфеты, сахар, печенье) и подруги все это с радостью ели. Тася жила в том же доме, что и Маша, они часто ходили в гости друг к другу и вместе играли. У Таси была своя маленькая комнатка с игрушками, а у Маши такой комнаты не было, потому что жила она в коммунальной квартире с соседями, а семья состояла из папы, мамы и двух старших сестёр, и в двух комнатах всем место было мало, хотя папа с мамой так не считали. Вообще они считали, что живут очень хорошо и соседи совершенно нормальное явление, как и горячая вода по субботам, очередь в туалет и в ванную, вечная толчея на кухне. Мама все время говорила: «Посмотри, какой вид из окна! Какая Волга, какие заволжские дали! Какие большие просторные ком-

наты! И нет войны! Как хорошо!» Маша тоже считала, что она самый счастливый человек на свете. У неё прекрасные родители, самые красивые комнаты, самый пушистый кот Максим, самый хороший садик, хоть она его и не любила. Не хватало только бабушки.

Маша с Тасей сели завтракать и, как всегда, обменялись бутербродами: Тася любила с маслом, а Маша – с форшмаком. Еще Тася любила, чтобы в стакане с молоком дно отсвечивало синим светом, а не желтым, поэтому стаканами девочки тоже менялись, хотя Маше тоже нравился синий цвет. Но Тася был младше её на 3 месяца, и ей надо было ей уступить.

После завтрака дети уже приготовились идти на прогулку, но в игровом зале появилась Ниночка с двумя книгами в руках. Как Маша обрадовалась! Больше всего она любила слушать чтение книг. Ниночка была самая лучшая в группе. Маленькая, с коротко стриженными рыжими волосами, в бордовой матроске, она была самая умная, самая спортивная и самая справедливая. Во-первых, она единственная в группе умела читать, и не просто читать, а читать с выражением! Во-вторых, она быстрее всех бегала, выше всех прыгала и хорошо плавала летом на даче. Наконец, она дружила с самой тихой, бестолковой и унылой девочкой Леной и всегда защищала ее от наиболее резвых и агрессивных подруг. Мама Нины и Лены жили в одном доме и вместе работали. Они были молодыми, и их звали Липочка и Гриппочка. Они по очереди приходили в садик: один день девочек забирала Липочка, другой день – Гриппочка. Нина и Лена крепко дружили. Однажды, когда Лену чем-то обидела самая яркая девочка в садике Оля, которая считалась в группе лидером, Нина очень быстро и четко поставила ее на место: «Если у тебя папа начальник, это не значит, что ты тоже начальник. Ходишь как гусыня! Видишь, Лена медленно одевается, так помоги ей, а не смейся! А то я тоже буду над тобой смеяться, когда ты на занятии по музыке танцуешь как бегемот!» Тогда Маша очень перепугалась, ведь её родители тоже какие-то начальники, может, и она гусыня. Но Тася её успокоила, потому что её родители добрые и всем помогают.

Нина прошла за стол воспитательницы и открыла книгу. Это – «Приключения Чиполлино» Джанни Родари. Как Маше нравилась эта книга, особенно когда читала Ниночка! Они с Тасей сидели в первом ряду и не шелохнувшись слушали. Так хорошо читала Ниночка! Потом она прочитала одну главу из книги «Аладдин и волшебная лампа», и Маша почувствовала себя полностью счастливой, хотя она и завидовала Ниночке! Она была для Маши идеалом! Но когда Маша спросила Тасю, хочет ли она быть такой, как Ниночка, то она ответила, что не хочет, потому что Нина – рыжая, а рыжих девочек замуж не берут. Маша задумалась. В группе было два мальчика, которые ей нравились: Юрка – хулиган и драчун, который всех колотил, и Миша – очень красивый, но шалун, его постоянно ставили в угол, а иногда и шлепали. Возьмут ли они Машу замуж, если она будет рыжая? Но если и не возьмут, потеря невелика, все равно Ниночка лучше всех.

В этот день дети погуляли по набережной, пообедали, пополдничали, а после полдника за Машей уже пришел папа. Домой они не пошли, а направились кататься на троллейбусе по центральной улице города. На улице было много магазинов, а в одном магазине на витрине сидела Баба-яга с совой на плече. Баба-яга Маше очень нравилась, и она любовалась на неё из окна троллейбуса.

Дома шла уборка. Убиралась Тамара – санитарка из больницы, где мама была главным врачом. Она была во время войны эвакуирована из Курска совсем девочкой. Родители погибли, она осталась одна без близких, без денег и вещей. Машина мама нашла ее на вокзале, около санитарно-контрольного пункта, устроила в дорожное общежитие, приняла на работу в больницу санитаркой. Тамара оказалась старательной и исполнительницей девушкой. Поэтому мама направила ее на учебу в медицинское училище на вечернее отделение, а в последующем помогла получить комнату в коммунальной квартире. Тамара приходила убирать каждую субботу, мама ей хорошо платила, но она всегда пыталась отказаться от денег. Перед каждым праздником в квартиру приходил Тамарин сосед дядя Ваня – полотер. Он натирал паркет во всех квартирах дома. У него

была одна рука, другую руку он потерял на фронте, поэтому и работал полотером. Иногда он приходил пьяным и начинал ухаживать за Машиной соседкой тетей Катей, которая сердилась и ругала полотера. Тамара убиралась хорошо и быстро. Маша тоже хотела научиться убираться быстро и пыталась помогать Тамаре, которая смеялась и говорила, что девочка еще успеет наработаться.

Когда Маша с папой пришли, уборка была закончена. В комнатах пахло свежевывмытыми полами, в окно светило яркое солнце, а на столе лежала картонная коробка с картонной куклой и набором одежек для нее – подарок мамы. Это было целое богатство! Маша смотрела на окно и думала, что, наверное, такого счастливого дня у неё больше никогда не будет. Чтобы все было сразу: и суббота, и «Чиполлино», и солнце, и свежевывмытые полы, и улыбающаяся Тамара, и Тася, и Ниночка, и Баба-яга на центральной улице города, и картонная кукла!

В Машином дворе

Двор был очень красивый и удобный. Во дворе стоял детский садик. У забора детского садика была большая площадка, где стояла сетка для волейбола и столбы с корзинками для баскетбола. Прямо за садиком, около трансформаторной будки, стоял большой стол для настольного тенниса, а за ним, около сараев, росли кусты вкусной жимолости. За сараями был двухэтажный желтый дом, в котором когда-то жил маленький Алеша Пешков вместе с бабушкой и дедом. Дом выходил на улицу Минина и был очень старым. Параллельно с ним стоял одноэтажный белый домик, в котором жил Сережка с собакой Пифкой. Однажды Пифка укусила Машу, и ей делали уколы от бешенства, хотя никакого бешенства у Пифки не было. Еще в этом доме жила Людка, которая очень хотела выйти замуж за кого-нибудь из соседнего дома. За это многие дети ее не любили, особенно Тася, которая после встречи с Людкой всегда говорила, что ей хочется вымыть руки. Маше казалось, что это неправильно, потому что если Людка

так хочет выйти замуж, ничего страшного в этом нет, только пусть выходит за кого-нибудь из другого дома.

Все жильцы очень любили свой двор и свой дом. Дом был очень необычный, так как состоял из двух частей: высокая часть – это семиэтажное здание с лифтом, выходящее на Верхневолжскую набережную, а к ней примыкало пятиэтажное здание без лифта, за которым и находился белый одноэтажный домик. Маша жила в семиэтажном здании, где были большие, но коммунальные квартиры. Тася жила в пятиэтажке, где квартиры были небольшие, и некоторые даже отдельные. Дом принадлежал железной дороге, и жили в нем железнодорожники, которые все знали друг друга, а их дети росли вместе. Жили просто и открыто.

Молодёжь во дворе группировалась по возрастам. Самые большие были ровесниками Рины – старшей Машиной сестры. Эти девушки и юноши уже учились в институтах и техникумах, пели модные песни, танцевали и влюблялись. К Рине часто заходили подруги, которые пели, смеялись, болтали. С ними было очень весело. Маша знала все модные песни и пела их соседке по коммунальной квартире тете Римме, которая была очень веселой и всегда просила: «Маша, спой мне “Пичирильо” и “Когда поет далекий друг”». Маша пела, тетя Римма подпевала, а муж тети Риммы, дядя Валя, тоже какой-то начальник в управлении железной дороги, смотрел на дуэт с укором.

Вторая группа состояла из подростков, которые были на 4–5 лет старше Маши и её друзей. Они уже ходили с гитарой, прыгали на теннисном столе и вообще вели себя очень буйно. Машу звали Плюшкой, и с «малышнёй» не дружили. Машина группа была самая большая. В нее входили не только ребята из Машиного дома, но и друзья из соседних домов, в будущем – одноклассники. Все они любили приходить в Машин двор, потому что здесь было весело и дружно. Взрослые детей баловали. Стоило кому-нибудь из взрослых идти из магазина, как правило, с хлебом и молоком, ребятки налетали гурьбой и получали по кусочку хлеба и глотку молока из крышки бидона. Скоро они и сами стали бегать в магазин за хлебом и молоком.

Хлебный магазин располагался в старой одноэтажной избушке, где был маленький прилавок с большими железными весами, на которых взвешивали хлеб, в основном черный. Хлеб продавался на вес, были довески, которые дети очень любили. Дедушка, торговавший хлебом, это знал и всегда старался маленьким покупателям дать довески. В 60-е годы с хлебом стало плохо. Масло, сыр, мясо и мясопродукты из магазинов пропали. Хлеб и крупы выдавали по карточкам. Во двор приезжала тележка с хлебом и крупами, и все жильцы становились в очередь за дефицитными продуктами. Впрочем, соседи особенно не горевали. В войну было хуже! И жизнь шла своим чередом.

Летом, в хорошую погоду кто-нибудь из взрослых (кто не был в командировке), собирал детей с бутылкой воды и одеялами, и все шли загорать под откос, где валялись на мягкой зеленой траве и слушали разные сказки и истории. Дети были очень внимательными и благодарными слушателями. Однажды зимним вечером, когда мороз загнал всех в подъезд, старшеклассница Любочка с пятого этажа рассказывала детям историю про Тома Сойера и Гека Финна. Рассказывала очень интересно, «с выражением», а сама была такая красивая и добрая, что слушать ее можно было весь вечер. Любочку все дети любили и уважали, потому что она сама была очень хорошая и потому что ее мама, работавшая санитарным врачом, была в бункере у Гитлера. Однажды ребята даже затеяли игру, как Любина мама спускалась в бункер к Гитлеру и проверяла, не хочет ли он отравить всех советских людей.

Все Машины друзья очень любили играть. Играли в вышибалы, садовника, города, ручеек, отгадай песню, каравай, колпачок и другие игры. Особенно Маше нравилась игра «А мы просо сеяли, сеяли! Ой, дид-ладо сеяли, сеяли!» Игра эта заключалась в том, что все делились на две группы, и, взявшись за руки, ходили навстречу друг другу с соответствующими припевками. Заканчивалась игра тем, что первая группа вызывала кого-нибудь из второй группы, а вызванный должен был разорвать руки вызвавшей группы. Позднее Маша прочитала у Писемского и Мельникова-Печерского про эту игру, которая была широко

распространена среди крестьянских девушек в праздники. Как же были живучи народные традиции! Проходили века, и городские дети во дворе своего дома играли в игру своих прапрабабушек с не меньшим удовольствием, чем те в свое время! Позднее в эти игры Маша играла в институте, на уборке картофеля.

Дом имел одну очень интересную особенность. В нем было 5 секций, а в каждой секции выходы были с двух сторон – парадный и запасной (черный), которые соединялись сквозным коридором. Ребятам очень нравилось во время игр бегать через эти входы и выходы с обеих сторон дома, хотя следует сказать, что черные ходы детей несколько пугали, поскольку они сообщались с подвалами дома. В пятиэтажке подвалы тянулись под всем домом, и для каждой квартиры там было свое отделение. Маша с папой часто ходили в подвал со свечой, там было темно, пустынно и страшно. Маша очень боялась этого подвала. В подвале хранилась картошка и дрова для кухонной печи, которыми папа с дядей Валей запасались каждую осень. Кухонную печь топили 1-2 раза в неделю, когда готовили полный обед и что-нибудь в духовке (пироги, на Новый год – гуся). Папа говорил, что в подвале ничего страшного нет, наоборот, он сухой и большой, там все хорошо хранить. Но Маше в подвале всегда вспоминалось гестапо, где пытали молодогвардейцев, и ей было стыдно за свой страх. Все ребята хотели быть похожими на членов организации «Молодой гвардии».

Заселенные подвалы были в семиэтажной части дома. Там жили дядя Семен, тетя Маша, тетя Нюра, дедушка Морозов и Шурястик. Все дети часто туда бегали и ничего не боялись. Хуже было с чердаком, который был местом сбора хулиганов. Они там играли в карты, пили вино, пели блатные песни и писали на стенах сентиментальные стихи. На чердаке была комната по управлению лифтом, куда периодически ходили механики, потому что лифт часто ломался, но жильцы им все равно гордились. В то время лифты были редкостью, и ребята из пятиэтажки часто просили покатать их на лифте. Однако в дальнейшем чердак дети освоили. Все началось с того, что хулиганы однажды

затащили на чердак каких-то девчонок. Девчонки плакали и стучали в двери черных ходов, которые со времени окончания войны почему-то заколотили. Открыть их было нельзя. Мужчины пошли спасать девчонок, а женщины вызвали милицию. Милиционеры приехали очень быстро, девчонок освободили, хулиганов забрали в милицию, а чердак велели запереть. Но тетя Маня, управдом, почему-то решила его не запирать. И жильцы стали его осваивать. Первыми были жильцы 7-го этажа, которые регулярно ходили на чердак и проверяли, нет ли там хулиганов, не течет ли крыша, нет ли крыс. Вторым был Юрка с 4-го этажа. Он ненавидел коммунальный быт квартир и своих соседей. Юрка работал на заводе слесарем, после смены уставал и нуждался в отдыхе. Так он всем объяснял необходимость дополнительной площади и, конечно, врал. Его мать – тетя Маруся, работавшая проводницей, была очень строгой. Юрка любил ухаживать за девчонками и пытался водить их домой, но тетя Маруся всех выгоняла, и тогда Юрка устроил себе комнату на чердаке. Он притащил туда кровать, подушки, одеяло, небольшой стол, табуретки и даже маленький шкафчик для угощенья. Всем детям в Юркиной комнате очень нравилось, а Шурястик даже попросил у Юрки разрешения иногда там ночевать. Но Юрка сказал, что «малышня» еще не доросла до таких хором и должна радоваться коммунальным квартирам.

Потом и Машины друзья поняли прелесть чердака. Ведь с чердака через слуховое окно можно было залезть на крышу семиэтажной части дома. А крыша была очень удобная. Она была плоская, огорожена каменным барьером, и там было не страшно шалить, не боясь падения с 7-го этажа. На крыше был мягкий настил. Там можно было петь, плясать, играть и бегать. Однажды летом мальчишки набрали яблок в саду Мартыновской областной больницы, которая стояла напротив дома. Все сидели в сквере на набережной и грызли яблоки. Было скучно, и Стасик из третьего подъезда предложил поиграть в шпионов на такой удобной крыше. Почему-то шпионы у ребят ассоциировались с прогулкой по крыше, и предложение все с восторгом поддерживали. Друзья тихо, бесшумно поднялись по черному

ходу на крышу через слуховое окно и первое время любовались огнями большого города. Было очень красиво. Потом решили спеть песню, а затем, как водится, затеяли возню. НКВД ловила шпионов, шпионы бегали по крыше и орали, а персонажи, не относящиеся ни к шпионам, ни к НКВД, просто визжали от восторга и колотили всех. Игры прекратили жильцы 7-го этажа, которые тщательно следили за жизнью на чердаке и были возмущены топанием и гвалтом. Ребята кое-как выбрались на черный ход и помчались стрелой по тёмной лестнице. Первым летел Стасик, далее Гоша с Шурястиком, потом Маша как самая большая трусиха, за ней Тася, Леля со 2-го этажа, Наташка из подвала и Галюня с 3-го этажа. «Маша, Леля, девочки из таких уважаемых семей, как вам не стыдно лазить по крышам!» – неслось ребятам вслед из дверей 7-го этажа. После этого происшествия все поняли, как нужно вести себя на крыше: гуляй сколько хочешь, только не шуми и не бегай. Поэтому походы на чердак стали регулярными, но тихими, как у настоящих шпионов. Далее чердак во внеслужебных целях стали осваивать ремонтники лифта. Они приходили туда во внерабочее время, устраивали там застолье и водили друзей.

После войны

Все дети во дворе любили громкие чтения. Очень интересно было слушать недавно напечатанную «Молодую гвардию» Фадеева. Старшая сестра Маши Рина с подругами читали ее каждый день, а Маша и её друзья слушали, раскрыв рот. А потом играли в войну, а тех, кто попадет в плен, пытали (щекотали нос травинкой) и велели назвать пароль (на горшке сидел король). Маша была Сталиным, Тася – Жуковым, а Галюня из 23-й квартиры – Гитлером (потому что была толстой). Потом к девочкам присоединились Шурястик с Гошей, которые придавали игре воинственный характер, вооружившись палками, деревянными автоматами и надев на голову пилотки с красной звездой. Маша и Тася с роли полководцев были сначала свергнуты, но потом восстановлены. Мальчишкам больше нравилось

воевать, а девочкам – чертить план наступления на столе, где играли в домино пенсионеры.

Вообще война была совсем близко, и дети ее хорошо чувствовали. В первую очередь общаясь с бывшими фронтовиками, которые продолжали ходить в военных шинелях и шапках, потому что они были теплыми и удобными, а на красоту никто не обращал внимания. Фронтовики были очень общительны, часто бывали на коммунальных кухнях и рассказывали разные истории, но почему-то никогда не вспоминали войну. Электрик дядя Федя ходил с полевой сумкой, снимал показания счетчиков, пил чай и приносил папе разные приемники, которые папа очень любил слушать, в основном новости. У дяди Феди было двое детей – Гера и Жанна, а жена была какая-то таинственная, ее никогда не было дома, а иногда даже и ночью. Все соседи обсуждали, нужна ли такая жена дяде Феде и его детям, нужно ли дяде Феде с ней развестись и на какой женщине потом он должен жениться. Одной из кандидатур была соседка Маши – тетя Катя. Дядя Федя всех внимательно слушал, улыбался, но с женой не разводился. Потом Маша поняла, что он просто постоянно радовался мирной жизни, тому, что остался живым, и тому, что может просто сидеть и пить чай на коммунальной кухне и разговаривать о всякой ерунде.

Дядя Ваня – полотор, который потерял на войне руку, тоже ходил в старой гимнастерке, в кирзовых сапогах и рваной шапке. Он был всегда под хмельком, веселым и общительным. В отличие от дяди Феди, он был одиноким, жил где-то на Сенной площади в «избушке на курьих ножках» и очень любил петь. Особенно Маше нравилась его песня о пожаре, которую он пел особенно вдохновенно, а последние слова «а навстречу мне жена: “Обгорел как сатана!”» – громко декламировал. Ни дядя Федя, ни дядя Ваня никогда не рассказывали о войне.

К Машиной маме в гости часто приходил её брат – дядя Витя. До войны он был преподавателем в школе и был женат. Прошел всю войну до Берлина, а когда вернулся домой, жена от него ушла. Он стал пить, в школу не вернулся, работал подсобным рабочим где придется. Дядя Витя

был очень добрым и веселым человеком. Он с удовольствием играл с ребяташками во все игры, рассказывал интересные истории, ухаживал за тетей Катей и старался не попадаться на глаза папе и маме, хотя все его жалели. Но он тоже никогда не рассказывал о войне. Самым большим удовольствием было когда папа с мамой уходили в гости, Рина уходила к подругам, а Маша оставались со средней сестрой Таней, тетей Катей и дядей Витей. Маша с Таней накрывали стол чем придется, включали радиолу, играли в догонялки с дядей Витей, пели песни и наблюдали, как дядя Витя объясняется тете Кате в любви.

Иногда к Машиному папе приезжал из Тулы дядя Петя – папин брат. Он тоже прошел всю войну, но война сделала его более сильным и целеустремленным. Он окончил какой-то институт и работал где-то в Туле руководителем. Приезд дяди Пети был праздником. Он вносил в жизнь всегда что-то нужное и доброе: то что-нибудь починит, то передвинет мебель и сделает комнаты уютней, то научит всех делать какое-то гимнастическое упражнение, а однажды вообще превзошел сам себя. Научил Таню читать за один день. Таня во время войны перенесла малярийный энцефалит, который оставил осложнения в виде нарушения ходьбы и отставание в развитии. Хотя она училась в обычной школе, знала все буквы, составляла слоги, но читать никак не могла научиться. Дядя Петя взял первую попавшуюся детскую книгу и научил Таню читать. Сначала никто ничего не понял, а потом все удивились, Таня прочла какую-то маленькую сказку. Дядя Петя умер в 40 лет от рака.

В семье был еще один дядя Петя – муж папиной младшей сестры. Они жили в Пензе, и Маша его видела только один раз. Однажды, когда они с папой проездом в Тулу заехали в Москву, к папиной старшей сестре тете Мусе, где, как правило, собирались все родственники. Дядя Петя в это время тоже гостил у тети Муси. Квартира у тети была маленькой, и мы все жили в одной комнате (в другой жили сыновья тети Муси – Шура и Женя). Однажды, когда дядя Петя одевался, Маша увидела, что все тело у него покрыто шрамами и рубцами. Это было так страшно, что Маша

заплакала. Тетя Муся строго сказала: «Петя был у немцев в плену». А дядя Петя только вздохнул: «Да, познакомился с фашистами, не приведи господь» – и больше ничего про войну говорить не стал. С тех пор Маше стало казаться, что война – это что-то такое ужасное, что об этом страшно даже говорить. И хотя Рина читала много рассказов, повестей и стихов про войну, Маша решила, что книги о войне – это одно, а люди, которые ее пережили, – это совсем другое, она тянется за ними всю жизнь и коверкает ее.

Еще была тетя Валя с 3-го этажа. В войну она была медсестрой на фронте. Она была очень красивой и веселой. Это она придумала натуральный обмен с дядей Юрой, Лелькиным отцом, который первым в доме купил машину. Она предложила достать Лелькиной маме крышки для банок с консервированными овощами, а дядя Юра должен был ее за это на машине два раза свозить «по делам». Никто не знал, произошел ли этот обмен, но все соседи были решительно против него. Муж у тети Вали рано умер, остался сын Колька, с которым Маша и Тася дружили. Кольку жалели все, потому что тетя Валя была всегда занята, а бабушка с бабушкой, которые жили в той же квартире, с ним вообще не контактировали. Иногда он ночевал у Маши на кухне (в маленькой нише, где стояла кровать), соседи его подкармливали, давали ему билеты с подарками на елки. Он всегда хвалился, что у него больше всех билетов. На елки ходили вместе: Маша, Галка, Ленка (дочки тети Риммы), Тася и Колька. Лучшие елки были в Управлении железной дороги, куда детей водил папа (у него всегда были знакомые Снегурочки и Деды Морозы). Были елки в драмтеатре и театре юного зрителя, куда нас водила тетя Римма (она работала в совнархозе); были елки для детей и в местном кинотеатре, куда уже дети ходили одни, так как он был недалеко от дома и там всех детей из этого дома знали. Колька был веселым добродушным мальчишкой, торчал с утра до вечера во дворе, пока кто-нибудь из жильцов не кричал: «Коля, иди, покушай!», чаще он обедал у Маши. Он любил Машиного папу, слушал вместе с ним новости и читал газеты. Когда дети выросли, их дороги разошлись. Люди стали жить лучше. Многие получили отдельные

квартиры. Меньше стали общаться и думать друг о друге. Колька пошел в криминал. Часто сидел в тюрьме, выходил ненадолго и снова садился. Дружба кончилась, интересы стали разные. За Кольку всем было стыдно – упустили мальчишку. Тетю Валю ругали (гуляла бы поменьше!), а мама ее жалела и ругала ее родителей, которые запирали от Кольки дверь. А Маше казалось, что во всем виновата война. Не было бы ее, Колька бы кончил институт или техникум и работал бы машинистом, проводником или в конструкторском бюро, как все наши соседи. Маша радовалась, что родилась в благополучной семье. Насколько семья была благополучной, потом ей трудно было судить. Ведь всю войну родителей тоже не было дома: мама была главным врачом дорожной больницы, папа работал в дорожном НКВД. Дома жили эвакуированные из Тулы дедушка и бабушка с тетей Августой, которые и вели хозяйство. В соседней комнате жил больной с открытой формой туберкулеза, эвакуированный из Киева, в другой комнате – семья из 5 человек, эвакуированных из Бердичева. Все дети в семье Маши были больными. У старшей сестры были слабые лёгкие, и она всегда чем-то болела; средняя сестра Саша умерла в 3 года, другая, средняя сестра Таня в детстве перенесла малярийный энцефалит и была инвалидом. Позже бабушка рассказывала Маше, что во всем виноваты воздушные тревоги, когда все быстро собирали детей и вели их в бомбоубежище, которое было под откосом в здании недостроенного метро. Дети быстро простужались и постоянно болели.

Впрочем, трагедия Кольки была не единственной в этом красивом доме. Была печальная история семьи одного из руководителей железнодорожных подразделений. Сначала была очень хорошая семья: папа, мама, сын. Потом жена умерла, и глава семьи дядя Витя женился на буфетчице тете Гале. Она родила ему 4 детей: Гришу, Аню, Валерку и Стасика. Глава семьи постоянно был в командировках и занимался детьми редко. Больше всех Маша дружила со Стасиком, он был немного младше её, но отличался веселым, озорным характером, принимал активное участие во всех дворовых играх и походах. Особенно дети люби-

ли ходить в кинотеатр на детские сеансы, которые стоили 10 копеек. Ходили чаще вдвоем: Стасик, Тася и Маша. Все они дружили, и позже Маша очень была удивлена, когда узнала, что Стасик еще в школе грабил какие-то киоски, а позже неоднократно сидел в тюрьме. Семья разваливалась на глазах. Гришка дезертировал из армии и находился в штрафбате, но в семье считался самым благополучным, по словам тети Гали. Аня «гуляла», и тетя Тося-лифтерша ругалась: «Догуляешься до желтого билета». Что такое желтый билет, ребята точно не знали, но считали его чем-то очень плохим. С Валеркой было совсем плохо. Уже когда дети учились в школе, в городе был громкий процесс о групповом жестоком изнасиловании какой-то женщины четырьмя подростками, среди них был и Валерка. Всех посадили в тюрьму. Валерка после тюрьмы начал пить, стал алкоголиком и умер в тридцатипятилетнем возрасте. Соседи часто обсуждали трагедию этой семьи и сходились в одном: виновата тетя Галя. Маша с Тасей тоже часто говорили об этом, но решили, что виновата не только тетя Галя, но и дядя Витя: столько детей, а он – в командировках. А потом Маша решила, что в этом виновата еще и война. Ведь если бы не испытания во время войны, дядя Витина жена не умерла бы, и ему не надо бы было жениться на бестолковой тете Гале.

Захватывающую историю о войне Маша слышала в школе. Она с сестрой Таней часто ходила в краеведческий музей, который был недалеко от дома. В музее было очень интересно. Там можно было увидеть первобытных людей, мамонтов, быт крестьян, дворян и рабочих Сормовского завода; орудия пыток, политических заключенных в камере под лестницей, отдел природы с животными, обитающими в крае; развитие промышленности и сельского хозяйства и большую экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. В этой экспозиции кроме оружия, военной формы и орденов были вещи людей, которые были в плену и прошли немецкие концлагеря: лагерные формы, номера, послевоенные письма бывших узников, в том числе и из других стран; фотографии. Маша с Таней всегда долго стояли у этих витрин и думали, как эти ужасы

можно было пережить. Впоследствии Маша встречалась с некоторыми из этих людей и слышала от них об ужасах немецкого плена.

Иногда в школу, где училась Маша, как правило, в годовщины победы над фашистской Германией, приходил Федор Устинович, отец учительницы физики. Он был фронтовым хирургом. В плен попал в сентябре 1941 года под Вязьмой и в плену находился до 1945 года. Федор Устинович прошел несколько концлагерей: Эбенроде, где заболел сыпным тифом, и русский врач выходил его; Гогенштейн, где работал врачом в лазарете для военнопленных, больных туберкулезом, и откуда впервые бежал с тремя товарищами. Беглецы прошли Восточную Пруссию, Польшу и уже в России снова попали в плен. Далее был лагерь в Моосбурге и еще один неудачный побег из поезда по пути в Германию. Беглецов поймали, зверски избили и отправили в концлагерь Дахау, один из самых страшных лагерей, расположенный в Баварии в 18 километрах от Мюнхена, открытый в 1933 году для противников гитлеровского режима. Здесь были заключенные из разных стран, в том числе те, кто имел возле грудного кармана красный треугольник с буквой R (русский) и лагерный номер. Русских использовали на самых тяжелых работах. Федор Устинович работал в каменоломне, на строительстве подземных заводов, рытье траншей, затем переведен в прозекторскую, где работал вместе с чешским врачом Франтишеком Благой. Врачи тайно помогали лагерному подполью: лечили больных, спасали от наказаний, прятали в прозекторской, прикрывали беглецов, вписывая их в списки умерших. Федора Устиновича заключенные очень любили за лечение, моральную поддержку, улыбки и юмор, доброту и самоотверженность. Об этом все узнали из писем других заключенных. Врачи-подпольщики думали о будущем: они пытались сохранить документальные материалы, обличающие фашистов в их злодеяниях: экспериментах над людьми, пытках, зверских казнях. Врачи снимали копии протоколов экспериментов, вскрытий, которые переправляли за пределы лагеря. В апреле 1945 года началась эвакуация заключенных из лагеря. Остав-

шиеся точно знали, что их расстреляют всех: и здоровых, и больных. 29 апреля узников Дахау освободил батальон, состоявший из заключенных, которые ранее находились в лагерях на территории Франции и были освобождены войсками союзников.

Девочки задавали Федору Устиновичу много разных вопросов: что было, когда его поймали после побега, как он вернулся домой из лагеря, как он переписывался с друзьями из лагеря? И он подробно и интересно отвечал на все вопросы: «Ну, после побега, конечно, наказывали и допрашивали, почему бежал? А я отвечал, что я хирург, и берегу руки для операций, а меня заставляли заниматься грязной и тяжелой работой, от которой руки портились. Домой возвратился радостным. Плакал от счастья, что живой и вижу свою семью. Но я весил тогда 46 килограммов, пришлось долго лечиться и поправляться. Друзья из лагеря были самыми близкими мне людьми, ведь дружба спасла нас в нечеловеческих условиях жизни. Дружба поднимала моральный дух и помогла нам выжить и подготовить документы, которые явились главным обвинением, на основании которого свершилось правосудие над фашистами на процессе в Дахау осенью 1945 года». Позднее Маша часто думала о том, сколько пришлось пережить этому человеку. Судьба испытывала его и после войны. От тяжелой болезни умерла дочь, от несчастного случая погиб зять. Как-то Маша встретила с ним в скверике, где он гулял с маленьким внуком, а она – с маленьким сыном. Маша была поражена, как он держался, был добродушным, приветливым, стойким и несгибаемым, наверно, таким же как, там, в лагере Дахау, только в глазах была какая-то очень глубокая грусть.

А ещё были люди, прошедшие советские тюрьмы и лагеря. Этих людей почти никто не видел и ничего не знали о них. И только особенностям отношения к людям своей мамы Маша была обязана встречей с таким человеком. Это был врач из филиала железнодорожной больницы Иван Петрович. Мама с папой вообще любили гостей в праздничные дни, но на Новый год к ним приходил только Иван Петрович. Папа, как правило, на новогодний стол готовил гуся с картошкой и капустой (за гусем ездил

в Арзамас) и громадный таз холодца. Готовил папа хорошо, и всё было очень вкусным. Все налетали на эти деликатесы, и в этот момент появлялся Иван Петрович и делил с ними трапезу. На столе появлялась бутылка вина, присаживались родители, и начинались праздничные разговоры, а когда молодежь уходила, и более интимные беседы. Иван Петрович был совсем не похож на преступника, которому надо сидеть в тюрьме. Только иногда он советовал не болтать много, а особенно то, что не следует. После Маша узнала, что по возвращении из мест заключения от Ивана Петровича все друзья отвернулись, а главные врачи не хотели брать его на работу. Взяла только мама, и не только взяла, но и помогла ему встать на ноги, получить квартиру, а его больную жену (тоже врача) защищала от необоснованных преследований. Мама считала, что если человек уже получил наказание, то далее его преследовать нельзя, а, наоборот, надо ему помогать. К удивлению, с ней был полностью согласен и папа, который во время войны работал в железнодорожном НКВД и был более бдительным и недоверчивым, чем мама. Маше Иван Петрович напоминал фронтовиков, которые не рассказывали о прошлом и так же радовались миру, как он радовался свободе. Этот человек чем-то был похож на фронтового хирурга, Тасиного отца, хотя тот был очень шумным, всех ругал, для домашних был грозой и тираном, ассистентов на операциях так распекал и даже пихал, что никто с ним оперировать не соглашался. Однажды он ударил за что-то своего пациента, который оказался сотрудником комитета госбезопасности и грозил ему страшными карами. Спустя много лет Тася открыла Маше секрет, что папа спас ее отца от неблагоприятных последствий его неврачебного поведения, но посоветовал больше не бить больных и не терроризировать ассистентов, если он хочет долго работать и счастливо жить. Что было общего у Тасиного отца и Ивана Петровича, определить было трудно, но Маше казалось, что они оба всегда готовы ко всевозможным несчастьям и опасностям и у обоих есть какое-то стойкое внутреннее сопротивление всему плохому, что было в их жизни на фронте и в лагере.

В маминой больнице

Маша родилась в благополучный 1950 год, когда народ и вся страна потихоньку восстанавливались от последствий войны. Отменили карточки. Ежегодно в определенный день снижали цены на товары первой необходимости, хотя и ненамного. В этот день все шли в продуктовый магазин и покупали товаров немного больше, чем обычно. Дедушка Морозов из подвала по дороге в магазин всегда находил на Откосе деньги (мелочь), остальные соседи ему завидовали, а соседки даже ругали его.

Маша родилась активной, здоровой и веселой, по словам акушера-гинеколога. Но в детстве почему-то часто болела, в основном инфекционными заболеваниями, так как постоянно была среди детей. Болезни протекали тяжело, и она часто лечилась в больницах: инфекционной и железнодорожной, где мама была главным врачом. В инфекционной больнице было очень грустно, потому что больные лежали в отдельных боксах, хотя и разделенных стеклянными перегородками. Машины соседи, как правило, плакали и просились домой к маме и ни о чем интересном разговаривать и играть не хотели. Маша, конечно, утешала их, но ей было скучно, и она тоже хотела домой.

Зато совсем по-другому было в маминой больнице. Начиная с приемного покоя, Маша встречала в больнице знакомых ей и близких людей. Первой была фельдшер приемного покоя Анна Ивановна, очень ласковая и тихая как мышка. Она помогала девочке пройти гигиеническую обработку, ласково разговаривала с ней. Маша никогда не торопилась уйти из приемного покоя и поднималась в детское отделение только тогда, когда Анна Ивановна твердо обещала зайти в гости.

Детское отделение было небольшое, но очень уютное. В отделении были две большие смежные палаты с кафельными печками-голландками, которые топили углем, а иногда дровами. Именно эти печи создавали тепло и уют. Были и маленькие палаты для тяжелых больных. До ребят доходили слухи, что дети там иногда умирают. Однажды, когда Маша попала в такую палату с печеночной недостаточностью

и ей было очень плохо, она была уверена, что умрет, и утешала маму: «Мамочка, не расстраивайся, я не боюсь умереть, мне совсем не страшно». «Ты ничего не боишься!» – сквозь слезы отвечала мама. В этой палате Маша впервые увидела, как мама молилась. Она была коммунисткой и, конечно, в бога не верила. Но тут она опускалась на колени и со слезами просила Спасителя не отбирать у нее дочь. Во время войны у мамы умерла Машина сестричка, и родители очень тяжело перенесли эту потерю.

В отделении всех лечила добрый, хороший врач Галина Петровна. Она была крепкая, здоровая и веселая. У нее было стыдно болеть, и все старались скорее выздороветь. Уколы делала медсестра Нина Васильевна, делала их совсем небожно, поэтому никто не плакал. Но самой веселой была няня тетя Ася. У нее были красивые черные кудряшки, карие озорные глаза и всегда хорошее настроение. Убираясь в палате, она всегда часто пела частушки: «Рыба, рыба, рыба судаковина! Мне мой милый изменил, это пустяковина! Рыба, рыба, рыба все карасики! Любите девушки того, который носит часики!» Все сразу представляли себе красивого юношу, который носит часы, но не могли себе представить, как он изменяет такой красивой и веселой тете Асе.

Утром в палату приходили брать кровь Липочка и Гриппочка – мамы Ниночки и Лены из детского сада. Они всегда рассказывали что-нибудь интересное и успокаивали ребят, которые жили не в городе, а на станциях железной дороги и скучали по своему дому. Маше очень нравилось, как они берут кровь, как щелкают скарификатором и набирают из раны кровь в трубочки или в пробирки. Маша решила тоже стать лаборантом и брать кровь. Но ей хотелось быть и медсестрой, как Нина Васильевна, и делать уколы, а также убираться в палате, как тетя Ася, и петь частушки. В палате дети часто играли в больницу, лечили друг друга и даже делали операции. В палатах лежали дети из семей железнодорожников, некоторые из них имели хронические заболевания и были хорошо знакомы с железнодорожной медициной. Маму Маши знали почему-то почти все и звали ее тетей Лялей. Маше было очень приятно.

Таня была с маленького полустанка, недалеко от Рузавки, уже давно страдала какой-то болезнью легких. Она с восторгом рассказывала, что каждое лето тетя Ляля ей присылает путевку в санаторий, который расположен в сосновом лесу. Там очень хорошо и лечат, кормят и проводят досуг. Часто показывают кино и приезжают концертные бригады. Всем тоже захотелось в этот санаторий. Но тетя Ася пояснила, что санаторий существует только для больных и всех туда не пускают. Потом Маша часто спрашивала Галину Петровну, нет ли у неё болезни легких. Но врач смеялась и говорила, что, слава богу, нет и быть не может. Странно было то, что никто из детей не жаловался на здоровье, все активно проводили время, играли и общались, даже те, у которых был постельный режим и им не разрешали вставать. Все собирались у их кроватей, болтали и затевали какие-нибудь спокойные игры в города, в цветы, в шашки. Иногда кому-то из детей присылали интересные игрушки, которыми играли все вместе. Так, однажды Вике родители прислали кукольный театр, и дети сразу же стали ставить спектакли. Маша хорошо помнила стихи Маршака про Петрушку, и ребята поставили этот спектакль для всего отделения. После спектакля Галина Петровна сказала: «Ну, похоже, что вы все уже здоровы, пора вас выписывать!» Все обрадовались, но, конечно, никакой выписки не было. О доме больные дети вспоминали часто, особенно вечером, когда всем почему-то становилось грустно. Напротив больницы был маленький магазинчик, на котором ярко светились желтыми огоньками название «Рыба». Все смотрели на эту «рыбу» и думали о доме. Маша вспоминала, как папа вкусно готовит рыбу, и хотела домой. Но это было только вечером, а утром жизнь опять становилась веселой и интересной.

Иногда заходила к Маше любимый фельдшер приемного покоя Анна Ивановна. Они сидели с ней, обнявшись, на кровати и рассказывали о своей жизни. Анну Ивановну все обижали, особенно соседки по коммунальной квартире, некоторые врачи, пьяные с улицы, которые часто ломились в стеклянную дверь больницы во время ночных дежурств. Она никогда ни на кого не сердилась, но всегда

очень расстраивалась. Маша ее утешала, а Анна Ивановна всегда вспоминала её папу, который тоже часто лежал в больнице (у него было больное сердце и гипертония), всегда сочувствовал Анне Ивановне и как мог защищал ее. Ребята из палаты тоже жалели Анну Ивановну и предлагали ей помощь в изгнании пьяных.

В больнице всем очень нравилось питание. Кормили очень хорошо, впрочем, дома дети не были избалованы едой, и картофельное пюре с кусочком селедки и соленым огурцом казалось им настоящим лакомством. Что же говорить о великолепных зразах с гречей или рисом, творожниках со сметаной, манниках с киселем, картофельных, рисовых и вермишелевых запеканках, которых можно было есть сколько хочешь, потому что больным всегда предлагали добавку, и мальчишки от нее не отказывались. Когда в палату поступал новенький, который всего боялся и часто плакал, его все утешали: «Не реви! Посмотри, как у нас весело, а на обед будет рассольник и зразы с гречкой, а на ужин манный пудинг». Новенький успокаивался и с любопытством расспрашивал, что такое зраза и манный пудинг. В палате почти не бывало ссор и конфликтов. Более тяжелым ребятам все помогали и за ними ухаживали. Таковы были особенности ведомственной медицины.

Прощальное слово

ПУШКИНСКОЕ ДЕСЯТИКНИЖИЕ ЕВГЕНИЯ ГАЛКИНА (1947–2021)

Самый знаменитый нижегородский пушкинист? Всё верно: Евгений Иванович Галкин.

Когда на Красной площади Московской международной книжной ярмарки среди широкого спектра нижегородских авторов были представлены книги Евгения Галкина о Пушкине, то они пользовались необыкновенно высоким спросом, хотя первоначально кому-то казалось, что такая счастливая судьба уготована другим маститым литераторам Нижнего Новгорода. Ан нет. Неоспоримое лидерство в рейтинге жгучего читательского внимания захватили произведения Галкина. Они, как сказал бы падкий на сравнения публицист, расходились словно горячие пирожки. И дело здесь не только в священном имени Пушкина, а в том, что авторитет Галкина как одного из видных пушкинистов России становился непререкаемым. К нему прислушивались, в него вчитывались, ему звонили, с ним советовались, ему доверяли.

Я познакомился с ним на презентации сборника стихов «Чувство вербное» Геннадия Васильевича Бедняева, поэта, председателя Пушкинского общества Нижнего Новгорода, преподавателя Горьковского госуниверситета и по совместительству моего доброго покровителя, напечатавшего стихи школяра в университетской газете. Евгения и Геннадия Васильевича связывала крепкими узами необъятная и неиссякаемая пушкинская тема.

О той встрече настойчиво напоминает фото, где мы запечатлены с Женей, еще молодые. И с тех пор наше общение практически не прерывалось. Мы следовали завету нашего старшего учителя: «Мы все по Пушкину родня». Геннадий Бедняев наверняка останется в памяти нижегородцев не только этой крылатой фразой. Удивительно яркое образное название «Чувство вербное», доселе никогда не звучавшее, прочно, полагаю, войдет в анналы русской литературы. И вот это вербное чувство любви и верности лирической поэзии непреодолимо сопровождало наши с Евгением жизни.

Однажды, придя в Союз писателей на Минина, 6, он подарил мне свою только что вышедшую пушкинскую брошюру. Тоненькая книжечка так меня впечатлила, что уже через месяц, в день рождения гения, у мемориальной пушкинской доски я под прицелом внимательных нижегородских телекамер читал стихотворение «Разговор с современником», посвященное «Пушкинисту Евгению Галкину»:

Александр Сергеевич, Вы мой современник,
не говорил я с Вами глаза в глаза,
но тем не менее
Гоголь пророчески предсказал...

Александр Сергеевич, на Вас досье имеется.
Первоклашки твердят без запинки
«Памятник». Это наша современница
к Вам торит самозабвенно тропинки.

Мы в Михайловское едем и Болдино...
Не иссякнет – веско скажет любой
(ведь вовеки любима Родина) –
словно к Родине, к Вам любовь!..

И надо же такому случиться, что спустя какое-то время Евгений Иванович одарит меня редчайшей книгой «Нижегородское досье на Пушкина». В драгоценном автографе уверенным каллиграфическим почерком старательно выведено признание: «Михаилу Садовскому с благодарностью за участие в создании названия этой книги, как и од-

ной из предыдущих. Евгений Галкин. 18.05.2019». Вот так поистине дружат, обнимаются, целуются буквы, строчки, названия, книги – искренне, поспешно, пылко, вдумчиво, распахнуто, вербно! Подобная «литературная перепасовка» открывает какие-то новые неизведанные дружеские горизонты и невероятно дорогого стоит!

Евгений Иванович, насколько мне известно, не писал стихи. Да и по роду профессиональной деятельности они, кажется, не совсем укладывались в сферу его интересов. Однако он был настолько сильно увлечен поэзией, что пристальное изучение Евтерпы стало смыслом существования Евгения Галкина. Чтобы понимать лучше Пушкина, он приобщался к современной поэзии, дружил до самоубийства с поэтами, да так дружил, что даже спонсировал, находил деньги на издание их книг. Трогательная дружба связывала его с двумя выдающимися нижегородскими поэтами – Юрием Адриановым и Владимиром Жильцовым. Доказательством тому служат многочисленные стихи, адресованные нашему пушкинисту.

Например, Юрий Адрианов, любивший традиционно щедро посвящать стихотворения друзьям и знакомым, не ограничился одним-единственным посвящением Евгению Галкину. Их сразу несколько. На обложке книги «Досье на Пушкина» автор благоговейно разместил одно из адриановских посвящений с цитатой из седьмой главы «Евгения Онегина»:

Ты – в дружестве прямой и чистый,
Ты до хорошей книги лют.
Тебя, юриста-пушкиниста,
Нижегородский знает люд.

Не зря ж сам Пушкин, плутовато,
Воспел с улыбкой на устах
«Однофамильцев» из пернатых:
«И стаи галок на крестах»!..

У Андрея Вознесенского, неоднократно бывавшего в Нижнем Новгороде, есть стихотворение «Монолог читателя», где рисуется полуфантастическая картина: на сцену

в свете софитов водружается читатель, а тысячи поэтов хором читают ему стихотворение, а потом благодарно награждают аплодисментами – «за то, что... выслушал их», за то, что «невысказанную ноту понять и услышать сумел». Галкин с такой самоотверженностью любил поэзию, что на месте Читателя, героя необычного стихотворения, трудно представить кого-то другого, кроме Евгения Ивановича. Так, забывая себя, любезно и всеохватно он ценил поэзию.

Азартно собранная за долгие годы роскошная коллекция пушкинианы (более 2 тысяч наименований!) из книг, картин, скульптур и других предметов – подлинное сокровище! – совершенно бескорыстно передана им в дар Государственному музею-заповеднику А.С. Пушкина в Болдине.

...На какой-то вершине самосовершенствования, постижения литературы у Читателя, вероятно, неизбежно происходит качественное перерастание в Писателя, и Писательство становится неотъемлемым делом жизни. Достичь таких вершин не каждому дается. Галкин сумел.

Попрошу редактора опубликовать весь список пушкинского десятикнижия Евгения Галкина. Это важно для потомков, будущих пушкинистов. Итак, вчитайтесь в шаги, этапы, темы, находки, открытия нашего нижегородского исследователя жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина.

1. «Пушкиниана. Библиографический указатель» (2008).
2. «Игра несчастливая родит задор. Картежник Пушкин» (2012).
3. «Пушкин в былях и небылицах» (2012).
4. «Верное эхо пушкинских строк» (2013).
5. «Способ благопристойной независимости. Деньги в жизни Пушкина» (2014).
6. «Досье на Пушкина» (2014).
7. «Персоны пушкинской поры» (2014).
8. «Пушкин как в зеркале» (2013).
9. «Нижегородские версты, дни и труды А.С. Пушкина» (2015).
10. «Нижегородское досье на Пушкина» (2019).

Безусловно, вершинным произведением стала последняя, десятая книга. Она аккумулировала в себе все предыдущие. По сути, это первая энциклопедия, посвященная нижегородским страницам жизни и творчества Александра Пушкина. Но если, скажем, в Оренбурге над энциклопедией работал целый коллектив авторов, то на Нижегородчине пушкинская энциклопедия оказалась под силу Евгению Галкину в одном лице. Правда, уже издав книгу (а спонсировали выношенную годами и сверхдолгожданную любимицу самые родные – жена Галина Николаевна и дочь Марина) и увидев опечатки, недоработки, он расстроился, понял, что требуется более добротное переиздание, привлечение широкого круга специалистов. Но он не успел это осуществить...

1 июля безвозвратно ушел близкий нам человек, с которым связывали долгие годы дружбы и любви к литературе. Впрочем, нет, не ушел, остался. Остался прежде всего своими книгами о Пушкине, своим весомым пушкинским десятикнижием. Остался своими такими важными и необходимыми книгами о Пушкине, первой на Нижегородчине пушкинской энциклопедией «Нижегородское досье на Пушкина». А нам осталось перечитывать увлекательнейшие страницы нижегородского пушкиниста и выполнить главный завет Евгения Ивановича Галкина – издать полнокровную Нижегородскую Пушкинскую Энциклопедию, родоначальником которой он впечатляюще и незабываемо явился.

Нижегородские ученые и спонсоры, откликнитесь, ау!

Михаил САДОВСКИЙ,
поэт

ОЛЕГ МАКОША: ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УМЕЛ ПИСАТЬ

Ушёл Олег Макоша. Тяжело и неприятно. Несправедливость этой смерти ощущается сейчас особенно ясно. Как и её неизбежность в последний период его жизни.

Мы были не то чтобы близкими друзьями. Но значимость Олега в моей жизни была весома и значительна. Прежде всего потому что Олег был настоящим. Настоящим поэтом, настоящим писателем, настоящим творцом. Его взгляд – одновременно пронизательный и снисходительный – казалось, проникает внутрь тебя и просвечивает всё нутро твоё как рентген. С таким не соврёшь, не спрячешь сути за лестью и витиеватым пустословием. Слова, которыми он допускал общение с собой, должны были быть точными и правдивыми. Без скидок на непростые обстоятельства и тяжёлые времена. Иначе разговора не получалось. Зато когда получалось, это были одни из самых умных, откровенных и интересных бесед в моей жизни. Как интересно было с ним спорить, какими интересными историями, обстоятельствами и цитатами были переполнены его рассуждения! Свои поистине энциклопедические знания Олег применял на практике точно и точно. Был зол и негодовал по случаю лжи и профанации, но добр и снисходителен к любой искренности и вовлеченности.

К творчеству Олег относился бережно и профессионально. Его знания и острые наблюдения были инструментами художника. Инструментарий этот, как и практическое мастерство, постоянно расширялся и пополнялся. Поэзия жизни проходила через него и приходила к нам в виде произведений, в которых каждой краске или оттенку

было свое применение и объяснение. Олег не делал проходных вещей. Его зарисовки – поэтические и прозаические – это всегда отдельный жизненный эпизод, переданный автором так точно и внятно, что ты проживаешь его вместе с ним независимо от своей воли. Литература была его основной профессией. Он сам так считал.

Олег Макоша был не таким, как все. Ему было плевать на деньги и иные материальные блага. Он даже не хотел литературной славы. Признания – да, но не славы с ее громаханием литавр и медных труб. Его уже много печатали. И за рубежом. Кто-то другой мог бы, наверное, извлечь выгоду из этого, поймать какие-то блага, почести. Но не Макоша. Олег уехал в Москву спасать бездомных собак. Его выбор, его жизнь. Спокойная тишина и творчество – вот что было ему необходимо, по его же словам. А уж чем заполнить эту тишину, Олег понимал хорошо. Он слышал истинное значение слов, он знал им цену. Он умел ПИСАТЬ...

Человек силен и человек слаб. Человек способен на героические поступки и гениальные просветления, и человек, потакающий своему тяжелому недугу. Олег, ты выбрал свой путь. Ты его прошёл. Пусть тебя встретят там хорошие люди и твои собаки. Светлая память!

*Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ,
член Союза писателей России*

Олег МАКОША

(1966–2021)

Пеший ход

Я спокоен за державу,
Потому что в ранний час,
В переходе Окуджаву
Поет юноша для нас.
Он сутулый человечек,
Он очки и пиджачок,

Он напрягся как кузнечик,
Поднимающий смычок.

И гитара-семиструнка,
Тонкий детский голосок,
И пристал к углу рисунка
Тонкой кисти волосок.

И накатывают слезы
На отвыкшие глаза,
Хоть совсем и не березы
И совсем не образа.

Перед ним стоит коробка,
А в коробке три рубля,
Я иду к коробке робко,
Меж прохожими руля.

И кидаю туда сотню,
И смотрю ему в глаза,
Я спасен хотя б сегодня,
Что еще могу сказать.

Отгребают снег лопатой
Дворники который год,
Я столичный обыватель
И московский пешеход.

Плач

Как жаль, что кончилась зима,
Мне не хватило: ветра, снега
И сумрака, когда она,
Вдруг закрывала вьюгой небо.

И я в потемках шел к метро,
И долго мерз на светофоре,
И попадался мне никто
Навстречу, и шумело море

Большого города. Людей,
Уткнувшихся в свои смартфоны
И в разговоры, где злодей
Почти неотличим от фона.

Ползли машины по шоссе,
Шла Саша и сосала сушку,
Сидеть в тепле, писать эссе,
Штаны повесив на просушку.

Укутанность, возможность быть
Не тем, кем хочется, а больше
Того, что предлагает быт,
Отмеченный десницей божьей.

Налить глинтвейну и сидеть,
Посматривая в телевизор,
Иль пулю расписать, и медь
Проигрывать, сливая мизер.

Как жаль, что кончилась зима
На нервной и неверной ноте,
Мне нравилось, когда она,
Прихлопывала день на взлете.

«НО ЕСТЬ ЕЩЕ ТО, ЧТО НЕ ПРОДАЕТСЯ...»

О Владимире Терехове (1947–2021)

Не стало Владимира Терехова, человека неординарного, беспокойного, неустанно и мучительно искавшего правду жизни, познавшего и непризнание, и уважение, и удары судьбы, и искренние симпатии поклонниц и поклонников музыки и прозы. Его звал вперед неудержимый азарт труженика пера, стремившегося разглядеть в бренном бытии желанную мечту. В нем был туго натянут нерв вдохновенного творца-организатора, который торопился сеять разумное, доброе, вечное.

Владимир Михайлович прошел непростой жизненный путь. В его трудовой книжке – профессии кочегара, дворника, сторожа, библиотекаря, школьного учителя, сотрудника музеев. В 26 лет он стал филологом, окончив Горьковский государственный университет. В.М. Терехов – автор стихотворных сборников «Без славы и денег», «Три часа свободы», «Русский монолог», «Весь. Прочти в прозе», «Любовь спаси и сохрани», «Вещие речи». Он же – редактор-составитель книг «Завтра будет бой» (книга музейных очерков), «Поэт Божьей милостью» (о жизни и творчестве Ю. Адрианова), «Нижегородские литераторы», «Мимолетность» (стихи его вузовского преподавателя В.А. Грехнёва) и целый ряд других. В послесловии к книге «Без славы и денег» наш незабвенный поэт Юрий Адрианов писал: «В строках Терехова четко прослеживаются два направления в поэзии: во-первых, лирическая открытая исповедальность, тревожный мир личности, разговоры с совестью, а

во-вторых... шумит поток эпиграммистики, дружеских посвящений, насмешливая точность сатирического слова».

Как литератор он создавал портреты близких ему по духу людей – глубоко творческих личностей, своих учителей, принося дань их талантам и труду и запечатлевая их образ для потомков. Этой же цели служила его музейная работа. Заслуженный работник культуры России, Владимир Михайлович много сделал для Нижнего Новгорода и области. Будучи директором Нижегородского литературно-мемориального музея Н.А. Добролюбова, он стремился донести до людей духовное наследие славного земляка – выдающегося публициста, литературного критика российского масштаба, борца за счастье простых людей. Музей стал также площадкой для актуальных городских мероприятий, в том числе научно-практических конференций. В.М. Терехов принимал непосредственное участие в создании музея А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде (открыт в 1999 году как филиал музея Н.А. Добролюбова, ныне это филиал Болдинского музея), музея-квартиры академика А.Д. Сахарова (открыт как филиал музея Н.А. Добролюбова в 1991 году, ныне – самостоятельный музей).

Почти 15 лет Владимир Михайлович руководил Нижегородским отделением Российского союза профессиональных литераторов – обществом единомышленников, влюбленных в литературу. Он восхищался удачами своих собратьев по поэтическому и прозаическому труду, отмечал достоинства авторов и поощрял их за творческие успехи. Особенно трепетно он относился к начинающим, через публикации активно пропагандировал их творчество. В новом веке под его руководством в Нижнем Новгороде стал выходить альманах «Нижегородский литератор», который затем был преобразован в «Российский литератор». Благодаря этому изданию увидели свет стихи, поэмы, поэтические миниатюры, новеллы, рассказы, повести, воспоминания, литературные зарисовки, афоризмы, очерки, эссе, путевые заметки молодых и более зрелых авторов. Многим авторам он помогал издавать персональные книги.

Начиная с 2011 года, Владимир Терехов сумел подготовить и издать более 40 (!) выпусков альманаха солидного

формата, в которых участвовали, наряду с нижегородцами, гости из других российских городов и ближнего зарубежья. Владимир Михайлович сразу стал бесспорным лидером нашего литературного общения, хотя в нем сочетались самые разные качества. Так, он был страстным и властным, прямым и неуступчивым, отзывчивым, но колючим, лояльным и нетерпимым. Но прежде всего – доброжелательным, а как руководитель – всегда активным и строгим, заряженным на новые полезные дела. По отношению к себе он оставался откровенным и самокритичным:

Судьбы моей конь непородист,
невзрачен, упрям, терпелив,
приучен был к жестким поводьям,
но помнил к свободе порыв.

В одном из стихов он, предвидя неизбежное завершение жизненного пути, высказывал нам свое пожелание оставаться оптимистами:

Унесусь когда ввысь,
Путь окончив земной,
Улыбнитесь и вы,
Расставаясь со мной.

Обеспокоенный недугами общества, он писал:

Но есть еще то, что не продается:
совесть, надежда, ветер и солнце,
вера в Отчизну и небо над ней.

В лице В.М. Терехова нижегородская земля потеряла Автора, Гражданина и Человека. Но мы, нижегородские литераторы, никогда не сможем его забыть, ибо он оставил после себя добрую память своими высокими устремлениями и полезными делами, доверил нам свою думу о будущем.

*Владимир ЛЕБЕДЕВ,
член Союза профессиональных литераторов*

«НАС ШИЛИ МЕРКАМИ ДРУГИХ ЛЕКАЛ...»

О Минне Ямпольской (1949–2021)

У Минны был особый дар – именно тот, который Ахматова обозначила как «таинственный песенный»...

Таинственный, – странный и естественный, – сначала углублённый в голос – дивной красоты, низкий, грудной, – волшебной глубины и гармонии.

Сама она была существом столь же естественным, сколь и сверхъестественным. Я знала её с юности, и хотя она была бесконечно женственна, я всегда чувствовала в ней какую-то иную природу, чем у всех женщин, органично живущих среди быта, всяческого цветения и плодоношения. В моём стихотворении о ней, очень давнем, начала 80-х годов:

Ты в сад придёшь.
Тебя отвергнет сад.
Ты и во сне чужда дремотным травам.
Ты потеряла связь с народом яблок.
И никогда трава тобой не станет.
И никогда не станешь ты травой.

Она была реально-иноприродной, нездешней. И жила как бы между мирами, несла эту жизнь как послушание, очень глубоко переживая зыбкость, ненадёжность, отсутствие верных координат.

Куда пойдёшь ты посреди судьбы?
Уйдёшь из дома – не уйти из дома.
Пойдёшь домой – и не дойдёшь до дома...

Это моё ощущение от неё в юности – ей тогда было чуть за тридцать, мне едва двадцать. Но когда десятилетие спустя она стала писать стихи, в них вполне сопоставимо возникало её собственное мироощущение:

Нас шили мерками других лекал,
и тот, кто нас в других мирах ласкал,
на связь не вышел. Нам сменили роли,
оставив жест и тяготенья к боли...

Она почти всю жизнь не верила: неужели это, вот этот сквозняк, эта стылость – и есть жизнь?

Перехвачено горло
разноцветным жгутом.
Это грустно, не больно.
Больно будет потом.

Как старьёвщик, по ниткам
собираю лоскут.
Повторяю попытку
оказаться не тут...

Не тут, где-то в другом мире и в другом облиции ей хотелось бы оказаться. Но надо было жить – тут, в жизни, многое – из категории долга, долженствования, что же поделать...

И ангелы набрали в рот воды,
и Бог под водами молчит, как на допросе,
и гонит волны, и торопит осень,
и оставляет за собой следы.
И вместо завтра настанет вчера,
и меньше знаешь – крепче спишь ночами,
и чья-то лодка держит путь к причалу,
и в днище лодки черная дыра.

Минна нередко пребывала в мире/состоянии печали, отрицаний и тёмной воды, но память её была всегда подключена к глубинным источникам света. И она всегда как бы стояла на грани «того и этого света», окликая своих,

слышащих: «Друзья мои на том и этом свете, покинутые на больной планете, беспомощные рыцари зари...»

Заря – первое слово в её итоговой книге, и это важно.

У неё была бездонная, абсолютно иррациональная память – и ясный, кристальной чистоты разум, интеллект. Чудесный юмор, пристальный взгляд, тонкий слух.

В последние два года её стихи были опубликованы в журналах Prosodia и «Нижний Новгород», в антологии «Коромыслова башня».

Весной 2021 года вышла книга – «Небо алмазное, глупости разные» – в издательстве «Владимир Даль», С.-Петербург.

Она писала блистательные посты в фейсбуке буквально до последнего дня...

А теперь – это она сама описала, недавно:

Ветер подует – и легче лёгкого,
молча, без звука, без всхлипа, без клёкота
взмает душа,
бабочкой белой из тесного кокона,
девочкой нежной из грубого, плотного
тела ли, века ли, дома ли, города
ветром ли, светом ли, звуком ли голоса
взмает душа,
здесь надышалась – жизнь хороша,
там продышалась – смерть хороша.
Нежная девочка, белая бабочка,
грустная песенка, что ей осталось-то,
что с неё взять – душа.

Сын исполнил завещание Минны – прах её развеян над Волгой. Теперь она в наших сердцах, в нашей памяти, – и в стихах, в Слове.

*Марина КУЛАКОВА,
член Союза российских писателей*

ЗЕМЛЯКИ

НИЖЕГОРОДСКИЙ АЛЬМАНАХ

Выпуск тридцать первый

Главный редактор *О. А. Рябов*
Составители *Андрей Иудин, Олег Рябов*

Шеф-редактор *Андрей Иудин*
Макет *Арсения Костромина*
Дизайн обложки *Геннадия Щеглова*
Корректор *Лев Зелексон*

В оформлении обложки использованы:
работа *Сергея Сорокина* «Гордеевка»,
фрагмент карты Нижнего Новгорода 1812 года

Подписано к печати 07.12.2021. Выпущено в свет 26.12.2021.

Бумага 60x84^{1/16}.

Гарнитура «Times New Roman». Печать офсетная.

Бумага офсетная. Усл.-печ. л. 27,9. Тираж 1000 экз.

Свободная цена.

Учредитель и издатель ООО «Книги»
Адрес редакции: 603057, Нижний Новгород, ул. Бекетова, 24/2,
ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Отпечатано в типографии АО «ИПК «Чувашия»
428019 Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13